Улыбка Шакти

Новое
Литературное
Обозрение

Сергей Соловьев

УЛЫБКА ШАКТИ

Роман

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА 2022

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
С60

Редактор серии

Д. Ларионов

Соловьев, С.

С60 Улыбка Шакти: *Роман* / Сергей Соловьев. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 608 с.

ISBN 978-5-4448-1782-7

Роман, но без ядра, вокруг которого он обычно закручивается. Человек, но не тот, которым обжита отечественная литература. Индия, но не та, которую мы ожидаем. Любовь и обжигающая близость, но через них — стремление к иному. Сложная интеллектуальная оптика при безоглядной, как в детстве, открытости. Рай метафор, симфоническое письмо с неуловимой сменой регистров. Джунгли, тигры, слоны, экстремальный опыт, буддийские пещеры, жизнь с отшельниками, сад санскрита, трансовые мистерии, встреча с королем лесных племен, суфийское кружение речи между Западом и Востоком, но сквозь эту романтическую экзотику — путь к истоку, мерцающему родству с миром. Миром, который начался и пришел в движение от улыбки Шакти. Путь этот драматичен и чудесен. Одиссея письма, плывущая туда, где сторонятся слов. Сергей Соловьев — поэт, один из ярких представителей метареализма. Родился в Киеве, живет в Мюнхене, последние 17 лет путешествует по Индии. Прозу автора относят к так называемому интенсивному письму, в котором «текст затягивает — а потом смыслы и ассоциации ветвятся, расширяются — и чтение приостанавливается само собой, причем закладку хочется поместить не между страницами, а между предложениями. Или между словами» (А. Уланов). «Улыбка Шакти», оставаясь отдельной книгой, составляет с повестью «Аморт (2005) и романом «Адамов мост» (2013) своего рода трилогию.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

В оформлении обложки использовано фото автора.

Сайт автора: https://sergei-solovyov.com

© С. Соловьев, 2022

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2022

© ООО «Новое литературное обозрение», 2022

Часть 1

#1. Паршурам

Тело не лжет. Только оно и не лжет — на всем белом свете. Да и на черном. Одно — на двоих. И не сложить, не понять, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это не страсть, и не любовь даже. Не запах, не кожа, не изнурение глаза, пьющего эту неутолимую нежность и хворь счастья — в каждой чуточке тела, в каждом его изгибе — настолько, что исчезаешь в себе, падая, падая… Но куда? Не в нее ведь. И даже не в это тело, от которого, хоть и виду не подаешь, все дрожит и плывет. А туда, где все началось, откуда растет, именно туда падая — в дни творенья. Где нет еще ни ее, ни тебя, но уже проросло, качнулось и дышит то деревце, то тело, одно на двоих, единое, которое через миллионы лет станет вами — тобой и ею, разойдясь по разным мирам, чужим, убийственно несовместимым. И вместе с тем — таким родным, что все, что есть у тебя — душа, разум, весь строй твоей жизни и опыта — становится перед этим деревцем на колени, отказываясь понимать. Но и жить с этим не могут. Тело не лжет, тело не лжет, — и пятятся от него, и, спотыкаясь, расходятся. И разойтись не могут. Нет у человека ключей к этому. А и были бы — неразрешимо. Потому что не может

так быть. Но есть. И дело не в пресловутых двух половинках, сошедшихся в тютельку божью. Не может, чтобы так мистически безначально и навсегда сливались тела, а жизни непримиримо врозь. Не о сексе это, не о подворье тела, а обо всем его мироздании, которое нам непроглядь, и только они, тела, это знают и чувствуют, и во многом — по ту сторону нас. Каким-то божественно гибельным инцестуальным родством. Это — не лжет. Это. А остальное, то есть попросту жизнь, — не примирить, не сблизить. Боже, как она говорила, до чего ж мы чужие, до зубовного скрежета.

Паршурам, Паршурам… Шестая аватара Вишну. Вот он, чудесный, сын мудреца, одного из тех семи великих риши, но не Вьясы, через которого были даны Веды, и мир, неведомый, стал произносимым, а другого. Мать Паршурама как-то загляделась на принца, игравшего у реки со своими женами, и отец, узнав об этом, сказал сыну: убей ее. И сын ее обезглавил. Молодец, сказал мудрец, проси, что хочешь. Вернуть мать, ответил юноша, отирая топор. И воскресили ее, и жили счастливо. Правда, отец недолго. А сын, уже не расстававшийся с тем топором, сотворил потом этот берег, где мы сидим в безлюдном джунглевом храме, рядом с его, Паршурама, мурти, каменным изваянием величиной с ребенка. Три цветка гибискуса на нем — на лбу и на плечах. Кто ж возложил их, никого в округе, кроме птиц и лангуров. День жаркий, за тридцать. Там, за перелеском, океан лежит, тихоня, а тут баньян разошелся рощей, где пять маленьких храмов, как в шалаше живут. Ни души. Лишь лангуры сидят на ветвях, медитируют на заходящее солнце. Серебро шубок, каштановые глаза и длинные черные, словно обугленные, пальцы пианистов.

Нет у нее имени, но и все имена сразу. Вот и замираю с первого шага. Отголосок, выветрившийся в не то чтобы пустоту, шунью, о если бы! В неприхотливую бижутерию жизни? На поверхности — да, наверно. Вот тут-то и ключ лежит, и не будь я так самонадеян, сказал бы: еще один, мнимый. Не в ней. А — за ней. Во всех тех женщинах, кем она была в ее роду, во всех своих ипостасях и именах. И все бы это звучало банально, как можно бы сказать о любой женщине, не будь в ней эти связи и лики так живы, не проступали бы так вдруг и неосознанно для нее самой. Это как местность в тумане: видишь близь, а в промоинах проступает другое, другие. И среди них вдруг всплывает древнее лицо такой юной красоты… В ней, сквозь ее лицо. Как незримо вдруг пересобранное.

Тая звали ее. Одна из ее родовых линий шла через Запорожскую Сечь к цыганам Венгрии. К ворожеям и ведьмам. К огню и омуту, лесам и дорогам. И песням. Сильная линия, но чуть вдали и вполоборота. Еврейской крови в ней вроде не было. Но в какие-то минуты в ней проступала пугающая своей божественной глубиной и нежностью библейская красота. Большие влажно-темные глаза. Как на ликах богородиц. А через миг — озорные, с озерной искоркой. И с ума сводящий выгнутый рот невозможных губ. Когда чуть запрокидывала голову, глядя вверх и в сторону от тебя, обнажая высокую тонкую шею.

Телу ее было вокруг двадцати пяти, хотя по паспорту вдвое больше. Кожа девочки — до оторопи, везде. И запах — неощутимый, настолько родной. Уткнуться носом в любую ложбинку и жить веки вечные. Или взять в ладони ее лицо — в эти мгновенья совсем несовершеннолетнее — и, обмирая, уйти навсегда. Или уж не знаю каким органом чувств вбирать ее меленький цветочный

смех у пределов близости, когда вдруг возносится из себя и ниспадает, вздрагивая всем телом. Смех изумленной печали и жалобной радости.

Худенькая, звонкая, летящая. Переметывающаяся от дерева к дереву. Что-то в ней было и от лесной мавки. С той нездешней, мнимо телесной тягой, которая вынимает душу, а то вдруг исчезнет, как не было. Словно незримой рукой в ней выключается свет, не без ее ведома. Сколько ж раз я натыкался на стены такого несвета. О нет, считанные. А между ними творилось то, о чем молчат.

Нет у меня дома, говорила она, и туфельки негде положить, и платье, которое сшила. И, засыпая, искала ладонью во тьме мою ладонь. Ты мой дом, ты, — и стихала. Чтоб на рассвете идти со мной в джунгли, молча, сопротивляясь страху, пятясь внутри себя, но идти.

Тут неподалеку есть городок, Чиплун называется. Там, на окраине, на высоком холме стоит древний храм Паршурама. И каждый вечер бог Паршурам прилетает туда из Гималаев, где проводит дни. Ровно без четверти восемь. Брамин затепливает лампады в изголовье его кровати у алтаря за балдахином, перестилает постель, кладя каждый раз по две подушки с обеих сторон, поскольку не предугадать, куда головой ляжет сегодня бог. В храме не людно, два-три прихожанина. Служба начинается у входа: брамин, поющий голосом басовой струны, служка с факелом и лицом из этого же огня и музыкант с индийским кларнетом. Стоят они вокруг символа Вишну — барельефа большой черепахи на мраморном полу. Такие же вишну живут в храмовом пруду. Выписывают по глади письмена. А потом выбираются из воды на гхаты, вдвоем-втроем, но не соприкасаясь, и глядят вверх. За храмом — башня с узкой винтовой лестницей, наверху

небольшой зал, там старик у костра, горящего на железном поддоне, рядом с ним два больших барабана, он прогревает их кожу, поглядывая на старые часы на стене, под которыми на шкафу пылится 500-летняя древесная голова Ганеши, а в углу стоит механический эпилептик, выпускаемый в Пуне и рассылаемый по храмам Индии. Нажмешь кнопку, и музыкальные молоточки начинают истово колошматить на все лады, образуя малостерпимый, но стройный призыв к началу службы. А потом храм запирают, и Паршурам, перелетев через пол-Индии, ложится в свою кровать, а наутро, когда отпирают засовы, его уже нет, но постель смята, и брамин видит, в какую сторону головой он на этот раз спал. Когда-то, еще до людей, он, Паршурам, выбрал этот холм. Как свой дом. Стелил шкуру, ложился, глядел вдаль на океан. Потом возвели храм. Там. А здесь, в этом джунглевом безлюдье, мурти его стоит. И детские каменные штиблетики кто-то ему смастерил и поставил у его изваяния. Да, я знаю, нет никаких изваяний тут, все живое, и бог, где хочет — вошел-вышел, но и остался — всюду, где вышел-вошел. В штиблетах или без.

Волосы у нее ниспадали до поясницы. Но казалось, они могли бы окутать и всю ее целиком. Почти так она и делала, когда где-нибудь в пути мы ложились вздремнуть, накрывалась ими — и от света, и для тепла-уюта. Темно-каштановыми они были, когда мы встретились. А год спустя, после Индии, стали менять цвет, поначалу на такой предутренний, светающий, а еще через год — вовсю солнечный. И поверить в это было никак нельзя. Но в ней все могло измениться, не то что волосы или имя. От тех, кто проступал. И когда мы встречались в аэропортах, я всякий раз не находил себе места

в ожидании — где она, кто? А потом, уткнувшись друг в друга, стояли долго-долго, трогая, перекладывая ладони — сюда и сюда, там и здесь, прислушиваясь, замирая — ты, ты… Так не бывает, родней не бывает, желанней и… как это сделано, не понять, чтобы два мира, настолько несовместимых, так сошлись — каждой йотою тела, что и ангелу не протиснуться. И через день-другой расходясь по своим мирам, между которыми корчился и обмякал этот рваный проем, где жили, соскальзывая в себя и ловя руки друг друга. И, чудом спасаясь, стихали, обнявшись. Когда все было кончено. И снова встречались в аэропорту.

И отправлялись на край света, и шли, шли по пустынному побережью, оставляя за спиной тот перелетный песок, который пять столетий назад взмыл над Африкой, распростерся над океаном и лег здесь, в Индии, а мы все шли, одни на свете, не считая худенького мальчишки с отцом, забрасывавших сеть с берега и вытаскивавших вместо рыбы морских звезд, шли до самого горизонта, пока не оказались у какого-то полузанесенного песком мусульманского склепа на холме над океаном, и ключник, вышедший из лачуги, молча отпер для нас дверь. Там, в маленьком зале, убранном цветами и огнями, лежал на кровати незримый — как же его имя? — великий суфий, к которому ходил на поклон король Шиваджи. Лежал на кровати с расшитыми золотом подушками и покрывалом, на котором была раскрыта книга, а у изголовья — еще горка книг его времен и стакан воды. Без малого четыреста лет лежит, океан и песок в окошке размером с книгу. Вышли, сели на берегу у перевернутой лодки, голова к голове, ладонь в ладони, утопленные в песок. Так и плыли вдаль. А потом в кузове какой-то

попутной таратайки возвращались домой, пели песни, и свернули сюда нежданно — к Паршураму. Она сидит за храмом в тени, а я с камерой здесь, она слышит мой голос, по ту сторону нас.

Баньян стоит в могучих дредах, целая роща из одного дерева, уходящего в небо и ниспадающего к земле. И, выпрастываясь из нее, вновь прорастает во все стороны света — ни ствола, ни центра, ни верха, ни низа у этого дерева нет, одно переходит в другое, парампара индуизма, священный баньян. Ни конца, ни начала этой древесной мантре. Вот как надо бы писать. Чтобы не было ни начала, ни конца, ни ствола, ни середины, чтобы все во всем — тат твам аси, как говорят Веды, ты есть то… Не зная что. Вот и иди, не зная куда, ты уже там. Там, обойдя все на свете, став им и вернувшись к себе без себя. Трам-пам-пам. И еще одна часовенка с Паршурамом в зарослях, ах что за чудо — он в ожерелье из листьев бетеля, с серебряными глазами и цветком на темени. А над ним — спутанная, как косичка отшельника, рыжая древесная нить, растущая из неба. Приблизить, взойти по ней взглядом — туда, туда, в несбывшееся. И выключить камеру.

Вернулись затемно в нашу рыбацкую деревушку Харнай. Дом наш стоит на самом краю — даже не света, а и не скажешь, чего. За спиной у него — мир, люди, приодетые приметы жизни, все более стихающие на подступах, а перед ним — безмерная голость, океан. И дом, как старый баркас на берегу, днище его облапывает прилив, льнет, но не уносит. В половине дома, обращенной к миру, живет семья рыбака Есвана: жена, сын и три юные дочери, все они спят в одной комнате на полу. А наша — над океаном, раскинутым за окном в изголовье кровати. Можно, лежа

на животе, часами смотреть в океан, и особенно в дни его свеченья, когда гребни влекут и утапливают изорванное подвенечное. А по утрам в солнечной дымке ходят рыбацкие лодки, перешагивая легкие волны.

Пока Тая готовила ужин на веранде, глянул почту, сидя у окна. Письмо от Любы. Перечитал дважды. И третий, прикрыв глаза. Чуткое речевое счастье. Как бы жизнь ни была темна. Мир ведь ходит в нас по горло в небытии. И, не будучи выхвачен речью, во тьму и уходит. Но как, чем — в этом мутном, вязком пространстве косноязычия и лжесвидетельств — высветить его, удержать? Она умела. Как мало кто. Умела перехватывать мир на той его симфонической скорости, к которой мы так редко восходим. И удерживать, называя. И речь светилась от этой точности, сливаясь с миром. Годы, как мы разошлись. Она в Москве. Изредка приезжая, виделся с ней и сыном. Но большую часть года проводил в Мюнхене, переписывались — то смолкая, то подходя слишком близко и обжигаясь. А на зиму отправлялся в Индию, но и там связь наша не прерывалась — просто случалась реже, с Таей ли был я или один. Ответил, переместил в папку, где они жили своей жизнью. Похоже, все меньше оглядываясь на нас.

Вышел на веранду. Тая сидит на коврике у балюстрады, обняв колени, едва различима во тьме, глядя между балясин вдаль на свеченье волн. Завтра мы уезжаем — она в Севилью, я в Мюнхен. Сложим наши пожитки в просторный трюм кровати и отправимся в аэропорт Мумбаи, надеясь, что в следующем году вернемся. Надеясь и всякий раз не веря, но вслух это не произнося. Завтра.

И наступит долгий блуждающий день длиной в бесконечные месяцы — с тихим мюнхенским парком, где

каждый вечер раскланиваюсь с лучистой индийской парой — он в тюрбане, она в сари: намосте, намосте… И исчезают со сведенными у груди ладонями. С парком, за которым светятся ночи, скитаются книги, течет Гвадалквивир, падают горькие апельсины в дворик севильского дома, где мы сидим за бутылкой риохи, и счастье, как дождик слепой, и нет нас, расстались, и вновь навсегда, и не утишить, угла не найти, и снова сближенье, дороги и страны, и сны в ожидании осени, за которой Москва и, может быть, Индия…

#2. Почта

— Я так радуюсь твоим строчкам, что, бывает, теряю из виду, о чем речь. Но как же за тобой поспеть, скажи на милость? Мы здесь, на земле, опаздываем и стареем. По тому, что ты пишешь, — тебе и не нужна я, не преувеличивай. У нас была хорошая встреча в Москве. И что-то такое чудесно смешное ты сказал на прощанье… Вчера пошли покупать костюм с Лёнькой, по дороге — ты бы видел эту дорогу! — он врезался головой в какой-то металлический ящик на заборе: кровь, и слабость, и бледность — посидели со льдом и перекисью, а он все норовит прилечь, вместо того чтоб ожить, — вызвали скорую. Повезли нас с ветерком в клинику Рошаля. Мореплаватель подложил руки под голову и лежал на носилках очень задумчивый. В больнице зал ожидания — и страшным голосом на всю клинику: пройдите в пятый бокс! Сотрясения не обнаружили, ссадину замазали зеленкой, полюбовались черепом на рентгене и к ночи вернулись домой, событий полны. Это, говорит, была лучшая поездка в моей жизни! Э нет, говорю, дружок, была в твоей жизни и получше поездка на скорой, к врачу-астроному

в Гималаях. Ты пишешь: я так мало помню… а жизнь все льется, как вода в квартире, из которой ушли. Ты помнишь лучшее, а другого и не надо. И нет никакого перрона, на котором ты набоковская гувернантка с единственным русским словом во тьме. Я не знала никого, кто бы так полно проживал свое сегодня, думая, что смотрит в завтра или оглядывается во вчера. Оттого и светит во все края — от того, что пишешь, делаешь. И мне всегда хочется пожелать тебе лишь одного: чтобы был счастлив — сейчас, всегда, каждый день. Ты уже в Индии, долетел?

#3. Харнай

С Новым годом, с 5120-м по Кали-юге! Каль, говорят на хинди, то есть завтра. Но в то же время это и вчера. Как у Плотина, писавшего о душах, которые, как амфибии, живут в обеих стихиях — то на этом свете, то на том — по обстоятельствам. Здесь, в Индии, по обстоятельствам время течет в обе стороны одновременно. Козочка наших хозяев у меня на руках сидит, пожевывая мои брюки. Ешь-ешь, я в Новом другие куплю. А лучше цветок возьми с елки.

Елка наша — три пальмовые ветви, составленные вместе, тримурти. Однажды, находясь в Тамилнаде, я вернусь из джунглей, куда уж вторую неделю ходил к слонам и другим обитателям, и почувствую дикий зуд от сыпи на спине и шее, а Праба, местный фермер и хозяин арендуемого мной домика, увидев, скажет: о, это оленья шерсть! Имея в виду аллергию от шерсти, оставляемой оленями в колючих кустарниках, сквозь которые я целыми днями продирался по жаре под сорок. Эту оленью шерсть

на спине, говорит Праба, надо смочить слезами пальмы и все пройдет. Праба, похожий на смуглого фавна, быстроногого, лучезарно хитроватого, с красавицей женой за плечом и тремя сынишками на хвосте. Поворачивается к дому и кричит: Пушкин! Пушкин! Открывается дверь, выходит Пушкин, заспанный, двадцатилетний, времен Бахчисарая. Лицо, бакенбарды, фигура… Пушкин так на себя не похож, как этот слуга Прабы из местных племен адиваси. Так я его и назвал тогда, а вослед и Праба, и полдеревни. Пушкин взбирается на пальму, за поясом у него большой кривой нож — чаку. Ничего не выйдет, говорит Праба, срез надо делать до рассвета, тогда будут правильные слезы, а сейчас не те. Посовещались с Пушкиным, тот сходил за одеялом и, взобравшись на пальму, окутал им ветку, ждет. Как будто ночь. Режь, кричит Праба снизу, уже можно. Расслоил эту трехметровую ветку и прикладывает к моей спине, кропит слезами. Все, говорит, завтра забудешь. Забыл я, правда, недели через две, уже в Мюнхене.

А потом мы встретились с Таей в аэропорту Севильи. Как впервые. И снова стояли, уткнувшись друг в друга, и людская толпа обтекала нас, прибывая, убывая — дни, ночи. А потом спали на полу в доме, где она обустраивалась, затеяв ремонт. Ее доме, который мог бы стать нашим, в возлюбленной ее Севилье, антимире Индии, гишпанском сапожке. Домик этот она купила на деньги, полученные при разводе, ее часть. С мужем она разошлась, прожив много лет вместе, обе дочери уже выросли, одна жила в Москве, другая в Питере. Время от времени она созванивалась с ним — дети, деньги, наследство, может, что-то еще, я не слышал, отходил в сторону. В ее дни рожденья он слал ей цветы в Севилью. И надеялся,

что она вернется. Никогда, говорила она, отворачивая лицо, чтоб я не видел увлажнившихся глаз. Просыпались на полу среди мешков цемента, через нас перешагивали работяги, приходившие на заре и исчезавшие к вечеру. Мы умывались из бочки в куцем заросшем патио и шли к Гвадалквивиру. А полугодом спустя вновь оказались в Индии. Там, у Прабы. В райском бунгало у края джунглей. В кухоньке за стеной жил Пушкин. А по ночам на огороды наведывались слоны, которых мы с фермерами гоняли криком и факелами. Мать Пушкина пасла у озера стадо коз, не своих, барина. А сам поэт пережидал дневной зной, лежа на кровати с мобильником, переговариваясь с барышнями. По-английски он понимал не много, объяснялись мы больше на пальцах. Однажды, готовя там еду, Тая затеяла напомнить ему написанное. Я помню чудное мгновенье, начала она с черпаком в руке, обернувшись к нему от кастрюль. Передо мной явилась ты. Он внимательно слушал, улыбаясь все шире, кивая в такт. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои. Yes, сказал он, когда она закончила, I remember.

На веранде у нас стоит елка-тримурти из пальмовых ветвей, срезанных в этой рыбацкой деревушке Харнай рядом с руинами форта короля Шиваджи, о который бьются волны, заодно подмывая и дом Есвана Копотка, потомственного рыбака из касты кои, у которого снимаем жилье в десяти сантиметрах от океана, это толщина стены, отделяющей изголовье нашей кровати от прилива. Срезали с Таей эти ветви, приволокли на веранду и соорудили елку, поставив ее в горшок, обряженный в сари. А потом, взяв с лодок мелкую разноцветную рыбу и несколько пучинных златоустов, развесили на ветвях. Одна — с красной, как с мороза, чешуей и волхвующим

глазом — называется рани. Другая — риббон, ею выстилают путь к маяку, сотни тысяч рыбешек сушатся на ветру и солнце, чуть изгибаясь и усыхая: издали — арабская вязь, письмена сверкающего серебра. Третья — с бледно-желтой каймой и хитровато-острым лицом… Забыл, как зовут. Крабы взбираются по елке, как матросы. А на вершине — звезда морская. И цацки цыганские подвязали на нитках. Браслетами мерцает, сережками, цепочками, как морская царевна. Две козочки домашние ходят, разглядывают, млеют. Флаг индийский полощется. И сотворили напиток бессмертия — сому. Стол наш ломится яствами. А над головой — мешок волшебный на крюке, там дары и записки друг другу. Осталось всего пару часов до Нового, который здесь называют Гуди-падва, но это будет весной. Надеюсь, у нас все хорошо и в ближайшие семь-восемь тысяч лет не изменится к лучшему. Да, Вася? Ешь цветочек. А мы в самую полночь пойдем по этой улочке во тьму — к волшебному окну, стоящему в нигде, и войдем в него, там-то все и начнется. А школьницу мы скоро истомим на огне. Муши, зовут их здесь, этих юных акул. Когда-то и мы с тобой были муши. Он и она. Шьет штанишки мужу. Чтоб не мерз он в стужу.

Так и живем: вот дом, крайний в деревне, за ним мир безвиден и пуст. За оградой, которой нет, руины форта короля, варан на крепостную стену выполз, замер, как свастика. А рядом семья мангустов, мама с детками. Кошка к ним ходит наша в траву желтую нечесаную: кошка войдет — и гуськом мангустами выходит по ту сторону, мангусты войдут — кошкой выйдут. А мы сидим наверху на веранде с балюстрадой, не докрашенной Руши, сыном Есвана, кофе пьем, смотрим. Там козочки домашние

блеют, тут наша семья индийская, живущая во второй половине дома: Есван, которого зову папа, хотя моложе меня, Бхарати, жена его, то есть сама Индия. Три дочки у них и сын Руши. Младшая — Дипти, старшеклассница, любимица моя. На день школы сходится вся деревня, костюмированный концерт до трех утра, и первоклашки там — танцуют и смеются. У стены дома в каменной вазе тулси растет священное, семья дважды на дню пуджу совершает — вначале в комнате, потом во дворе: обходят тулси с благовонными палочками и кокосом с цветами, и несут дары к океану. А там, неподалеку от берега, деревце мангровое зеленеет — то по щиколотку в воде, то с головой, в часы прилива. В нем цапля гостит. И ослепительный зимородок на дереве над крепостной стеной сидит век за веком, следит за рыбой и, зависнув в воздухе, пикирует в воду. Кингфишер, король-рыбачок.

Утром ходил на рынок в гавань, что на местном языке — бандер. Вначале Баблу встретил, он сам себя так называет, потому как непроизносимое у него имя — из девяносто семи согласных. Показывал видео в своем мобильном, как у него во дворе отлавливали кобру. Такая изящная двухметровая особь, не агрессивная, хотела уйти — ну в прихожую хотя бы. Не дали, отнесли в лес, выпустили. Баблу. Дом есть, жена, деньги, бизнес, а детей нет. Горе. И в глазах, и в голосе, и в походке. Затем мороженщика встретил. Он из Раджастана, рыжий, хной крашенный, торгует волшбой о десяти сортах ручной выделки, патент и грамотка от правительства. И каждое мороженое с кусочками свежих манго, или инжира, или кешью. Говорит, что у него в родной деревне стоит у дома трактор «Беларусь».

Каль, каль, где ты? Нигде его нет. В отличие от рыбы, а лучшая из них — мороса. Она пришла с мороса. Хотя с виду не скажешь. А еще бобра, с удареньем на первом, но здесь произносят: кобра. Черная, глубинная, с недвижным взглядом. На рынке слышишь вдруг как выкрикивает зазывала: кобра, кобра, патчсо рупи! Пятьсот за кило. Но на вершине для нас — та́рмоса. Та, что зовут меч-рыбой, а на деле — рыба-парусник. Многометровые. Или поменьше, с человека ростом. Лежат на сером песке под ногами, переступают их, не глядя. А в ходу то, что мы не берем — памплет, вроде мелкой камбалы, и сурмай, типа скумбрии. Тармоса, дивная рыба, сто двадцать километров в час — под водой-то! То есть в воздухе было бы как у военного истребителя. Зачем ей такая скорость? Никакой необходимости. Чистая избыточность, божья блажь. И лучшее доказательство его бытия. Лежит под ногами. Нос-бушприт, красный глаз и спущенный парус. Могли бы взять, но куда на двоих нам.

Заур, владелец двух рыболовных кораблей, зовет меня: Серджи, пойдем, у меня в лодке муши есть, молоденькие, ты ж любишь. Их редко берут. А мясо нежнейшее, без костей и без запаха. Заур огромен, белый халат, феска и черная длинная борода. Возил нас на остров, договорились, что порыбачит, чтобы мы свободно позагорали, а потом за нами вернется. Вернулся раньше. А мы лежали вдали друг от друга: я на песке у воды, а Тая на скале за мысом. Лежал на спине, закрыв глаза в полудреме. И вдруг кто-то под голову мне сандалии мои просовывает и полотенцем лицо накрывает. Заур, с отведенным в сторону из деликатности взглядом. И ушел в пустынный заброшенный форт — пересидеть, подождать там. А потом, когда Тая меня с ним фотографировала, он

пятерней своей по-отечески нежно расчесывал мне волосы, всклокоченные на ветру.

Или Адам. Так его и зовут, сухонького старика с беззащитно удивленным лицом ребенка ветхих лет. Мусульманин, живущий в землянке, в маленьком земляном гробе, с зеркальцем и нехитрым скарбом, умещающимся в двух ладонях. Бос, в длинном до пят хитоне. А пальцы перебирают вечные четки, и губы все что-то шепчут с блуждающей улыбкой — деревьям, дороге, спинам людей. А неподалеку в большом нарядном доме живет сын с молодой женой и мать, жена Адама. Что ж ты, сукин сын, говорю я сыну, позоришь мою родину, отца родного в могиле живьем содержишь, ешь сладко и спишь на белом? Адам приходит на следующий день, в глазах слезы: не надо его корить, мне хорошо там, на свободе. Он подрабатывает слегка, ходит с ведерком, красит, кому что надо. Научил его ровные филенки проводить, а то он от руки вел их, как создатель мира. А потом подрядил красить стены в тех номерах отеля, где друзей своих потом размещал. Он все с торбочкой своей не расстается, там среди прочей мишуры — выцветшие открытки от иностранцев, с которыми ему довелось познакомиться — может, лет пятьсот назад, во времена Васко да Гама…

Или в ближнем городке Даполи. Что-то нам нужно было там — не интернет ли, в рыбацкой нашей деревне он аховый. И зашли по пути в офис районного егеря. И пока жена его нам готовила чай, он рассказывал нам недавние истории из лесной своей службы. На прошлой неделе, говорит, леопард свалился в кита… В кита? — переспрашиваю и думаю: ну невозможно ведь, но черт его знает — это же Индия, ну выбросился кит на берег, ну, наверное, начал разлагаться, и вот безлунной ночью

подходит леопард, взбирается на эту тушу и, оступившись, валится в левиафанову бездну... Да, говорит, воодушевляясь, опустили мы клетку в кита на двенадцатиметровую глубину, а леопард там, на дне кита, не хочет в нее входить, запрыгнул на нее и стоит. И никто не знал, что делать теперь. И тогда я придумал: поджег тряпку и спускаю ее на веревке прямо на него, и леопард — ап! — и прячется в клетку. Невероятно, говорю, не зная, что и думать. Леопард, в ките, на двенадцатиметровой глубине, с горящей тряпкой на голове, и лесники, стоящие наверху на туше у этой дыры… Да, говорит, именно так, две недели назад, неподалеку от вашего Харнай. Оказалось, не в кита леопард свалился, не в whale, а в колодец — well.

Можно было, конечно, и не акулу, а ската взять. На местном языке его называют ваг. Он — ваг, а она, надо думать, вагиня. Чистить не надо, кожа у них как у маслят и чуть липкая. Просто отсечь длинный шнуровидный хвост, затем вынуть внутренности, а их, на удивление, с гулькин нос, и вообще — живота почти нет, как и, наверно, положено ангелам. Промыть — и класть на сковороду. Хотя местные совершают еще вереницу нейрофизических процедур. Делают, например, два длинных надреза вдоль позвоночника и витиевато удаляют его, затем обрезают края у крыльев и выпиливают мистический треугольник у основанья хвоста. Но мы до этого не смели возвыситься.

Тут, в Харнай, на обочине главной улицы, есть мусорная свалка, не убиравшаяся лет двадцать, наверно. Рыбацкая деревня, океан — задний двор ее, рабочий, он же отхожий — уж тысячи лет. А рядом, в нескольких километрах — другая деревня, не рыбацкая, там землю руками

моют, чистота звенящая. Те же люди живут, родственники здешних, братья и сестры их, отцы и дети. Там — приемный покой, здесь — рукопашная жизнь: алмазы с грязью, вонь и амрита. Не сдержался, нашел у соседей грабли, взял фонарь и пошел в ночное. Рядом коровы на ночлег укладывались, с изумлением на меня глядя. Ну и редкие прохожие с не меньшим. Потом Руши, сын Есвана, красавец, похожий на индийского Фредди Меркьюри, с лопатой пришел. Хоть и позор это, домашние его не пускали. Потому как ломка устоев, убирают неприкасаемые, если уж до того доходит. И дело не в отношении к среде, в Европе в прежние времена было уж точно не чище. Тут коровы все подъедали, пока мусор съедобен был, а не пластиковый. А население — за миллиард, не так легко в одночасье все изменить. Но и не столь уж сложно, как оказалось: в Мангалоре, почти миллионнике, поставили баки, ввели штраф, и за месяц город неузнаваем. Собрал на разговор хозяев домов на нашей улице, план придумал. С большим сочувствием слушали. Разгребли мы с Руши эту свалку. Через месяц, правда, все вернулось на круги своя.

А в тихой глубине деревни, где уже не рыбаки живут, а совсем другой мир, стоит неприметный храм, где каждую субботу в десять вечера собираются друзья с соседних улочек — брамин, зеленщик, аптекарь, электрик, молочник, сапожник, портной, садятся на пол перед алтарем и в течение часа поют песни на стихи средневековых поэтов под фисгармонию, таблу и разные колокольцы. Называется бхаджан. Или киртана. Песни, настоянные на бхакти, любви к божественному миру. Там среди них и Шреас, сын брамина, профессор физики. Однажды я сказал ему, а не попробовать ли нам

совместно прочесть один фрагмент из десятой мандалы Ригведы, я перевел его на русский. Конечно, говорит, приходи. И вот иду и думаю: там речь о сотворении мира, о первых мгновеньях, даже до, значит, надо бы начать с тишины, потом некий первозвук… Но какой? И на каком инструменте? Наверное, на фисгармонии, там звук рождается с помощью воздуха, праны. Какая-то одна нарастающая нота, почти из небытия. Потом вступает ритм, табла… Затем тихие колокольцы. Потом уже речь, текст в тишине. И в конце они вступают голосом, поют а капелла на маратхи дивную песнь на слова средневекового поэта святого Днянешвара. Пасьядан, молитва-гимн всему живому во всех трех мирах, обращенная к материнской ипостаси бога: будь и сияй, господи, в каждом своем дуновении — и в стебле травы, и во мне, и самосознании солнца. Написал он ее в пятнадцать лет, а в двадцать вошел в самадхи, сочтя свою земную миссию исполненной. И вот мы вместе выложили на полу из свечей большую мандалу, подожгли, сели вокруг нее. Но как же им сказать об этой первой ноте сотворения мира? Тем более что по-английски никто, кроме Шреаса. Да и кому говорить? Мне — им, о Ригведе? Удивительно, как они все перед началом вдруг смолкли, прикрыли глаза и, посидев так несколько минут… Нет, не заиграли вместе, а только тот, с фисгармонией, пока у других глаза были еще прикрыты, начал тянуть эту едва различимую ноту из небытия. Тот самый Динеш, который в прошлом году в ответ на мою просьбу прийти послушать их бхаджан спросил: а зачем? За тишиной, сказал я. Он улыбнулся и говорит: я простой человек. Там, я кивнул в сторону неба, не сложней, наверно. Он прикрыл глаза: приходи.

А ночью выйдешь на веранду: вдали в небе над неразличимыми во тьме горами письмена горят. И как это лесники умудряются так лес поджигать, что он горит, не сгорая — неделями, огненными письменами, а перелистнется на чистый лист — деревья целы, лишь трава выжжена.

Так и дни горят, не сгорая. Может, уже февраль? Серджи, Серджи, кричат в рыночной глоссолалии, иди сюда, бери эту рыбу, и ту тоже, не надо денег. Сядем с Таей под нашим окном на краю света у самого аравийского моря. Вот рыба, вот таз, вот нож — тот, что она выискала в Москве, особый, охотничий, мне в подарок. И мелкую денежку дал ей взамен, чтоб не поссорились. Знал бы он — и нож, и боженька, — сколько нас полегло.

Кошка пришла, учуяла рыбу. Худющая, только что родила. У нас родила, наверху, не у хозяев. Там же, на веранде, за перегородкой крыса живет, большая и древняя, хотя все еще в детородном возрасте, проходит в шаге от нас, волоча брюхо по полу, не поворачивая к нам головы. А лапы семенят. Будто лилипуты несут дредноут. Родила недавно. А чуть затем и кошка родила. Там же, за перегородкой. И крыса уступила ей палату, ушла. Потом, видно, посовещались, и кошка перенесла детей вниз, а крыса со своими вернулась. Все друг друга понимают — мы их, они нас и друг друга. Потом детки у крысы подросли, и один детка забрел к нам и свалился в унитаз, барахтался там, не мог выбраться. Меня в тот момент не было, Тая увидела, вынула рукой, отнесла маме. Я б не смог. А несколько дней спустя я скорпиона под нашей кроватью убил, отягчил карму.

Тая поднялась наверх в нашу светелку с окном в океан — постирушки, то да се, а я тут, во дворе, рыбу чищу.

Молодая акулка-молот. Буквой Т, римский крест, с маленькими злыми глазами по краям перекладины. Рынок сегодня кипел, корабли пришли из недельного плаванья, несколько десятков тысяч рыб были переброшены с лодок на въехавшие в воду повозки, запряженные быками, а с них — на прибрежный песок. Не ахимса тут, столетьями живут рыбной ловлей. Хорошо какому-нибудь саньясину сидеть в своем лотосе и лотосом питаться, а мы, грешные, едим, как медведи — травку-ягодку, рыбку-человечинку и мед с кровью. Тая на веранде белье развешивает, трусики свои рядом с моими, и это сводящее с ума платье, которое шила в ближнем городке, куда ездили — я зубы лечить, а она, пока ждала меня, шить, садясь в швейной лавке рядом со швеей, объясняясь на пальцах, смеясь, кроя и примеривая… и плача. А над столом на нашей веранде мозг висит на нитке. Верней, внутричерепная косточка акулы. Из нашей рыбной ухи выудили, разглядывали. Белейшая, полупрозрачная, фигурная. В профиль — как два присевших лицом к лицу и взявшихся за руки человека: Тая и я, кружась на нитке от ветерка, на краю света.

Нулевая луна, тьма тьмущая скоро ляжет, а через пару недель будет прилив — на весь километр оголенного дна. И все это хлынет сюда, ушатывая дом и нас наверху. Но смоет мусор прибрежный, чистенько станет, как до сотворенья.

Есть люди, чья внешность с возрастом меняется не постепенно, а два-три раза в жизни, но существенно, меняя облик и образ. Смена эта накапливается как бы исподволь и проступает неожиданно, как бывает с приходом осени наутро или снега. Мы оба с Таей, похоже, принадлежим к этому типу. Думаю, последние лет двадцать или даже

больше внешность ее почти не менялась. Но все чаще она вглядывалась в свое ближайшее будущее. И в зеркало. И не раз говорила, что ей в этом облике осталось лет пять. Вроде бы с улыбкой, с иронией, но видно было, что беспокоить ее это уже начинало всерьез. Хотя никаких примет, она по-прежнему выглядела той самой девочкой, все еще не обжившейся в женщине. Но вдруг ее так накрывало, что даже стыдилась при мне раздеться, ей казалось, что она уже не та, и тревожно вглядывалась в то мнимое ближайшее, когда вдруг перестанет быть для меня желанной. Особенно при такой необычайной телесности нашей связи. Я ее отвлекал от этих мыслей и действительно не мог представить себе, что это неутолимое желание может когда-либо стать меньше. И не хотел в эту сторону глядеть. Особенно в Индии, в этом бескрайнем аадж — единственно настоящем «сейчас». Горящем между двумя каль — прошлым и будущим, как между двумя зеркалами.

Впервые мы увиделись в аэропорту Домодедово, шел снег во тьме. Перед тем, случайно встретившись в сети, полгода переписывались. И вдруг, еще не видя друг друга, взяли билеты в Индию. Я прилетел в Москву из Мюнхена, она — из Севильи. Как же узнал ее, встречая? Ее, а не ту, что на снимках. Не помню, как обнял ее, окунул лицо в ее волосы. Как всплывал оттуда, чтобы снова увидеть, не открывая глаз. А вдруг все исчезнет или станет другим? Нестерпимое чувство родства и чуда. Хотелось взять ее в ладони, не только лицо, но всю — такой маленькой она казалась, да и оба мы — глядя откуда-то из других миров. А потом долго ехали через всю Москву, и я пытался произнести эти слова. Даже не я. Не слова. Казалось, одно движение губ — и ни нас, ни мира вокруг не

станет. А она улыбалась, пряча лицо за букетом цветов, и за мутными стеклами плыла Москва. Я люблю тебя, я… тебя… Мир не исчезал, уж не знаю, за какую небесную нитку держась. И потом, в комнате с видом на снег и огонь, я не помню уже ничего, каждый миг был последним, будущего у такого быть не могло. Только чудом. Оно и раздело нас: ее — у окна, меня — у кровати. Молча, легко, чуть светясь и дрожа. Она приближалась ко мне почему-то на цыпочках, или пол был холодный… И летели, летели в свободном падении — в себе и друг друге, пока не стали одним.

#4. Тропка

Гурзуф, осень 2013-го. Может, и так. Где-то в той дали, которая движется своими тропами, а была твоей жизнью, оставив тебе это смутное двоюродное чувство. Так и остановка моя называлась на трассе Симферополь — Ялта: Тропка. По требованию. А следующая — Свидание. Нечаянное? Не помню, я выходил раньше. В том краю. За два года до встречи с Таей. Сидел в саду под деревом зреющего инжира, смотрел на море в серебре, на опустевший поселок, на дачу Чехова вдали внизу, на трех сестер у воды. Без веры, без надежды и любви. Но рядом, ближе близкого. В доме Геши, в пустынном солнечном доме, откуда разъехались гости. Остались лишь мы вдвоем и Чес — большой рыжий барбос, улыбающийся, настоящий, каких на земле почти не осталось. Он вскоре уйдет, а вослед и Геша. Высокий ладный человек, воспитанный морем и безоглядной свободой. С мягкой печалью в глазах и тихой песчаной улыбкой. Как бы с неловкостью за эту свободу — смертную. Сидел в саду, спиной к брошенной своей квартире — где-то там, в верхних домах

поселка. Годы, как все реже туда возвращался, перебравшись к Геше, где и жили втроем с Чесом до поздней осени, а потом они оставались вдвоем до весны. Странная дружба, поздняя. Разные миры, но такая чуткость, что и слов не надо. Он чинит крышу, Чес у ног моих, я смотрю вдаль, на край лагуны и вспоминаю, как много лет назад, за день до Нового года переехал сюда из Киева, поменяв квартиру, как спустился к морю на безлюдную набережную, где шел густой снег мохнатыми хлопьями, но шел только над землей до береговой кромки, а над морем сияло солнце. И старинный трехмачтовый фрегат трепало и разваливало волной о берег. Фрегат, построенный для съемок фильма и оставленный на зиму на якоре в море. Купил в поселке шампанского, вернулся, разделся, перебрался на корабль и выпил на грот-мачте — за новую жизнь. Геша поглядывает на меня с крыши, нет, ему не нужна помощь, просто слегка смущенная радость — оттого, что оба мы здесь, рядом, что, может быть, на днях пойдем в горы на несколько ночей. Горы уже меняют свои шали на желтые и багряные, но и зелень еще держится. А потом, когда к берегам подойдет ставрида, а вослед и дельфины, возьмем лодку и пойдем на рыбалку. А однажды утром проснемся: снег, и горы лежат, как Венеры в мехах. Латает крышу, а я сижу пишу обещанное одной киевской галерее о современных украинских художниках. О Дереве, веревке и Гоголе. Что общего, говорит Павич, у разбойников, привязанных к дереву? Дерево и веревка. О Дереве-Украине, и веревке-времени я уже написал. И о Гоголе. Которого нет нигде — ни в России, ни в Украине. В Риме душа его, говорит, и к гробу Господнему едет в Иерусалим, а приехав, не выходит из тарантаса, сидит под дождем в пригороде, не нужен он мне, шепчет,

и уезжает. Гоголь как Заколдованное место, как Майская ночь между Западом и Востоком. И перешел к художникам. И задумался. Истинный дар, говорит Деррида, не должен иметь ни дарителя, ни получателя. Усталость. Когда история кончилась. Маски, гримасы зеркала. Нос Ковалева. Даже боль ощущается как цитата. По одной из гипотез, человек и произошел от носа. Точнее, от маленького органа в межноздревой перемычке, отвечающего за половое обоняние. Гоголь это предчувствовал. Носы живут на луне, а земля страшна для носов, перемалывает их в муку. Может, пока закопаем его в саду, спрашивает Геша с крыши. Это он о чеховском ружье. Шурик, школьный друг, перебравшийся в Москву, принес его, чтобы Геша пока припрятал, а через несколько дней Шурика убили. Давно это было, в девяностые, с тех пор ружье лежит под кроватью, завернутое в детское одеяльце. Да и чеховское ли, в ту осень каждый день ездили с Гешей в ялтинскую библиотеку — письма, документы, гору всего прочли, так и осталось неясным. Поначалу думали в музей отдать, но как — со всей той темной историей и допросами? И забывали о нем на годы, пока вот так вдруг не всплывало. Третий акт, видно, будет без нас, без людей. Но Геша уже не слышит, стучит молотком. Накануне вечером смотрел в ютьюбе разговор Натальи Исаевой о речевых энергиях в шиваистской картине мира, об отсветах Кьеркегора и Хайдеггера, о театре Васильева. Об окольной, эллипсоидной речи как божественной вахане, способной приблизить нас к неименуемому, попросту говоря — к озарению жизнью. Смотрел, вспоминая землю Семи сестер, юго-восток Индии, куда не очень-то ездят из-за несмолкающих войн между тамошними племенами. В деревушку рядом с заповедником у Брахмапутры, где мы с Любой

жили вылазками в джунгли, приехал передвижной театр. Место для представления выбрали на краю деревни, у самой границы с заповедником, построили шатер, сцену, зрители шли со своими стульями, или садились просто на траву. Нашими соседями в ряду были егеря в камуфляже и с полотенцами, повязанными на голове на манер платков, они смотрели, опираясь на свои полутораметровые допотопные ружья времен британской колонизации. Время от времени у них включалась рация и они переговаривались с патрулем, ушедшим в джунгли, или с диспетчером. Двумя днями ранее мы ходили в ночную с таким патрулем: когда наутро возвращались, по рации сообщили, что соседний с нами патруль расстрелян браконьерами в упор из автоматов; кончив с людьми, они допилили рог у полуживого носорога и исчезли. Спектакль длился часов пять. Смотрели всей деревней. С едой, детьми, собаками, коровами и обезьянами. А за спиной горели джунгли. Огонь приближался, опережая дым, подымая зарево в полнеба. И этот погруженный во тьму зрительский островок находился как раз между двух освещенных сцен — актерами перед глазами и горящей природой за спиной. И голоса актеров смешивались с голосами слонов, носорогов, оленей, теснимых огнем к деревне, к людскому театру. А в ладони моей — ладонь Любы, и во тьме ее живота — наш ребенок, зачатый в джунглях в опустевшей пещерке отшельника, отошедшего уже к другой речи. И подумал тогда, этот островок во тьме между двух сцен и есть дом, родина. Ведь она — не могилы предков, и даже не язык, а блуждающее окно, которое вдруг совпадает с тобой и распахивается внутрь тебя. И произойти это может в любое мгновенье и где угодно. И так же безотчетно покинуть. Душе ведь закон

не писан, и родина ее не здесь. Есть цель, и нет никакого пути, говорит Кафка, путь — это наши сомненья. Сидел в саду, дописывал очерк, над головой зрел инжир, смеркалось море, все еще было в тех границах, которые казались незыблемы — и Крым, и мир. Собрал вещи, Геша проводил до калитки и долго глядел вослед, будто чувствуя, что больше мы никогда не увидимся.

Потом, что ли, год спустя, оказался в Хорватии, перечитывал Джойса, переводил его письма к Норе, бродил по приморскому городку Пула, где он жил с ней, а потом переехал вслед за ними в Триест. Чуть в стороне от себя, чтоб не спугнуть что-то едва сквозящее из будущего, но не вглядываясь, не загадывая, хотя и чувствуя это смутное приближение… Индии? Но как, когда, да и возможно ли это после всего, что было? И что-то записывал, идя по следам Джойса, его здешней жизни, чуть в стороне от себя и этой проступающей впереди тропки.

В 1912 году Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке по приглашению княгини Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ прибывает в ее Дуинский замок под Триестом и начинает Элегии. Примерно в это же время Джеймс Августин Алоизиус Джойс, живя в Триесте, дописывает Портрет художника и, прогуливаясь со своим другом и учеником — Ароном Гектором Шмицем (Итало Звево), будущим прототипом Леопольда Блума, задумывает Улисс. Оба смотрят в один морской горизонт. Ни до, ни после за всю свою двухтысячелетнюю историю этот странный греко-римско-австро-венгерско-славянский город, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия, не отмечен ничьим присутствием, кроме этих двоих.

Да, как цветок по изгороди, как повилика, он взбирается на гору с Далматинской площади, этот старый трамвай, а в нем — французский консул Стендаль, футурист Маринетти и психотерапевт Фрейд, говорящий им, что это не город, а воплощенье либидо — итальянского, женственного, божественного… А город — там, внизу, в дымке: кондитерско-имперские дредноуты пятиэтажных лепнин, щечка к щечке, но при этом делают вид, что никого рядом. Все окна темнят. Кто же тогда живет в этом городе? Кто эти люди на улицах? Кто стоит за опущенными жалюзи? Например, по виа Армандо Диаз, 2, второй этаж. Вот они выходят из парадной: «Какой такой Джойс, — переспрашивают жильцы, — это наш дом, никаких писателей тут нет и не было». Над дверью вывеска: «катастрофа», а в витрине — старые радиоприемники.

Зачем, говорит Нора, ты переводишь столько бумаги, не по карману нам. Ее настораживает его способность составлять фразы разными способами и в непредсказуемом порядке. Она видит в этом некую угрозу возможностям понимания. У нее спальные формы, мягкие, утренние, чуть в тумане. Ей идет эта вуаль.

Как один нескончаемый день — женщина, эти улочки в ней, пелена, корабль, который никогда не придет, цветок, вьющийся по ограде, эти деревья с пряным запахом, как в укромных уголках ее тела, которого нет здесь, как нет и деревьев. Как странно. Нет их здесь, в этом городе. Но ведь это не так. Они ниспадают древесным вавилоном с холмов и гор его окружающих, а в город — нини. Но ведь это не так. Есть места. Да, есть места и для смешанного проживания домов и деревьев, и уж там они тихо сходят с ума — как цветы по изгороди, до одури, до затмения. До одури просветленья писать Навсикаю,

полную, как говорит он, ладана, культа Девы Марии, жареных устриц, палитр художников, трепотни, околичностей, жить в съемной квартире с одиннадцатью домочадцами, донашивать башмаки сына, на два размера просторней, преподавать английский в школе Берлица, замирая с недвижным взглядом в окно и, возвращаясь в себя, диктовать слова, слова — без смысла, последовательности и метода, идти домой, но где он, дом, в этом городе, играющем им, как в наперсток, городе «увядающей элегантности», о котором — о, счастье — забыла история, забыла — и об аргонавтах, и об Аттиле, и об Ангеле, возвестившем день Страшного Суда, жить здесь, и больше всего на свете трепетать от грозы, любить Пуччини, говорить на триестино — будущем языке Поминок, обожать Нору, осыпаясь жаром от звериной нежности к ней, пробираться в комнате от кровати к кровати через гору черновиков, зачинать детей и не знать, куда положить их, называть Триест своей душой и бояться оставаться в нем, в ней, бродить от пивной к пивной по этому «левантийскому Дублину» с будущим Блумом мимо ранних базилик и руин Колизея неподалеку от сербского храма, напевать своим тенором по-русски, поджимать надмирные губы, писать Паунду, что, наверно, умрет этой тварной ночью в «Полярной звезде» на Большом канале, где в дальнем углу все еще стоит это русое расстроенное пианино…

Может, сходим в Джованни? В то маленькое бистро за театром, где не протолкнуться от гомона, а кружка бочковой мальвазии стоит один евро, где снизываемая тесаком с туши пармская ветчина — три. Пойдем-пойдем, она нашептывает ему себя как тайну, как жизнь. Они спускаются в лифте, выходят под моросящий дождь

и движутся в его пелене черным сплетенным иероглифом под красным зонтом. По пустынной набережной, по виа Мирамаре, мимо сидящих на парапете у моря двух окаменевших девочек, двух школьниц, двух парок, пена заливает их босые ступни. Теперь налево, где между Беллини и Россини течет рукотворное море, в котором когда-то исчез эсминец, мимо св. Спиридона, через мостик, где стоит на ветру Джакомо — в круглых очках, в шляпе и сюртуке, да, как обычно носил он — пиджак и брюки от разных костюмов, стоит, руки в карманах, неприметный, огибаемый торопливыми прохожими, и дальше — к трактиру Джованни, да?

Да, вздрагивает бронзовый Свево Блум, стоящий под дождем в получасе ходьбы отсюда, спиной к чернильнице моря, на пьяцца Хортис. Да, вглядывается в окно дуинский затворник: как кроится в молниях небо, как врывается ветер, склоняя его над листом бумаги: «с красоты начинается ужас». Да, шепчет на мосту Джакомо Джойс, у писателя в чернильнице есть лишь один роман, который он пишет всю свою жизнь. Да, говорит она, и тогда он спросил меня, не хочу ли я да сказать, да, мой горный цветок…

Вернувшись в Мюнхен, узнал, что Геша в больнице. Неизлечимо. Но держался. Сколько б ее ни осталось, говорит. Надеясь, что все-таки годы. Ушел из больницы, похоронил Чеса и, слабея, все реже выходил в сад посидеть на весеннем солнце, читая Моби Дика, оставленного мной в последнюю нашу встречу. Читал и таял.

И Крым таял. И тропка, мелькнувшая было. Да и я — не сказать, где и кто. В один из дождливых дней листал ленту фб и замер, впервые увидев ее. Преодолев

неловкость, написал ей. Познакомились. Она находилась в Севилье, собиралась в Южную Америку, раздумывая, куда.

#5. Бор

В наш первый приезд в Индию я повез ее в знакомые мне места — заповедник Раджаджи, предгорье Гималаев. А потом перебрались на юг, взяв билеты на единственный поезд, куда еще были на ближайшие дни. И вышли в Нагпуре, штат Махараштра.

В этот город туристы не заглядывают, смотреть там вроде бы нечего. Бродили по непролазным мусульманским кварталам, ели чудесный бирьяни с козлятиной и наведывались в лесной департамент разузнать о заповедниках в округе и, при удаче, съездить с егерями в патрулирование леса, чтобы потом, не рискуя столкнуться с ними, ходить в джунгли самим.

После нескольких визитов к чиновникам оказались у замминистра, пили чаи, разговаривали, смеялись, Тая фотографировала, приходили и уходили его подчиненные, принося какие-то трешевые буклеты для нас, в общем, становилось все ясней, что этот милый толстяк вряд ли что-то дельное нам посоветует, сам он в джунглях, похоже, никогда не был.

Когда вышли из его кабинета, к нам подошел щуплый, похожий на фитилек, библиотекарь и прошептал, что, если мы хотим в настоящие джунгли, нам нужно идти на Zero-mile и найти там Сурию Кумар Трипати.

Нулевая миля, солнце… Ничего не понятно, но мы нашли. Нулевой милей оказалась площадь неподалеку,

где находился егерский офис. В маленькой голой комнате, особняком от зала с клерками, сидел лучащийся человек неведомых лет. Перед ним на пустом столе стоял чай — не по-индийски, а в стакане с серебряным подстаканником, черный, с лимоном. Я присел напротив него, Тая чуть в стороне. После нескольких фраз мы оба с ним примолкли, глядя друг на друга. Возникло чувство, что встреча особая. И что на этот раз мне не нужно играть двойную игру, а можно говорить открыто, чего мы хотим.

Джунгли, значит, сказал он, лучась и лукаво щурясь, и правая его рука выдвинула ящик стола. Настоящие, значит, и чтобы быть там вдвоем? И положил на стол ключ. Это от моего домика в тигрином заповеднике Бор. Автобус через полтора часа с западной автостанции. Поезжайте, и, думаю, не пожалеете. Да, не забудьте купить в городе еду на первое время, потом разберетесь — в пяти километрах есть деревушка Хигни. И вот еще, он вынул лист бумаги и нарисовал план, как ходить в заповедник по обеим сторонам озера, которое прямо за домом. И купите сим-карту, это, конечно, прекрасно, что вы не пользуетесь здесь телефоном, но — пожалуйста, так было бы лучше. И улыбается. Но за улыбкой — ни свет, ни тьма, а некие ландшафты, подмигивающие друг другу. Потом он будет не раз исчезать из виду, и особенно, когда связь с ним крайне нужна, и возникать, как ни в чем не бывало, лучась в объятьях.

Добрались, расположились в его егерском доме и каждый день проводили в джунглях, беря с собой запас нехитрой еды. Иногда я ходил один, Тая понимала это, да и самой ей нужны были эти паузы. Неделей прежде, в Раджаджи, она столкнулась с тигром, прямо рядом с деревней. Я был в глубине леса в это время, она ждала меня в номере, а потом решила пройтись мне навстречу,

днем раньше мы уже ходили этой тропой. Только вошла в лес и столкнулась с ним, у него еще, как она сказала, рыльце в пушку было, а перед тем заполошное кудахтанье слышала с той стороны, откуда он вышел из зарослей. Видать, петухом лесным завтракал. Вышел, прянул от неожиданности, замер, глядя на нее, медленно повернулся и ушел. После этого она уже не подначивала меня сходить вместе на ночевку — мол, видела она в своей молодости и не такие леса. Это когда она в геологической партии работала, вертолетные заброски в тайгу на месяцы, одна девушка среди мужиков, но, говорит, никаких притязаний не было, вот только с медведями бедово, много их там. В общем, некоторый опыт у нее был. И тут, когда перебрались в Махараштру и поселились в этом тигрином заповеднике у Сурии, она говорит тем утром: нельзя мне сегодня в лес, дни начались у меня, но если уж так хочешь увидеть тигра — идем.

Вроде как в шутку сказала, вспомнив таежный закон для женщин: не отходить от лагеря в такие дни, медведь кровь чует издалека. Улыбнулись — и пошли. Не думаю, что дальнейшее было с этим связано, но черт его знает. Все эти дни даже следов тигриных не видели. И лес волшебный, и погода, и первая наша Индия, как-то расслабились мы в тот день. Идем, тихие, радостные, по сторонам смотрим. И не видим. Вот стадо оленей, вдруг всполошенное, пронеслось впереди, пересекая поляну. Не от нас ведь. И вскрикивают вдали, не успокаиваясь. А мы идем, как бы не замечая. А потом попугаи взмыли с деревьев. Не от нас. И лангуры взволнованные подают сигналы с верхних веток. Очевидно же, и знаю все это, а тут — как выключено что-то внутри, такое блаженство, идем себе, и улыбка с лица не сходит. И дальше — в нескольких

шагах от тропы, в непролазном овраге — громкий шорох, кто-то крупный метнулся и затих. Остановились, присели, вглядываемся, ничего не видно сквозь заросли. Еще пошутил — нельзя, мол, садиться на корточки, а то тигр может принять за кабанчика, как того лесника, которого недавно разорвал в этом же заповеднике. И идем, о чем-то разговариваем...

И вдруг. Стой, шепчу, и сжимаю ее ладонь. Тигр. Где, спрашивает. И уже видит его. В пяти шагах от нас. Лежит на обочине тропы, на пригорке, смотрит в упор. Лежит недвижно, желтые глаза, голову положил на лапы. Один прыжок, с места, и все. Пока не знаю, что делать. На дерево? Но ближнее — за спиной и втрое дальше, чем он. Да и не на первое попавшееся лезть ведь. Я на дерево, шепчет она. Подожди, говорю, стой рядом. На поясе у меня нож, и рука вроде уже там, но это смешно — игрушка против тигра, рука переместилась выше — к камере на груди, пытаюсь навести на резкость, но мешают травинки у его глаз. Черт, шепчу, черт… Никак. Лежит, не сводит глаз. Чувствую, ее уже нет рядом. Оборачиваюсь — она на дереве. Возвращаю взгляд к тигру — нет его, только трава еще колышется вслед за его уходом вглубь.

Уж не знаю, почему и как — ведь все понимал, нельзя это делать, никуда он не ушел, только перелег в густую траву, где невидим, и ждет в нескольких шагах от меня — и медленно переступая, иду к нему, продолжая держать камеру чуть ниже лица. Трава выше моего роста, желтая и настолько густая, что на вытянутую руку свою ладонь не видишь. Тая кричать начала. Как потом сказала, чтобы, может быть, как-то отвлечь его, спасти меня. Не кричи, я ж ничего не слышу тут, после каждого шага замирая, вслушиваясь. Обернулся к ней:

смотри за спину, прикрой меня, он будет обходить… Кричит, не слышит.

Еще несколько шагов делаю к длинному просвету в траве. Он стоит в конце просвета, смотрит на меня, и вдруг издает этот рык… Не тот, который мы слышим в зоопарках. В НАСА его изучали — низкие частоты, приводящие в ступор оленей. И скрывается в траве. Похоже, будет обходить справа.

Медленно отступаю. Слежу за верхушками стеблей, недвижны. Где ж он? Еще шаг назад…

И тут — прямо из-под ноги — он вздымается надо мной. Именно над, я помню его морду и, кажется, даже выдох в мое запрокинутое к нему лицо. И отшатывается в сторону. И меня, как волной, отшатнуло. И тут же за моей спиной вздымается второй, зеркально. И уносится вслед за первым. Удаляющийся треск в кустах на пригорке. И тишь.

Я не должен был уцелеть. Так не бывает. Два взметнувшихся надо мной языка пламени, и я между ними. Голова первого была так близко, что глаза и ощеренная пасть на миг перекрыли небо. Даже страх не успел сковать. Он был, накрывал волнами, но перед тем — пока передвигался в траве вслепую. И особенно, после того как увидел его в просвете, зная, что он, похоже, будет меня обходить, подкрадываясь. Зная… В ту минуту, когда не один, а двое уже подобрались и залегли по обеим сторонам от меня, в шаге. Не бывает. Может, меня и нет уже? И все это мерцает в тающей памяти уже по ту сторону?

Стою. Только сейчас начинает проступать все прожитое за эти несколько минут. Тая уже не кричит. Возвращаюсь на тропу. Она спускается с дерева, а я все вглядываюсь в даль тропы: должны выйти, еще обернуться…

Похоже, они шли за нами все это утро в течение нескольких часов. Слава богу, что, видимо, молодые, неопытные, как потом предположил Сурия. Ну и еще, наверно, я отчасти дезориентировал их с территорией, так оголтело заявив на нее права. И жив. Не редкий случай, а уж не знаю, как назвать.

Идем отсюда, быстро уходим, говорит Тая. И в лице испуг, решимость и какая-то отрешенность одновременно. Понятно, что препираться с ней сейчас не выйдет. Отошли на луг, опустились в траву, молча. Как мне хотелось тогда разделить с ней все, что произошло. Словами, чувствами, взглядом… Не разделишь. У нее свое.

#6. Почта

— Люба, люба… трудно мне, я, как за стеклом, и пока не знаю, что с собой делать — где Индия, где я… Завтра в джунгли. В какие и кто — нет ответа. От меня только речь и осталась, да и та сгорит как спирт.

— Мы разминулись всего в семь минут. Жаль, что не застала тебя. Надеюсь, в лесу ты перестанешь биться в это стекло — и наконец почувствуешь и себя, и мир вокруг. В Мелгате, если доберешься туда, должны водиться панголины. Лёнька пошел первый день сегодня в школу, еще неделя — и снова каникулы. Мы прочли «Затерянный мир», начали «Трех мушкетеров» — он все это хочет, не рано, кричит, не рано, ты мне все объяснишь, если я не пойму что-то.

— Мобильная связь тут никудышная. И света нет. В Раджаджи видел лепара — с двадцати шагов. А в Боре был между двух тигров — вплотную. Ах, люба, мне

так много тебе рассказать надо, но где взять еще тысячу лет?

— Хочется сказать: подожди, подожди, дай опомниться, не выкладывай в фб больше. Я пока еще не могу говорить о снимках, только рассматривать. Чувство огромного мира и дара — но ты как будто чуть в стороне от этого. Знаешь, будто тебе положено делиться, раз уж так одарили, но ты вроде и сам не слишком этому рад.

— Именно так, и я болтаюсь между небом леса и этой публичной землей, как в петле. Но и с лесом не все так просто. Когда я с Таей, мир обступает меня, но именно об-ступает… Без истории речи, коллизий зрения, без «другого». Видел нашего Мохаммед-Хана, жив еще, представь, сидит у хижины, ухаживает за маленьким слоненком, как когда-то за Йогином. А Йогин вырос в девятилетнего слона уже. Даже вроде узнал меня, правда не сразу. Ты мне как-то тревожно снилась сегодня.

— У меня странная неделя и настроение, и я очень жду поездки в деревню — устала от Москвы и хочу побыть в тишине. Все, что ты выкладываешь, я читаю, вижу. Мне только трудно отвечать — скорость внутреннего отклика настолько опережает слова, что произносить их мучительно. Эти он и она, которых ты назвал акварелями джунглей, ранят в самое сердце. А стихи — из любимых и особенных — с райским отсветом и неприкаянной этой нежностью, с этим невозможным да, опоздавшим на тысячелетие. Моя, до щекотных мурашек, муха, которая, прости господи, была Петраркой. Мне что-то грустно совсем, Взро.

— Я уже в Мюнхене. Лето тут, птицы заливаются, а воздух темен. Нет ли у тебя — у меня — еще одной, другой жизни? Почему ты молчишь, Гесиод?

— Смерть Рашида произвела на меня странное впечатление, не перестаю об этом думать. В самадхи я почему-то не верю, думаю, что это Ханси продолжает его мифотворчество. Но с ним откололась и ушла какая-то огромная часть прошлого, светлого, невозвратного — он все-таки действительно был, пожалуй, не свами, а великим катализатором и провокатором, расшевеливая в нас что-то очень важное. Был ли такой уход в его списке судьбы, в который он так слепо верил — или делал вид, что верит? Мне будет не хватать его — или, по крайней мере, мысли о том, что где-то в Индии он есть. У меня какое-то мучительное перепутье, и я пока ничего не могу решить. Это, конечно, здорово осложняет все. Но как-нибудь да будет. Лёнька был очень взбудоражен разговором с тобой — и, по-моему, он начал ощущать нехватку этого в своей жизни. Я небольшими набегами читаю твою новую книгу — а другой темп для нее, похоже, и не подходит. Она удивительная. Ты идешь при полном ветре. Вообще, думаю, эти годы — самые плодотворные у тебя.

— Мы с Лёнькой, кажется, неплохо повидались по скайпу, хотя и «за нумизматикой». Он раскладывал пасьянсы с карточками, как Рубинштейн, и декламировал английские слова, отодвигая лишнее и неизученное. Я предложил ему выучить какое-нибудь новое, но особенное слово, странное, которое было бы нашим паролем. Который мы могли бы менять, — добавил он. Ну да, менять, пусть он скажет на русском, а я переведу и запомним. Ну, например, забвение, говорю, и хотел пояснить, но он снисходительно заметил, что, мол, понятно. И предложил «любовь». Любовь, говорю, ведь довольно распространенное… Но и странное ведь, парировал наш Монтень. Сказал ему о новой своей книжке, о том,

что в ней есть и о нем, и о нас, и что может быть, когда-нибудь он прочтет. Да, ответил он, вот «Таинственный остров» дочитаю и тогда…

— Я как-то не ожидала, что ты уже летишь в Индию. Трудное ты затеял дело с группами, но я очень надеюсь, что и в этот раз тебе хватит куражу, и легкости, и одного хлопка ладони, чтобы все это осуществить. И пережить. Мне так много радости от твоих писем, от перечитывания их, а от книги так нестерпимо — и единственно возможно, что я живу абсолютно косноязычно или даже немо: боюсь расплескать все, что у меня есть. И еще — только что пришел перевод от тебя, но там что-то слишком много, ты не ошибся? А грустно мне оттого, что теперь в Индии тебе не до нас. Но пусть у тебя все получится. Пиши нам, когда будет возможность, ладно?

— Мы уже в Харнай. На подъезде двадцать пять человек, три группы, одна за другой. Писать я буду, дело не в суете, а в отсутствии интернета, на мобильном только, и то — ловить надо. Что же тебе сказать? Ну вот сегодня, например: съездили в соседний городок, я очаровал босса местного Газпрома, он выпишет нам газовый баллон с плитой, что оказалось делом государственной важности тут, даже индусам положен только один баллон на семью, потом — пройдя по рынку и выйдя обвешенным дюжиной кульков со всяческой хозяйственной дребеденью, я ввалился к редактору краевой газеты и вывалился оттуда весь в цветах и аплодисментах, по пути купив модем и, сросшись в объятьях с наладчиком модема, оказался в харчевне, где навернул полведра тали и утих в кресле стоматолога… Однако и пригорюнился: полторы тыщи долларов будет стоить то, откуда прежде доносились слова и ветер. Мы уже арендовали вереницу

дивных четырехколесных вахан, сняли несколько кварталов дворцов и хижин и договорились с эскадрой кораблей. Теперь осталось выбрать из них то, не знаю что. А! Вызвали сантехника и установили гизер на Луне. Потом пришли две маленькие тихие незнакомые девочки и вымыли пол. Ты опять не сказала, что Лёньке прикупить, — мама все равно собирает посылку, пусть бы полезное было. Вот тебе на дорожку — надпись Ашоки на камне, три с половиной тысячи лет назад: «За двадцать шесть лет, прошедших со дня моей коронации, многие животные были взяты под защиту: попугаи, дикие утки, летучие мыши, черепахи, рыбы, белки, лани, дикие и домашние голуби и все четвероногие твари, не годные для еды; кормящие козы, овцы и свиньи; детеныши, не достигшие шести месяцев».

— Я рада, что ты не один и в твоих описаниях снова появилось местоимение «мы». Нам разны дороги, твоя — святая, а мне, мне сеять мой рис и чай. Только что пересмотрела Пять вечеров. И мне почему-то стало светлей и легче. А еще у меня есть новый альбом Федорова. Я еще продержусь.

— Насчет «мы». Раз двадцать у нас с Таей уже захлопывалась дверь. С обеих сторон. Мчусь сейчас в соседний городок — драть зубы и везти баллон с газом и плитой оттуда — одновременно. На этой неделе виртуоз собрался выдрать у меня два, пройти каналы в пяти, поставить мост и загрузить железо в десну под два импланта.

— Даже не знаю, что сказать тебе, чтобы подбодрить. Не обижайся на меня, мне правда, с одной стороны, хочется видеть тебя с распушенным хвостом, а с другой… Ах, как все трудно и не так, как должно было быть — от

этой неизбывной муки я и болею, наверно, все время. Ты красивый на фотографиях, и девушка, знаешь, тоже, она тебе как-то идет. Не могу сказать, что мне радостно это видеть, не буду лукавить — все же больно. Но если у тебя все так ладится, значит, не такой уж немыслимый зазор между вами. Ну, я сейчас запутаюсь — просто хочу, чтобы у тебя длилась эта невероятная Индия, пусть даже и без нас. Вчера нежданно-негаданно попали в зоопарк, смотрели на маленьких пингвинов и тюленей, ходили к беднягам слонам. Мне бы очень хотелось, конечно, свозить его в Ришикеш — на его родину, но пока все выглядит как мечты. Здесь метель и мрак. И мне очень трудно все это дается. Пусть у тебя все складывается — так же чудесно и непостижимо, как всегда.

#7. Мандала

Сома, напиток богов, за который порой отдают и речь, и душу. Он же — бог, Луна, и блаженство, и жертвоприношенье. У индусов. А у греков сома — тело.

Где ж мы? Трудно сказать. Где-то в лесной глуши, примерно в полусотне километров от нашей деревни Харнай. Привез нас сюда на мотоцикле случайный знакомый. Сидим на крыльце избушки у кокосовой плантации, рядом озеро, в котором вроде бы крокодилы, за ним на холме хутор. Сторож угощает кокосом. Похоже, именно то место, о котором мечтали, чтобы побыть на природе — с палаткой или без, потому как сильно истосковались по джунглям в нашей рыбацкой деревне. Океан, притороченный к зрачкам дни напролет, конечно, прекрасен, но лес из него не растет и слоны по волнам не бродят. А тут можно расположиться у шалаша, развести костер

и ждать в ночи гостей — леопарда, например, и других обитателей, чтобы поговорить с ними о том, что их по-настоящему волнует — о Махабхарате, Упанишадах…

Или вот о гандхарвах и нагах. Верней, нагинях. Что-то меня эта тема последнее время морочит виденьями. Те и другие — полубоги, полулюди. Первые — жители небесного миража, вторые — подземного царства. Гандхарвы — крылатые вестники, отблески, музыканты. В поздних источниках — сродни кентаврам. Или с телом нильгау? Наги — змееподобны, с человечьими головами, стражи сказочных недр. Те и другие — носители добра и зла, по обстоятельствам и настроению. Те и другие ходят к людям, первые соблазняют женщин, вторые — мужчин. Между собой в любовные отношения не вступают. Нет свидетельств. Столкновения были, наги пожаловались Вишну, он уладил. А однажды боги направили к гандхарвам богиню Речи с тем, чтобы она вернула похищенный ими волшебный напиток сому. Речь явилась им в облике Сарасвати, жены Брахмы, гандхарвы готовы были отдать ей сому, но в обмен на нее саму. Она согласилась, но ускользнула, вернувшись к богам. Вроде бы. Потому как отчасти и осталась. Не разглядеть. Как сияющий лотос, растущий из топкой непрогляди.

Сторож разделывает кокос: в одной руке держит, другой тюкает кривым ножом по его темечку, сковыривая «воротца радости» и углубляясь к амброзии. Похоже на разделку головы каким-нибудь лириком-каннибалом. Или эпиком, если нет недостатка в соплеменниках. Ну что, говорю, попробуем, отведаем сок этого кокоса, его душу. И тем самым, как учит тантра, станем им. О, я уже чувствую, как неотвратимо с каждым глотком становлюсь этим coco… nut, что означает также и чокнутый.

Тая смеется. Ну а ты могла б и не пить, мы и так пара, та еще.

Допили, еще помаялись там, легли под деревом, кого-то ждали… А потом ушли — на тот хутор, и спустились сквозь бурелом к озеру — высматривать крокодилов…

Во что ж она была одета? Не помню. Со спины, такой стройной, родной и легкой, так изумлявшей меня всегда и влекущей. А ниже — еще невозможней. Со спины, то ближе, то дальше. Так и шли, каждый в себе. Все эти годы. В себе, и вполглаза друг с другом. Так, чтобы не потерять из виду. Или потерять, но найти. Вполглаза и вполовину того, что не давало ни собой пребывать, ни нераздельно. Все как-то ближе, дальше, и под углом, с осторожными внутренними перемещениями, как танец на минном поле, тихом, солнечном, райском. Танец двух тел, созданных друг для друга, как никогда. И это не только про тело. А потом в них вдохнули все, что будет внутри.

Так и жили — как существа двух разных сред, стихий, языков. На переправе, на краю, на той мучительной полосе отдаления от себя и неприближенья к другому. С осторожным танцем скольжений вдоль кромки. И казалось бы, все так в лад, даже спиной к спине, молча. Или ладонь в ладони, на разных берегах. Которых нет, а есть лишь эти двое как одно свеченье. Но стоит оступиться чуть и соприкоснуться в них тому, что, собственно, и есть их жизнь — и не найти друг друга.

Там, в Харнай, в нашем доме на краю света с окном в океан. Окном, под которым он терся своими боками об утлые стены во время прилива, а потом отступал в даль, оголяя лунное дно с одиноким мангровым деревцем, в нашем счастливо пропащем доме, где стояла

большая кровать и больше ничего, кроме окна с краем света и веранды с милой облущенной балюстрадой, где мы так любили жить — так чутко рядом, чтоб не сказать вместе. С этим чувством дома, впервые у нее и у меня, на двоих, почти нашим, чтоб не сказать… И этой индийской семьей внизу, ставшей почти родной.

А по вечерам, возвращаясь с покупками с рыночной улочки, сворачивали во тьму, идя на ощупь в ее тихую глубь к храму Махадев, который был почти всегда на замке. Верней, не к нему, а на подворье с несколькими маленькими храмами. Вот Махадев, напротив него — бычок Нанди, стоящий в домике о двух стенах по бокам, как в хлеве. Слева во тьме — лингам, вершину которого не разглядеть, а справа внизу — йони с остатками влаги. Рядом с Нанди — избушка на курьих, оттуда порой доносились чьи-то печальные вздохи и временами тихонький храп. Там, видно, жил один из деревенских бомжей. И совсем уже в глубине — маленькая часовня Ханумана. Это храмовое подворье было окружено плетнями обращенных к нему деревенских хат. Но неприметно, будто и вовсе не обращенных. Сюда на ночлег собирались бродяжные коровы и укладывались — там, у йони. Иногда подворье по краю пересекали лошади, бог весть откуда и куда, да и чьи. А Нанди был чудесен, из светло-серого камня, с головой украшенной свежими цветами и затепленным огоньком у ног, со сказочными очами и слегка удивленным выраженьем лица, сделанный каким-то мудрецом двух небесных лет от роду. Если ему нашептать на ухо сокровенное — говорят, сбудется. Однажды, в самом начале, она сосредоточенно прикрыла глаза и что-то ему нашептывала. А потом я. Так никогда и не сказали друг другу что.

Храм этот был построен вдовой адмирала Канханджи Энгри, того самого «самудратлы», грозы всех морей, который по указу короля построил индийский флот на здешнем острове, где мы так мило предавались робинзонству и любились, любились — во все ангельские и тяжкие. А потом я сидел на камне у воды, перепоясанный индийским флагом, читал Чехова, а она ложилась на маленьком пляже за мысом.

Да, всякий раз, возвращаясь, мы заходили сюда, в этот волшебный мир за дверцей, которой не было. Тая садилась рядом с Нанди, стоявшим в своем хлеве между мужским и женским началом мира, а я топтался туда-сюда и вокруг, но чувство было как в близости или во сне.

Однажды купили много свечей, пару сотен маленьких шайбочек, и начали выкладывать на земле перед Нанди узор, мандалу, по наитию, не зная, какая фигура получится. Молча, каждый по-своему, но единый узор на двоих, он разрастался и превратился в необычайной красоты ранголи. И мы затеплили его во тьме, а из остатка свечей выстелили две огневые дорожки в обе стороны от этой мандалы: одну — к лингаму, другую — к йони. А из ближнего дома вдруг проступили… Даже не люди, казалось. Приблизились тихо, склонились, коснулись пальцами ее ног, моих. И, постояв, глядя на этот горящий узор, так же безмолвно исчезли. Из того дома, где храмовая семья жила. А потом коровки вышли из тьмы и легли поблизости. И тишь, звезда над хлевом, как там, в Назарете… Чуть отошли, чтобы увидеть все это, и — нас не стало.

Кто где бродит в этой чуткости, за миллионы лет друг от друга, и на что оттуда глядит. Жизнь что-то шепчет

нам на ухо, сокровенное, как мы — Нанди, только не разобрать, на каком языке, даже если и слышим.

Есть в древней Вишну-пуране, фрагменты которой когда-то переводил, такие строки:

Что говорить.
Во всем, что ни возьми на свете,
есть лишь она и он.
И, кроме них, ничто не ново.
Он — смысл слова, а она — звучанье.

Вспоминал это, расходясь с ней, всякий раз с запекающейся по краям разрыва немотой. И снова сходясь, как срастается разъятое тело.

#8. Бор

Прошло время, и мы вновь оказались в заповеднике Бор в домике Сурии у края джунглей. Сколько ж прошло? Я мог бы сказать точнее, но это не приближало к реальности: в том, что происходило у нас, время все больше становилось узорчатым, не линейным.

Собирался я ехать один, уже несколько месяцев как связь с Таей прервалась. Думал поселиться надолго у Сурии и попробовать снять фильм о нильгау, мифических антилопах, самцы которых в профиль похожи на единорогов, а самки, вдвое уступая им в росте, ходят в бежевых сорочках, выгуливая детей, пока эти султаны цвета грозового неба стоят вдалеке под тенистыми деревьями и недвижно глядят в иные миры.

Нильгау, что означает — голубые коровы. Этот индуистский отсвет отчасти и спас их от истребления. Хотя облик их вряд ли соотносим с коровьим, прежде их

называли «голубые лошади». А греки, увидев их, совсем пришли в замешательство, приняв за химеру, смесь верблюда, быка, лошади, антилопы и козла. Boselaphus tragocamelus, как значатся они в науке.

По одной из легенд, Брахма воспылал страстью к своей совершеннолетней дочери. Не без взаимности. И, приняв облик нильгау, они сошлись. Нехорошо это, вздохнули боги сверху, ох нехорошо, Брахма…

Казалось бы, все о них известно. Тем не менее, как это нередко бывает, обманчиво близкое и привычное оказывается по-настоящему так и не увиденным. И вот я подумал о фильме, если повезет приблизиться к ним — день за днем, настолько, чтобы войти в их мир. Договорился с Сурией, что приеду на месяц или больше. Но в последний момент, как это уже случалось у нас с Таей, восстановили связь, встретились в аэропорту и полетели вместе.

В джунгли ходили, как и в первый приезд, то вдвоем, то я один, а она оставалась в доме — перевести дыханье. Или съездить в ближнюю деревушку Хигни за продуктами. Но главное — дать мне побыть одному в лесу. Мягче, терпимее стали друг к другу. Но и какое-то чувство тоски, печали, мягкого прощального света, что ли. В этом почти понимании, бережности друг к другу. Какая-то ноющая безысходность. Или только казалось так временами.

Подобраться к нильгау ближе сотни метров, если не на джипе, очень непросто, а будучи потревоженными, они уносятся за горизонт. Я же мечтал приблизиться на считанные шаги. День за днем. Выходя еще затемно, чтобы пробраться в заповедник незамеченным, и дальше — вдоль озера до первого луга, где можно было сделать привал. На этих привалах я иногда включал камеру и, пока

перекусывал, что-то рассказывал — вроде как сам себе, но и некоему незримому собеседнику. А по лесу шел и снимал молча, особенно когда подбирался близко к животным.

На третий день, к тому времени сняв уже несколько часов лесного дневника и даже семью нильгау, правда, с большого расстояния, я присел на ближнем луге под избранным деревцем с уже обустроенной засадой и хорошим видом.

С лесного холма за моей спиной к этому часу обычно выходит к озеру стадо нильгау. День чуть в дымке, где-то под тридцать градусов, но у озера ветерок, легче. Удод прилетел, инспектирует мою засаду, что-то нашел под ветками. Сейчас, говорят, десять тигров в этом небольшом лесу и двадцать леопардов. И много медведей-губачей пришло, эти аутисты поопасней тигров. Уткнувшись в землю, медведь не видит тебя, а потом уж поздно, он от неожиданности становится агрессивен. А так — милый вегетарианец, с добавкой термитов и муравьев.

Однажды на закате возвращались с Таей из джунглей, подходим к этому лугу, а там семья нильгау вдали пасется, но ближе не подойти — открытое пространство с редкими деревьями, а между ними — низкорослый колючий кустарник. Может, попробуем? Нет, говорит, я тебя тут в тени подожду. Встал я на четвереньки и двинулся, камера волочится по земле, прихватил шлейку зубами, чтоб повыше была, и так передвигаюсь, морщась от шипов — тьмы их, этих ненасытных кинжальчиков. Стелюсь вровень кустарнику и осторожно выпрямляюсь, прижавшись к дереву, смотрю: далеко еще, но пока меня еще не заметили, пасутся. И снова стелюсь в траве, выглядывая, замирая, уже весь усеян этими шипами, о коленях можно

только догадываться, кровоточат сквозь штанины. Подумал тогда: ни к одной женщине так не полз на коленях. Потом, вернувшись к Тае, выдергивали эти колючки — она из моей снятой одежды, я — из тела.

А в другой раз по ту сторону озера выхожу из леса к лугу, где пасутся большие стада нильгау, оленей и несколько семей кабанчиков. Ближе не подобраться, но между мной и лугом резвится стая лангуров. И вот решил я прикинуться лангуром и, пригнувшись, помчался длинными прыжками, вскидывая и подволакивая под себя руку, как они. И так приближаюсь к оленям и нильгау, а они, бросив пастись, удивленно всматриваются, пытаясь понять, кто же это, что происходит, но и не подавая сигнал тревоги. Обернулся: лангуры провожают взглядом — мол, ничего, дружище, нормально для первого раза.

В один из дней мы убрели с Таей далеко вдоль озера и оказались в лесу, не похожем ни на что из прежде здесь виденного.

Вроде бы ничего уж такого необычайного: деревья-великаны среди разночинной поросли, перекрученные занавеси лиан, под прихотливым углом уходящих в непроглядную высь, русла ручьев, заваленные валунами, грязевые ванны с испещренными следами зверей подходами, солнечные лучи, вяжущие на спицах этот тенистый сумрак. Лангуры, сидящие по одному на пригорках, как в театре, держа в руках незримые программки, медитативно глядящие то ли в них, то ли в линии своих ладоней. Олени, вдруг появляющиеся и оставляющие по своем исчезновении призрачно колеблющуюся полость, чуть темней воздуха. Кабанчики, опустив головы к земле, семенящие стороной небольшими отрядами. Самцы

нильгау, стоящие под деревьями, глядя вдаль… И — уже через несколько минут — никого в лесу, будто необитаем, тишь, только огромные бабочки, как листья кружась, опадают с деревьев.

И вдруг лес оглашается неземной трелью. Кто же это? Кто там так изнемогает от любви? Где эти моцарты нежной страсти? Кто это повторяет там на все голоса: я люблю тебя, я люблю тебя, я тебя так люблю, как никто еще в этих джунглях не любил! Ах, вот это кто! Дендрасита вагабунда! Коричневая индийская сорока. Надо же, кто б мог подумать. Двое их там на ветке — он и она. И признаются друг другу попеременно, прям с подскоком от избытка чувств, такая любовь!

В том дальнем баснословном лесу есть отдельно стоящее большое, почти сухое дерево, раскинувшее в небе еще живые руки, а тело оплетено и выпито лианами. На высоте нашего роста в нем разветвление стволов и удобное седло для наблюдений за округой. Тая облюбовала его. Порой я оставлял ее там, отлучаясь на берег озера поснимать нильгау. В одну из таких моих отлучек у нее произошла дивная встреча с оленем-великаном. Она тихо сидела там на дереве в засаде, еще и обустроив ее ветками перед собой, чтобы ее было меньше заметно. Полуденный час, лес кажется пустынным, звери пережидают зной в чаще. И тут он выходит, огромный, старый, весь в шрамах, но все еще крепкий. Одинокий, давно и навсегда уж без семьи, без женщин. Темно-коричневый, с большими ветвистыми рогами. Подходит к грязевой луже, рядом с которой на дереве сидит Тая, поворачивает к ней голову и долго смотрит ей в лицо. Расстояние между ними несколько шагов. Удивительно — не бежит, напротив — кивает головой, смотрит и кивает. И, как

она потом рассказывала: я не знала, что делать, и тоже невольно начинаю ему кивать. А он ложится в эту грязевую лужу и неторопливо принимает свои ванны, временами запрокидывая голову и таким до невозможности человечьим глазом глядя на нее. Человечьим, заколдованным… А потом стоит перед ней — грязный, старый, великий и прекрасный. Пригибает голову к земле, и что-то чертит — вначале одним рогом, потом другим… Что же, спрашиваю, — ты прочла?

Такая встреча была у нее. А у меня в это же время происходила другая — у озера, куда вышла семья нильгау, только женщины — с детьми и без. И вот одна из них, цвета дюны в облачный день, длинноногая, с тонкой высокой шеей и удлиненным лицом, чуть матовым, как на старинных гобеленах, подняла голову и начала вглядываться в ту сторону, где я стоял вдали за деревом, невидим для нее. Долго смотрела, потом подошла к рукаву озера и поплыла. В мою сторону. Оставив на берегу семью, ребенка, не оглядываясь на них. И, выйдя из воды в прибрежную осоку, неторопливо близилась, вдруг замирая и будто о чем-то задумываясь, выбывая из времени, шла сквозь эту тонкую сухую, дюреровской иглой написанную траву, и вновь замирала. А я стоял на пригорке, вжавшись спиной в колючий куст, и хотя понимал, что она идет не ко мне, даже когда остановилась напротив и повернула ко мне голову — вряд ли меня видела, но чувство было такое, что незримая нить так натянута между нами, что ничем ее не оборвать. И не объяснить. Не видела меня — и не сводила глаз. И длилось это нестерпимо долго. Такого опыта у меня никогда не было — совершенно недвижно стоять в течение часа с камерой у лица. Которую потом уже опустил и просто

стоял, смотрел, как и она на меня. Оба не шелохнувшись. Кости ныли, казалось, очертанья наши уже никогда не отомрут. И тут что-то дрогнуло в ней, обмякла, и так же задумчиво побрела по воде обратно. Что же она хотела, почему перебралась на эту сторону и стояла напротив меня — видя-не-видя? Какой-то в этом был знак, сообщение. Таким и осталось. Лишь нить.

У нее с ним, у меня с ней.

Дронго вспорхнула, похожа на ласточку, черная. Медсестры лесные, сядет на нос нильгау, осматривает, чистит кожу, а тот терпит. И так по всему телу. Дронго, говорят, знает около пятидесяти языков других птиц и животных и обладает когнитивными способностями, близкими к нашим.

Вот так идешь по лесу и думаешь, а где же звери, как бы так исхитриться увидеть, а в это самое время лес полон глаз, следящих за тобой. И слон в десяти шагах стоит в зарослях, и тигр меж веток глядит на тебя в упор, а ты ни сном ни духом. Хорошо еще, если днем. Ночью тут другие законы. Был у нас этот опыт с Таей.

Красноголовый дятел выглянул из-за ствола. Зеленых я видел тут, а красного впервые. Сунул в дупло голову: что там? Ничего особенного.

Олени вышли на луг. Казалось бы, просто олешки пятнистые, или, как их называют индийцы: читал. Кто их читал, кто их писал этой детской божьей рукой? Я помню этот белый карандаш в детстве, особый, и с какой любовью, но странной, к нему тянулась рука… Могу представить, как старательно-самозабвенно он рисовал эти белые крапинки на только что созданных им олешках, на бежевых сорочках барышень и камзолах юношей

с замшевыми деревцами на головах. И как непросто было достичь у них этой мягкой линии губ между чувственностью и сдержанностью. Вчера наблюдал за одним юниором, стоявшим чуть в стороне от стада и упражнявшимся в подаче сигнала тревоги. Отрывисто вскрикивал, усердствуя в выражении лица, и притопывал передней ногой. С каждым разом у него получалось все лучше, и наконец он довел это, казалось бы, до совершенства, и оборачивался к стаду, которое должно было при этом сигнале броситься врассыпную, но никто не поворачивал к нему головы, продолжая пощипывать траву и общаться друг с другом. Так и стоял этот пионер растерянно и одиноко на пригорке, не понимая: как же так, и где кончается искусство и дышит почва и судьба? Это знают павлины, но в мае, а сейчас январь, рано еще. На хинди павлин — маюр, самочки маюров кричат, как вакханки в предчувствии растерзанных дней, но еще не вечер. В этом стаде оленей бродит одинокий байрон, прихрамывая на переднюю левую. Чувствуя себя другим. И женщины нет с ним.

Пора было возвращаться. Да, провалил явку. Сидел ведь тише травы, ждал, когда стадо нильгау появится, а оно запаздывало, солнце уже садилось. И тут вдруг, в ложбине за моей спиной, какой-то звук, похожий на хрюканье, и стихло. Я выждал. Приподнялся, дурень, выглянул — а это стадо нильгау вышло — прямо ко мне, и подымалось из ложбины, ветка под ногой у кого-то из них хрустнула. Большое стадо. В нескольких шагах. Мечта невозможная. И свет такой чудесный, закатный, как раз по солнцу для съемки. Кинулись наутек, несколько секунд — и тишь. Ах, беда, беда. Испуганы, да и запомнили меня и место. Не меньше недели теперь у этой засады смысла не будет. Надо завтра идти на дальние луга искать другое стадо.

К вечеру седьмого дня, уже на обратном пути, присел под тем же деревцем. Включил камеру. Неподалеку паслись пятнистые олени, но они не настолько пугливы, чтобы встревожиться от моего голоса, главное — не делать резких движений. А я и не делаю, неторопливо макаю зеленый лучок в соль, потом яйцо, помидор… Что-то наговариваю, надеясь, что для будущего фильма — книга джунглей, онлайн — может, пригодится.

Что ж сказать? Только что на луг выходили нильгау, ждал их, сидя почти недвижно в этой засаде. И все-таки учуяли. Самка, которая шла впереди, повернула голову ко мне и все смотрела, вглядывалась… Ну не могла она на таком расстоянии меня увидеть за ветками, но нет, вскрикнула, и все опрометью кинулись в чащу. Там и самец был среди них, чуть в стороне. Невероятное создание, последний свидетель рая. Туда и смотрит, вдруг замирая на часы, туда — сквозь опадающие, как листва с дерева над ним, дни. Единорог из книг средневековья. Абрис его и мир — явлен и непрогляден.

Только здесь, в лесу, да и то — спустя дни, месяцы понемногу начинает размыкаться твой контур. И ты — уже не совсем ты, а и вон то дерево, стадо оленей, облако, озеро, и когда все это начинает дышать в тебе, когда понимание… хотя о каком понимании может идти речь? Лишь отсвет того, что куда больше тебя, хотя и известно вот этой траве под ногой. Но и этого отсвета хватает, чтобы исподволь, незаметно — нет, не родить тебя наново, но затеплить в тебе то, ради чего ты здесь. И где-то в углу сердца начинает звенеть сверчок счастья, и ты как ребенок светел, но и темен еще как человек, и речь просится взять ее с собой. Но все, что ты пытаешься сказать или снять на камеру, сторонится всего, что не от жизни, а от речи.

Так меня порой заносило в возвышенное. Ну и ладно, не страшно. Лангур всполошился, низкий, грудной отрывистый голос, что-то его встревожило. Может, медведь? Или дхоли, красные волки?

Наверное, многое из детства тянется. Отец рассказывал, что я не раз сбегал из детского сада, связывал сандалии, перекидывал через плечо — где-то я подсмотрел эту картинку — и шел открывать миры. Разыскивали с милицией, находили к вечеру бог знает где. И эта тяга к странствиям не утолялась, росла, вот и здесь я, в общем-то, с теми же незримыми сандалиями за плечом. Да и школу я тоже прогулял на треть — несло меня какими-то товарняками по Сибири, кораблями на Север, на осле в Средней Азии, на резиновой лодке с парусом море переплывать, шататься в тайге, потом жизнь в пещерах, занятия спелеологией и бесконечные походы, походы, лес… А потом был долгий перерыв — города, люди, книги. И вдруг открылась волшебная дверь в Индию. К сожаленью, это, похоже, последний меркнущий свет. Тут около трехсот заповедников, но таких, чтобы можно было ходить в лес самовольно, почти не осталось. А без этого и жизни нет. Для меня. Трудно об этом говорить. Еще и потому, что предполагает в собеседнике какую-то долю созвучного опыта, тогда понятно, о чем речь, и можно опускать какие-то звенья, иначе этим частоколом словесным ничего не выстроить. Сближение с миром, похоже, не происходит без растождествления в себе человеческого. Хотя бы отчасти. Но хватает и этого. Ты вроде бы тот же, что и был. Радуйся, вот твой мир. И нет никого — ни в тебе, ни вокруг. И уже не вернуться.

Большая стая зеленых лесных попугаев прилетела, села на соседнее дерево. У всех шапочки малиновые, а у одного сизая, с чего бы?

Лес тут волшебный, как в светлой страшной сказке. Многослойный, со странствующими ландшафтами, вавилоном деревьев — и юных, подрагивающих на ветру, и недвижных великанов в десять обхватов, и этой желтой тигриной травой с белеющими в глубине обглоданными жизнями, с озером, меняющим облик дюжину раз на дню.

Думаем, это только у нас, у людей, миры ворочаются, Наташа Ростова, князь Мышкин, отцы и дети… Вчера из зарослей, прямо рядом со мной, вышли два брата — высокие, с ветвистыми, раскинутыми в два неба рогами, с чуткими аристократичными ноздрями и тонкими, едва заметными улыбками, а глаза глядят одновременно в шесть сторон света. И вот они отдаляются друг от друга, расходятся по стаду, где собратья им до плеча, а нити зрения между ними незримо натянуты: как бы они ни повернулись — видят друг друга. Они показывают себя, свой статус, и женщины это чувствуют, и всякий раз перегруппировывается это едва уловимое любовное пространство: вот этот брат с той дальней барышней, через головы трех подружек, и — нет ее, уже другая траектория искушений. А чуть в стороне двое юношей меряются силами, сталкиваясь лбами, и роют землю копытом друг перед другом, поглядывая на барышень, а те делают вид, что не видят. Все они видят, а ближняя показывает всем: это они передо мной, для меня! И так думает каждая, но проявляет по-своему.

Или там, по ту сторону озера, четыре года назад, на райском лугу, где сотни пятнистых оленей, кабанчиков,

нильгау, а посреди луга — грязевая яма, целебная, для гигиены, и большой умбристый олень самбар, или, как их еще называют, замбар, меняющий цвет от освещения с почти черного до светло-карего, с двумя раскидистыми рогами о шести ветках каждый, выходит из этой ямы, вдоволь навалявшись там, грязь с него стекает, подсыхая колтунами в шерсти, весь неузнаваем. И приближается к женщинам, предлагает себя. А чуть поодаль двое из них начинают его пародировать, игриво совокупляясь. Одна в роли мужчины, другая женщины. И надо было видеть, как он реагировал, как уворачивался, чтоб не глядеть… и не мог! Как, виновато пританцовывая, подходил к ним, опускался на колени, взрыхлял рогами землю у их ног, а они потешались, пировали ироничную радость, а потом как бы нехотя уступали ему и в последний момент уворачивались от притязаний. Какая удивительная была по протяженной многослойности сцена! По направлению к Свану. И это здесь на каждом шагу. Если видеть. И у бабочек, если приблизиться настолько, чтобы отчасти стать ими. Потому что тантра — это ведь не эзотерические па, а любовное узнавание себя в другом. Будь то бабочка, огонь или воздух. И когда дается эта благодать, понимаешь, что ничего, кроме благодарности — выше головы, именно что выше — у тебя нет.

#9. Ее имена

Индия — это первослон, память, трогающий хоботом останки сородичей, пыль и печаль родства. Это слон макна — исполин без бивней, валящий в поединках соперников, как солому, и уходящий в слезах, оставляющих на лице траншеи. Это низкие частоты голоса, недоступные нашему слуху, их слышат ступней. Это мать впереди

земли, и сестры. Это ход тише бабочки в гомоне леса. Это слоненок, путающийся в пяти ногах. Это трудная связь иного с человеком, но все еще связь. Это Ганеша.

Индия — королевская кобра, та, что вьет гнездо для родов, как птица. Та, что ест соплеменниц. Та, в которой пять метров яда, но сделает все, чтоб уйти от конфликта с чужеродным. Та, что, взметнувшись к лицу человека, будет стоять, глядя в глаза и по губам читая все, кем ты был и уже не будешь. Это Наг.

Индия — это умбристый олень самбар, у которого на груди проступает пятно — мокрое, неизъяснимое, словно кровоточащее, как стигмат. И особенно у взрослеющих женщин. Это Лакшми.

Индия — это тигр, царь. Тот, кто живет один. Тающий как закат, последний. И тот, кто стоит в ступоре, глядя поверх растерзанного человека, не понимая, как это случилось, но чувствуя, что уже никогда не вернуться в свои очертанья.

Индия — это нильгау, голубой призрак, в профиль похожий на единорога. В брачных турнирах самцы опускаются на колени и чокаются лбами. Это Нанди.

Индия — черная пантера, неприручаемая. Холодная ярость и «презрение к огнестрельному оружию», как на знамени Лермонтова. Это Кали.

Индия — это лангур с лицом из сгоревшей бумаги и лампадками глаз, сидящий недвижно на ветке, медитируя на заходящее солнце. Хануман.

Индия — это птица-носорог, та, что летит долгими взмахами, скрипя уключинами, или как сказочный раскладной диван. И держит инопланетную ягодку в желтом

полумесяце клюва. А потом замуровывает свою суженую в дупле дерева, оставляя крохотное окошко для свиданий и передач. И если что случается с ним — ни ей, ни детям его уже не выбраться. Гаруда.

Индия — это баньян, где ветви уходят и в небо, и в землю, и в стороны света и тьмы, переплетаясь и образуя рощу как мир без центра и края, как круговую поруку родства: тат твам аси, саб куч милега — ты есть то, и все возможно. Тримурти.

Индия — это Маугли, в начале времен увидевший у ручья — ее, наполнявшую кувшин, ту, у которой имен было больше, чем капель в ручье: Шакти, Дурга, Сарасвати, Сати… и ушедший за ней, покинув лес и создав то, что мы назовем индуизмом.

#10. Почта

— Ты, по сути, ушел в монастырь — лучший из возможных, и благодать с тобой. А противоречие в том, что из монастыря не приходят в мир, не пытаются разделить свой метафизический опыт с «до востребования», и не может здесь быть соучастников, да и зрителей много быть не может. Это одиночный путь, его даже вдвоем невозможно проделать, потому что да, он требует отказа от мира, аскезы, а наградой — свобода и счастье. Этот разговор многое делает понятным — главным образом, в отношении твоего возможного будущего. Непонятно одно: о каких же ты собеседниках сетуешь, если, по сути, они давно тебе не нужны. Все твое там: и дом, и родина, и семья. Осталось сделать последний шаг — завершить все мирские дела здесь. Но думаю, что пытаться как-то сблизить и свести эти два мира — ошибка.

— Как удивительно и уже давно не: в ту самую секунду, как звякнуло твое письмо, я отправил в фб вот это: «Об этом нельзя говорить. И здесь, и вообще. Сказал бы мне кто-нибудь лет пятнадцать назад, куда меня занесет, я б не поверил. Не с кем говорить о по-настоящему важном, ближайшем. В своей культуре, на родном языке не с кем. Так меня исподволь отнесло от этих берегов и несет все дальше. Чтоб находить мнимый приют этим чувствам и речи где-то на краю света, в безмолвии, с чужими людьми, которые ближе сердца. И в этом все твое счастье с прикрытыми глазами, зная, что открой их — и все далеко не так. Но и не вернуться уже к тем берегам, где ты жил литературой и был среди подобных себе таким — как это будет по-русски? — коммуникабельным. Что же ты говоришь, уже не с собой даже (а с кем?), когда давно уже смысл покинул тебя вместе с вопросом «кто ты?». Детский парадокс в том, что чем больше ты с миром, тем меньше с людьми. И ведь все это будет еще расти и расти». Все так, люба, как ты говоришь, и было бы совсем так, если бы за всем этим «счастьем» не стояла едва прикрытая им отчаянная горечь и почти безысходность в этом движении спиной вперед…

#11. Перешептывающиеся окна

Годом раньше, перемещаясь из Харнай на юг, добрались до Тамилнада. Казалось, впереди необъятная жизнь, вот и имя ее — Масинагуди, деревушка в тигрином заповеднике Мудумалаи, земля дравидов, голубые горы Нилгири.

Сняли жилье у самой кромки джунглей и озера, к которому выходили слоны, медведи и другие обитатели леса, а само озеро было облюбовано колонией

аистов-епископов, сидевших на высоких, с четырехэтажный дом, кустах бамбука, которые вихрасто расходились перевернутым конусом к небу, но чаще наоборот, образуя интровертные пирамиды, а то и объединяя обе фигуры в виде песочных часов. Этой бамбуковой симфонией было оторочено все озеро с тенистыми прогалами, где звери выходили к воде.

Змей, несмотря на воду и заболоченность, благодаря аистам там не было. Ну почти. Однажды в шаге от меня вскинулась кобра, но тут же скользнула под куст. Еще разок нам с Таей переползла дорогу крысиная змея, метра два с половиной, а может, это была и кобра, хотя великовата для нее, быстро скрылась, не успели определить. Я потом полез в кусты, пытаясь ее обнаружить, Тая ненастойчиво удерживала, зная, что бесполезно — не в первый раз.

Там, за нашей спиной, стоит ближний к озеру, но все же поодаль от него, курортный комплекс, всегда пустынный, называется «Перешептывающиеся окна». Пальмы, сказочный сад, роскошные номера, фигуры будд и индуистских богов под деревьями. Прихрамывающий сторож и семенящий за ним карликовый бульдог по кличке Зеро. Сторожа, оказалось, недавно цапнула гадюка Рассела, одна из самых ядовитых змей. Их немало тут. Третья по числу смертей после кобры и крайта. Но в отличие от них агрессивна — не уползает, заслышав приближение, а затаивается и бросается без предупреждения. Такую полутораметровую гадюку вытащил из-под крыльца Праба — тот, к которому мы переселились, на его крыльце мы любили сиживать, завтракая или просто созерцая дали. Выволок и убил. Потому как трое детей у него и все босиком бегают, да

и Праба с женой своей, красавицей Ладой, учительницей английского, тоже не в ботинках. Как и мы с Таей. Конечно, так нельзя. В каждой деревне есть змеелов или сообщество добровольцев. Обнаружив змею у себя в доме, люди знают, кому позвонить, чтобы поймали и выпустили в лес. Обычно змееловы совмещают это с основной работой. В Харнай это портной на рыночной улочке, чья лавка сразу за закусочной нашего друга Баблу. В Боре, на хуторе — школьный учитель.

Здесь, в Масинагуди, змеелова зовут Мурли, напористо-жизнерадостный парень, которого змеи непрерывно кусают, его увозят в больничку, а через несколько дней он возвращается и, поймав очередную, демонстративно разгуливает с ней и с песнями по деревне, изображая натруженного подвигами героя. И несет ее выпустить в лес, и снова его увозят в больничку. К нам с Таей, когда мы жили у Рахуля, он пришел с коброй и вытряхнул ее из мешка к нашим ногам, мы как раз завтракали на веранде. За ним во двор потянулась ватага детей. Он напоказ устраивал танцы с ней, но она с неприятием уклонялась. Кстати, и эта его цапнула, когда выпускал в лесу, видимо, напоследок решив ответить ему белым танцем. Мурли на хинди — флейта.

Того сторожа из «Перешептывающихся окон» укусила за мизинец ноги гадюка Рассела, когда он ночью обходил территорию. После ее укуса у человека есть минут сорок или немногим больше. Ночь, безлюдная окраина деревни, он один, не считая Зеро. В самой деревне только медпункт для бедных, там сыворотки нет, надо везти в Гудулур, это часа полтора-два, или в Гундальпет, который в соседнем штате. Месяц спустя сторож вернулся, прихрамывает, размотал бинт, показывает мне черный древесный палец.

Ничего, говорит, пройдет. То есть по-английски он ни слова, все жестами. А что за змея, спрашиваю. Он рисует палочкой на земле, Зеро обнюхивает. Он отгоняет его и дорисовывает овальные пятна на коже. А, говорю, понятно.

Однажды в этих безлюдных «Перешептывающихся окнах» мы с Таей, когда к Прабе гости приехали и нам нужно было ночь где-то перекантоваться, сняли номер. А перед тем я звоню хозяину, некоему махарадже, живущему в Ути в своем дворце, договариваюсь о цене, пытаюсь снизить, но он велеречиво так уводит разговор — туда, сюда, о жизни, о рисе, о женщинах, о доблестях, и опять о цене, и все никак. Сидит там во дворце, помахивая опахалом, танцовщицы девадаси перед ним струятся, ситар звучит, павлины разгуливают. Вы же поэт, говорит, то есть кавита, любимец богов, Хаям, Калидаса, почти Вальмики, что вам стоит набросить эти несчастные пару тысяч рупий для ничтожного шудры, даром что махараджа. И слышу — всхлипывает, войдя в роль. Потом высморкался и, погрубевшим голосом: ладно, недобрый человек, набрось хоть полторы, разделим страданье.

В том номере, наверно, годы никто не жил. Пятиметровая высота — нет, не потолка, а матового купола. Внизу в полутьме высилась царственная кровать с мерцающими огнями по периметру. Огромная ванная комната с — невероятно для Индии — чугунной ванной на звериных лапах. Всюду лежала вековая пыль. Внесли вещи, прикрыли дверь, я посмотрел на Таю, и мне вдруг так нестерпимо захотелось ее обнять, и не только, не только. Да, конечно, это уже бывало тысячу раз, но в этот происходило что-то необычайное. И ни номер здесь ни при чем, ни окна эти перешептывающиеся. Так нестерпимо, так гибельно, так до ослепления нежно. Не похоть, не страсть,

не любовь даже. Нет, не исчезнуть в ней, не родиться… Стоит спиной ко мне, вещички раскладывает, обернулась: что-то не так? И такое лицо родное, невозможное, и такое красивое — как нельзя людям. И сквозящий холодок, тянущийся по ногам. А мы куда-то торопились тогда, считанные минуты были, но куда? Не помню, да и куда можно было там торопиться? Вот эти считанные и стали теми, от которых стареют, сгорают — может, так и случилось, но от тела ее еще исходило свеченье, и она, приходя в себя, растерянно озиралась, собирая одежду, разбросанную на полу, и тихонечко приговаривая: как странно, каждый раз у нас будто в первый… и в последний. Все эти годы. Дверь закрыли и, чуть растерянные, вышли в другую жизнь. Через перешептывающиеся окна.

#12. Амман

Сидел в саду, приводил ногти в порядок, что-то я запустил себя с этими ежедневными джунглями, Тая еще спала, низко кружил черный коршун, над ним тянулась к озерцу вереница аистов-епископов. Лесная белка замерла у ног, заинтересовавшись поблескиванием ножниц. Из деревни доносился отдаленный бой барабанов. Стриг ногти и вспоминал, как в юности кочевал с цыганами. Стояли лагерем у безлюдного полустанка в Туркмении, ждали куцый трехвагонный поезд, пересекавший пустыню раз в неделю. Ей было пятнадцать, кажется. Ни слов, ни прикосновений, только краткие взгляды, в которых и жили, на большее не хватало сил, и тихо сходили с ума, даже во тьме видя друг друга, как днем. А потом мы сидели с бароном в дальнем конце вагона, где расположился их маленький табор, разговаривали. Я просил ее руки. Его условием было, чтобы я остался в таборе навсегда.

Не уверен, что он говорил всерьез, но тогда, в течение этих нескольких дней, пока шел поезд, я мучительно жил этим — то решаясь, то отступая. И сейчас, вдруг вспомнив об этом, подумал: что-то в ней было от Таи, ранней, призрачной, почти невидимой в той цыганке, чье лицо теперь уже и не вспомнить, только чувство.

Бой барабанов доносился все ближе. Пришел Праба, спросил его, что там происходит. Амман, говорит, начался, разве не знаешь? Знаю, но ведь рано еще, вроде бы через две недели. Нет, говорит, это в прошлом году так, а в этом по лунному календарю — сегодня.

Годом раньше я уже был на мистерии Амман в Бокапураме. Но тогда пропустил начало и финал. Взял камеру, поспешил в деревню. Там всего одна улочка, спускающаяся к речке, за которой джунгли, заповедник. Они шли сверху, группами по двадцать-тридцать человек, с расстоянием в сотню шагов. Мужчины, женщины, дети, пританцовывая, неся на головах тяжелые цветочные пирамиды в металлических горшках, мурти богини Амман. У многих щеки проткнуты спицей или тришулой — трезубцем Шивы. У других — приоткрытый рот заткнут лаймом, одним из символов богини. Или просто пучок листьев бетеля, торчащий изо рта. Шли уже не первый день и ночь. С музыкантами и барабанщиками, которые колошматили так, что не было видно рук, и, замедляясь, отращивали их.

Вернулся к Тае, подзарядили батареи в камерах, взяли запасные, едем в Бокапурам, может, говорю, останемся на ночь. Автобусы переполнены, дорога лесная, однополосная, пробка, вышли на полпути, идем с паломниками по заповеднику, полиция держит периметр — видимо, от слонов и других животных, на случай.

Культ Амман, или, как ее еще называют, Мариамман, не так на виду, как культ Шивы, Вишну, Ханумана, Ганеши и многих других. Возможно, еще и потому, что культ это низовой, народный, и не очень поддерживался браминской традицией. Соответственно, не попадал в активное поле внимания за пределами Индии. Амма — мать, мари — дождь, а при другом ударении — смерть. На заре индуизма этот культ, вероятно, как-то переплетался с ним, отсюда взаимовлияние Амман и Дурги, сидящей на тигрице, и, конечно, Амман и Шакти. В Тамилнаде тысячи храмов Амман и миллионы ее последователей. Еще недавно этот обрядовый праздник проходил более аутентично, сейчас к нему присосежена бурная ярмарка — колесо обозрения, передвижной цирк, аттракционы, полевые кухни, еда, сласти, ремесленники с товаром, шарлатаны с попугаями и прочее. Казалось бы, в таком профанном пространстве этот сложный, требующий огромных физических и душевных сил ритуал должен неминуемо утрачивать свою глубину, но нет — прямо посреди ярмарки, в ее гомоне, беспрерывно идет сосредоточенная духовная работа, включая радикальные практики на пределе сил.

Шли с Таей в толпе паломников, я рассказывал ей то немногое, что знал. Вернее, что помнил из разрозненного. Когда-то, говорят, не возводилось храмов этой богине, просто посреди деревни насыпали небольшой холм в виде ее головы, украшали желтыми бархатцами, и телом Амман становилась вся деревня с ее жителями. Вот такой живой храм, где каждый человек, куст, дом — часть Амман, так оно во многом и осталось до наших дней, такие храмы наряду с каменными еще можно видеть повсюду.

Цветочные пирамиды на головах — своего рода ноша, называется кавади, а ритуал инициации — карага. Щеки

вместе с языком проткнуты трезубцем Шивы, и лайм во рту — знак безмолвного повиновения богине. Некоторые обуты в деревянные колодки с гвоздями острием вверх.

Деревенские общины будут в течение трех дней и ночей ходить вокруг храма под бой барабанов в трансовом танце, прерываясь для истязаний кнутом. Для этого в каждой общине есть человек для этой роли. Становятся в круг и под особый бой барабанов по одному выходят в центр, где получают удары развихриваемым в руке медиума кнутом. И мужчины, и женщины, и даже дети. Количество и сила ударов зависят от наносящего их. При этом руки у подверженных испытанию подняты, жестом ладоней они дают понять: бей еще, я держу контроль, я держусь! Удары наносятся по ногам и пояснице. Сильные, в некоторых случаях до крови. И это повторяется примерно через каждый час в течение трех суток. Никаких наркотических снадобий во время ритуала никто из них не принимает.

Начинается праздник с коллективной пуджи. Потом денный и нощный трансовый танец с истязаньем кнутом. На третий день мурти богини выносят в паланкине из храма и осыпают шквалом рисовой сечки. А в ночь зажигают огни в горшочках и несут их на головах под бой барабанов. Утром четвертого дня процессия движется в джунгли к священному месту, перед ними на землю ложатся ничком те, кто нуждается в исцеляющем благословении Амман. Идущие касаются голой ступней их спин. Это то, что я не видел в прошлом году. У священного дерева, на веками намоленной поляне совершается выход из транса, из одной реальности в эту, здешнюю. В стороне забивают и разделывают жертвенных козлов. Ставят на костры огромные чаны. Завершается все у лесного храмового шалаша с музыкой и общей трапезой на полтысячи человек.

Понятно, что это не отсвет каких-то изначальных верований, не пережиток, ставший неким театрализованным календарным событием, вроде нашей Масленицы или дня Купалы. Похоже, это происходит ровно так, как и тысячи лет назад. Для них это не ритуал в нашем понимании, а самая что ни на есть реальность — такая же очевидная, как собственная кожа. И Амман — не где-то в трансцендентном, а здесь, в этой боли от ударов кнута, которым испытывает их Шива и черная Кали, одна из ипостасей Амман, испытывает через медиума, проводящего через себя ее энергию. Она, Амман, в пятках и пальцах ног, которыми касаются распростертых на земле взрослых и детей ставшие проводниками ее энергии мужчины и женщины, прошедшие этот изнурительный и очищающий ритуал, кто выстоял в этой магической инициации, кто стал с ней единым.

Конечно, не все и не этими словами я ей говорил, идя в бурной толпе паломников в уже спустившихся сумерках, оступаясь от слепящих встречных фар и гудящих автобусов, кренящихся в рытвинах обочин. Да и ожидая в ответ на мои слова ее обычное: я знаю. Ну кое-что она и знала, так что особо тут стараться было не нужно. И главное — уже через полчаса она все это увидит сама. Да и я, и все оно будет, конечно, другим.

Легко говорить. На любую тему. Увлеченно и даже порой с ощущением подлинной глубины. Говорить. И может возникнуть иллюзия, что я тут что-то понимаю. Нет, и не обольщаюсь. Наверное, и эти крестьяне не в таких уж тонкостях знают происходящее, но они дома, и дом этот не только снаружи, но и внутри. Можно и помолчать.

Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Что ж тут скажешь? Что понимание вторично? Что знание, по Платону, — припоминание? Что жизнь не интеллигибельна, с ироничным сквознячком гибели в этом слове, а, скорее, коан? Но насколько мы готовы к этому? В любви, в творчестве, в разговорах о трансгрессии…

Как же они называются, эти одержимые женщины, пожизненные девственницы из низшей касты, благословляющие руганью и плевками? Наверно, мы увидим их и здесь — со вселившейся в них Амман.

Ярмарка в разгаре. Толпы, толкотня, не протиснуться. Крутится колесо в огнях, из репродукторов гремит музыка, смешиваясь с боем барабанов. По земляной арене цирка бегут верблюды и пони, над ними девочка взбирается по канату, в торговых рядах сверкает посуда, ножи, секиры, бижутерия, подсвеченные иллюминацией от тарахтящих генераторов, повсюду жарится, парится и варится на плитах и кострах, многие ходят с красными арбузными ломтями у рта, присоленными по-индийски. Вспомнил: матанги их называют, тех одержимых женщин.

Храм переполнен, на подворье под огромным навесом сидят паломники, поют, прихлопывая в ладоши, за ними — спящие под одеялами. Дальше — шатры, шатры, образующие лабиринт с переулками. Вокруг храма идут с барабанами те же, кого видел в деревне, и другие. Становятся в круг, свист кнута. Молодая, высокая девушка выкручивает себя из земли к небу, кнут ополовинивает ее, она выпрямляется, подает знак: еще, еще! Этот кнутовод, похожий на кузнеца-цыгана с длинными опущенными усами, пышными бакенбардами и залысиной, пригнулся и проворачивается вокруг себя,

как воркующий голубь, и, распрямляясь, раскручивает кнут, толпа отступает, освобождая ему пространство. Барабанщики заходятся в дроби. После серии ударов он подходит к девушке, касается ладонями ее ступней, за ним несколько человек из зрителей подбегают к ней и успевают проделать то же. Раскручивает кнут, перед ним уже следующая.

Из-за угла храма появляется другая община, впереди идет рослый худой, с высоко поднятой головой и взглядом, кажущимся стеклянным. Щеки проткнуты длинным — метров пять — трезубцем. Перед ним — смотрящий, он раздвигает толпу, чтобы края трезубца никого не задели. Образуют круг. В круге — он и второй, ему до груди, и трезубец поменьше. Начинают танец: первый, пригнувшись и поддерживая раскинутыми руками трезубец, меряет аршинными шагами пространство вокруг второго, подергивающегося в центре, ниспадающего на колени, тело заваливается назад, затылок касается земли.

В этой же группе — две молодые женщины, они идут в паре. Одна — в сером дыме волос, другая — в смоляных крыльях до плеч, одно из них перекрывает пол-лица. Выгнутый рот и глаз, который, похоже, останется навсегда в моей памяти. Глаз, глядящий в себя. У первой полные губы, между которыми зажат трезубец, и пятна красной краски на щеках и лбу. Вторая — с тонкими чертами лица, желто-белые пятна, куркума и мел. И смоль волос. Первая — взвинченно приходит в движение, мотая головой, отталкивая от себя руками воздух, и замедляясь, когда энергия кончается. Другая — идет с тихой гипнотичной внутренней сосредоточенностью, но какой-то обреченной. Нет, тебя обрекающей на неотрывный взгляд на нее. Ток от нее исходит. Слабый, еле ощутимый, но кажется,

что он куда сильней того, что убивает. И она это знает и с этим живет. Она, подумал, — смерть и есть, а первая — любовь.

Чуть в стороне, у доморощенного алтарика, встав на колени, распласталась на земле призрачная старуха с седыми ветхими волосами. Руки держит подвернутыми назад и что-то ртом выуживает из земли, приникая то одной щекой к ней, то другой. Несколько женщин суетятся вокруг, помогая ей. Обносят ее блюдцем с огнем. Наконец она оборачивается, вывернув голову: изо рта торчит маленький банан, опоясанный беззубым ртом.

Тая фотографирует девочку, блаженненькую, одиноко сидящую поодаль с бритой наголо и окрашенной куркумой головой, она играет на сопелке, верней, извлекает один и тот же жалобный звук. Рядом, но спиной к ней, стоит грузный человек с посохом и пучком травы во рту. На ногах у него деревянные колодки с гвоздями острием вверх. Идет, не сходя с места, перебирая ногами под ритм барабанов.

В центре — мистерия, а по краям внахлест — лунапарк, бурлящий рынок, цирк и бог знает что — одновременно. И за всем этим — десятки шатров, они же маленькие храмы, они же ночлежки, они же… Бой барабанов, свист хлыста. И горбун со светящимся домиком на спине, идущий сквозь расступающуюся толпу.

Тая присела к бородатому факиру в красной рубахе: попугай вразвалку прохаживается перед разложенными перед ним картами судьбы и выбирает твою.

У края ярмарки, за которой начинаются джунгли, развернута полевая кухня с жаровней и котлами, где беспрерывно готовится бесплатная еда для тысяч паломников.

Небольшая очередь, быстро обслуживаемая, каждый отходит со своей листвяной тарелкой тали. На поляне, освещенной прожектором, в этот час сидело немного — человек триста, в основном семьями. Мы тоже взяли еду, сели на землю, только начали есть, и вдруг — крики, паника, все бегут с поляны. Слон, одинокий самец с большими гнутыми бивнями, стоит у края леса — в том месте, куда бросали мусор и объедки, перебирает хоботом гору листвяных тарелок. Набежали полицейские, издали светят на него фонарями, кричат, кидают камни. Он не обращает внимания, отправляет тарелки в рот, но не подряд, выбирает. Таю теснят вместе с последними смельчаками, я увернулся и спрятался в темноте за деревом, снимаю вблизи на камеру. Повар хватает из костра полено и, подбежав к слону, швыряет в его сторону. Тот неторопливо берет последнюю тарелку и уходит.

Нашел Таю, углубились в переулки шатров, там своя жизнь, нас зазывают к себе за пологи. В одном из шатров как раз ужинают, усадили и нас у костра. Две девушки и парень танцуют в дальнем углу под музыку, доносящуюся снаружи. Тая присоединилась к ним, ритм барабанов ускорился, они закружились с пением и вскриками. Если чуть расфокусировать взгляд, уже и не найти среди них Таю — три девушки из племени ирула.

Вернулись к храму. Было уже за полночь, людей становилось все больше. Они зажигали огонь в глиняных горшочках и несли их, подняв над головой — тысячи огней. Все это, смешиваясь с гремящей ярмаркой, похоже на пляшущие перепутанные кольца ада, рая и чистилища, посреди которых вертится горящее колесо сансары. Сели в одну из лодочек колеса, я хотел снять на камеру все это сверху. Тая спросила, скоро ли мы поедем домой,

она переполнена, уже через край. Я бы, говорю, остался тут, и не только на эту ночь. Смотри, кроме нас, тут никого пришлых, другого раза не будет, даже если случится, ты же знаешь. Знаю, говорит, ты оставайся, я завтра утром приеду.

Проводил ее, посадил на автобус, отдала мне свою запасную карту памяти для камеры, обнялись во тьме, постояли так, чуть покачиваясь. Найди, говорит, где хоть пару часов подремать, не изнашивайся, впереди еще три дня, я буду рано утром.

Уже начало светать, а я все кружил там, присаживался в лавках попить чаю, перекусить, но вскакивал, оставляя все на столе почти нетронутым, возвращался к храму, в гущу людей, и с какой-то настойчивой частотой сталкивался с теми двумя — любовью и смертью, они все наматывали круги, идя впереди своей группы, хотя многие уже сошли с круга — передохнуть в шатре. В который раз я пытался снять на камеру эту тихую смерть. Любовь рядом с ней взвинчивалась, заходясь, и обессиливала. А эта шла затравленно, но и несгибаемо, с недвижным взглядом и приоткрытыми, чуть выгнутыми, как у Таи, губами, худенькая, как она, с желтыми и белыми пятнами краски на лице, оплывшей от испарины, создающей впечатление какой-то неведомой страны на старинной выцветшей акварели, наполовину закрытой по диагонали черным крылом волос, с этим единственным тихим глазом, в который тебя втягивает всего со всей твоей жизнью, как в космическую дыру.

Под утро я оказался в шатре, где обосновалась община из Гудулура. Это ближайший к нам городок, куда я ездил менять деньги в турагентстве у Асифа, молодого

мусульманина, неизменно сидевшего у экрана компьютера в пустом офисе. Когда-то, впервые зайдя к нему с улицы, я предложил оставить у него двести евро с тем, чтобы он через год помог взять на них билеты на поезд для группы моих друзей. Без всяких расписок, просто оставил, зная его всего десять минут. И никаких общих знакомых, в этом городке я был тогда проездом. Через год написал ему по электронной почте, на следующий день билеты были у меня, а когда еще через полгода я зашел к нему на те же десять минут, он вернул мне сдачу. Это про индийцев. Вернее, про отношения. Или Вики, водитель из Масинагуди — после первой поездки с ним на его джипе я дал ему, сколько он назвал. Хотел сказать ему, что это многовато и уже открыл рот, но передумал, остался только взгляд. Наутро он пришел ко мне, говорит, что не спал, что на душе нехорошо у него, вот лишние деньги, которые он взял. Вики. Он привезет Таю через пару часов, я позвонил ему с вечера.

Надо немного вздремнуть, вот здесь, рядом с барабанами, сложенными в углу. Говорят, что в глубинке слишком навязчивый интерес к туристам. Ровно наоборот. Чем дальше от туристических мест, тем целомудренней отношение. Шатер, ночь, джунгли, заповедник, Амман, многие тут вообще в настолько другом измерении, что и себя не сразу признают, а тут марсианин входит к ним в шатер, где спят, едят, баюкают детей… И что? Хоть бы кто навязчиво посмотрел в мою сторону. Или пытался завести разговор. Нет, только незаметно поставили чашку чая рядом. Но если б дал им понять, что нуждаюсь в общении, уж точно в отклике не было недостатка. А так — кивнул, сел в углу, а теперь и прилег уже, прикрыл глаза.

Из нескольких часов съемки, похоже, есть минут десять стоящих. Это немало. При том что снимать в такой толчее почти невозможно, еще и в полутьме и лучах прожекторов, направленных в объектив, куда ни повернись.

Бархатцы повсюду рассыпаны на земляном полу, веснушки Амман. Странно, но я так редко дарил ей цветы. Несколько раз в Севилье, Мюнхене, где-то еще порывался, но как-то она удерживала, и потом — все время дорога, переезды. Как маленький стоп-сигнал мигает в памяти. Темно-красная роза, которой нет. И лежащая спиной к ней Тая, полупроявленная под простынкой… В тот год мы решили попробовать добраться из Харнай до Мумбаи вдоль океана. Рыбаки отговаривали нас — дороги смыты сезонами дождей, сообщение лишь между ближайшими деревнями и то не всюду. Но я думал: всего-то двести с лишним километров и пять дней до нашего самолета, уж наверное доберемся. Едва успели. При том что ехали и ехали дни напролет, переправлялись бесконечными паромами, ждали попуток в пропаще безлюдных краях и ночевали уж где придется. А потом, на подъезде к Мумбаи, последний городок со странным именем Пен, куда добрались уже затемно и поселились в первой попавшейся гостинице, оказавшейся дремучей ночлежкой со спящими на полу в коридорах и на ступенях лестниц фигурами, в которых с трудом узнавались люди. Комната была такой, что лучше не описывать. Сказал Тае: идем отсюда, но она так устала, уже засыпая на ходу, что только махнула рукой: здесь. Я добыл вторую простыню, которой она потом укроется с головой, а пока уговорил ее все же выйти — что-нибудь перекусить. Поселок был похож на такую же ночлежку, еще и свет отключен повсюду, шли какими-то мрачными переулками,

тошнотворными подворотнями и где-то во тьме я взял из протянутой руки старухи без лица эту розу и вложил в ее ладонь деньги, тут же растаявшие вместе с ладонью. Тая несла ее бутоном вниз, держа за край длинного стебля, чуть помахивая рукой при ходьбе, будто никакой розы там не было. Ее и не было. Там, на кровати. Она оставила ее на столе в какой-то распивочной харчевне, где присели и не смогли есть. Не было, но я ее вижу на простыне. Где Тая спит на краю, спиной к ней. А я все не могу лечь рядом, маюсь, ищу чем занять себя, смотрю карту. Середина ночи, стук в дверь. Отряд полицейских, ломятся в комнату. Головы обмотаны шарфами, небритые лица с красными глазами. Допотопные ружья за плечом. Проверка документов. Кричат, напирают. Она и не слышала, как приходили. И роза лежала за ее спиной на простыне. Лежала, хотя ее не было. Так оно нередко и происходит. С людьми, событиями, чувствами. И с Таей.

Невысокий парень в желтой рубахе и желтых, зауженных книзу штанах с орнаментом по бокам… Какое лицо необычное… Не потому что набеленное. Стоит покачиваясь, обхватив шею ладонями. Как акробат на пирамиде, когда один на плечах другого, а он — вверху, предпоследний… Почему предпоследний? Бог его знает. Какая-то пружина в нем замедленная, что-то происходит в нем… Надо поспать. Тая, наверно, уже седьмые сны смотрит. Тая, Тая… Я понять тебя хочу, смысла я в тебе... Ищу ли? Не заговаривайся. Эк, ду, тин, джар, панч, вышел зайчик, вышел зайч…

Два дня спустя ранним утром мы шли по лесной тропе к священной поляне. Процессия растянулась так, что не видно было ей конца. Мы с Таей все время теряли друг друга, идя по разным сторонам этого исхода.

Сопровождавших, кроме нас, было не много: несколько женщин и детей, они ложились ничком поперек движения, чтобы участники процессии, переступая их, коснулись босой ступней. Остальные, как оказалось, ждали на поляне, готовились.

Акробат шел отдельно, запрокинув голову и заведя руки к затылку. Перед каждым шагом он выставлял ногу и, опуская на землю, не сразу переносил туда центр тяжести, а раскачивался, как на рессорах, будто проверяя устойчивость или вообще присутствие пути. При этом издавая долгий звук «тсссс» на каждом выдохе. Одна из женщин положила перед ним на тропу своего кроху. Он, в этом трансовом состоянии с запрокинутой головой, не мог видеть ребенка. Но ровно в шаге от него остановился, раскачиваясь на этих рессорах. Нагнулся к нему, не опуская невидящего взгляда, взял и, подняв над собой, прижимал к лицу, как бы промакивая им его. И вернул на землю.

Вблизи акробата кружила высокая долговязая девушка с длинными черными волосами, то и дело заходясь в птичьем крике — не одной птицы, а множества и на разные голоса. При этом ее вертело, комкало и растягивало, будто она попала в центр вихря.

Поперек тропы ложились ничком сразу по нескольку человек, в основном молодые женщины. Благословение ступней происходило по-разному: одни едва касались, другие задерживались и вели вдоль позвоночника, акцентируя шею и поясницу, ее особенно. Похоже, целительная энергия Амман связана с материнством. Одна пожилая женщина с верхним рядом зубов, покрывавшим нижнюю губу, всякий раз долго вслушивалась пяткой, водя ею по спине, прежде чем прижать в нужном месте.

Рядом со мной оказалась девочка божественной красоты, в платьишке с вкраплением крохотных зеркалец и ожерельем лаймов на шее. Одна. На фоне заштрихованных бамбуковой чересполосицей джунглей. Смотрела своими спокойными нечеловеческими глазами на плывущую мимо процессию. Когда повернул к ней голову — будто звук отключили. Все это уже происходило не здесь, по ту сторону времени. Ритм барабанов давно переместился внутрь и звучал оттуда, подчиняя себе и сердце, и кровь, и, казалось, сознание.

Мимо меня прошли уже вроде бы все, кого видел вчера, но среди них не было тех двоих. Любви и смерти не было.

Мы приближались к поляне, где собралось уже около тысячи паломников. Но ни толчеи, ни суеты, все были заняты своим делом. В центре поляны был возведен зеленый храмовый шалаш, там шли приготовления к службе.

У края поляны — несколько костров с чанами готовящейся еды. В другой стороне — музыканты племени ирула и хоровод танцующих паломников. Многие просто расположились на траве в ожидании.

Мальчик с девочкой играли в ладоши: левая, правая, обманка, и одновременное выбрасывание пальцев на счет. Тот случай лиц и отношений, когда можно представить их и через двадцать, и через сорок лет. За ними сидели две чудесные старухи: одна с волшебного украинского хутора, другая с мужицким лицом. Сидели, прижавшись друг к другу, но глядя в разные стороны, молча, с еле улыбкой, каждая — в свое пуховое безвременье. На пригорке за лиственным храмом полулежал, опираясь на

локоть, старик с длинной бородой. К нему подходили за благословеньем, склоняясь к ногам. В дальней стороне поляны разделывали жертвенных козлов, подвешенных на ветках деревьев.

Процессия остановилась, барабаны стихли. Люди продолжали покачиваться в трансе, чуть перебирая под собой ногами, не сходя с места, ожидая своей очереди. Их принимали по одному, выводя из этого состояния. Каждый следующий подходил к незримой черте, откуда оставалось шагов пять вниз в ложбину, где стояло несколько мужчин в ожидании и наготове.

Первой шла та долговязая девушка. Она долго раскачивалась на черте. Ее подбадривали и манили рукой. Но она все раскачивалась, под тем углом, когда неминуемо должна была упасть, но не падала. И вдруг с пронзительным криком шагнула вниз, еще шаг, еще, ей наотмашь брызгают в лицо водой из пластиковой бутылки, приговаривая: «манипура, манипура…», и ноги у нее подкашиваются, ее подхватывают под руки, голова запрокинута, кладут на землю, постепенно она приходит в себя. Не в ту себя, которой была эти три дня, но и уже не в прежнюю. Манипура — третья чакра, живот, жизнь, эго. Но, может, мне только слышалось так, а приговаривали они другое?

Один за другим все эти несколько сотен участников ритуала проходят этот последний рубеж. Когда настал черед акробата, он дал понять, что помощь не нужна, он сам. И начал раскачиваться взад-вперед. Мне физически передалось его предельное напряжение. Будто в нем все кроилось и рвалось по швам. В последний момент, уже падая назад, он все же успел судорожно выставить ногу, а на другую, согнутую в колене, опереться руками. Один

из мужчин приблизился и брызнул ему водой в лицо. Он молча пал. Унесли.

Та пожилая с большими выпяченными зубами все не могла сойти с черты, потом с криком кинулась и упала на руки мужчин, билась всем телом, никак не могла высвободиться из себя.

Зрителей тут не было, кроме меня. Тая сидела вдали на пригорке, глядя на происходящее на поляне. В нежном шелковом наряде, который она сшила в Харнай из светло-терракотовой ткани с тонким зеленым узором — шальвары и длинный, почти до колен верх. Она в нем казалась девочкой по имени Ветерок — легкий, чистый, хотя и немало повидавший.

Казалась… Смотрел на нее и думал. Какие редкие минуты, когда вот так, с этим чутким расстоянием между нами, но и то сказать — в дальней дымке, как после жизни, но кажется ближе, чем в ней. Годы идут, а мы все как два подростка: чуть что — и безжалостны насмерть друг к другу, и ожог, как впервые, и разрыв навсегда. И снова — до потери сознания близость, как впервые и навсегда. Год за годом, из крайности в крайность, и не сладить никак. Чуть что. На той черте, когда неминуемо должны бы упасть, но не падаем. И некому брызнуть в лицо той водой, подхватить под руки. Манипура, манипура, третья чакра, жизнь, легкий ветерок…

А потом вся эта тысяча паломников уселась длинными рядами на поляне — мужчины и женщины отдельно. Перед каждым лежал на земле банановый лист, на котором высились горки риса, овощей, козлятины и сладостей. А племя ирула все продолжало играть и танцевать у края леса.

Когда мы на закате вернулись к храму, он был уже пуст. Ярмарка кончилась, торговые ряды разобраны и увезены, шатры сняты, люди ушли, уборщицы мели мусор. Крашеная статуя Дурги на тигре стояла расколотая, подрагивая на ветру. Горка брошенной обуви. Горшочки, увядшие бархатцы. Среди завалов мусора бродили коровы и полудикие черные свиньи. Посреди пустыря лежал человек, порыв ветра сорвал с него газету, но он успел поймать ее на лету и прижать к лицу.

Присели на ступенях храма. От затуманенного вдали колеса сансары осталась половина — как полумесяц. Другая лежала внизу, уже разобранная. По полумесяцу взбиралась маленькая фигурка рабочего. За ними — зыбкие очертания гор в тающем свете. Все это не укладывалось ни в сон, ни в пробуждение. Декорации одной реальности разобраны, а другой, прежней, уже не было. Ни любви, ни смерти. Если бы не последние улики, заметаемые метлами. Если бы не мы, сидящие уже во тьме на ступенях храма.

#13. Почта

— Что ж ты все молчишь, что-то случилось?

— Попробую тебе написать, хотя по-прежнему трудно мне с этой стеной во мне. Я никак не могу взять верную ноту, чтобы разговаривать с тобой, от любых моих попыток у самой скулы сводит. Где эта верная нота, как и о чем — и главное, кем и чем разговаривать? Меня тошнит и от деланной деловитости, и от отписок, а при мысли об откровенном разговоре разверзается такая бездна, в которую страшно заглядывать. Мы оба знаем, как давно это произошло, знаем, пожалуй, и почему,

просто все твои средства нащупать тропку мне не годятся. На том расстоянии, на которое нас разнесло — дальше чем после большого взрыва, — остается только что-то чувствовать — что мы с тобой, каждый по-своему, и делаем, а слова уже беспомощны, кроме того, безнадежно врут, создают ложное эхо, в котором боль только многократно усиливается. Я рада тому, что ты есть, рада твоим публикациям — и индийским, и тем, что единственно возможным способом хранят эту память о нашей катастрофе, об обломках, о той правде счастья, которая у нас была. Но я не знаю, как из тех миров, где мы оказались сейчас, разговаривать, и лишь эта немота приносит хоть какое-то облегчение, продолжая наш очень тихий внутренний диалог, который, наверное, уже никогда не смолкнет, пока мы оба живы. Что мне написать тебе? Что Лёнька чудесен и главная радость моей жизни — ты и так это знаешь. Как обустроить ваше общение — я не представляю. Вы не разговаривали друг с другом с зимы, когда ты вернулся из Индии — и он пришел домой печальный и разочарованный, не почувствовав ни твоего внимания к нему, ни интереса. Он тебя помнит и любит, но как сделать так, чтобы не ранить его? Я не знаю. Что написать мне тебе о себе? Что моя жизнь не слишком легка, и в ней сплошь решение бесконечных уравнений, я стараюсь, как умею, но сил не всегда хватает. Мне кажется, в глубине души я понимаю, откуда берется этот иррациональный страх, на что указывает — но что мне делать с этим знанием, если ничего нельзя изменить. Иногда хочется попросить тебя: отпусти меня, живи свою жизнь. Но что в этом толку, если я сама не свою живу. Я возвращаюсь в Москву в понедельник. Лёнька останется в Крыму до конца лета.

— Мой золотой, мой горький, мой единственный, как же мне ответить? Я ведь даже не могу сказать, что никогда тебя не оставлю, что навсегда с тобой, потому что право на эти слова отняты. Что же делать? Выбор у нас невелик. Затихнуть? Горше такой перспективы, кажется, не представить. Хотя мы прошли, казалось, уже через то, где не выживают. Но будет ли лучше? Кому? Не мне, это точно. Думаю, не Лёньке. С большой вероятностью и не тебе. Ты права, говорить так, как мы говорили, когда жили вместе, кажется, невозможно, и все же, когда это вдруг происходит, мне так отчаянно светло, что вся эта «невозможность» и «ложное эхо» уходит на двадцать третий план. И даже когда нет этого, а есть просто связь, пусть и кривая, какая угодно — я и такой благодарен, все лучше, чем без. Еще и потому, что есть чувство, что все это как-то движется, живет, и кто знает, к чему придет. Может, нам совсем мало осталось, и страшно потерять это по своей воле. А если долгая жизнь впереди — тем более. Да, и жизнь и голоса так расплелись, блуждают, где он, тот тон, единственный, может, его и нет ни у нас, ни в природе, а есть вот эта трудная блуждающая множественность — то Симург, то Озирис, то Кальдерон де ла Барка, которая мы с тобой. Ты говоришь: а при мысли об откровенном разговоре разверзается бездна. Да, возможно, мы и не готовы сейчас к этому. Но нужно ли, если заведомо ясно, что на дне ее лежу я. Моя вина. И немота моя. Потому что есть Лёнька. И все же, я хочу еще раз сказать тебе: я дышу каждым твоим словом и другого воздуха у меня почти не осталось, и если это прервется — может быть, физически я и выживу, но никакого света я там не вижу. И для тебя, хочется думать, эта связь не одна лишь мука.

И для Лёньки — не каждая из столь редких встреч — разочарование. Я очень хочу, чтобы он чувствовал во мне отца, и радость, и близость, я стараюсь, но бывают дни, когда вот так все вкривь и вкось, ты же знаешь, и возвращение из Индии, и озноб Москвы, и так много всего внутри перемешанного, и ты, и бессилие сказать тебе столько всего, не нашедшего слов, и Лёнька рядом. Будь у нас встречи чаще, наверное, это воспринялось бы иначе, обидно, конечно, что у меня так в тот день сошлось. Ладно, выдохнем. Не бойся причинить мне боль, нестерпимая боль только одна — без тебя.

— Я уже в Москве. Письмо твое — лучшее, что случилось за последнее время. И слезы, и радость, — не расплескать бы.

#14. Фрагменты чтения

Льет и льет, это Альпы вертят погоду на пальце, то снег, то дождь, а то вдруг день ясный, последнее золото дрожит на ветвях. Ноябрь уже, белка, мокрая, тощая, не знает, куда закопать орешек, переносит с места на место, и присев, замирает с лапками поднятыми к лицу. Можно мысленное солнце вписать меж своих ладоней — где-то там далеко, за дождем. Мысль, он говорит, не может увидеть свою смерть, она создает себе иллюзию непрерывности. В Иисусе или в чем-либо еще.

Джидду Кришнамурти родился в 1885 году в семье браминов, в детстве его считали умственно отсталым, били — и дома, и в школе, он вспоминает, что ни одной мысли или образа не посещали его, лишь наблюдал и слушал. Отец в поисках работы написал председателю теософского общества Анни Безант и, будучи принят, переехал

с семьей в Адьяр, где один из лидеров этого общества ясновидец Чарльз Ледбитер увидел в ничем не примечательном Джидду необычайную ауру того мирового учителя, которого они ждали. Теософы взяли его под свою опеку, а два года спустя учредили Орден Звезды Востока, избрав шестнадцатилетнего Кришнамурти главой Ордена. Он с Безант уезжает в Англию, путешествует по Европе, произносит первые публичные речи, перебирается в Австралию, затем в США, где с ним происходит то, что он назвал «процесс», мистическая встреча с первородным светом. В 1929 году Кришнамурти распускает Орден, говоря перед многотысячной аудиторией: я убежден, что истина — страна без дорог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем — ни через религию, ни через секту. Я распускаю Орден, поскольку не хочу последователей, и я серьезен. Нет и не должно быть, говорит он, никаких авторитетов, включая Бога — для тех, у кого он есть. Ни учителя, ни ученика; это порочный путь. Лидеры уничтожают последователей, а последователи — лидеров. Нужно быть своим собственным учителем и своим собственным учеником. Забыть все, что знали про себя прежде, начать, словно не знаешь о себе ровным счетом ничего. Это как в джунглях, говорит он в другом месте, есть только ты и джунгли, и никого, чтобы помочь, подсказать. Есть твой ограниченный ум, та ловушка мышления, сродни книге, которую читаем, забывая, что это книга, бумага, переплет, переворачиваемые страницы. В ловушке эго, индивидуальности, которых нет. Как нет национальных разграничений, социальных и прочих. Есть человек, один, единый. Как есть натрий в природе. И любовь — не твоя или моя, та или эта, а просто есть — как натрий. Учиться мыслить, следить за мышлением, обходя

границы клетки, вслушиваясь в просветы, уворачиваясь от становления. Это не интеллектуальное усилие и не психологическое. Предмет вопроса — сам ум, а не те задачи, которые он ставит.

В свои девяносто за месяц до смерти он говорит, сидя под деревом перед людьми: итак, вы спрашиваете, откуда появляется птичка? Каков процесс творчества, что стоит за всем этим? У источника нет имен, источник абсолютно спокоен, он не жужжит.

Уже стемнело вокруг, он сидит под деревом, мягкие седые волосы перебирает ветер, слегка женственные черты смуглого лица, большие глаза со светлой пытливой печалью, взгляд, переводимый с одного на другого, сидящих перед ним: не верьте тому, кто это говорит, не верьте…

Уходя, он считал, что у него нет последователей. В течение жизни у него было немало встреч с европейскими и индийскими мыслителями, среди них долгая дружба с британским ученым Дэвидом Бомом, опекаемым Эйнштейном, прочившим ему Нобелевскую премию за работы в области квантовой физики. Бом занимался также философией и нейропсихологией, к концу жизни разработал голографическую модель вселенной, где каждый фрагмент содержит всю пространственно-временную информацию о целом. На протяжении двадцати лет он встречался с Кришнамурти и они записывали свои беседы. О пространстве и времени, об универсуме и связях внешней природы с внутренней структурой человеческого духа. О том, что происходит в нашем мозге, когда мы мыслим.

Когда-то мы с Любой зачитывались этими беседами. Но должна же мысль иметь какое-то отношение к разуму,

спрашивала она, вдруг озорно ловя меня много потом, повторяя Бома. И я отвечал ей голосом Кришнамурти: «Разве? Это вопрос. Я думаю, что связи меж ними нет».

Я долго не возвращался к этому диалогу, а тут снова открыл и зачитался. Одна из первых их бесед, начало 70-х прошлого века. Где же я был в эту пору? Школа, Киев, занятия спелеологией, примерно в это время еду с группой в Прикарпатье, где неподалеку в Мукачево родился отец Бома, мы месяц находимся под землей, живя в одной из самых протяженных в мире карстовых пещер — около ста двадцати километров, делаем топосъемку, разбившись на тройки, возвращаясь к ночи ползком в наш подземный лагерь, я тот в тройке, кто, будучи самым худеньким и вертким, лезет во все узкие ходы и щели, сообщая координаты и измерения — там, а они в это время в Англии, сидят в Броквуд-парке, разговаривают, за окном — дождь, здесь, в Мюнхене, где сижу у окна, читаю.

Что ж это за единый источник — мысли, разума, материи, спрашивает Кришнамурти, источник, который называют Богом ли, Брахманом, энергией или любым философским понятием, то есть по-прежнему результатом мысли и который именно мыслью не достигается? А если однажды будет достигнут, спрашивает Бом, то кем при этом станете вы? Пока есть «я», говорит Кришнамурти, пока есть мысль, время — вопрос об источнике, похоже, теряет смысл. И все же мы ставим этот вопрос, пытаясь, насколько возможно, устранить эти помехи, которыми сами и являемся.

Вот сидят эти двое, напротив друг друга, два незаурядных ума с редкой взаимной чуткостью, двигаясь медленно, взвешивая каждое слово и то, что к нему побуждает,

зная, что многие из побуждений стремятся ввести в заблуждение. У обоих за плечами немалый опыт, у одного — восточные практики, у другого — наука, квантовая механика и нейрофизиология. Оба с особым вниманием к языку и закулисью мышления, сойдясь в той безлюдной местности, где нет дорог. Начиная путешествие с ясного для обоих понимания отправной точки — проблемы психологического времени, возможности его прекращения через озарение, опустошение «я», выходу к первооснове и поиске путей этот опыт разделить с людьми.

Странно все это звучит, если смотреть с зашумленной стороны. Но они и говорят сейчас об этом, чуть отойдя от темы. О все более утрачиваемом даре внимания, способности слушать и слышать. О тайне жизни, и даже просто маленькой тайне, которую не то что взрослому, а и ребенку уже некуда положить в нынешнем мире. О знании, которое все больше становится проклятьем, психологическом знании, обжившем «я». О медитации, которая вовсе не то сознательное усилие, не повторяемый шаблон, не размышление, концентрация и пр.

Дождь за окном, здесь, в Мюнхене, что-то нечитаемое выводит дождевыми каплями по оконному стеклу, а они там, в Броквуд-парке, продолжают. Часть этих бесед есть в видеозаписи. Какое-то двойственное впечатление вызывает его лицо. Притягивает, но и удерживает на дистанции. Не отталкивает, но и не вызывает приязни. Неявная женственность при остроте и даже суровости черт. Как маска, очень искусная, мягкая, тонкая, как настоящая кожа, с живым взглядом сквозь прорези глаз. Ему за восемьдесят, с легкой, едва касаясь земли, походкой. Легкостью, кажущейся чуть нарочитой. Как и голосом с чуть нарочитым, резковатым нажимом и распевным

смягчением. Слишком всерьез, без улыбки, а казалось бы. Они все еще в Броквуд-парке? Или прошли годы, и это уже в Калифорнии? 1980-й, я снова в Прикарпатье, работаю реставратором в Почаевской лавре, под купол Успенского собора поднимается молодой рыжебородый дьякон, которого монахи зовут «комсомолец», поднимается не по лестницам, а прямо по лесам, подтягиваясь и делая «выход силы», пойдем, подмигивает мне, там прихожанки молоденькие, неописуемые, а я стою с палитрой перед ликом богоматери, восполняю утраты на ее правой щеке, в уголке губ, а они в это время сидят на другом конце света, в Охай, Калифорния, разговаривают, дождь, похоже, стихает.

Может быть, мы разберемся в этом не торопясь, говорит Бом. Целостность — это, скорее, свобода видеть отдельные части. Свободы нет, говорит, Кришнамурти, пока существуют отдельные части. Ловушка мысли. Мысль создает эти отдельные части самой природой мышления, в реальности они ничто.

Что происходит, если я правильно их понимаю? Есть связка мозг-я-мышление. Последние два — одновременно реальны и иллюзорны. Мысль обусловлена и ограничена, обеспечивая безопасность «я» и его становление, порождая внутреннее психологическое время. Мозг этим занят. И есть универсальный разум, находящийся вне мозга. В основе разума — любовь, порождающая сострадание. Это безмерная чистая энергия, но мозг не имеет с ней отношений, он занят мыслью. Мысль не может себя прекратить, чтобы открыть канал для связи с разумом, возможный лишь при отсутствии «я», пустотности и тишине сознания. Никакая медитация как сознательное усилие не способна этого достичь. Настоящая

медитация начинается лишь после достижения этого состояния, не наоборот. Достижение возможно лишь через прыжок, вспышку озарения, разрывающую связь мозга с «я», мышлением. Никакой последовательный процесс на этом пути не работает, поскольку является временем, становлением, работой мысли. Мысль (это уже на полях) не совместима с любовью, которая не обусловлена и не ограничена. Обостряя: где есть мысль, мышление — нет места любви. Мысль питается прошлым, опытом, знанием, любовь — только в настоящем. В этом же смысле ревность (как питаемая прошлым, мыслью, присвоением и становлением) не совместима с любовью. Так ли?

Когда сознание, говорит Бом, размышляет о самом себе, оно словно глядит на себя в зеркало, а зеркало отражает его так, будто это уже не сознание, а независимая реальность. Происходит искажение. Но откуда сознание берет энергию, из какого таинственного источника, производя затем всю эту путаницу? В некотором смысле эта энергия приходит от меня самого, от «я», но так ведь не может быть, это какой-то тупик. Оба задумываются. Да, говорит, Кришнамурти, содержание сознания создает свою собственную энергию. Когда у меня противоречивые желания, я борюсь. Энергию создает желание — не Бог, не что-то глубинное, — это все то же желание. Реальность создает свою собственную энергию.

Не совершило ли человечество в самом начале пути, спрашивает Кришнамурти, неправильный поворот? Не является ли этим поворотом противопоставление «я — не я»? Если нет эго, нет и проблем, нет конфликта, не существует времени — времени в смысле становиться или не становиться, быть или не быть. Не получилось ли так, что энергия — огромная, беспредельная — оказалась

зажата или ограничена рамками ума, и сам мозг стал ограниченным, потому что не смог вместить всю эту огромную энергию? И поэтому мозг постепенно сузился до «меня», до «я». Нет, подождите, к этому надо подойти не торопясь.

Не торопясь. Капли стекают по стеклу. Мама спрашивает, проходя: может картошки пожарить на ужин? Он такой легкий и маленький рядом с Бомом, как седой ребенок, сидит напротив, смотрит светло печальными глазами, хотя они темные. Видите ли, говорит, я хочу положить конец времени, психологическому. Понимаете? Разве не является оно источником человеческого страдания? Лично для меня идеи «завтра» психологически не существует, то есть время я воспринимаю как движение, и оно либо внешнее, либо внутреннее. Психологическое время и время внешнее. Но если психологического времени не существует, то нет и «меня», нет «я», которое является источником конфликта. Однажды в Индии я проснулся ночью, взглянул на часы — было четверть первого. Мне трудно это выразить словами, ибо это звучит нелепо — источник всей энергии пребывал, был достигнут. И это оказывало чрезвычайно сильное воздействие на мозг. Также и физическое. Мне, к сожалению, приходится говорить о себе, но, понимаете, вообще не существовало разделения, не было ощущения мира, «меня». Было только ощущение источника огромной энергии. И уже в течение шестидесяти лет я хотел бы, чтобы и другие его достигли — нет, только не достигать его. Вы понимаете, о чем я говорю? Все наши проблемы были бы разрешены. Потому что это чистая энергия от самого истока времени. И вот, как я — не «я», понимаете, — как кто-то, не поучая, не помогая, не подталкивая,

мог бы сказать: «Вот путь, который ведет к состоянию абсолютного мира и любви»? Жаль, что приходится пользоваться этими словами. Но предположим, что вы пришли к такому состоянию, и ваш мозг охвачен трепетом: как могли бы вы помочь другому к этому прийти? Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Наш мозг так приучен к идее эволюции, может ли этот мозг вдруг осознать, что не существует такой вещи, как время? Как вы, обретя этот опыт, могли бы его передать другому? Не на уровне интеллекта, а так, чтобы это было у него в крови — понимаете? Когда это у меня в крови, я это имею. И не нужно уже объяснять. Я, человек, обращался к индуизму, буддизму, христианству, исламу и говорю, что я исследовал, изучал, что я нагляделся на них. Я считаю, что все они — одни лишь слова. Я оградил себя стеной — стеной, которая есть я сам. И живу с этим миллионы лет. Я стараюсь выбраться из этого с помощью учения, чтения, обращения к гуру, ко всякого рода вещам, но по-прежнему стою на якоре. А вы говорите мне о первооснове, потому что видите нечто поразительное, нечто кажущееся таким живым, таким необыкновенным. Я же — все еще здесь, стою на якоре. Вы, тот, кто «видит» первооснову, вы должны что-то сделать, чтобы полностью взорвать, разрушить этот центр…

Их уже трое там, к ним присоединился некий собеседник, спрашивающий: я должен сделать что-то, или вы должны?

Помогите мне, продолжает Кришнамурти, не молитвой и всем этим вздором. Я постился, я медитировал, я от всего отказывался, я давал обет в том или другом, но в результате лишь пепел. И вот приходит некто и говорит: послушай, существует первооснова, которая...

Этот вопрос не дает ему покоя, то и дело всплывая на протяжении нескольких бесед. Возможно ли и как донести весть. Оставаясь человеком, без небесной помощи. Возможно ли разделить с людьми этот опыт, сделать его открытым, сдвинуть с места положение дел. Не описывая, не призывая, не говоря, поскольку это не работает. Оставаясь собой, на том берегу, глядя на этот, где стоит человек; вот же, сядь в лодку и переправься, при том что лодки нет. Переправой могло бы стать озарение, но его не достичь усилием. Они говорят о том, что окажись на том берегу не один, а, скажем, десять таких, сплоченных в единое, это могло бы, наверно, как-то изменить ситуацию в мире, но так не случается. Будущее человечества видится им, скорее, пессимистичным: озарение не достигается помощью со стороны и не культивируется самостоятельно никаким образом, но и сам разрыв с «я» людям не видится желанным и необходимым — ни бедным, ни богатым, ни отчаявшимся, ни религиозным. Остается, хотя и неочевидное, само воздействие универсального разума и тех немногих, кто совершил этот переход.

Итак, существует ли, спрашивает Кришнамурти, отношение между первоосновой и человеческим умом? Задавая этот вопрос, я сознаю его опасность. Ибо, когда индус говорит, что Бог, Брахман в вас — это всего лишь прекрасная идея. Они останавливаются на этом вопросе, стараясь его прояснить, но это сходу не дается. Осторожно заходят с разных сторон, собеседник пытается участвовать, но в его репликах, кажущихся значимыми, они находят поспешную небрежность, отклоняющую от вдумчивого приближения.

Тогда то, что вы открыли, — несомненно, милость Бога, говорит Бом. Кришнамурти с этим не согласен. Все, чего я «желаю», говорит он, — это чтобы центр был разрушен. Я вижу, что он — причина всяческого страдания. За миллион прошедших лет я не смог от него избавиться; он остается. Итак, существуют ли вообще отношения? Что представляет собой отношение между добром и злом? Вдумайтесь в это. Отношения между ними не существует. Давайте воспользуемся другим словом: целое и то, что не является целым. Это не идея. Так вот, существует ли отношение между тем и другим? Очевидно, нет. Малая, крошечная сущность желает иметь отношения с тем, что необъятно. Это невозможно. Да, говорит Бом, и не только потому, что оно необъятно, а потому, что самой этой сущности фактически нет. И тут, продолжает Кришнамурти, кто-то мне говорит, что существует первооснова. Я пожелал установить с нею отношения. А она отвечает: извини, ты не можешь иметь отношения со мною. Вот и все. И я, наконец, ясно сознаю, что между мною и истиной нет никакого отношения. Понимаете, что это для вас значит? Первооснова говорит: что бы вы ни делали, — это не имеет никакого значения. Не претворять это в концепцию или идею, а принять всю силу удара!

Он пытается представить себе человека, стоящего на краю страдания, во тьме отчаянья, прошедшего все, что можно было пройти. Что это для него значит, что первооснова не хочет иметь с ним никаких отношений. Ничего. Он и не видит этого, не чувствует, нет у него этого опыта. Он будет цепляться взглядом за лист на ветке, за отблески красоты, приметы жизни, восходящее солнце, семью, землю, дом, но взгляд соскальзывает в центр тьмы, внутрь. Ни отношений нет, ни удара от

их отсутствия — с той стороны. И единственно спасительного озарения нет. Это не Иов, у которого был Бог, это голый человек, один на один с собой, на краю. Но Кришнамурти продолжает, пытаясь его придвинуть еще ближе к этой переправе, при этом делегируя ему тот опыт, то чувство единства с миром, которого у этого человека сейчас нет, а было бы — вопрос об ударе стоял бы иначе.

Я хочу, говорит Кришнамурти, прояснить не неко-торые, а все иллюзии, в плену которых нахожусь. Я от-бросил иллюзию национализма, отбросил иллюзию в от-ношении веры, в отношении того, этого. Я ясно понял наконец, что мой ум сам является иллюзией. Видите ли, для меня, прожившего тысячи лет, выяснять все это — занятие абсолютно бессмысленное. Не означает ли это, говорит Бом, что в каком-то смысле весь опыт челове-чества — это... Это я, отвечает Кришнамурти. И это не сочувствие или сопереживание, это — факт. Когда вы любите кого-то, то нет «меня» — есть любовь.

Последние капли, или это с деревьев и крыш. День угасает. Было ли у меня это чувство, есть ли? Да, хотя, быть может, не в такой степени. В какие-то дни, мину-ты. То острей, то менее ощутимо, фоном. В джунглях — очень, и в чем-то больше, чем просто человеческий опыт. В творчестве? Трудно сказать, слишком это связано с «я», но каким-то образом, вероятно, тоже. Вдруг вспомни-лось — наверно, от тех его «четверть первого», когда он проснулся — однажды в юности я очнулся среди ночи, лежа на животе и чувствуя над своей спиной какую-то невероятную, ни с чем на земле не соотносимую, живую силу. Бесплотную, но живую, в смысле наделенную ра-зумом, было ощущение безмерности этой «мыслящей» энергии, она все приближалась, нет, она уже коснулась

меня, и тяжесть ее было невозможно вынести — физически. Легкое ее касание вдоль всего тела, даже менее этого, и, казалось, уже кости мои не выдержат, ножки кровати подломятся, а она все не ослабляла этого нажима, как бы испытывая мой предел. Это длилось около получаса. Если б я мог повернуть голову, я бы, может, что-то увидел над собой, так казалось. Присутствие этой силы было явно адресным, обращенным именно ко мне, испытывающим, там, над моей спиной, было ее незримое лицо... Изо всех сил я пытался повернуть голову, но ни на сантиметр это не удавалось. Глаза у меня были открыты. Я видел часы. Я видел чашку на столе, попробовал ее подвинуть взглядом, она поддалась. Но это при происходящем было не столь важным. Страх? Да, он был, но что-то было сильней и важнее его. При том, что речь шла о жизни и смерти, я это чувствовал. Еще немного нажима в этом касании — и все. Но оно, это космически безмерное, именно так оно ощущалось — медлило. Вглядываясь, как бы пропитывая меня собой насквозь, что-то вкладывая во все это. Страх отступал, тут было что-то другое, не о смерти, казалось, я уже понимаю, и, когда на пределе сил я вдруг без голоса прошептал: да!.. — выдохнуло меня, отпустило. Это было, конечно, не то состояние, которое он испытал той ночью, но, видимо, опыт встречи с этой (или иной?) энергией, вступающей в отношения с нами, может быть разным. Это случалось потом еще дважды, спустя годы, и каждый раз по-другому.

Не считаете ли вы, что существует такая функция мозга, которая действует независимо от его содержания, спрашивает собеседник. Они говорят о мозге, о том состоянии ума, которому удалось преодолеть психологическое время, закончить его вместе с привязанностью

к «я», войдя в единое с тем, что не знает смерти, вернее, оказавшись там, где смерть уже имеет малое значение. Достигнув этого состояния, мозг в его земной жизни снашивается куда медленней — на 90% медленней, как допускает Кришнамурти. Нет конфликта, нет плена рутины, повтора, фиксации, нет старения. Содержание сознания освобождено от психологического времени, это ведет к трансформации клеток мозга. Если б мы могли учиться, не калечась знанием, говорит Кришнамурти, учиться, не фиксируясь, а оставаясь в поле свободы, неопределенности, незащищенности, как в природе, в лесу, лишь очень немногие преодолели знание и говорят из свободы. О каком знании он говорит? Знании о самом себе, именно это он хочет поставить под вопрос. Наше восприятие, говорит он, обычно направляется знанием, прошлым, и это знание вызывает действие, которое исходит из прошлого. Это и есть фактор дряхления мозга. Существует ли восприятие, не связанное с временем, и, следовательно, действие, которое срабатывает немедленно? Если бы мы оказались способны сломать этот стереотип времени, то мозг вырвался бы из этой структуры, и тогда произошло бы кое-что еще.

Что же? С его слов, индивидуальный ум, входя в контакт с универсальным разумом, по сути бессмертен, смерть тела остается тривиальным событием. Об этом?

Иногда, говорит Кришнамурти, люди размахивают передо мною морковкой, и я следую за ней взглядом. Но я понимаю, что в действительности нет никаких морковок, нет ничего. Как же тогда это прошлое способно рассеяться? Можем ли мы сказать, подхватывает Бом, что вселенная не обусловлена своим прошлым, несмотря на некоторое постоянство ее форм? Да, соглашается

Кришнамурти, она творчески подвижна, и в этом движении ее порядок, могли ли бы вы как ученый согласиться с этим? Если на то пошло, говорит, Бом, — да. Не сошли ли мы оба с ума, еле заметно улыбается Кришнамурти. Давайте поставим вопрос иначе: есть ли реальная возможность для времени окончиться — имеется в виду вся идея времени как прошлого — окончиться хронологически, так, чтобы вообще не существовало никакого завтра? Мы вышли за грань безумия, так что можем продолжать. Не могли бы вы сказать, что это движение, не связанное с временем — вечно новое? В том смысле, говорит Бом, что творчество — это вечно новое. Но что же делать человеку, совершившему переправу, выпутавшему свой мозг из времени и вошедшему в этот дом пустоты? Жить, говорит Кришнамурти.

#15. Панхаликаджи

За день до нашего отъезда в Индию Тая прилетела из Севильи в Мюнхен — с рюкзаком, в камуфляжных штанах с высоким поясом, которые так ей шли с ее длинными ногами и белой тонкой рубашкой, как и белье белое на ее всегда смуглой коже, которую при каждом удобном досмугливала на диких пляжах Европы. Или Бали, куда отправилась в пору нашей недавней размолвки. Лежа на всех этих пляжах и непляжах где-нибудь в стороне, одна, топлес, днями и днями. Но и даже когда со мной — чуть в стороне.

Как в Хорватии, на лесном безлюдном мысе, куда ходили с тормозком еды и устраивались у вросшего в землю ржавого якоря, вешая на него одежду. Она ложилась спиной ко мне, голая, за порослью кактусов, в плывущем

мареве зноя, и казалось, тело ее дрожит, колеблется в этой пелене. Я смотрел на нее сквозь прогал в зарослях, лежа неподалеку на рыжих сосновых иголках, положив ладони под подбородок, и не мог отвести глаз, хотя, казалось бы, знал это все уже тысячу лет, каждый мир ее тела, а их было не счесть, и странствовал взглядом — как по родной, желанной и совершенно неведомой земле. И понимал, что вот ведь — никогда эта неведомость и родство не утолятся. И замирал, ни жив ни мертв, глядя на то, что и назвать никак невозможно, да и поверить, что это сотворено — даже самым отчаянно нежным и чувственным богом на свете. Глядя на этот непостижимый переход от талии к бедрам и дальше — к ногам. Я представлял себе эту космогонию: вот уже создан мир, и явлено все, кроме этого перехода… Нет, легче выдумать и сотворить облака, океаны, деревья, даже людей. Но не это, не так. От которого мутилось сознанье и жизнь, колеблясь, как этот воздух. И медленно вел взглядом по теневой ложбинке — туда, где, еще не дойдя, лишь в предчувствии, уже обрывалось сердце. Словно там и было оно, мое сердце, замирающее между хромыми ударами. И тут она вдруг перевернулась на спину, вместе со мной и сердцем, оставшимся там, под ней. Встала, отряхнулась, перелегла — ко мне, уже сидящему. Лежит, чуть свесив голову через мое бедро и глядя на расстеленный завтрак для нас между моими разведенными ногами. И не совсем на завтрак, к которому мы вернулись очень нескоро. И еще долго зудела спина в отпечатках сосновых иголок.

Приземлились мы в Мумбаи ранним утром, еще затемно. У меня был план, который не открывал ей, храня сюрпризом — отправиться в нашу рыбацкую деревню по морю. Выудил я в интернете смутные сведения о пробном

открытии водного сообщения. Какой-то лапоть, названный, конечно, скоростным, ходящий в некие дни в непроизносимую глухомань на полдороге к нашей деревне. И ладно, лишь бы оказалось правдой.

И — надо же, оказалось. Разношенный такой лапоть. На волне едва не спадающий с незримой ноги. На корме — буржуйка, там что-то варится, чайник кипит. И гальюн рядом — кабинка со съехавшей дверью. И солнце восходит в своей неизменной индийской дымке. Кажется, и после мира, когда солнце будет уже едва тлеть, вокруг него еще останется эта дымка и где-то вдали, в стороне бывшей Земли, этот запах сожженных листьев, и индусы, сидящие в космической тьме у своих уличных костерков…

Доплыл лапоть, и пересели мы в прибрежных зарослях в какую-то бричку, и поехали дальше вдоль океана, а потом и его не стало.

А пока плыли, я вспоминал прошлогодний разговор с мистером Ларком, начальником полиции в городке Даполи, неподалеку от нашей деревни. Тем самым Ларком, жаворонком, у которого папа — Ленин, сын горшечника, а адъютант — Шива. Я говорю ему: как же так, Индия почти со всех сторон омываема океаном, а никакого водного сообщения. Ладно, что за все эти тысячелетия вы океана не замечали — ни кораблей, ни путешествий, ну… за исключением нескольких эпизодов. Но и в двадцатом-то веке, не говоря о нынешнем — та же тишь. Весь мир в круизах, яхтах, а у вас хоть годами вглядывайся в горизонт — девственен. Помимо прочего, говорю, это ж какой туристический бум у вас был бы — с маршрутами вдоль берегов. В Харнай я говорил с рыбаками, взять бы корабль, немного благоустроить,

и отбою желающим не было б, даже из круга моих друзей. Спать на палубе под звездами, завтракать на кампусе, рыба под рукой, ночью плывешь, днем гуляешь по столетьям, плавучий дом, удобно и чудесно. Рыбаки загорелись поначалу — и скисли, посовещавшись. И корабли есть, и благоустроить и пойти хоть на край света — не вопрос, но нельзя. Дальше указанной территории для рыбной ловли — нельзя, и брать посторонних на борт — тоже. Помнишь, Серджи, говорит мне один из них, как ты договаривался с Зауром, чтобы он вас с Таей на лодке отвез в Мумбаи — день ходу всего, если подвесить второй мотор. Не дали разрешение. А вон те руины за гаванью видишь? Там была портовая администрация пассажирской линии до Мумбаи на север и в Ратнагири на юг. Четыре рейсовых катера. Годы, как все четыре на дне лежат. Как же так, говорю Жаворонку, сыну Ленина, не сегодня-завтра это все равно ведь как-то стронется. Так, может, сдвинем дело? Да, чешет затылок, вынимает из шкафа толстый потрепанный том и из ящика стола лупу, листает, вглядывается. Проблема, говорит, еще и в том, что решение ее затрагивает несколько министерств. И, захлопнув книгу: несколько, и ни одно из них.

Ехали мы в Муруд, где на крохотном острове еще полсотни лет назад была последняя независимая минидержава в Индии — форт Джанджира, около четырехсот лет назад объединивший сидди, выходцев из Абиссинии. Этих красивых статных африканцев когда-то держали при королевских дворах, но со временем и особенно с середины двадцатого века народ этот начал выветриваться, остатки его разбрелись по Индии, цыганя, музицируя, развлекая на свадьбах, осталось их вроде около четырех

тысяч. В прошлом году мы уже были там, в Муруде. Жили в тихом домике, дважды на дню волнообразно подтягивающем к себе голубую простынку моря и сдвигающем ее вдаль в часы отлива. По пустынному берегу в окне бродила белая лошадь в красно-рыжих пятнах, как древняя карта другого мира. Мы отправлялись на остров на ветхой фелюге с рваным парусом и теряли друг друга из виду там в высокой траве среди руин домов, храмов, ржавых пушек, каменных лабиринтов, колодцев и затянутых зеленой патиной прудов.

На этот раз мы не собирались там останавливаться, а только встретиться с нашим приятелем Дипаком, который приедет за нами на машине, и отправимся с ним по джунглевым дорогам искать древние храмовые пещеры, которые я случайно высмотрел на гугл-карте и о которых, похоже, почти нет сведений.

Дипак — лучезарный двадцатилетний парень, сын лесника, нашел нас в лесничестве деревушки Бор, где мы жили тогда, и предложил повозить по горной округе. Уж не помню, человек десять, наверно, в машине, и все, кроме нас и водителя, сидели друг у друга на руках, и фигурка короля Шиваджи Махараджи покачивалась у лобового стекла. Как странно с этим именем: Бор — тигриный заповедник, где нас поселил в своем домике Сурия, с этого и начиналось наше путешествие, а потом с запиской от Сурии мы весь месяц перемещались по штату, другим заповедникам, пока не оказались снова в Боре, но другом, с плюс одной, но непроизносимой в своем имени буквой. И поселились в лесничестве, а спустя несколько дней был праздник, толпы людей на улицах, шатры на площади, театр, музыка, дети, играющие эпос. Нас с Таей вызвали на сцену, что-то я там говорил — пламенное

и нежное. И еще, и еще, уже под телекамеры и с костюмированными детьми на руках: она с Кали, я с Шивой, она с Кришной, я с Радхой…

А потом мы как-то потерялись в толпе, а когда, уже к вечеру, столкнулись… Как это в фильмах показывают — в замедленной съемке и без звука рушащиеся дома, оседающие внутрь себя. Наверно, какой-то был повод, кто ж это вспомнит. Но дело не в нем, а в той невольно оголившейся жизни, ее ладони, протянутой навстречу. Ее ко мне, моей к ней. И вывихнутой мимоходом.

Она исчезла. Тормознула проезжавший мотоцикл, груженный какими-то бидонами, и исчезла во тьме.

А потом был День короля. Мы восходили с тысячами индусов в заоблачную высь — в форт Шиваджи в Райгаде, его последнем пристанище, несли флаги и кричали над пропастями: «джей, джей!», смеялись в объятьях друг друга, и были, похоже, счастливы. Присели там, в занебесье, но не у склепа короля, а чуть в стороне — у памятника его любимому псу, которого он завещал упокоить рядом с собой. Так мы втроем и сидели, глядя на заходящее за незримой долиной солнце.

Сидел там, перебирал в памяти, что помнил об этом короле, одном из самых великих в Индии. Крестьянский сын, он и королем-то стать не мог. Четыреста лет назад в этом построенном им небесном форте, заволакиваемый облаком, он стоял, тридцатипятилетний, в окружении тысячи браминов, призванных совершить ритуал по духовному преобразованию его кастового статуса, с тем чтобы короновать на царство. Или вот он, десятилетний мальчик, обручившийся со своей первой женой. А потом, в пятнадцать, собравший армию и тесня

моголов, хоть и уступая им численности в десятки раз. И на переговорах с ханом, возглавлявшим войско противника, припрятанным стальным «тигриным когтем» вспарывая его тело и отсекая голову в ответ на кинжальный выпад. А потом, вместе со своим сыном попав в плен и находясь под домашним арестом в Агре, сумеет сбежать, переодевшись в слугу и спрятав сына в корзине с фруктами. Вот он бежит с этой корзиной, а мы едем с Дипаком, поднимаясь по дну ущелья к пещере, где отшельничал духовный наставник короля — святой Рамдас, гуру и поэт, с которым они обсуждали пути к свободе — мирные и не очень, и их цену. В той пещере теперь обитает брамин, хранитель, был у нас долгий с ним разговор об этих двоих, вспоминая и другие пары — Чандрагупту Маурья и его учителя — ачарья Бхадрабаху, как и Македонского с Аристотелем. Тая прилегла у входа под деревом, а мы все продолжали, перейдя к отмене кастовой системы и равноправию женщин, за которые выступал Рамдас. «Тот, кто не помнит, откуда он произошел, не достоин называться мужчиной», цитировал улыбчивый, мешковато округлый хранитель, одной рукой похлопывая по животу, другой подпирая низкий пещерный свод. Да нет, наверно, ни о чем таком я тогда не думал, просто сидел рядом с ней, глядя на заходящее солнце, в сторону которого летела крошечная свастика из Мумбаи, аэропорта имени Чатрапати Шиваджи, оставляя за собой расходящийся тающий след короля…

Эти безвестные храмовые пещеры — не те, где жил Рамдас, другие — мы нашли с Дипаком не сразу, долго колеся проселками от хутора к хутору, спрашивая дорогу у крестьян и пастухов. Обычная для Индии

история — где-нибудь за деревней может стоять древнейший дольмен, своды с наскальными росписями или руины храма мирового уровня, а жители ни гугу об этом. Может, считаные и знают, но и особого значения не придают. Вот и тут, около дюжины пещер с больши-ми залами, колоннами и фигурами, с огромными вырубленными в камне слонами у входа, и все это расположено в два яруса на холме в джунглях, и ни души. Пещеры вырублены еще в прошлой эре, вначале тут жили буддисты, затем индуисты, и уже много веков как поселилось забвение. Хорошее место. Но мы к тому времени знали и куда более дивное — пещеры Панхаликаджи.

Это в тридцати километрах от нашей рыбацкой деревни Харнай. Пещерам более двух тысяч лет. Обнаружены совсем недавно. То есть о них, конечно, знали, но кто? Разве что пастухи с ближайшего хутора. Приехали ученые на несколько дней, условно датировали, сделали опись и уехали до лучших времен — в будущей юге.

В ближайшем к этим пещерам городке Даполи мы все никак не могли найти рикшу, чтобы понимал, куда ехать. Но добрались.

Джунгли, холм, двадцать восемь вырубленных в скале пещер, одна за другой, вытянутых на полкилометра вдоль тихой заводи, где живут крокодилы, но мы тогда не знали об этом. Вначале мы шли вместе, заглядывая в каждую из вихар, слегка оглушенные открывшимся. Тая спустилась к заводи искупаться. А я все никак не мог прийти в себя, переходя от одной пещеры к другой. Во многих из них были большие, вырубленные из камня фигуры богов, барельефы, надписи на деванагари и, возможно, пали. А в траве под деревьями — осколки, фрагменты, покосившиеся

буддийские ступы, вросший в землю улыбающийся Ганеша… С деревьев глядели лангуры и, вдруг всполошившись, неслись по ветвям и прыгали на спины пещер, а оттуда вниз и усаживались на обломки богов и богинь…

Поначалу здесь, как и в тех пещерах под Мурудом, жили буддисты, потом, несколько веков спустя, таинственно исчезли. Поселились джайны. И тоже по неведомым причинам исчезли. Затем, где-то в седьмом-восьмом веке, пришли индусы. Несколько веков спустя пещеры вновь обезлюдели, и уже до наших дней. Все эти таинственные приходы-уходы, эти необъяснимые смены создавали тут какую-то странную энергию. Казалось, именно она и живет теперь здесь. Не темная и не светлая. Бывало, не войти — как стена, даже дышать трудно. И погреб в сердце. А в другой приезд так легко и светло, что едва не уносишься ввысь. И не понять, от чего зависело. Порой обоих нас накрывало, но было и так, что она летит, а ты сидишь, недвижно глядя в это — солнечное? змеиное? — сплетение миров, религий, где осколки будд рядом с обломками индуистских богов, фигуры джайнов вперемеж со ступами и шивалингамами.

В одной из пещер, где на своде гнездились летучие мыши, в углу лежали ноги Будды и чуть поодаль — его тело без головы. И я подумал их соединить: авось что-то в космосе сдвинется к лучшему. Мыши срывались со свода, как обугленные клочки бог весть чего, и хаотично метались. Соединил, вышел из пещерного сумрака, сел на землю, привалившись к обломку с какими-то барельефами, прикрыл глаза.

Мягкое закатное солнце сквозь листву. Тая подымалась от заводи, надев свои чудесные шелковые штаны

и такое же платье поверх из тонкого оранжевого шелка в узорах на еще влажное тело. Нагнулась, тело ее на просвет стало еще более голым, и начала расчесывать свои длинные, ниспадавшие до земли волосы, казавшиеся чуть темнее солнца. На тропе появился пастух и, глядя то на меня, то на Таю, возбужденно размахивал руками, все повторяя: макар, макар! И указывал в сторону заводи. Тихо пробравшись сквозь заросли к берегу, мы наконец увидели его — да, около четырех метров, если не больше. Лежал недвижно на маленьком пляже по ту сторону заводи, грелся, разинув пасть.

Говорят, крокодилы длиной до трех метров на человека не нападают. Говорят. Пещеры вырублены в изножье холма, в прошлый приезд мы поднялись на его вершину, там оказался маленький хутор в несколько домов. Я пытался на пальцах объясниться, спрашивая о крокодилах. Не понимали, улыбаясь, кивая, сторонясь. Отчаявшись, нарисовал на земле — примерно трехметрового. Такой, спрашиваю. Да-да, кивают, показывая в сторону заводи. Или вот такой — удлиняю его до пяти метров. Снова кивают. В сердцах дорисовываю до обрыва — размером с кита. Соединяют ладони у груди, кивают: намасте!

А на следующий год я как-то менял деньги в Даполи, там приятель у меня в Вестерн Юнион, единственном на сотни километров в округе — о том о сем треплемся, и коснулись пещер этих. О, говорит, так я оттуда родом, с того хутора, там дяде моему крокодил пальцы откусил на руке, а он ему отрубил переднюю левую. Коров пас там, к воде спустился — тишь да гладь, и вдруг — он даже не понял, кто, откуда — кинулся на него. А у дяди чаку полуметровый всегда за поясом, выхватил и рубанул, хорошо, что правая, в которой тесак, цела была.

Ушел пастух. Макар, лежавший там, заряжаясь солнцем, как батарея, ожил вдруг, увидев нас, и рванул под воду. И Тая исчезла. Пошла, наверно, прогуляться вверх по течению, это не заводь, оказалось, а речушка, за пещерами уходящая вверх каскадом маленьких водопадов.

А я сидел, все еще глядя сквозь полуприкрытые глаза на нее, расчесывавшую волосы, и вспоминал, как мы впервые въезжали в Индию.

В аэропорту нас ждала машина, присланная моим ришикешским другом Джаянтом. Я не помню лицо водителя, мы сидели на заднем, рюкзаки в багажнике. Раннее утро, долго выбирались из Дели в сгущавшемся тумане. До Ришикеша было около шести часов дороги. Город остался позади, туман прильнул к окнам так, что казалось, мы просто стоим недвижно, машину потряхивало. В мутно-белом нигде. Как до сотворения мира. И только призрачный свет вдруг вспыхивал впереди, сзади, сбоку — случайный, кривой, и мазал по окнам, по нам. Даже не свет — рваные сполохи, пробы его. Наплывал, на миг прильнув к лобовому, вглядываясь, кто там внутри, и, вскрикивая разными голосами, отшатывался в сторону, скользя за спину. Странно, что мы не разбились, и даже не думали об этом. Все это вместе — Москва, ночной перелет, Индия, мы, окукленные туманом, да и просто мы, еще пару дней назад не существовавшие, все это складывалось в какой-то сновидческий трип. В белом коконе. Гусеница-куколка-бабочка, в ком же из них душа? Тая прилегла, положив голову мне на колени. То, что происходило дальше, я не понимаю, и слов этих нет, чтобы сказать. Нет, она не трогала. Или почти не трогала. Только смотрела. И немножко дышала. Как воздух в безветренный день, а стебли травы чуть колеблются.

Он медленно поднимался — но где, когда? — казалось, в незапамятные времена, и где-то далеко внизу, где земли еще не было. Ничего еще не было, и меня, казалось. А он уже был. Только он и она. Как смысл и его звучанье. Звучанье взгляда. И дыхания. Которое произносят, не вдыхая и не выдыхая. И мутный безвидный мир, облапывающий окна желтыми сполохами. И затылок водителя, поглядывавшего в зеркальце, но я не помню его лица. Может, его и не было. Как не было ничего. Кроме тумана и этого лингама, отдельного от всего, и этой худенькой простоволосой Шакти, прильнувшей к нему на расстоянии дыханья. Видящего дыханья. Кем и была, и больше ничего в ней не было. Как и во мне, кроме него. Длилось это так долго, как с людьми не бывает. Шел уже пятый час. Нет, она не трогала. И ни единого слова. И он не ждал ничего, не вздрагивал, не излился. Просто стоял, как столпник в раденье. Как никто, которому не было до меня никакого дела. Если бы я хотел ее, если б она хотела — да, мы бы могли, там, на заднем. Но происходило что-то другое, в котором это тонуло, как меньшее в большем. Большем, чем мы. Как творение мира в тумане, в день второй. Когда что-то пропущено — там, в первом, уже непроглядное. И теперь проступающее вот этим мной, ею. Свет на щеке, ладонь у моих губ, она медленно отстранялась с улыбкой, и мир за окном проступал — небывалый, с землею и небом, с дорогой, коровами и людьми, туман рассеивался, подъезжали.

Тая возвращалась по тропе от водопадов, пританцовывая и что-то напевая, не «утомленное солнце» ли? Над ней на деревьях резвились лангуры. На нижней ветке мамаша подтягивала за хвост свалившегося младенца, он, покачиваясь вниз головой, глядел на нас, обнявшихся,

своими большими лемурьими глазами на старчески сморщенном, нежно-лепестковом лице.

Вскоре мы вновь оказались у этих пещер. С вершины холма доносилась музыка и пение. Поднялись туда. Хутор был неузнаваем. Огромные нарядные шатры, в которых на расстеленных коврах сидели мужчины и старцы в белых одеждах и белых пилотках. В руках у них были раскрытые книги, вернее, одна и та же — Бхагавадгита. Это был ее день, этой книги и ее автора. На праздник издалека съехались уроженцы этого хутора. И вот три дня и три ночи они хором непрерывно читают книгу. И женщины помогают им, кормят, поят, наряжают мир, а одна, пожилая, стоит с виной, ударенье на первом, перебирая ее струны. За ее спиной — бюст автора Бхагавадгиты, убранный цветами, трогательно несуразный. Тех из читающих, кто ненадолго отходит вздремнуть, сменяют уже отдохнувшие. Такой вот трехъярусный мир: крокодилы в заводи, глядящие в пещерный проем трех религий, и на вершине холма — хутор с поющими Книгу. Перебиравшая струны со взглядом куда-то поверх и вдаль протянула мне вину, и я на время стал ею, этой женщиной, извлекая мало подвластные мне звуки. Тая сидела в стороне с детьми, воркуя с ними на неведомых языках.

Когда мы спустились вниз и вошли в ту пещеру, где месяцем раньше я сращивал тело Будды, обе части, соединенные мной, лежали, как прежде, порознь.

#16. Перемещения разрозненного

Он и она, на глазах повязки. Ощупью вспоминают. Маленькие, думает она, с ладошку ласки — семейства куньих. Часть больше целого, думает он, это не ново, даже

когда в начале. Левая рука — Мышкин, правая — как Рогожин. Тишь меж ними, легонькой гарью пахнет, как от сгоревшей кожи. Если он смысл слова, а она звучанье, как в той Вишну-пуране, что же такая тишь? Три там дороги, и по каждой идут в обнимку беда и счастье в съехавших набок нимбах, как подвыпившие хуторяне. Она припадает к близости, они ее чувствуют, а друг друга? И в то же время они одно. Остается немного песка, извести на ладонях, огня в животе, остывающего, остается нарисовать окно.

#17. Почта

— Смотрела твои снимки со странным чувством — особенно те, где Тая в сари: страница перелистнулась, и вот уже новый дом лесника, и Руми выносит яркие одеяния. Тая на снимках светится, и все это настолько идет вразрез с твоим «все врозь», что я пристыженно умолкла, боясь нарушить эту видимую гармонию. Идея с Карнатакой мне очень нравится. Не колеблись, ты же помнишь, что в место на карте ты только как бы случайно ткнешь — а наверху уже пишут и распускают, ожидая твоих историй. Куда бы ни отправился — верю, что все чудеса тебе будут.

— Шатко все. Еще вчера было решено — она уезжает. Сегодня уже едем вдвоем. В том-то и дело: когда мир — все хорошо, но он недолог — до ближайшего поворота. Договорились, что поездка до первой ссоры, штопать не будем. Но как мне сейчас перейти от всего этого к радостной дрожи хвоста? Я нашел, куда ехать! Посмотри на карте Кабини. Станем на реке, где она вензеля выписывает в подбрюшье Нагархола на границе с Кералой.

И домик на дереве построю, и лагерь с шалашом внизу, и река, и слоны, и тигры… Если все получится — я думаю пробыть там недели три.

— Я рада, что ты нашел то, что искал. Дай бог — и тебе, и Тае, и пусть твои мечты сбываются: действительно неважно, что за женщина, что за дети, что за Индия — главное во всем этом ты сам, и пусть счастье продолжает на тебя литься из небесного ковшика. Будь, и будь счастлив — всегда.

— Кажется, твоей рукой водило горькое чувство, хотя и стремящееся быть светлым. Неужели ты не понимаешь, и тебе ли надо объяснять? Что заклинаю это счастье и местами шаманю, что это фб и немного театр, что на деле все не совсем так. Не надо тебе — особенно тебе — ревновать меня ни к Индии, ни к счастью, ни к Тае. А насчет детей в индийской школе… Знаешь, я когда писал про них, мне на миг примерещилось что-то вроде такой твоей возможной реакции, и тут же отогнал это нелепое виденье — со стыдом, что так подумал о тебе.

— Прости, я действительно как-то горько написала, хотя и правда думала лишь о хорошем и светлом для тебя. Просто, наверное, и впрямь иногда жжется — потому что это ведь так сокровенно, ты и сам все понимаешь. А тут еще и фейсбук время от времени показывает: семь лет назад в вашей жизни, пять лет назад… Но сны мне снятся прекрасные: мы в Индии, вместе, и мы летим, и все чудеса наши.

— Ну вот, а то я места себе найти не мог, говорил с тобой. Я тебе напишу еще.

— Напиши, напиши, с днем рожденья поздравь, например. Помнишь, как мы промахнулись с твоей датой на день?

— Что же мне пожелать тебе, нам, все эти тысячелетья спустя и уж не меньше впереди. Счастья — тебе, мне — речь, а Лёньке — то, что между нами? Пусть он будет светел и легок на странствия в себе и в мире. И чтоб обжилась в нем наша страсть — к Индии во всем: в речи, в чувствах и в пути. И чтобы ты была радостна и не хворала, и меж нами чтобы светло и нестерпимо чутко — как в лучшие дни. С днем рожденья!

— Вот и сбывается все, о чем ты мечтал — и тигры, и лепары на расстоянье руки от тебя. Снимок удивительный — и этот взгляд его… Денежки пришли на карту, спасибо тебе. Мы в Крыму, здесь хорошо, светло, новогодне, и наконец солнце. Шепни лесу слово: от меня, от нас. Я тебя слышу. С наступающим тебя, и пусть продлит все чудеса, мешок с которыми ты давно развязал.

#18. Бор

Мы зачастили на тот дальний луг и волшебный лес, жалея, что не обнаружили их раньше, оставалось у нас чуть больше недели в этом заповеднике. Вставали затемно и, быстро собравшись, шли к дамбе. Тая успевала еще накормить Кали — черную худющую суку, которую всю высасывали ее пятеро щенков. Тая варила им с вечера тюрю из остатков нашего ужина, подбрасывая туда и лакомые куски. Сметали они все, даже мелкие рыбные кости. А наутро провожали нас до тропы. У озера мы перешагивали шлагбаум с надписью «запретная зона» и, минуя единственный домик на берегу, где жил Сачин, смотритель частного рыбного хозяйства, углублялись в джунгли. Иногда говорили Сачину, чтобы оставил нам пару рыб, которые мы заберем на обратном к вечеру.

В тот день мы долго ходили, открывая новые для нас места. И какая-то необыкновенная тихая чуткость была между нами, как и сам день. Много нильгау видели, близко подобрались к ибисам, и просто ходили по чудесному лесу, а когда меня заносило в сторону тревожных зарослей и тигриной травы, усеянной останками оленей, и Тая чуть покачивала головой, еще не решаясь меня удерживать, я спохватывался и уступал ей, шли мягко, не оголтело рискуя, и так хватало.

Помню, как меня однажды удивило, когда мы пошли на настойчивый крик оленя, зная, что он означает, и я поначалу был несдержан, лез в заросли, пока она ждала на тропе. С большой вероятностью где-то поблизости был тигр или леопард, туда и лез я, хоть и, конечно, чувствовал неуют, и, вдруг обернувшись к ней, увидев ее состояние, пересилил себя, вернулся на тропу, старался не отходить от нее. Она потом вспоминала эту мелочь как драгоценное.

Дошли до ее дерева, где к ней приходил олень, она осталась там, а я сказал, что ненадолго схожу к озеру. Поднялся на холм, навел камеру вдаль к берегу, приблизил, а там… Ох беда, беда! Самец нильгау, один, шел, прихрамывая на переднюю левую. Еле шел, останавливаясь через каждые два-три шага, прислушиваясь к тому, что с ним там внизу происходит. Силуэтом на фоне серебрящегося озера. Он пытался нагнуться, приблизить голову к траве, не получалось — боль в ноге не давала. И тогда он попробовал опуститься на колени. Медленно, мучительно, кренясь на бок и едва удерживая равновесие, замирая, превозмогая боль, встал на колени. Коснулся губами травы. Так беспомощно, с колен, мог бы есть человек без рук. Жизнь надломилась, повисла на волоске — до первого тигра, если чудом не исцелится. Это

ведь всегда рядом с силой, самодостаточностью, стоит лишь оступиться. Потому что один. Потому и тигр так осторожен, каждый шаг взвешивает. Потому что один. Да и я тут все чаще стал думать об этом. Потому что…

Нет, подожди-ка. Чуткость, говоришь, была между вами в тот день, мягко уступал, был бережен, да? А с чего началось? С первого луга, где присели перекусить. И тут лангур кричать начал — в той стороне, где в первый приезд тигра увидели. С дерева неуемно кричал — низким, грудным, лающим, не оставляющим сомнений, что там, под деревом — кто? Тигр? Медведь — вряд ли. А луг был полон оленей, и нильгау только-только выходить начали. Сдуло всех — в минуту. Говорил себе: не иди туда в таких ситуациях, не нарывайся. Нет, встал, пошел. Она говорит: ты ж обещал, куда ты… Не оставляй меня тут одну, даже дерева нет, чтобы влезть, эти слишком маленькие. Не заводись, говорю, тигр — даже если появится — не сунется к тебе: ты сидишь, он идет, а не наоборот, вероятность невелика. Ему еще и луг пересечь надо, открытое пространство… Не слышит и слышать не хочет, влезла на деревце. А я пошел. Приблизился, прихватив палку по пути, и уже шагах в десяти нахожусь от того лангура, который последние крики исполнял с дерева. Вглядываюсь в просветы зарослей — не видать. И лангур стих. Ушел тигр. Если это был он. Может, и видел меня. Скорее всего. Но зачем ему все эти хлопоты, неприятности — человек ведь, не фунт изюма, что с него возьмешь. Кроме ненужной жизни. Он же не знает, что это Серджи, писатель, издалека, просто хотел пособытийствовать полминуты, снять видео для фильма про нильгау, надо ему очень, знал бы — может, и остался, а так — с чего бы. Вернулся, она уже слезла с деревца. Отворачивает лицо.

И завтрак испорчен, и радость положить некуда. Ну потихоньку развиднелось потом. Чутко, мягко, бережно, говоришь? Да-да.

Встал с колен и, прихрамывая, пошел вдоль берега. И я пошел — на дальний мыс. Вдали, за рукавом озера, еще один нильгау стоит под деревом. Под тем деревом я его уж не первый день вижу, коротает полуденные часы. Нет, не поддавайся инерции речи, не коротает ведь. Отошел от стада, от женщин и детей подальше, и от себя подальше. И стоит между ними и собой. Стоит недвижно, часами, глядя вдаль, в никуда. И миры в нем ворочаются. Недоступные ни уму, ни сердцу. Ни твоему, ни его. На броде, между. В этом хайдеггеровском просвете. Не заговаривайся. Но что тут скажешь, особенно после вчерашнего. Удивительное случилось. Даже не знаешь, как подойти к этому, с какой стороны.

Сидел под деревом, ждал. Именно под тем, где он сейчас стоит. Оттуда обзор на триста градусов: за спиной лес, впереди затока и мыс вдали, на котором большое стадо нильгау дни проводят. Тая накануне вечером сказала, что в лес не пойдет, в этот день останется дома, и я наметил это дерево, давно о нем думал, но вдвоем там засаду устраивать не дело, слишком открытое место, дерево особняком стоит на лугу, а нильгау чуткие, осторожные, на любое движение реагируют — за пару сотен метров шевеленье пальца видят. Одному еще можно рискнуть, сесть, прижавшись спиной к дереву, и не двигаться, слиться с ним, тогда они как единое с ним воспринимают, цельно, как дети.

И вот сижу, смотрю на мыс, а там что-то странное происходит: стадо нильгау вдруг снялось и движется

быстрым шагом, вытянувшись вдоль берега. И к ним присоединяются олени — и пятнистые, и самбары. Прямо исход какой-то, около сотни голов уже, наверно. А впереди самец нильгау, он не один там, но этот отделился от стада и переплывает затоку, выбрался на берег на моей стороне и скрылся в лесу. Полчаса проходит, жду.

И тут — шелест в кустах, выходит, прямо рядом со мной, невозможно близко. Медленно, не дыша, подношу камеру к лицу. Он остановился. Не видит меня. Просто стоит, вслушивается. Коричневая сорока села ему на голову. Стряхнул. Что-то решает, думает. Делает несколько шагов и вдруг взвивается в воздух. И там, над собой, как бы сам от себя отшатывается. Выпадает из своих очертаний. И смотрит вниз. А что под ним? Под ним — человек. Развоплощенный. Я.

Там сидел я, завтракал перед тем, как пересесть под это дерево. И вот он наткнулся на мой запах, след, на невидимого меня, и от этого внезапного присутствия человека, им упущенного, не замеченного, в нем произошел такой выброс вверх. Он, свидетель первых дней творенья, он, которому миллионы лет, он, носящий в себе весь этот мир, опыт, — прянул от неожиданности.

И вот он уже на земле, отскочил в сторону, замер в смятении, отбежал иноходью на несколько шагов, снова замер. Обернулся к тому месту. Осторожно приближается к нему, остановился на расстоянии, смотрит туда.

Может, ошибаюсь? Может, не мой запах, а змея, например? Нет, он бы не возвращался.

Уходит. Обернулся у леса, долгий взгляд, прямо в меня, но не видит.

Какой день! Мне удалось это снять, и так близко. Его, наместника божьего на земле. Вот был бы я господом, встал бы передо мной выбор: кого на земле оставить в этой роли…

Перевел камеру в сторону озера. Самка нильгау от стада отделилась и пошла куда глаза глядят. А куда пошла? Вот так, по делам, просто выбыла из стада, семьи, времени. Мало ли что у нее там, может, надо одной побыть, может, драма какая…

А я зачем здесь, за тысячи километров от дома, в этом лесу — чтобы что? Нет ответа. А смысл жизни в чем? А на каком боку спать на том свете? Из тех же вопросов.

Так вот, я бы недолго думая остановил выбор на нильгау. Если уж пользоваться человеческим языком, в его облике парадоксально сошлось божественное и дьявольское. Цвет — от светло-серого до чернильного. А однажды мы с Таей видели белого единорога, но, оказалось, это свет так лег. Маленькая голова — где-то там, в небе. Мощная высокая шея, и из груди торчит клок в виде полумесяца, заволоченного. Холка круто спускается к крестцу, хвост с кисточкой. Длинные ноги в белых носочках. И линия рта — полудемона, полуангела. В зависимости от угла света. А когда приоткрывает рот — сардоническая ухмылка. И этот странный звук, сигнал тревоги — не лай, не ржанье, а будто в горле першит и откашливается за сомкнутыми губами: б-бок, б-бок. Как бобок. И уши вращаются, ловя источник звука. А глаза — то карие, то холодный металл. И этот характерный для него поворот головы за спину, и стоит недвижно, смотрит в даль времен.

Несколько дней перед тем наблюдал танец двух самцов, двух единорогов. Они сходились перед поединком.

За царство, за семью. Женщины стояли в стороне в лучах солнца на фоне озера, горели. Чьи они будут — решит битва. На жизнь, не насмерть. И вот они сходятся. Один — темно-синий, другой — чуть светлей, с сероватым отливом. Один — король, в летах, с тонкой костью и сумрачно благородным лицом, обреченный, похоже. Другой — полноватый, но крепко сбитый молодой мужлан. И вот на глазах у женщин сходятся. Но как! Набычившись, как бы вздувшись и увеличась чуть не вдвое в объеме, вытянув шею далеко вперед, придвинув передние ноги к задним, а задние к передним, чтобы все четыре сошлись по центру под животом, и передвигаясь при этом непонятно как, но не просто движась, а медленно и тягуче пританцовывая, они шли по кругу, углом глаза следя друг за другом и все сужая этот круг, выгибаясь, как в кривых зеркалах, раздувшись до тех пределов, что казалось, кожа вот-вот лопнет, и все замедляясь, чем меньше диаметр круга меж ними, тем медленней… И вдруг — молниеносно падают на колени навстречу друг другу и схлестываются головами. И бьются на коленях — лоб в лоб, и пытаются прижать головой к земле голову противника. И вскакивают, и снова с размаху валятся всей тонной веса — голова в голову. Король бежит, уносясь галопом, победитель его преследует. Скрылись. А женщины стоят, сбившись в гурт. Мужлан возвращается, подходит к ним, поворачивается спиной и начинает переминаться с ноги на ногу, не сходя с места, все убыстряя темп, танцует победу! А они жмутся друг к другу и вслед за старшей семенят вдаль от него. А он танцует. Потом обернулся и пошел за ними, брать свое.

Божечки, выдохнул, спасибо тебе, что взял меня, показал все это. Хотя день был туманный, хмурый, еще

сумерки опускались. А начинался он с моросившего дождика, я шел в тумане по склону холма в зарослях, присел перекурить и не успел — большая семья пятнистых оленей вышла ко мне, и не видят, пощипывают траву и с каждым шагом все ближе. Сижу не дыша. Вожак с большими замшевыми рогами прямо к моим ногам подошел и щиплет траву по сторонам от ступни, а потом запнулся, смотрит — что это? Нога человечья, прям под носом у него. Никогда такого не видел. Поднимает голову и выдыхает в лицо мне. И стоит. Не бежит, даже не вскрикнул, настолько остолбенел, глазам не верит. И я не верю. Может, я и не человек уже? Ни запаха, ни других примет? Все это будет, и очень скоро.

О запахе. Ни у меня, ни у Таи нет его, даже когда, бывало, по нескольку дней не мылись. Как небо пахнет. Или прибрежный песок нетронутый. Или лес. Вот так бы лежал, уткнувшись… нет, не туда, хотя и там тоже. И нет ему ни имени, ни запаха. Так и ей, говорит, со мной.

А пока иду к мысу — перелеском, чтобы меня видно не было, — разговариваю с собой, слова туда-сюда перекладываю, а за щекой леденец, чудесные они тут в Индии, как в детстве.

Вот сорок лет ты, мальчик, шел через не пустыню литературы. Так сказать, верой и правдой служил ей, считал делом жизни своей. И что же, куда тебя это привело? А привело в Индию, в джунгли, в безмолвие, в разговор с теми и тем, кто уж точно не литературой занимается. Странная петля образовалась. Творчество в какие-то минуты вдохновенья, когда удается поймать что и не чаял, а только снилось, это, конечно, счастье, но вот проснуться в домике Сурии, затемно собрать рюкзачок, повесить

нож на пояс, взять камеру, фонарь, и отправиться в такой лес, как этот… Невозможное счастье, выше человеческих сил, именно человеческих выше, потому что литература все-таки в той местности, где человек, а здесь ты захватываешь что-то такое… Не то, что мните вы, природа, как говорил Тютчев. Хотя и он, похоже, другое имел в виду.

Есть в индуизме такой термин — ванапрастха, или ванаваси. Соответствует третьей ступени жизненного цикла, когда создана семья, дом, появились внуки, реализована вся мирская программа, человек уходит в лес, посвящая себя аскезе и духовным практикам. Но практика эта особого рода — не отрешенный взгляд в себя, а совместное с лесом проживание этого сближения с божественным миром. В древних книгах есть и регламент этого лесного подвижничества: не употреблять в пищу ничего кроме диких плодов и кореньев, не разводить костров для обогрева, только в ритуальных целях, а священный личный огонь передать сыновьям перед уходом в лес. То есть становясь нирагнис — не имеющими огня. Этот период длится от года до двенадцати лет, затем человек, как считается, готов к последней четвертой ступени — саньясина.

Здесь, в Боре, мы с Таей съездили к одному такому отшельнику. Сурия рассказал о нем и прислал метку на гугл-карте. Отправились с Сачином на его машине, полдороги он пел за рулем, а когда в лес углубились — притих и занервничал, и чем дальше, тем больше, спросил, нет ли у меня ножа на всякий случай, неспокойно ему тут. Заблудились немного, но потом нашли хижину. Рядом с баньяном и родником. Светлая, нищая, продувная, с земляным полом, и такой же храмик Шивы рядом. Пучки травы и кореньев сушатся под притолокой. И небольшой

запас в корзине — кулек риса, несколько щепотей чая. Мы привезли ему кое-что съестное, принял. Коренастенький, невысокий, с густой бородой, окрашенной хной понизу. Оранжевая юбка, желтый верх и пилотка на голове. И допотопные очки. Вид ученого лесовичка. Справили совместную пуджу, поговорили потом, Сачин переводил. Под семьдесят ему, точнее не помнит. Жена умерла, дети выросли, ушел в лес, пятый год здесь. Нет, одиночества не испытывает, живет по солнцу и по лесу. Мишки часто приходят. Спросил его о каких-то особых случаях. Задумался. Вспомнил. Сижу, говорит, здесь поутру, читаю мантры Шиве, и вдруг чувствую чье-то присутствие — прямо за плечом. Оборачиваюсь, а там кобра, очень большая, стоит с расправленным капюшоном и в глаза смотрит. Я мысленно продолжаю читать, но дальше наизусть не помню и только повторяю последние слова, а она все ниже опускается, легла, уползла. Хороший знак, подумал тогда, значит, правильное место здесь для Шивы. И для меня. Да, похоже, светло в хижине его жизни, хоть и свет тающий, уходящий. Присели с ним вдвоем у баньяна, помолчали, обнялись напоследок, очки его уткнулись мне в грудь, и что-то он там нашептывал прощальное.

Несколько дней назад на той стороне озера сидели с Таей на бревнышке, завтракали, а вокруг нас большущая стая лангуров, уже свыкшаяся с нашим присутствием настолько, что когда олени начали выходить, они их не предупредили, а те так доверчивы, что даже видя нас — не верят глазам, раз для лангуров нас нет, стало быть, нет вообще. Оставили рюкзачок на бревне, пересели под дерево, куда олени прямо к ногам нашим подходили, щипля траву, и, подымая голову, смаргивали наше изображение как нереальное. Смаргивали, а мы ресницы могли у них

пересчитать. И вдруг два мотоцикла с лесниками выехали из низины — мы даже мотор не услышали. Залегли за бревном, а они сошли с мотоциклов, идут к озеру, рюкзачок наш прямо перед глазами у них, чуть правей, но они влево смотрят, а мы ползем вдоль бревна, я рукой нашарил рюкзак, успел, добрались до полого дерева, видно, молнией сожженного, протиснулись внутрь, следим сквозь щель за лесниками: они потоптались рядом с нами, сели на мотоциклы, уехали. А увидь они нас, и дверца в этот мир затворилась бы.

Подумал, как часто я испытывал страх в джунглях? Не внезапный испуг, а настоящий страх, долгий, изматывающий. Несколько раз, да. И в основном не в тех случаях, когда сталкивался лицом к лицу. Там не до страха, каждый миг на счету, спокойная концентрация. С виду, а что на деле внутри? Наверно, тоже не так бедово, иначе зверь это чувствует — панику, каждый неверный жест. Но все же он перед тобой, ты его видишь. А бывает сталкиваешься, а его нет, нигде нет, и одновременно он повсюду, рядом с тобой, незрим. Так было в тигрином заповеднике Умред-Кархангла, куда решил средь бела дня прогуляться, обойдя кордон лесников. Далековато зашел, солнце уже садилось, пора было возвращаться, но оказалось, что, петляя по лесу, я, похоже, слегка заблудился. Вышел на тропу, смотрю — свежий след, по размеру лапы я понял, кто это. В этом заповеднике обитал самый крупный тигр Индии — Jay. Огляделся. Тишь вокруг звенящая, зловещая, и птицы примолкли. И началось: кружу в поиске пути назад, и всякий раз выходя на тропу — другую, в другом месте — вижу его след, только что оставленный. То есть мы оба кружим, только я его не вижу, а он меня — уж наверное. С каждой минутой смеркается. Волны страха

начинают накатывать, особенно когда спина и затылок говорят тебе: обернись, вот он, быстрей! Нельзя поддаваться, иначе будешь вертеться безостановочно, но и не обернуться трудно, а вдруг это не панический импульс, а чутье? Долго длилось. Физически чувствовал его присутствие, совсем рядом, вплоть до запаха. С этим выключенным звуком леса и гаснущим светом. И непонятно, в какую сторону идти, где тот кордон и деревня, откуда пришел. Все-же добрался, выдохнул. А через несколько месяцев Jay исчез, индийские газеты писали об этом, о поисках его, но не нашлось ни тела, ни следов.

Тут в основном тиковый лес, сейчас зима, засуха, и деревья роняют листья, избавляются от нахлебников, чтобы выстоять. Листья огромные — в пять ладоней. Висят, истончаясь, мелея, превращаясь в лесной гипюр. Тикают деревья и роняют их на землю. Контурные карты в форме листов похрустывают под ногами. А возьмешь в руку, и можно смотреть сквозь них в даль нездешнюю, в рисунки воображенья. Вот такие и остаются от истончившейся жизни — контурные карты.

Аверинцев говорит об утраченном месте человека в природе, о его неуместности. Человек не живет в мире. За пределами человеческого не живет, соприкасается с ним на своих границах, но не живет. Грузинский зоолог по имени Ясон провел два года в стае волков почти наравне с ними, спал, ел, ходил на охоту. Приняли, даже спасли жизнь, отбили у медведя. Ученый, сверхзадача. А без нее — либо-либо. Или ты человек, и нет тебе входа в этот мир с твоей речью, интеллектом, знаньем о смерти, или входишь ценой утраты всего этого, становясь там — кем? Но есть территория между этими крайностями. Есть ли? Со смягчением «я», его

положения, роли. Не ломки, не унижения, а хоть некоторого смещения в сторону с авансцены. Легко сказать. Но в какие-то минуты, кажется, что-то удается, возникает это ощущение высвобожденного пространства, куда мир мог бы войти…

Или эти две перекрученные лианы — темная и светлая, в нежную обнимку, удушающую. И тянутся вверх, оплетая дерево, но оно сильное, еще держится, цветет там, в небе, но и лиана уже наматывает круги, подбирается… С невольной ассоциацией. Только мы в этой жизни — и дерево, и внутренняя лиана, которая нас, оплетая со временем, подсушивает, а мы все зеленеем — надо думать, от радости…

Поднимешь взгляд: лист над головой, один на ветке, истончившийся, и небо сквозь него затуманено. Кто ж их видит, эти листы, кто их читает? Птицы да ангелы.

Долгий это разговор и, похоже, безвыходный. Я ведь молчу в лесу — и в мыслях, и в речи. Это потом я могу все это пересказывать — себе, вернувшемуся, на том языке, на котором живем. И все эти речевые радости, образы, метафоры — это все потом, с другим собой, который помнит, что в подоплеке то, чему нет языка. Но что об этом говорить, если и сам ответить себе не могу, когда, где и как это происходило и происходит. Да, вначале, наверно, порыв, желание, но этого мало. Тут из многого складывается, постепенно, изо дня в день, годы. Черт его знает, как. Это ведь не куда-то «вниз» от человека к природе. И не вместе с ним. Иначе некуда — там все заполнено: мышлением, речью, строем чувств, и нам тут никак не посторониться, это сильнее нас на тысячелетья. Но и не надо ведь, весь этот «лес», или попросту божий

мир, где-то есть в нас, только к нему уже не протиснуться сквозь человека в себе. Кажется, как это «где-то» и что значит «не протиснуться», вот же он, с нами. Кажется. Но чем мы встречаемся с ним? Мышлением, речью, человеческой психикой, всем этим сомкнутым строем, от которого никуда не денешься. Но со временем, если движешься в эту сторону, внутри тебя возникают какие-то полости, зазоры, отсветы, наживляются тропы… Нет меня в лесу — этого, вернувшегося, но иногда на привале, реже — на переходе, как сейчас, мы вот так перекидываемся словами, теребим речь. Недолго.

Не успел я отвести взгляд от этого листа, как услышал шорох в нескольких шагах от меня: маленькое лесное чудо выглянуло из-под коряги и двинулось ко мне, пройдя мимо, не обратив внимания. Дикий полосатый кот. Даже, скорей, котенок. Надо же — один, крохотный, гордый, самостоятельный! Совы тут, коршуны на деревьях, только и ждут, а он ничего не боится, прям тигр. Какой дивный день, и чувство меня не обмануло.

Так я думал, продолжая идти к мысу. Вот следы кабанчиков, рылись тут. А там термитник с меня ростом, как песочный замок. В таких кобры зимуют, рядом с крысиными змеями, как в коммуналке. Да, все же есть что-то общее у леса и письма. При всей их несовместимости. Как у нас с Таей. Когда начинаешь писать текст — вроде бы начальный импульс исходит от тебя, еще отдаленный, невнятный, приходят первые слова, строчки, а потом роли начинают исподволь меняться — и уже речь ведет тебя, а не ты ее. Что-то подобное происходит и в джунглях. Поначалу вроде бы ты идешь в лес — с каким-то планом, ожиданиями, опытом, и, если настрой между вами верный и бог милостив, лес тебя подхватывает и начинает

вести, и пишет тобой, тебя. И это уже совсем другая история. Как и в письме.

Тем временем я уже почти дошел до мыса, но, увидев сухое дерево прямо на краю затоки, решил понаблюдать оттуда. На том берегу паслось стадо нильгау. На уровне груди ствол расходился на два, установил там камеру, чтобы не дрожала в руках, и прижался к дереву, глядя в видоискатель. То самое стадо, которое не соблюдает обычный распорядок, а вольно пасется с утра до вечера. И самец там. Ухаживает за избранницей. Вылизывает, пристроившись сзади, а она помахивает хвостом и идет себе, щипля траву. Стою, прильнув к стволу, за спиной у меня луг, тишь, солнце садится, но до сумерек еще далеко. Тая, наверно, в своей засаде сидит на волшебном дереве, в получасе ходьбы отсюда. И тут, увлекшись съемкой, я вдруг почувствовал за спиной чье-то незримое присутствие. Не где-то далеко за спиной, а прямо у ног. И медленно, не выключая камеру, обернулся.

Красные волки! Или как здесь их называют: дхоли. Те самые, что в «Маугли» в последней битве. Около дюжины. Бесшумно подошли, пока я стоял спиной к ним, и окружили, замкнув меня в этом полукруге, вторая половина которого — затока, теперь она за спиной. Перебегают, меняясь местами.

Ничего не понятно. Вроде бы никакой агрессии, будто меня нет для них. Но видят, конечно, еще как. Вожак, да, это, наверно, она, подошла к самым ногам и в лицо смотрит, пасть открыта, как будто смеющаяся, ничего себе зубки. И вскидывается, не сходя с места, на задних, и приседает, и вскидывается, раз за разом, да, я где-то читал, это сигнал к атаке. Но никто из стаи ее не поддерживает.

Что ж происходит? Одни в траве валяются, играют, другие перебегают, бросая взгляд на меня. Я открыто стою перед ними. На дерево — не успеть, они в шаге. Даже повернуться не успеешь. Это те, кто стаей берет даже самцов нильгау, те, кто укладывает леопарда, а случается, и тигра, даром что ростом невелики. Что же это? Никакой агрессии, но и других эмоций тоже ведь. И почему на огромном лугу они выбрали именно это место и бесшумно подошли со спины, и расположились, как для отдыха… Трудно представить, чтобы на что-либо живое размером с меня была вот такая реакция. Разве что как к своему, одному из стаи. Но я же не дхоли. Необъяснимо.

Вожак отвернулась, затрусила в сторону. Стая нехотя поднялась и направилась за ней. Похоже, переходят на соседний луг. С минуту я провожал взглядом — и пошел открыто вслед за ними. Пошел, от себя не ожидая. Последние оборачивались на меня и трусили дальше, никакой реакции. Вот, выходит, отчего была тревога на том первом лугу, когда лангур кричал и всех сдуло с луга.

Вожак уводит стаю в лес. Присела, обернулась ко мне. Та, кто, глядя в лицо, подпрыгивала на месте, вскидывая передние лапы, как они делают, оценивая, принимая решение. Оно могло быть и другим…

Вернулся, Тая уже нервничала, начинало смеркаться. Значит, идти по джунглям придется в темноте. Быстро перекусили. Хотелось рассказать ей. Но не второпях. Ну, что видел, как сходил? Потом, говорю, расскажу.

На полдороге, уже в зыбком свете, перед нами снова возник этот олень-великан. Недвижно стоял поперек тропы. Остановились в шагах десяти от него. Не уходит.

И не обойти его. Почесал задней ногой ухо и снова замер. Так и стоим. Тая зашла чуть правее, чтобы он видел. Кивают друг другу. Он поворачивается, уходит.

Когда добрались до первого луга, уже совсем стемнело. Тропа звериная, в завалах камней, то в лес ныряет, расплетаясь в зарослях, то вдоль озера вьется с обрывистыми откосами к нему. Выключи фонарь, говорит, не надо, мешает. Как кошка видит во тьме. И быстро идет, радуюсь ей, но про себя. Несколько раз споткнулись — то я, то она, съехали по откосу, но целы. Уже виден впереди свет в доме Сачина у рыбного хозяйства.

На тропу выскочили два кабанчика, развернулись к нам лицом и, став плечом к плечу, пугают: делают ложный бросок на пару шагов и сдают назад. И снова — на выдохе, с хрюком. Или на вдохе? У волков вой на вдохе. Станиславский, говорю, и Немирович. И зеркально повторяю их выпады. Прядают, и опять. Не верю, говорю, не верю! И иду на них — метнулись во тьму и опустили занавес.

Дошли. Присели у рыбного хозяйства перекурить с Сачином, взяли двух пангасиусов, оставленных для нас, трепещутся в кульке. Луна висит, красная. Втроем и идем — она и мы, и шорохи в кустах, шепоты, праязыки. Кали выбежала встречать, за ней ее пятеро, пытаясь ухватиться и повиснуть на ее тощем вымени, и сама как закладка в книге.

Вот оно, несравненное: вернуться из джунглей после такого дня, заварить настоящий индийский чай, сорвать с деревца кислое солнышко лайма, сесть с Таей во тьме на завалинке у дома Сурии, где ни души в округе, только дальние колотушки слышны и этот стонущий крик фермера, отпугивающего в ночи зверей с огородов: ооо-хо,

ооо-хо! Но сейчас еще рано, тишь, только пенье цикад. Сидеть так, пить чай, молча, рядом, с этим огромным днем внутри. Который тоже притих, все понимая. И знать, что завтра снова пойдем в лес.

#19. Почта

— Я попробую объяснить, что происходит. Наших отношений не существует, это очевидно. Но есть Лёнька. Зимой мы пытались об этом поговорить, и ты вроде бы понял и отчасти согласился. Видимо, мне показалось. Что касается меня: я пока не хочу ничего связанного с тобой. Думала, что справлюсь как-то, но нет. Тае все-таки удалось отобрать и то малое, что оставалось. А я-то считала себя уже пережившей это и повзрослевшей, чтобы какие-то новые отношения с тобой пытаться осторожно налаживать. Дружить могут на старой закваске лишь те, кто изначально не вложил всего себя в отношения, не умер и не родился заново. Боялась начать реветь, мне негде. И нельзя. Лёнька меж тем подписался давно на твой ютьюб-канал, что-то смотрит, но со мной не обсуждает. Хорошо, что ты в Чехии с Таей — и пусть уже все наладится у вас, не дело тебе одному, ни в Индии, ни вообще.

#20. Прага

Присели на скамейку на пражском кладбище у могилы Кафки. Ясный летний день, безлюдно. Молчим. Я пытаюсь как-то собрать все это воедино. Кафку с его отцом, с которым у него были трудные отношения, а теперь лежат в одной могиле в обнимку костей. Моего отца, с которым были ближе некуда, а теперь он на мюнхенском кладбище, и я не могу прийти к нему, не идут ноги,

и слова знать меня не хотят — годы. Егеря Гракха, который охотился на серну в лесу Шварцвальда и сорвался в пропасть, и с тех пор ни жив ни мертв, плывет по небу на некой барке между мирами, и Юлия, жена шкипера, всякий раз ставит у его изголовья напиток той страны, над которой они зависают. Как же все это произошло? Он не может ответить. Миг невнимательности капитана, легкий поворот руля, притяжение какой-то невыразимой родины… Именно так и происходит — легкий поворот, миг невнимательности. И все, и плыву на этой барке, потеряв женщину, жизнь, Индию, и конца этому нет. И ответа не будет, где ты. Здесь, на этой скамейке, рядом с другой женщиной, напротив могилы того, кто всю жизнь писал Егеря Гракха и так и не смог закончить. Я не егерь. Прошли годы. Рядом со мной Тая, вернулась Индия… Можно сколько угодно повторять, но с этой барки уже не выбраться, как бы все ни менялось вокруг, даже таким ясным днем, с ладонью Таи на моем колене. У могилы того, кто писал о телесной возне между мужчиной и женщиной как о собаках, рывшихся друг в друге… Чтобы обрести то, что никогда не найти. Да, Тая? Мы находили. И в том костре за озером. Еще вчера. В городке Добрич в предместье Праги, где живем в доме моего друга-художника, уехавшего ненадолго в Канаду, оставив нам ключ и кота. Озеро на окраине с хвойным лесом, вошедшим в воду, где у поверхности плавают легионы карпов, перестраивая свои колонны, как души легионеров, уже не помнящих себя. А за озером высится замок, где когда-то жили художники, а теперь психбольница. Или она и была для них, не помнящих себя. Оттуда порой доносятся протяжные крики. И легионеры перестраиваются под водой. Горит костер, а мы сидим — глаза

в глаза — обнаженные и такие юные, как никогда еще. Перебираем пальцами друг друга — лицо, уголок губ, ключица, подвздошная ямочка. Чуть покачиваясь и вытянув руку, как два богомола. Перебираем, боясь коснуться, а там внизу все уже происходит, и это как две жизни — вверху и внизу. Земля и небо. Мы в небе, а на земле уже все идет к концу. Она сидит на мне, полулежащем у костра, и бедра ее раскачиваются вперед-назад, а лица наши и руки — в небе. Вверху — юные мальчик и девочка, у которых это впервые, а внизу — раскачиваются на качелях мужчина и женщина, страстные, мокрые, падающие в «никогда». Костер догорал между верхом и низом, в его стихающих стонах и рваненьком смехе ее, жалобно полевом.

Сидим на скамейке, и я все никак не могу собрать это воедино. Кафку, себя, Таю, прежнюю жизнь, егеря, барку, день этот ясный, тишь, двух синиц, прыгающих по могиле. Она убрала ладонь.

Вернулись в наш пригород к вечеру. Дом был большой, в трех уровнях и выходом на четвертый — с террасой, откуда видны были леса, припавшие к городку. Мрачные, хвойные, набравшие в рот сумрака и какой-то безысходной… нет, не печали, а безжизненности. Даром что в лесу этом жили олени, те самые серны, наверно, на которых охотился егерь Гракх. Там мы гуляли подолгу и молча. Даже когда разговаривали.

Трудные были дни. То близость без кожи, то глухонемая стена. Садились на велосипеды и разъезжались в разные стороны, изматывая себя педалями.

А наутро уже были в лесу, и однажды к нам подошло чудо. Обычно оно не подпускает к себе ближе нескольких

десятков шагов. А это медленно шло в нашу сторону, мы присели на тропе и прижались друг к другу. А она, серна, подходила все ближе, пока чуть не коснулась нас, и высоко подняла голову с нежно-длинной шеей, уходящей прямо от нас в небо, так и замерла. Мы все сидели, щека к щеке, запрокинув головы.

В городке этом был замок, в одном из его флигелей — музей кукол и игрушек. Тая любила это, и сама много лет мастерила кукол. Даже в Индии находила особые инструменты для резьбы по дереву и возила их с собой, а когда оказывались рядом с плотниками — корабельными или деревенскими умельцами, подсаживалась к ним, присматриваясь к ремеслу и древесине. У меня это вызывало двойственное чувство. Хорошее — если о творчестве и увлеченности. И не очень — о самих куклах и связи с их потусторонностью.

В музее мы были единственными посетителями, и пока она ходила по комнатам, разглядывая экспонаты, я установил камеру в дальнем зале и сел напротив, чтобы снять видео с рассказом о любви и смерти в этой дивной комнатке с игрушками и платьишком воспитательницы на стене. В предместье Праги, в городке Добрич, за тридевять земель от Индии, о которой шел сюда и думал. Об Индии, возникшей из самосожженья любви. От отчаянья, от обессмысливания всего, что держит в жизни, от невозможности выбора. О женщине, шагнувшей в огонь, о Сати. Ее отец, великий царь Дакши, проводил один из священных ритуалов, на который приглашались самые уважаемые гости, но узнав, что его дочь полюбила Шиву, вознегодовал и отказал им в благословении. По одну сторону сердца Сати — дом, род, по другую — любовь. И невозможность выбора. И шагнула в огонь. Но

за мгновенье до этого душа ее в ипостаси Парвати осталась жить, а Сати сгорела в огне. И Шива, придя в отчаянье, обнял ее, Сати, обугленную, и началась в небе неистовая пляска безутешной любви и смерти. С мертвой, обезображенной возлюбленной в его объятьях. Еще немного — и все мирозданье ушло бы в эту воронку отчаянья. И тогда боги взмолились к Вишну, чтобы как-то остановить это. И он, Вишну, своей сударшана-чакрой влет рассек уже тронутое разложеньем тело Сати в объятьях Шивы, и пятьдесят одна часть ее рассеченного тела пала на землю, и там, где каждая из частей касалась земли, всходили сады. Этот цветущий сад и стал Бхаратом, то есть Индией.

Хорошо, что дом большой, не дойти друг до друга, когда чужесть обметывает углы. Тая на верхнем этаже, читает, наверно, или просто лежит, глядит в окно. А я внизу, в большой зале, нашел куклу почти с меня ростом, в красном платье и светлыми густыми волосами, как у Таи. А лицо с удивленной печалью. Усадил за стол, налил ей коньяку, придвинул ее руку к бокалу. Взяла. А я взял маску венецианскую с колокольцами.

Помолчи немного. Либо живешь, либо пишешь. Не на что человеку опереться внутри себя, никого там нет. И Богу не на что — потому и мир. С семьей, домом, любовью, памятью, ромашкой, стрекозой. Чтоб не сорваться. Или свобода. Ни на чем не держащаяся и никаких смыслов не ищущая. И еще какой-то набор неименуемых состояний, который дышит на зеркальце твоей жизни. В близости не выживают. Да, принцесса? И она медленно наклоняется, двигая бокал в мою сторону.

Скрипит лестница, Тая спускается, садимся ужинать, при свечах, втроем.

Нет, не было ужина на троих. Я поднялся наверх, лег рядом. Выключил свет, оставив напольную лампу. Так и лежали под разными одеялами, не зная, как повернуться — спинами ли друг к другу, лицами ли, такими родными и такими чужими, как дотронуться, чем? Протягивая руку и замирая на полпути. Притворяясь спящими. И все же, превозмогая, прижавшись. И — я не помню, что было потом, то есть между — но вот она уже стоит на четвереньках на полу у кровати, спиной ко мне, издавая блеющие звуки, изображая овечку. От неожиданности я растерялся. В этом была и пощечина, и обида, и вызов, и фарс. Она швырнула себя мне как кость, как любовь, как скотоложество. Мягко, игриво, наотмашь. Я чувствовал все растущее возбуждение, постыдное, гадкое, но и справиться с ним не мог. Глядя на нестерпимо желанное, которым она вихляла и вскидывала, изображая эту карикатурную овечку, и блеяла, блеяла, призывая меня. И я не знал, то ли смеяться от этого, то ли выть. И сквозь униженье и стыд, и обиду, и всю эту дурь, разгребая руками их, морщась и закрывая глаза, вдруг ощутил, что я уже в ней, и она все блеяла, блеяла, стихая, плача.

#21. Панхаликаджи

Ждали гостей. Продумал маршрут, чтобы показать им нетуристическую Индию, которую любил и знал. Долго готовились. Поскольку предполагал этот проект ежегодным. Обустроили с Таей кампус во дворе нашего дома в Харнай, у самой кромки океана. Купили столы, стулья, посуду, и бесконечно что-то везли из города — вплоть до туалетной бумаги и разных мелочей, привычных для людей, особенно тех, кто окажется впервые в Индии, да

еще и в таком отъявленно нетуристическом краю. Добыл газовый баллон, что оказалось непросто, писал письма, ездил в город на приемы. В единственной деревенской гостинице благоустраивал номера — стены красили, постельное белье закупали, чинили сантехнику. Даже горячую воду в один из номеров провел — для самых нежных. Хотя вода хорошо прогревается солнцем и во второй половине дня уже теплая. Заодно и у себя решили поставить электрический преобразователь холодной воды в горячую. Две недели сантехник, живший в нашей деревне, шел к нам. День за днем находясь в пути, уже на подходе, вот-вот. Чтобы установить купленный нами прибор. А когда пришел, нам нужно было отлучиться, вернулись через пару часов. Сияя, он сказал, что обнаружил фабричную ошибку в устройстве: нагретая вода шла из душа, а надо, чтобы разделялась на два крана — с холодной и горячей, не смешиваясь, как это принято в Индии. Разобрал, переделал, и вот — теперь можно мыться по-человечески: из ведра черпаком.

Нарядили наш кампус, повесили индийский флаг, все было готово. Оставалось найти помощника из местных. С английским языком, а это в деревне днем с огнем. Познакомился на рыбном рынке с Зубаиром. Безбородый худощавый мусульманин лет тридцати. С тихим голосом, печально-внимательными глазами и деликатно услужливой пластикой. Прекрасный английский. И мягкий многослойный мир за, казалось бы, амбивалентной поверхностью. Мягкий, несколько женственный даже, но не очевидный, с осторожной подсветкой изнутри. Работал он на рынке водовозом, привозя на грузовике дважды на дню цистерны с водой на рыбный рынок. С напарником, на которого работал, имея за это лишь кров в городке, еду и копейки

на дешевое курево. А труд был нелегким, почти весь день стоять на жаре, разливая воду для рыбаков и их кораблей. Жил в Мумбаи, отправился пару лет назад на заработки в Эмираты, вернулся — ни жены, ни дочери, ни квартиры. Иногда навещает дочь, когда бывшая позволяет. Посидели за чаем с ним, договорились. Да, мистер, сказал он, вставая, все сделаем, а денег не надо, не ради них. Тем не менее я их ему подкидывал, хотя он и уворачивался, но я всякий раз находил попутные ненавязчивые поводы.

Пришло время ехать в аэропорт встречать группу. Накануне поздним вечером к нам на веранду поднялся радостно возбужденный Есван и сказал, что только что по телевиденью выступал Нарендра Моди: все денежные купюры достоинством пятьсот и тысяча рупий с этого часа становятся недействительны. Чему ж ты радуешься, папа, сказал я, слегка холодея, поскольку днем раньше поменял всю нашу валюту на месяцы вперед и получил именно этими купюрами. Борьба с теневым капиталом, рассмеялся Есван, давно пора!

Ночь была нелегкой. В Мумбаи предстояло еще, встретив группу, поменять их деньги, рассчитанные на все наше двухнедельное путешествие — с отелями, переездами, едой и прочим. Банки и обменные лавки закрыты. И будут в ближайшие дни, а скорее, недели. Лежал, глядя в окно на океан, который в эти дни светился водорослями. Таким необычайно сильным свеченьем, и особенно на пенных гребнях длинных пологих волн, что казалось, там, в глубине, давно уже нежнозеленый день, а земля лишь пещерная тень его. Тая тихонько лежала рядом, держа меня за руку. Так и уснула. Просыпаясь, трогая — здесь ли, сплю ли. Я притворялся. Она догадывалась. И, вздохнув, засыпала. Обычно

у нее уходило не больше минуты на это, в отличие от меня со всем списком моих кораблей.

В аэропорт мы поехали с Зубаиром на двух машинах, чтобы к вечеру привезти гостей. Тая осталась — немного еще прибраться и приготовить ужин на всех. Ревновала меня к Зубаиру, хотя ни за что не призналась бы. И опускала его изощренно и всячески, когда мы с ней оставались наедине, а при нем — молчаливо, но уж всем своим видом. Со временем договорившись до того, что он гей и у нас с ним любовь, потому и уединяемся часто. У него, говорит, все на лице написано… на твоем, кстати, тоже.

Зубаир был не первым и не последним в этом ряду, куда попадали почти все, к кому я проявлял, как ей казалось, особую расположенность. Не говоря о женщинах, тут и в расположенности нужды не было. И если в первом случае для нее это была спокойная и как бы вскользь, но последовательная работа по унижению жертвы в моих глазах, то во втором — просто рвала отношенья. Приходилось латать на лету. И хорошо, если еще в пределах видимости. А то оглянуться не успеешь, а уже собрала вещи и поминай как звали. Чудом ее находил на полпути к исчезновенью на полустанках и перронах. Чутьем и чудом. Прижавшись друг к другу у края утраты.

Конечно, не только в ревности дело — вроде ни ей не свойственной прежде, ни мне. На совести этого чувства была лишь малая доля наших разрывов, да и те не оттуда росли. И не в чужести. Сцепившейся с близостью. И не в любви, думал я временами, переводя дыханье. Как и она. Впрочем, не зная, с чем сравнивать — этого опыта не было у обоих.

Ранним утром встречал нашу группу в аэропорту. Пока они ожидали в кафе, мы с Зубаиром искали, где поменять деньги. Конечно, все было закрыто. Повсюду рыскали мутные менялы, почуявшие свой час. То и дело отводя в сторону то меня, то его, сменяя друг друга. Те еще лица. У одного из них, особо навязчивого, был стянутый в ниточку глаз и исполосованное шрамами лицо. Шли часы. То, что сулили менялы, ополовинивало курс. Или предлагали по курсу, но теми купюрами, которые уже были недействительными. В какой-то момент, почти отчаявшись, но все же выторговав немного, я согласился, решив обменять треть денег по низкому и треть на эти «мусорные» купюры, которые все же оставалась надежда как-то потом поменять на новые. Пойдем, сказали они, машина ждет. Я искал взглядом Зубаира, но кто-то из этих менял его предусмотрительно увел, чтобы нас разделить.

Машина оказалась микроавтобусом с тонированными стеклами. Девять человек: трое впереди, трое сзади, и я посередине, зажатый с двух сторон двумя тяжеловесами. Вскоре свернули с дороги в какие-то безысходные переулки и подворотни. Вынул телефон — выключен, батарея села. Взять деньги и вышвырнуть меня на ходу живого, а проще мертвого — ничего стоило. Глядя на них. Особенно на тех, кто сидел по сторонам от меня, я б уместился у каждого из них за пазухой. Наконец, тот, с ниточным глазом, сидевший впереди, обернулся: покажи деньги. Не бойся, только проверим купюры. Ладно, думаю, чего уж тут, или-или. Даю ему пачку евро, листает, лицом ко мне. Одну из купюр незаметным движением стравливает вниз, под себя, и прикрывает ее, усаживаясь поудобней. Ты ошибся, друг, говорю ему спокойно,

и замечаю, что неожиданно для себя уже держу его за ухо, сдавливая с подкрутом. А другой рукой вынимаю из-под него эту сотку и возвращаю ему: продолжай. И как-то притихли все, переглянувшись. Кое-что изменилось. Возвращает мне деньги. Меняем по договоренному курсу. Выехав на дорогу, хотят меня высадить. Говорю, чтоб вернули, где взяли. Выдохнул в аэропорту.

Приехали к вечеру, усталые, Тая накормила всех, еще посидели за столом у океана, и разошлись отсыпаться — утром лодка на остров.

Встал пораньше — сбегать на рынок, докупить, чего не доставало на завтрак для группы — хлеб из пекарни, дохи, эту чудесную домашнюю простоквашу, манговый джем со здешней плантации, что-то еще… Иду, думаю: на несколько дней денег хватит, а что дальше? И что делать с этим денежным мешком мусора, который не обменять нигде? То есть можно, но крохотные суммы с недельным лимитом. И только для индийцев, иностранцы оказались тут совсем не предусмотрены. Длинные очереди в банки начнут выстраиваться в ближайшие дни по всей Индии. И вот иду я утренней нашей деревенской улочкой, на каждом шагу меня окликают — знакомые и незнакомые: Серджи, Серджи, беда не беда, давай нам эти старые деньги, мы понемногу будем менять тебе на новые. И я давал — поначалу знакомым, а потом и всем подряд, даже не запоминая кому. Меняли, и в лавках денег не брали с меня, давали в кредит. И на рынке. И за жилье — ни в отеле, ни в доме. Когда-нибудь вернешь, Серджи, жизнь долгая. Простые люди. Сами без денег, с детьми, большими семьями. Есть не на что, и при этом делили поровну эту ничтожную сумму обмена: половину для семьи, другую

для меня. За тридевять земель. Настолько родные, свои, что нигде это так не чувствовал…

Прошло несколько дней, проведенных в нашей рыбацкой деревне Харнай, и мы отправились с друзьями в Панхаликаджи. Приехав, присели в тени под манговым деревом с лангурами в кроне, я немного рассказал об этих пещерах и предложил им самостоятельно их осмотреть, поскольку место это непростое и у каждого может сложиться свой рисунок. Заблудиться тут нельзя, пещеры вытянуты вдоль тропы у подножья холма, справа заводь, но осторожно — там крокодилы. Встретимся через два часа у главного пещерного храма, это примерно посередине тропы. А мы пока с Таей и Зубаиром перенесем туда все, что взяли для нашего пикника.

Все разошлись, мы переносили кульки и коробки с еще горячей едой. С холма спустился местный парнишка, краевед-любитель, которого я знал по прежним нашим приездам. Сказал, что в нескольких километрах отсюда есть еще одна пещера, о которой никто не знает, он мог бы показать дорогу. С ним вдвоем и поехали на его мотоцикле.

Пещера была с несколькими залами, барельефами и множеством фигур — индуистских, буддийских и джайнских. Особо чудесен был двухметровый Ганеша с добродушной улыбкой и озорными глазами, глядящими из двухтысячелетней дали, ладони его покоились на огромном пузе. Я снял небольшое видео, захватив и округу, в которой покоилась тишь и забвение, и поспешили вернуться.

Зубаир стоял у маленькой заколоченной пещерки, вокруг никого не было. Я не раз пытался разглядеть сквозь

щели — что ж там внутри, в этой единственно запертой пещере с навешенной дверью и детским замком. Зубаир говорит: хочешь, откроем? Только глянем и навесим замок, как и было. Вот, я и инструмент у водителя взял. Ладно, говорю, если быстро — давай попробуем. Сняли замок, вошли, водим фонариками — маленькая каморка, а в ней — господи! — как зал ожидания: сидят, стоят, лежат во тьме, вплотную и вразброс — боги, звери, люди. Три религии — фигуры, обломки, фрагменты: рука одного тянется к плечу другой. Ступня. Пол-лица. Лакшми, черепаха, Нанди… А в углу — молодой Будда, отрок, глядящий на Ханумана… Еще один Будда, постарше, без головы, прижавшийся к Шиве…

Вышли. В глаза хлынул свет, мир покачивался. Знаешь, говорю, среди этих фигур есть такие, которые бы сделали честь любому музею мира. Наверно, это в семидесятых, когда приехала ученая комиссия, собрали разбросанное по округе и сложили сюда на время. Надо поскорее закрыть и навесить замок. Да, сейчас, говорит он, и еще раз заходит в пещерку, и выносит того юного Будду, ставит на землю. А за ним Ханумана, который первым за дверью лежал. Стоим, смотрим. На прислоненных друг к другу Будду и Ханумана. Тишь, солнце садится за манговыми деревьями… Давай, говорит, возьмем этих двоих. Есть у меня человек в Мумбаи, связан с коллекционерами. Думал, он шутит. И в тон ему: не испытывай карму, не расхлебаем. Да что ты, говорит, наоборот — получим деньги, откроем бесплатные столовые для бедных или больницу. Тут они все равно во тьме свалены, столько лет уж. Голоса близились, группа возвращалась по тропе. Ладно, говорю, не понимая, кто это говорит, продолжая смотреть на эти две прислоненные друг к другу фигуры,

уже погружаемые Зубаиром в рюкзак. Едва успели навесить замок.

Потом, когда шли к машине, рюкзак был на спине у Зубаира, слегка согнувшегося под тяжестью, я его прикрывал, чтобы не очень заметно было. Сунули в багажник, поехали.

Друзья без умолку обменивались впечатлениями, я сидел рядом с Зубаиром, ладонь на его колене, молча. В глазах темно. Чувство непоправимого. И где это случилось? В Индии. Куда, казалось, вела вся моя жизнь, и наконец забрезжило предчувствие какого-то важного поворота… И вот. В багажнике. Будда и Хануман, лбом ко лбу, в моем рюкзаке. Выкраденные из своего дома. Чтобы пойти по рукам теневого рынка. За тридцать сребреников. Кем? Мусульманином-водовозом и русским поэтом. Внутри подвывало непоправимое.

Когда вернулись в нашу рыбацкую деревню, Зубаир сказал: не волнуйся, ты ни при чем, я все сделаю сам. И исчез с рюкзаком.

После ужина на кампусе друзья ушли в гостиницу, а я лежал, полночи глядя в потолок. Тае ничего не сказал, она спала рядом, просыпаясь, как обычно, и легонько трогая мою ладонь. Спи, спи, говорил я, все хорошо. А перед глазами плыли картины, сменяя друг друга. Вот полиция у пещер, вот нас находят, наручники, суд, тюрьма, годы… Но не здесь был весь ужас. А в том, что уже произошло, вне зависимости от дальнейшего. В том рюкзаке, который был спрятан на ночь под перевернутой лодкой у океана. В тех двоих, лежащих во тьме лбом ко лбу, но глядящих в упор на меня. Во мне, этом, из которого уже не выбраться.

Ранним утром я нашел Зубаира. Не очень надеясь, что он услышит, поймет, попросил, чтобы он просто поверил мне. Долго говорил. Вроде бы он поверил, обещал найти рикшу и вернуть взятое. Шли дни, суетные, с группой, и ночи, тяжкие, муторные. Поездка его все откладывалась, до обеда он работал в гавани, после — вовлекался в помощь мне или ехал в городок в поисках рикши, с которым тоже было непросто, чтобы довез, но не увязался за ним к пещерам.

Тая стояла у зеркала, расчесываясь и через него поглядывая на нас с Зубаиром, о чем-то шептавшихся в дальнем углу комнаты. Поглядывала, находя подтвержденье своим догадкам.

Все эти дни Будда и Хануман лежали под перевернутой лодкой на берегу, чуть в стороне от гавани. Сын ветра Хануман с солнцем за щекой и юный Будда, еще не вышедший за пределы дворца и не ведавший о тщете и тлене жизни. Лбом ко лбу. Во тьме моего рюкзака. Слыша накат волн и дальние голоса рыбаков. Отныне ландшафт твоей жизни таким и останется: пещеры, перевернутая лодка, и ты между ними. Навсегда.

Что ты можешь думать о том, чего никогда не переживал, говорит Будда, какая необходимость думать, если ты пережил?

Какая необходимость, говорил я себе. И вспоминал, как в Раджгире, где на него снизошло просветление, я оказался в ночи у какого-то странного ступенчатого каскада глубоких чаш, наполненных черной водой и уходящих вверх по горе во тьму. Чаша, многометровый отвесный обрыв, под которым следующая чаша. Сколько их было — бог весть. Вверху, на краю обрыва, стоял человек,

лишь силуэт, и, что-то выкрикивая, делал шаг в пустоту, падал в чашу, всплывал, и снова стоял на краю, теперь уже той, что ниже. Вскрикивал, и падал. Всплеск, и снова стоял. Так он шел вниз. А я вверх, но мы не сближались.

Когда по особым дням выносят из алтаря фигуру бога и идут с ним вокруг храма, впереди несут зеркало — чтобы он видел дорогу назад, домой.

Следующим утром Зубаир взял рикшу и отправился с рюкзаком к пещерам.

#22. Мудумалаи

Оказались мы в этом заповеднике на втором году наших путешествий. Кроме тигров, леопардов, медведей и гауров, там бродило около сотни слонов, сезон смены пастбищ. Вопреки поговорке о посудных лавках, движутся они в лесу, и даже в густых зарослях, тише бабочек. Тигр, если не людоед, сделает все возможное, чтоб уйти от конфликта, а от слона, если ты у него на пути и вызвал раздражение, не спастись. Скорость атаки с места — сорок километров в час. Особенно непредсказуемы слонихи с детенышами. Но еще опасней одинокий слон в период гона — блуждающий многотонный ком оголенных нервов. С мутным заволоченным взглядом и непрерывными ручьями слез. Но это течет не из глаз, а из подвисочных желез. Уровень тестостерона поднимается в это время у них в десятки раз. А еще есть загадочные слоны без бивней, которых в Индии называют макна, о них до сих пор мало что известно, хотя встречаются нередко. Эти гиганты легко одерживают верх над самцами с бивнями.

До приезда в этот заповедник Тая с дикими слонами еще не сталкивалась. Мудумалаи сулили, казалось,

сравнительно свободные вылазки в лес — к счастью для нас, местная администрация еще не так завинтила тут гайки, как в других заповедниках почти по всей Индии, обнося их колючей проволокой, рвами, блокпостами и камерами наблюдения, не говоря о тотальном круглосуточном патрулировании. Отчасти все это было и здесь, но здешние власти смотрели на нарушения режима еще по старинке сквозь пальцы.

Деревня наша называлась Масинагуди. Каждый день ранним утром или к закату мы уходили в заповедник. Главное было незаметно войти в него. Мимо озерца, за которым дамба и охраняемая территория местной электростанции, оставляя слева маленький лесной храм Дурги, окаймленный змеиными фигурками нагов. Затем оставалось быстро пройти метров сто по дороге и метнуться по редколесью к речке в зарослях, где уже можно было выдохнуть. Дорога вела к деревушке Мояр, что означает что-то вроде «чудес», на окраине этих чудес жило племя ирула. А в самой деревушке была школа для адиваси, лесных людей, где нас однажды возьмет и взметнет в небо, и ничего от нас не останется, кроме чистого света. И сотворят это с нами дети, их сиянье, их чудеса. Но мы, взрослые, не парим в чудесах, даже если вдруг окажемся, отводим взгляд в сторону, из самосохранения, и уже между чудом и нами легкая занавеска. В эту школу мы будем еще не раз приезжать, подружимся с директором — скромным, светящимся Прамотом. После университета в Ченнаи он приехал сюда и живет на этом джунглевом хуторе. Как-то я оставил ему деньги для школы, чтобы он сам решил и купил, что им нужнее. Тот еще танец был между нами в этой обоюдной неловкости. А потом, через год, сказал мне, что интернет в школу провел за эти

деньги. Тихая радость. Мояр. И все, дальше ни путей, ни дорог — непролазные джунгли на сотни верст.

Сказать, что любил ходить с ней в лес? Да, она умела быть с ним в ладу, а этому не очень-то научишь или приобретешь. Быть с ним, и при этом со мной. В едином ритме, жесте, взгляде. Во всем, что на виду, у поверхности, но чем глубже, тем больше мы расходились. Каждый в себя. Но я и с собой расходился, потому что был с нею. И не с ней. Балансируя на краю. Но с кем тогда все это происходит? С тем, кто и не с собой, и не с нею? Но помнит, как это бывает, когда делишь себя без остатка с другим, с другою, и каждый прожитый миг звенит, поет и на просвет виден, таким и останется навсегда. А здесь — чьи они, все эти дары несметные, отчужденные, с краю?

Да, любил. Но больше — с собой. Хотя ее не хватало рядом. И как просыпались любил, еще затемно, как собирались в одно касание, пили кофе — порознь, но боковым зрением видя друг друга и даже спиной чувствуя. Быстро, ладно, молча, не отвлекая по мелочам, продолжая укладываться на ходу — раз, и мы уже на тропе.

Темп ее был моему созвучен, нет — вся партитура быта. Как ели, как спали, как шли, как жили. И в роскоши, и в нищете. Легко и умело. Ледяной мылась, когда горячей неделями не было, или совсем без, когда никакой. Не жаловалась, не ныла. Случилось, месяц жили, обсыпаны язвами от пят до темени. Не до врачей было — джунгли. А потом вдруг такой ухоженной стать, ослепительной — в дворце нечаянном. Легко и естественно, как в прежней жизни. И взвалить рюкзак на себя — килограмм под тридцать, и идти, петь песни, ловя дыханье. Или переправляться через играющую радугой трясину, под которой

останки коров, людей, оленей, уходить по горло в нее и выбираться, спокойно, собранно — из потустороннего. И, раздевшись на том берегу, смывать грязь, радужную, въевшуюся, несмываемую. На виду у медленно проплывающих за излучиной крокодилов. И просыпаться — ладонь в ладони, а за стеной лежит колдун с воткнутым в лоб топором, и кровь стекает на чуткую землю.

Каждый за себя, в своей стороне. И не оттащить друг от друга, такая тяга. Как волк и волчица, и бег сквозь ночь и годы, щека к щеке, такая нежность звериная. Разве что на спину не падала, не сдавалась, напротив — зуб за зуб. Может быть, и хотела, чтоб я пожалел, поддержал в трудную, но всем своим видом показывала: я сама, отлежусь — в себе. Может, за этим было — ну подойди же, возьми меня за руку… Но разве у нас поймешь на таком расстоянии — ближе кожи и дальше звезд.

Странно все это, такая гремучая смесь — и отвага, и трусость. Собранность, и вдруг паника. Мы, которые вместе, одним телом, и полное недоверие — в глубине.

Да, помогала и выручала не раз. И предавала. Но и ей ведь было что мне предъявить. И предъявляла, наотмашь. И — не сразу, полуживые, приходили в себя, и друг в друга.

Идти-бежать-лететь, ладонь в ладони, мчаться на местных автобусах, тук-туках, мотоциклах, о, сколько ж их было, этих дорог лесных и разных под колесами мотоциклов — я позади водителя, а она за мной, с развевающимися на ветру волосами и прижавшись ко мне. И открывать места неведомые, и, обмирая, видеть друг друга, и терять, терять…

Противоречиво было в ней все и малопредсказуемо. Вот мы в краях, где промышляют тигры, ставшие людоедами, покинув маленький перенаселенный ими заповедник в поисках свободных территорий, а в округе лишь деревни и перелески, и тигры начинают таскать скот, сталкиваясь с людьми. Черт его знает, что меня так влекло встретиться с этими людоедами. Она уклонялась как могла, то взрываясь, то молчаливо следуя за мной. Шла, как обычно, если тропа узкая, позади меня, но тут озиралась, нервничая — тигры часто бросаются со спины. Но при этом ходила за дровами в лесную тьму — далеко и надолго, одна, именно в те дебри, где и бродила та тигрица-людоед Т-16. Могли бы и вместе пойти, нет — сама. И тут же наотрез отказывалась спуститься в ночи к озерцу за водой, которое вот же, рядом. И взвинчивалась, чтобы я заложил ветками в нашем шалаше проем в изголовье. Мол, пусть жрет с ног, не с головы. Сидел у костра, утишенного до углей, ждал, а она спала в шалаше или делала вид, отчаявшись повторять, чтобы сделал ярче.

Здесь, в Мудумалаи, случилась первая ее встреча со слонами. Это действительно страшно, я знаю. Когда большое стадо с детенышами вдруг бесшумно подходит сзади. На расстоянье дыханья. И некуда деться, только сидеть вот так, спиной к ним, у ручья, и ждать, ждать, не шелохнувшись. Слониха-вожак долго смотрит на нас, остановившись, пока стадо переходит вброд, прикрыв нас от них собой. Так не бывает, не может так быть, но остались целы.

Такой была первая встреча, за ней — еще и еще. Она пропускала дни, не выдерживая, ходил один, потом собиралась с духом и снова шли вместе. Просила меня не лезть на рожон, не заходить далеко и возвращаться до

сумерек. Я старался, но как возвращаться, когда лес оживал к закату, все только ведь начиналось.

Бывало и так, что бежала в сдержанной панике. Так она отшатнулась, когда стадо слонов спускалось с горы, клубясь в нашу сторону. Они еще далеко, сказал, не тревожься, я знаю, когда… Нет, отрезала тихо, я отойду по склону, а ты — как хочешь. Обернулся — ее уже не было. А когда стадо, как ожидал, прошло стороной, начал искать ее, звать, темнело уже, прочесал всю округу, заглядывал в рвы, овраги…

Да, она очень любила лес, чувствовала его, что меня несказанно радовало, хотя так редко ей говорил об этом. Лес, но, как по ней, лучше б, наверно, без слонов и тигров. Медведей и леопардов. И змей. От которых и сам я мистически цепенел — с детства. Но и тянуло к ним потому же. Годом раньше я впервые держал в руках кобру. Правда, рядом со змееловом, но кобра была ближе — в руке. А потом он взял ее у меня и передал Тае. Какая нежная девичья кожа, сказала она, и какая теплая! Да, говорю, приходя в себя, действительно теплая, в отличие от меня.

Несколько лет спустя, в заповеднике Бор, я одержим был съемкой нильгау и каждый день ходил в джунгли, а она порой пропускала. И однажды, когда уже собрался идти, она вдруг в последний момент: я с тобой, ладно? Ладно, но на нашей дальней поляне с волшебным деревом ты меня подождешь, а я схожу к озеру, поснимаю стадо нильгау на мысе и вернусь за тобой, хорошо?

Возвращаюсь, она сидит на дереве, где удобно устроилась с камерой в метрах двух от земли, сидит недвижно, и что-то с лицом у нее, таким же недвижным. Меня, кажется, говорит, не поворачивая головы, укусила змея.

Я умираю. Где, когда, что значит «кажется»? Здесь, медленно встает, приспускает штаны, показывает, минут двадцать назад или больше. Немножко сознанье терялось, и холодный пот. И сейчас? Нет, сейчас вроде легче. Стоит с недвижным лицом и взглядом вдаль. Одна точка, не две, с небольшим воспалением вокруг. Укус не похож на змеиный. Что же ты, вот так сидела тут и ждала смерти? Да, говорит. Но я же был неподалеку, ты знала где. Нет, продолжая смотреть в эту даль, нет. Каждый за себя.

#23. Шакти

В то утро мы не пошли в джунгли, а направились на живописную свалку за краем деревни. Глубокий обрывистый яр, на дне которого затон с рукавами. Туда из столовок и мясных лавок свозят требуху и обрезки. Над яром кружат с полтысячи черных коршунов, они тут хозяева. Чуть в отдалении от них, но тоже немалым составом — аисты-епископы, и менее заметные, но зорко следящие из укрытий орлы-змееяды и ястребы. А внизу, в зеленоватом цветущем затоне, лежат черные буйволы, и по ним, как маленькие медсестры, ходят белые и желтые цапли. Иногда к краю обрыва из кустов выбредают кабанчики и олени, но, глянув вниз и по сторонам, не задерживаются. Обрезки сбрасывают с восточной стороны яра: падая, они остаются на уступах обрыва, коршуны их берут, заходя с виража.

Мы немного поснимали, сидя на краю яра, и особенно битву двух коршунов в траве, спиной к которым невозмутимо стояла большая белая цапля и разминала вторую ногу, как балерина у незримого станка. На обратном пути,

уже на подходе к деревне, прямо у наших ног через дорогу внезапно переметнулась длиннющая древесная змея. Светло-зеленая, молниеносная. Казалось, это асфальт вдруг треснул поперек и на глазах сросся.

И вот мы идем по главной улочке Масинагуди, нас уже многие знают здесь, покачиваем в ответ головой — здравствуйте, здравствуйте, намасте! О, сколько же одним этим жестом они могут сказать друг другу! Чем дольше живешь в Индии, тем больше входишь во всю эту необозримость рассказа без слов, входишь, все равно оставаясь где-то лишь у порога. Всю жизнь рассказать можно одним лишь кивком головы. Не говоря об улыбке. Что ж это за улыбки такие у индийцев — подарит едва заметную, меньше мгновенья, а света хватит на полжизни. Но какого? Не яркого, не бьющего в глаза, и даже, кажется, идущего не от этого человека, а может, и не совсем от человека, а сквозь него — милости света, который уже в тебе и надолго.

Идем мы, взявшись за руки, оба в белом, легкая рубашка на Тае, и там — ниже горла, выше живота — то, чему нет имени, если кратко взглянуть, но так, чтоб она не заметила, в тот же миг незримый ребенок сжимает в своем кулачке твое сердце, и ловишь пяткой уходящую из-под ноги землю. Землю, вместе с горами вдали в дымке, вместе с цветущими фиалковыми деревьями, вместе с улочкой, где в эту минуту знакомый мясник кивнул вам, продолжая разделывать курицу тесаком и подбрасывая, как жонглер, обрезки вверх, но они не возвращаются, не падают, потому что на карнизе над ним сидят коты — около дюжины, всех мастей, и на лету ловят — кто ртом, кто лапой. А слева — фруктовая лавка, вся занавешенная съедобными чудесами, так что видна лишь

просунутая сквозь них голова продавца, который уже машет рукой: Серджи, красные бананы привезли, твои любимые! Красные, верней, темно-бронзовые, большие, мясистые, с таким плотным вкусом, что после одного съеденного жизнь, поцеловав тебя в лоб, откланивается до следующих встреч. Но еще больше мы любили «свечные», желтые, тонкие, с нежной кислинкой, их надо есть не губами, а устами и закрыв глаза. Висят над его головой, как люстры, прям с веткой срезанные.

Выпили мы у него свежевыжатую папайю с молоком и льдом, идем дальше. Но что-то странное происходит — чем ниже по улочке, тем мир все больше окрашивается красным со всеми его немыслимыми оттенками. Женщины! Они движутся отовсюду из переулков, в красных сари, с желтыми цветами бархатцев и жасмина, с зелеными ветвями, с огнями в горшочках, и плывут, плывут… Кажется, что уже и по небу, восходят в него и спускаются оттуда по заплетенным цветочным нитям. День Шакти, вот оно что! День той, без которой ничто не дышит — ни бог, ни человек, ни стрекоза. Той, кто была до мира и пребудет после. День вселенской женской энергии. Той, которая и создала этот мир — видимый и невидимый — через Брахму, одним движеньем чуть дрогнувших уголков губ в улыбке. И разрушает его — Шивой, и сохраняет — в Вишну. Шакти, она же Дурга, Кали, Парвати, Сарасвати, Лакшми, Кушманда и еще тысячи ее ипостасей. Шакти, речь мира, божественная, летящая над ним.

День нулевой луны, нулевой чандры, свет пойдет на прирост — лунный к земному. Ом, Шакти, ом, Парашакти, — поют они, женщины, птицы, фиалковые деревья, огонь и воздух. Ом, мать-природа, ом, девочка-любовь, ом, дом! И текут в храм, который мы даже не замечали,

проходя мимо, неприметный, стоящий чуть не весь год в тишине, а в этот день озаренный жизнью. Храм Шакти.

Удивительно, но храмов и святилищ тем, кто создал этот мир, так ничтожно мало. Брахме и Шакти. Как и последователей их культов. Все обращено к Шиве, Вишну и другим. Но даже эти ничтожные два-три процента — все ж миллионы. В основном женщины, они в этот день облачаются в красное и желтое и текут в храмы, украшенные, цветочные, огневые — по всей Индии. Складывают в мешочек цветочные лепестки, и подымают его на веревке на храмовый шест, как подымают флаг, и хором поют мантру Шакти — быстрым речитативом, все ускоряясь, взвинчивая темп до скороговорки, и там наверху мешочек должен открыться и просыпаться благим лепестковым дождем.

И тогда они входят в храм, где весь день накануне шли приготовления, где женщины, сидя на полу большим полукругом, создавали божественные цветочные пирамидки с маской Шакти. Храм украшен зелеными ветками, подворье пылает сидящими на земле женщинами и детьми. Но главное происходит в храме у костра, зажженного в большой чаше на полу, вокруг нее сидят особо посвященные и священник, они умащивают огонь, обносят и кормят его с деревянной ложки, льют в него масла и волшебные снадобья, сыплют травы, поют.

Одна из женщин водружает цветочную горку с мурти на голову другой, сидящей перед ней, их руки вступают в замысловатый ритуальный разговор, после чего та встает и мелким танцующим шажком с цветочной горкой на голове отправляется в кругосветное вдоль стен храма, а ее место занимает следующая.

В проеме входа возникает пожилая женщина, впавшая в транс, руки вскинуты над головой, тело ходит ходуном, но замедленно, ломко. Она движется к алтарю, но посреди храма опускается на колени, прильнув к полу щекой, руки ее за спиной продолжают танец. На нее почти не обращают внимания, все поют, восходя к той скорости, когда слова уже неразличимы, но вместе с тем слышишь каждое. И вспоминаешь о спанде, изначальной вибрации мира. О том, что он, как сказано в Ведах, был зачат с голоса.

Поем вместе со всеми, как и они, не произнося звук «ш» и с ударением на последнем: ом, Сакти, ом, Парасакти! А тем временем вдоль стен храма бегут женщины с плодом папайи в руках и затепленным на нем огоньком, и с размаху швыряют его оземь, и плод разлетается, ом, Шакти, ом, но за ней бежит уже другая, и за ней еще и еще…

Когда мы вышли из храма, я увидел в толпе девочку, лет семи, в красном платьице, с белым ожерельем и браслетами. Вернее, еще до того, как увидел, вдруг покачнулся — от света, от чуда, вдруг взявшего мое лицо в свои ладони. И увидел. И тут же потерял из виду. Шел к ней, проталкиваясь сквозь поющий мир женщин, тканей, цветов, огней. И она, увидев меня, медленно привставала. Еще робко и удивленно озираясь по сторонам — к ней ли. И оглядываясь на сидящих за нею женщин, среди которых, наверно, была и ее мать. Я уже недалеко от нее, она стоит напротив, смотрит. Я что-то шепчу, не слыша себя. Может, беззвучное: ом, Шакти, ом, Ты, с которой началось все на свете… Она не слышит, только смотрит мне в лицо — такое, каким оно, наверно, никогда еще не было. И вдруг — нет, не улыбка даже, а что-то совсем невозможное трогает

ее губы — такое, от чего мир, не бывший до этого мига, не мог не начаться. Она поднимает руки и, чуть наклонив голову, сводит ладони у сердца.

#24. Почта

— Может, в тир сходим? Как-то мне маятно, шатаюсь по ночам из угла в угол. Вспомнил, как смотрели с мамой про Толстого-американца, ну ты знаешь — бретер, чудак, умница, как-то проигрался в карты — смертельно, отдавать нечем, думал покончить с собой, а жил с цыганкой, она утром выносит ему мешочек денег — на весь долг. Откуда у тебя столько, изумляется он, а она говорит: так ты ж мне давал то и дело, а я припрятывала, откладывала. Вернул он долг и женился на этой цыганке. Во-во, говорю ей, и Люба в Индии так же нас спасала… А она: так ты и женился на ней!

— Я обрадовалась твоему письму, думала уж, обиделся на меня. А накануне снился мне, хорошо очень, только помню, что в конце как-то я, опомнившись, начала тебя уговаривать держаться Таи — и такая фальшь и разлад от этого пошли, что я с досады проснулась. Знаешь, я ведь так и не выправилась, пью таблетки. Они сильно ухудшают память — но только не про Индию, не про нашу Москву, не про дачу, я могла бы часами вытягивать нить за нитью: а помнишь… а то не пойдем в тир, а завернем в гурзуфский бильярд, да? У меня все равно нет шансов у тебя выиграть ни в одну из игр. Разве что — иногда — в любимую, с фантиками на подоконнике. Взрослый, зачем же ты все это с нами сделал, зачем же это случилось с нами, так бесповоротно, так долго, так навсегда. А завтра я проснусь и буду корить себя за эти слова, тебе надо держаться Таи, да.

— Я знаю, как отчаянно трудно вырвались эти слова, вернее, только могу отчасти себе представить. И как они дороги мне — это уж только ты можешь отчасти себе представить. Как все же странно это кривозеркальное отраженье: твое — там, мое — здесь. Но твой компромисс хотя бы оправдан выживанием. В твоем письме все так, кроме «бесповоротно и навсегда». Кто знает, может, мы как-то еще доболеем и выздоровеем друг к другу. Мы и все вокруг. Не кори себя ни в чем и поправляйся. И Лёньку обними.

— Все так. И писем твоих я жду с замиранием сердца, и сержусь на себя за это, но, конечно, ничто никуда не девается, и порой невозможно различить — что реальней: то, что мы проживаем сейчас, или то, что уже прожили или могли бы.

#25. Айяппан

Когда впервые оказались в этих краях, был поздний вечер, вышли на трассе из автобуса во тьму, до Масинагуди было еще десять километров джунглевой дороги через заповедник. Пустынная трасса, ни огня, ни души. Оставалось около получаса до закрытия всех дорог до рассвета. И пока глаза привыкали к темноте, вдруг обнаружили, что перед нами, почти вплотную, давно стоит человек. Шаши, водитель джипа, занимавшийся извозом на этом участке. На лобовом стекле у него было написано: Айяппан.

Наутро проснулись в Масинагуди и пошли в джунгли. Это было в день моего рожденья. Мимо озерца, где потом увидим вышедшую к воде семью медведей-губачей — маму и четырех медвежат. Мимо сторожевой башни, когда в избытке чувств я обнял Таю и начал приплясывать

на месте. И уже у самого леса, мимо маленького храма в безлюдье, с затепленными свечами перед нагами с раздвоенными языками.

Лес был сновидческий, с непролазными мирами деревьев — существующих и не, высоковольтно гудящих напряжением сцепившихся и расходящихся жизней, с циклопическими лианами, оплетавшими все, до чего могли дотянуться, с высокими термитниками, словно возведенными джунглевым Гауди, с желтой тигриной травой и павшими тиковыми листьями, истонченными до призрачной измороси, с солнечными полянами, где стояли олени, ударяя копытом о землю при нашем приближении, но еще не решаясь бежать, с чернотой непроглядных зарослей и набухающей в глубине смертью.

Камуфляж, нож на ремне и камера. Долго же ты ждал этого дня. Отводи, отводи потихоньку в сторону всю эту выспренную самонадеянность, эту самозванную речь и все, что как человека тебя без тебя на себе женило. Так ты еще по инерции бубнил от возбуждения и долгой разлуки с лесом, бубнил, продолжая стряхивать очертанья, входя в режим других настроек и чаемого родства с тем, что сторонится нас как существ с точки зрения природы безумных.

Шли мы вдоль лесной речушки, ожидая подарков и поздравлений от братьев наших старших. Ну птицы уже отметились — и павлины, и дронго, и щурки, разные и многие, потом олешки — и пятнистые, и самбары. Гаур вышел, это уже посерьезней. Рога с нефтяным отливом, гольфы белые на ногах, посмотрел внимательно, понюхал воздух над собой и убрел в чащу.

Еще прошли немного и присели у воды. Тишь. Тая прилегла. И вдруг — громкий треск ломаемых ветвей,

напротив нас, за речушкой, в зарослях. Страх еще не успел обжиться, лишь прихватил с краю, а перед нами уже стоит мифически огромный одинокий слон с бивнями почти до земли. Стоит и смотрит на нас. Долго, невозможно долго. Спокойно, шепчу Тае, не поворачивая к ней голову, не смотри в глаза ему. Она и не смотрит, лежит лицом в землю, чуть позади меня. А он все стоит, не отводит взгляд. И протягивает хобот в нашу сторону, вбирает воздух. Водит туда-сюда. И медленно погружает хобот в воду, подносит ко рту. Пригубливая, как из ладони. И отпускает воду, как из ладони, стекать вниз. Как это делают индусы, исполняя ритуал речной пуджи. И не сводит глаз. Колеблется, решает. Сканируя тебя этим взглядом всего, послойно — кто ты есть. Тая как-то сдавленно вскрикивает за спиной. Раз за разом. Тише, говорю, не разжимая губ, тише. Черт, вскрикивает она в землю, черт… А он стоит над нами, смотрит. Чуть поворачивая голову влево, вправо. Чтоб разглядеть лучше — краем глаза, в котором, кажется, вся вселенная вместе с нами, сидящими далеко внизу. И тут я замечаю, что у самой земли он держит на весу зеленую ветку, перебирая ее хоботом, как четки. Смотрит — и перебирает. Нас, нашу жизнь, как эту ветку, перебирает — «да» или «нет». А глаза текут, борозды с мутными ручьями, то есть не глаза — железы, как же я не увидел сразу — период гона. Он даже не будет предупреждать, топорщить уши, делать ложную атаку, просто вминает ногой в землю и рвет человека хоботом, как ветку. Два дня назад раздухарившиеся индусы отправились в лес на машине и на въезде ткнулись в стадо слонов, задев вожака. Я слышал, сидя у себя на веранде, его странный, вдруг съехавший на фальцет, трубный рев. Что же в нем происходит и почему он сейчас повернулся вполоборота

и не смотрит на нас, не хочет испытывать себя этой болью, памятью, не сдержанной яростью? Стоит. Взвешивает. Как эту веточку. Две наши жизни. И аккуратно кладет их на землю, и исчезает в зарослях.

Вот он какой, день рожденья, веточка-жизнь… Обернулся к Тае. Лицо у нее было все искусано муравьями. И шея, и ниже. Она лежала прямо на их тропе. Это была ее первая встреча со слоном.

Вернулись, разделся, пошел в душ, сидел там голый на голом полу, поливая себя черпаком из ведра, и пел: враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, куда ж теперь идти солдату… В приоткрытую дверь была видна Тая, она лежала на кровати, разглядывая укусы на руках, а потом подняв их над собой и плавно танцуя ими, сплетая и разводя. И смешно, и горько. А потом мы тысячу лет сплетали и разводили наши тела, неузнанные, как впервые. И к вечеру пошли к пиратам — в нашу едальню под стертой вывеской «Сарасвати».

Нравилась нам эта деревушка Масинагуди, и уже подумывали, не обжиться ли тут навсегда. Особенно увидев у озерца между деревней и джунглями егерскую наблюдательную вышку. Пустынную, заброшенную. Наверху видовая площадка под крышей без стен, метров семьдесят квадратных, под ней — комната с душевой и туалетом, и все это стоит на высоких сваях, где можно обустроить кухню, огородив тростниковым плетнем, а на сезон дождей, когда озеро подходит к дому, переносить кухню наверх, на видовую. Домик стоит на самом берегу, в перелеске, озерцо небольшое, тот берег хорошо виден, там уже заповедник, к воде выходят животные, а слоны ежедневно купаются. Вдали голубые горы плывут и солнце за ними садится.

Вышку эту построил лесной департамент лет десять назад, но не обжил — прибрежная полоса у озера вместе с дамбой принадлежала министерству электрификации, и оно затеяло тяжбу, в которой ни одна из сторон ни к чему не пришла, спорная территория, так и остался домик бесхозен. Вот тут, на видовой, у нас будет огорожена комнатка для гостей, а остальное пространство с топчаном, шезлонгами и кофейным столиком — для разговоров с озером и животными.

Была у меня рекомендация от ЮНЕСКО с красивыми словами и обращением к властям о всяческом содействии. И был у меня проект международного Wildlife-ашрама, лесной обители с семинарами и прочим. Эту затею мы обсуждали с Сурией в его домике в заповеднике Бор. Там же, на его землях, мы и собирались построить этот ашрам. Даже начали, но потом я как-то охладел, поскольку его подход оказался слишком туристическим. А здесь, в этой лесной башне у озера, все могло бы и сбыться. Семинары — время от времени, а между ними — просто жили бы в радость. Оказалось, взять башню в аренду не получится. Но в те дни, еще не зная об этом, мы так счастливо обустраивались там в воображении. Ежедневный наш путь в джунгли как раз проходил через это озерцо, и мы ненадолго подымались на башню с этим дразнящим, щекочущим чувством дома. Дома, которого ей так не хватало, но тогда я это беспечно недооценивал.

Все-то меня в сторону относит, так мы и не дойдем. А шли мы к настройщику чудес. Живет он через дорогу от того неприметного храма Шакти, которого, можно сказать, и нет, кроме нескольких дней в году. Если, немного не доходя до него, свернуть влево, окажемся в маленьком переулке с одноэтажными цветными домиками, входят

в них чуть пригнувшись. В первом к дороге живет горезмеелов Мурли. Из оконца машет рукой его отец и жестами показывает, что сын в лесу ловит змею. Так он сообщает всякий раз, даже когда сын в это время в больнице.

Напротив змеелова живет девочка, которая любит, преодолевая застенчивость, поговорить со мной, она всегда сидит на крыльце в глубине двора — то с книжкой, то с кастрюлей или с шитьем. Думал, ей лет двенадцать, но однажды из двери выглянул бородач в трусах, познакомила с мужем.

Из-за поворота выплывает процессия: впереди музыканты, за ними группа мужчин несет на плечах убранный цветами праздничный паланкин в иллюминации. На храмовый праздник не очень похоже. На демонстрацию, как и на похороны, — тоже. Приближаются, в паланкине — малюсенькая безучастная старушка полулежит с прикрытыми глазами. День рожденья, девяносто шесть ей. Носят по деревне, опыляя округу долголетьем.

На углу растет дерево со сладкими нектарными цветами, там промышляет божье создание, похожее на колибри. Мы всякий раз беседуем, оно подлетает поближе к моему лицу, чтоб лучше слышать, и зависает в воздухе, хотя всем своим видом показывает, что времени у него на меня нет.

Дальше домик, перед которым сидят две кумушки — одна седовласая нечесаная пифия, другая мужеподобная кокетка, сидят молча, глядя в разные стороны, но тесно прижавшись друг к дружке. Коровы прогуливаются, домашние и божьи. Бродяжий осел обходит дома, останавливаясь у каждой двери, собирая дань. Верней, не у каждой, он знает, у кого и когда. Зарыдал вдруг — жалобно, безысходно, и так сердце сжалось у меня, что чуть было

рот не открыл, чтоб поддержать его. Тут их небольшое стадо бродяжит от деревни к деревне. А раз в году они идут за десятки километров на хутор, где живет ветеринар, и, если он в отъезде, ждут у ворот, он принимает их, подлечивает, и они уходят на год до следующего освидетельствования.

Почти пришли. У крыльца лежит рыжий пес, свернувшись и положив голову на лапы, а у живота его примостилась наседка, дремлют, то пес приоткроет глаз, пока у нее глаза задернуты, то наоборот.

Вот он, этот дом и крохотный дворик, где годами с утра до вечера сидит на земле полуслепой старик, чинит и настраивает музыкальные инструменты, новые и старинные, которые ему несут люди из ближней и дальней округи. Таблы, вины, фисгармонии. Дважды в день из дома ему выносят еду, он отодвигает инструменты и там же, сидя на земле, обедает. Забора, отделяющего двор от улочки, нет, так что всякий раз, проходя мимо, я здоровался с ним, кивая, он не всегда видел, но как-то чувствовал и поднимал голову, глядя в мою сторону своими волшебными, почти незрячими глазами, о чем я тогда не знал еще.

Со временем мы познакомились ближе, насколько это было возможно без языка, и однажды я пришел к нему с несколькими страничками древней Вишну-пураны в моем переводе. Речь в этих сказаниях идет о сотворении мира. Мы подбирали звук, меняя инструменты, пока не остановились на табле с глухим и гулким, как бы подводным звучанием. И уже начали потихоньку входить в ритм, когда в дверном проеме возникла девочка в длинном полупрозрачном платье из лунного света. Звали ее, как оказалось, Вина. Вина, дочь Брахмы

и Сарасвати. Этим же именем Сарасвати, покровительница искусств, назвала и созданный ею музыкальный инструмент. А маму твою, случаем, не Сарасвати зовут? Да, сказала девочка, потупив взгляд. А могла бы ты, пока мы будем читать Вишну-пурану, что-нибудь негромко напевать, дальним фоном, без слов, что-то из давних мелодий, знаешь ли ты такие? Да, кивнула девочка, внучка этого старика. А потом вышел, пригнувшись в проеме, круглолицый усатый сын старика, отец девочки, и присел поодаль с фисгармонией, этим ручным пианино в виде ящика, где одной рукой играют на клавишах, а другой подкачивают воздух, отворяя и прижимая заднюю стенку. Солнце садилось за голубые горы, еще видимые из дворика, по переулку слонялись коровы, в небе кружили аисты-епископы, старик играл на табле, наклонив и чуть отвернув голову, прислушиваясь к звуку. Я читал:

Развертка Брахмы
как Ничто —
в основе мира.
Триединство:
благо, страсть и косность.
Потом самосознанье
приходит в чувства.

Они,
поскольку помнят о творенье,
рождают звук,
пространство создающий.
Пространство,
помня о творенье,
рождает осязанье;
так возникает воздух.

Воздух рождает образ.
Затем — вода и вкус.
Последним — запах,
он — вершина чувств.

Яйцо творенья,
растущее кругами по воде.
Внутри — гора, вокруг — огонь.
В нем — страсть, ведома Брахмой,
творит миры.

Создатель,
круг пройдя,
себя сжигает с миром.
И начинает с чистого листа.

Девочка, одетая в лунный свет, вела какую-то дивную мелодию. Ее отец, глядя на нее, перебирал аккорды. Я и не заметил, как уже давно в дворике, в его теневом углу, сидит Сарасвати. Я продолжал:

А еще сотворил он познавших поле,
это я уже говорил.
А еще — наделенных разумом,
но они — небожители — не размножались;
ни страстей, ни зависти,
ни творческого порыва.

Сдвинул брови:
в гирлянде огня Рудра возник.
И сказал ему Брахма: «Раздвоись
на женщину и мужчину»,
и скрыл себя.

Раздвоил, как сказано,
и еще на одиннадцать разделил
мужчину,
а женщину — не сосчитать.

Существуют четыре гибели:
промежуточная,
преходящая,
абсолютная
и непрестанная.

Мы еще долго сидели в том дворике, пили чай, уже стемнело. С Таей был трудный день накануне, даже переселилась в соседний коттедж. Четыре гибели. Я перебирал, как четки, какая из них наша. Промежуточная. Непрестанная. И еще на одиннадцать разделил. А женщину — не сосчитать. И где она в этот час? Может, платьице шьет в деревне?

Уезжали и возвращались в эту заповедную деревушку Масинагуди, шли месяцы и уже годы. Старик все сидел в своем дворике и понемногу таял, исчезал. И исчез. Когда в очередной раз мы вернулись, его уже не было, дворик лежал пуст и тих. Где ж ты теперь, волшебный старик, настраиваешь инструменты в других мирах?

Место отца занял сын. Но уже не в дворике, а в мастерской, куда надо было подниматься по крутым ступеням между домами. Инструменты громоздились до потолка на стеллажах по периметру, многие были просто свалены на полу. Спросил его о самой древней фисгармонии. Он снял с полки четырехсотлетнюю, вытер пыль, сел на пол, проверил звучание, настроил и заиграл. И лицо у него было таким удивленно-лучезарным,

и взгляд обращенный куда-то поверх и вдаль, будто там сейчас сбываются все его детские сны. И не только во время игры, так он и жил и с людьми разговаривал. И со мной, хотя слов английских у него было, как у ребенка.

Сидит, играет, и тут в двери появляется гость. Худощавый, высокий, в белом до пят облачении. Они знают друг друга. Он профессор музыки в Майсуре. Привез какую-то особую фисгармонию, что-то со звуком, надо наладить. Пьем чай. Я спрашиваю о древних народных песнях на тамильском языке. Гость обходит развал инструментов и берет простенький неказистый барабан, размером чуть больше ладони. Для игры одной рукой, так я думал. Пробует звук, поднеся к уху. Сын старика улыбается и кивает. Они садятся напротив друг друга. Один с фисгармонией, другой с этим детским барабанчиком. Они никогда прежде не играли вместе. Песня про Айяппана, говорят они и хотят пояснить мне, кто это. Я знаю, говорю. Бог Айяппан, рожденный двумя мужчинами — Шивой и Вишну. Они улыбаются, рады, что объяснять не надо, перешли на тамильский. А я сижу, вспоминаю, как в прошлом году мы с Таей тут жилье искали, и на какой-то завалинке с которым уж за эти дни домовладельцем разговариваем о том о сем, и как-то свернули в сторону этого чудесного ежегодного праздника в январе, когда десятки миллионов мужчин облачаются в черный с голубым шафран и уходят из дому, покидая своих жен и детей, и таким вот веселым кочевым братством отправляются на целый месяц в паломничество по святым местам, а потом возвращаются из странствий с сундуками историй и гостинцами для семьи и родственников. Это праздник Айяппана, или, как еще его называют, Айяппы. И вот мы пытаемся припомнить — чей же он сын? Шивы? Третий

сын его? Потому что первых двух знаем. А напротив нас баньян растет, а вдали по улочке между мазанок идет женщина в полыхающем красном и зеленом, и он кричит ей на всю деревню: Амала, хэй, Амала, как их сына зовут, ты не помнишь? Какого сына, смеется она, твоего? Не, Амала, сына Шивы и Вишну, того сына, который демона зарубил, демона… черт, как же того демона звали, а, Амала? — и уже сам смеется. А та идет, приближаясь и рассказывая в голос во всю ивановскую эту историю про Айяппана, и заливается от смеха.

Да, великий демон… Черт, и я забыл его имя. Тот, с которым уже никто не мог справиться, сказал, что сокрушить его сможет лишь дитя. Но не обычное, а дитя, рожденное двумя богами мужского пола — Шивой и Вишну. То есть никогда этому не бывать, как он думал. Но они сделали это! Вишну принял облик прекрасной Мохини — иллюзорной богини-обольстительницы, и Шива воспылал к ней, и родили они Айяппана, который и сокрушил демона, и стал потом Параматмой, олицетворяющим гармонию мира. Айяппану поклоняются в основном на юге Индии, к его главному храму в Керале в дни праздника текут миллионы паломников.

И вот сидят они посреди всего этого рабочего развала — инструментов, банок с клеем, краски, ножей, струн, козлиной кожи, подноса с чаем, печенья. Входит девочка, не дочь, другая, странненькая, рослая, с коленями внутрь, в каком-то несуразном платье, больше похожем на выкройку, и заторможенным взглядом уставилась в какую-то точку над нашими головами. Сын старика, не глядя на клавиши, окунает в них ладонь так, будто ловит там скользкую рыбу в воде. Гость, держа на весу крохотный барабан в одной руке, кинулся к нему пальцами другой,

и не сосчитать уже, сколько их — то два, то сорок, они трепещут, стелются, взлетают, когтят и, вдруг отшатываясь от себя, возвращаются в обычные пальцы. Сын запевает: Айяппа, Айяппа, — с ударением на последнем. Голос его — сильный, открытый, — казалось, оборачивался то птицей, то ножом, рисовал ночные дороги, где горели костры, всходили и нисходили боги, майя и лила играли в мужчин и женщин. Голова его чуть запрокинута, голос шел из улыбки, как из открытой раны. Было не больно, а невыносимо светло.

Двое мужей. Лотос мира и вселенский лингам. Равновесие и трансгрессия. И демон, сводящий их. Через Мохини, обольщение, майю. Ту, что живет в Вишну. И великий аскет признает себя побежденным. Любовью, влеченьем, иллюзией. И рождается дитя малое, и тигры перед ним мирно лежат с молодыми козами…

Год спустя Тая купила у сына настройщика чудес фисгармонию для своей дочери, учившейся в Гнесинке. Завернула в шаль, обвязала и полетели. В аэропорт вез Шаши, рассказывал, поглядывая на нас в зеркальце, о своем недавнем путешествии, как дни и ночи шел с тысячами паломников по джунглям к храму Айяппы, куда лесники открывают доступ лишь раз в году, как они спали вповалку на обочинах. Мы сидели на заднем сиденье, молча, с фисгармонией и незримой Мохини между нами.

Не было меня в той машине. Мы простились в деревне, она летела в Москву подавать документы на переезд в Испанию. Бог весть, увидимся ли.

Она уже в небе, наверно. А я шел с фонарем вечерними переулками и вспоминал, как возвращались с ней

из Индии, летели до Стамбула, где у нее была пересадка в Мадрид и Севилью, а у меня в Мюнхен. Отношения закончены. Сидели в разных рядах. Ночь в иллюминаторе. Слова, мысли — бесчувственны, как под анестезией. Подошел к ней, она полулежала с закрытыми глазами, откинувшись в кресле. Живая посмертная маска. Присел на корточки рядом в проходе. Смотрел на ладонь, на дыханье груди под пледом, на уголок губ. Она не спала. Займите свое место, повторяла, проходя, стюардесса, мы в турбулентной зоне.

А потом в Стамбуле возле какого-то кафе вдруг обнаружили себя тихо покачивающимися в объятьях друг друга. Люди текли, огибая, спеша, а мы все покачивались в этом танце, почти на весу, чуть касаясь губами друг друга. Шли часы, незаметные. Самолет мой давно улетел. И ее, если бы не задержка. Так и остался на столике ею подаренный мне смартфон со всей нашей Индией номеров. Смартфон и две чашки кофе, нетронутых.

#26. Сарасвати

Изгородь, повилика, бегущая по ограде, горный цветок... Где ж это место?

да когда я приколола в волосы розу как делают андалузские девушки или алую мне приколоть да и как он целовал меня под Мавританской стеной и я подумала не все ли равно он или другой и тогда я сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да

Да. И горькие апельсины падают на мостовую. И цыгане идут из Индии на заре веков — туда, в Аль-Андалус, в Севилью, где все смешается — римляне, мавры, вестготы,

цыгане, Магеллан и Веласкес, Жуан и цирюльник, горькие апельсины… Она — туда, а я здесь.

Можно выдохнуть. И потихоньку возвращаться в себя. Дни я проводил в джунглях, а к вечеру шел в едальню Сарасвати, находившуюся у деревенской площади возле автобусной станции. Жаровня, выходящая на улицу, несколько столов в глубине зала с мятыми обшарпанными стенами, ламповый телевизор, индийские боевики с кровью-любовью. Тая пишет, что уже в Москве, собирает документы для испанского консульства. Присел, заказал жареные кусочки курицы «чикен-65» и ги-досу. Простую, без начинки, на топленом масле. Принесли, свернув, как для меня, этот румяный хрустящий лист в конус. Красиво, светоносная пирамида на зеленом банановом листе. Налил стакан воды из кувшина, бог весть откуда набранной, но местные пьют, значит, можно.

Ел и думал. О Севилье. После развода Тая почти случайно оказалась там, одна, впервые, и как-то сразу сроднилась с этим городом. И по душе он был ей, и по телу — она и в самом деле похожа была на него, и волосы тогда у нее были еще темными. Не раз возвращаясь туда, снимала жилье и уже начала подумывать о переезде. Тем более, что, получив свою долю при разводе, могла там купить небольшой дом. В ту пору мы и встретились. И отправились в Индию.

Обычно досу подают свернутой в рулон. Делают ее из рисовой муки пополам с чечевичной, заливают водой, настаивают, взбивают, ставят в тепло на полдня и пекут, как русские блины, заливая тонким слоем на раскаленный противень. А когда подрумянится, в середину кладут готовую овощную начинку, но можно и без — девственницу,

что и заказал. Подают с чатни — соусами в маленьких железных плошках. Сегодня кокосовый и луковый с кари.

И наконец купила. В тихом районе за рекой. Долго длилось. Я хотел помочь, чтобы вместе — выбирать, советоваться, решать. Но как-то все у нас с ней через полуприкрытую дверь. Вроде бы вот мы, вместе, но только здесь, на этом малом пространстве между нашими жизнями, между, а за спиной у каждого — своя. Не в прошлом своя, а сейчас. И оба хотели бы, чтобы не так это было. И делаем шаг, руку протягиваем — то она, то я, но или не вовремя, или не так, не в ту сторону.

Не надо бы это трогать сейчас. Лучше ешь свою досу. С нуриевским танцем пальцев в мирах подливки, чтоб задышала жизнь в этом… явлении досы народу. Чтобы между тобой и едой возникла драма рая ваших с ней отношений. Ей ведь, этой досе, несколько тысяч лет, чуть моложе тебя, но все же. Сколько ж она навидалась, пережила за свою жизнь, и вот вы сходитесь, это миры ведь сходятся с их историей встреч и утрат. Здесь, под пальцами, чтоб сроднились…

Вот именно. Одной рукой звала, чтобы помог, чтобы вместе, чтобы жить, а другой отстраняла: это мой выбор, мой дом, моя жизнь.

Ночью слон приходил под окна, ел фасоль в огороде, я на веранде стоял, с мамой разговаривал по телефону. Я здесь, она в Мюнхене, восемьдесят семь лет ей. Подожди-ка, говорю, тут слон пришел. Положил мобильный, свечу фонарем: ба, какие гости! Ходит по домам, как участковый врач, слушает деревья своим фонендоскопом, как тот доктор горящую от стыда и озноба Кити. А сосед, брат Прабы, в окно увидел, и уже бежит с факелом,

хэй, хэй, кричит, гонит его, тут и Праба на помощь выскакивает из темноты, слон отступает и вдруг разворачивается и атакует их, я с верхней веранды фонарем свечу, а они так разогнались, не могут остановиться, брат поскальзывается и падает в ров. Ложная атака. Слон, не добежав до них несколько шагов, снова развернулся, бежит и исчезает во тьме. Вспомнил о телефоне, мама там ждет ни жива ни мертва. Спустился потом к дороге, сидят два брата в темноте. Тот, что свалился, весь в крови, стекло и проволока во рву были, надо в больничку его, рваные раны, зашить бы, но машет рукой — завтра, сейчас никого там нет.

Я не раз приезжал к ней в Севилью. Жили. Долго, недели. И когда шел ремонт и ютились в углу на циновке, и потом, когда обустроилась по образу и подобию, хотя несколько тревожно и неуверенно поглядывая на этот домик — маленький, полупустой, в зеркальных поверхностях, похожий на нору, которая заканчивалась тупиком, без окон. Домик, стиснутый с трех сторон соседями — стенка в стенку так, что слышны были вздохи. А с четвертой — маленькое патио с калиткой, голое, где ты отовсюду виден — с улицы и с боков. А на втором этаже — престарелая чета: Алиса со слепым Базилио, под руку выходящие из дома и одновременно входящие в него, будто не двое их, а бог весть. С ней по-испански, со мной по-немецки. И дни напролет праздно насвистывающий пенсионный Педро в соседнем патио. Район Франко, где осели тихие ветераны тех времен.

Муэдзин запел с минарета. Любят они меня — только сяду поесть, и начинается. Все вперемеж тут, тигры, медведи, Шива, Будда, Аллах, Айяппан… Разве что христиане несколько выпадают из этой картины. Повар у плиты

готовит новую досу, она румянится, сворачивает в свиток. Свиток санскрита. С хрустящей звукописью, для внутреннего чтения.

И шли в музей Архив Индий. Оказавшийся музеем ошибки Колумба. Или располагались, прихватив свежий багет и хамон, на траве у реки, где никто не купался — ни в черте города, ни вне его, а почему — так и не удавалось выяснить. А после кладбищенской сиесты открывались кафе и улицы оживали бодрящимся домом престарелых, молодеющим к ночи.

Нет, на пали испечен он, мы ж на юге, в земле дравидов. Язык, на котором жизнь Будды записана. Помощник повара в углу присел луковицы чистить — штук сто у него куполков в горке, блаженных, и ни одну слезу ведь не прольет над ребенком! День, проведенный в Индии, способен выкупать в счастье сорок достоевских на век вперед. Да, Брахма? Одна юга пройдет, другой сменится, кончится мир, изойдет и начнется сызнова, зарумянится доса. А где Брахма? Да вот он, в этом кувшине с водой, в этой досе, тут, под столом.

Черт его знает, уж никакого особого предубеждения к Севилье у меня не было. Ну да, я говорил ей, мягко, при случае, еще перед покупкой: может, не Испания, вот в Черногории у моря можно бы большой дом за эти деньги, с видом на море, или лучше вообще без якоря, снимать, где хочешь, менять страны, а зимы в Индии проводить. Временами она чуть призадумывалась, но Севилья брала свое, что-то особое у нее с ней было — и родство, и надежда, и какой-то защем. И то, как она искренне радовалась этому городу, и как старалась поделиться им со мной, хотя разные периоды у нее были с этим переездом — порой опускались руки и казалось,

что ошиблась, поддалась, влипла, но встряхивала себя и снова неслась, пританцовывая, хоть внутри порой все поскуливало. Вообще же в характере у нее было идти до конца, даже если глупо или едва ли не гибельно — до конца, не сдавать назад, а там — авось прорвемся. И не просить прощенья, ни у кого, ни за что. Да, чувствовала, конечно, мое отношенье к этому городу, дому, хоть я и старался делать вид. Не очень-то, если по правде. Да и росло это чувство неприятия. Тем острее, чем сильней проступала Индия. И чем больше вовлекалась она в эту радость испанской жизни. Страна корриды и Кармен, думал я, вскипая в минуты обострений. Сжегшая и перерезавшая со времен инквизиции до Франко полмира. С ханжескими распятьями у изголовий в темных келиях спален. Несущая катафалки с ряжеными мадоннами по улицам, чтобы потом запить это пивом под бутафорскими апельсиновыми деревьями. Голая, без зелени, без тени, с раскаленными каменными мешками городов. С эмблематичной женщиной в профиль с высоко поднятым подбородком и кастаньетами в сердце, со своей гордой любовью, без сострадания, с жаром и льдом вместо тепла. С кораблями, чтоб завоевывать, грабить и вешать — в Америке, в Индии, всюду, куда доплывут. С одиноким Сервантесом позади и ослом на всю тысячу лет.

Вчера в джунглях очутился вдруг посреди стада самбаров. И свет такой был закатный, нездешний, как… Как что? Нет имени. Вот Адам имена давал. А какой опыт был у него к тому времени, какой словарь прожитого? Без опыта драмы, утрат, отчаянья, тьмы. А стало быть, и без опыта настоящей любви, счастья, света. Птичий лепет. Робкое дыханье. Это Афанасий Фет ходил по раю. Нет, не ходил, у него человек сгорел.

А у Достоевского Бог сгорел. В Севилье. Именно там все и происходит в «Легенде о великом Инквизиторе». Сожгу тебя, говорит, за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя.

Давай, говорю, съездим в Икею и за пару дней все обустроим в доме. Нет, все откладывала, странно так, по мелочам изредка присматривала что-нибудь и приносила в гнездо, как веточку в клюве. И спала в углу на матрасе в голой комнате. Месяцы шли. Хоть кровать давай купим. Зонт от солнца поставим в патио. Нет, жалась к жасмину в крошечной тени. Полдня ходил по району, искал проволоку, в каких-то военных амбарах нашел, укрепил зеленую изгородь в дворике. Убрала.

И Иисус, так ничего и не сказав, целует его в бескровные губы. Не сжег, отпустил. Не приходи, говорит, более никогда.

Женщина вошла, смотрит и улыбается. Что ж это за улыбки у них, нам и не снились. Вот как мир начинался — с улыбки. С улыбки женщины. А иначе никак. Ни сил, ни мотиваций не хватило бы. Без вот этой пресветлой легкости, не держащейся ни на чем.

Хочешь, говорит, будем жить здесь, в Севилье, но ты ж не будешь. Или в Индии, я бы даже ждала тебя, когда б отлучался, если тебе так надо одному побыть, попутешествовать. Или в Мюнхене сняли б жилье, хочешь? Но все это были лишь слова. Домик у нее свой, и жизнь, и город, где лучезарно и тихо состарится, как она говорила. Пол уже сделала с подогревом в спальне, осталось купить жалюзи, чтобы улица была не слышна. И записаться на танцы. Тук-тук ножками, подбородок повыше, и незримый кренделек в руках перебрасывать.

Фламенко. Тебе ж, говорит, такая нужна, чтобы всю себя отдала, только тобой жила, это не я.

Был и другой севильский поцелуй. От благочестивой Доны Анны — Дону Хуану, убийце ее отца, серийному душегубу и обольстителю. Странно, но похоже, ни одна легенда не была подхвачена столь широко в мировой литературе и музыке. Байрон, Мольер, Моцарт, Пушкин… В Севилье стоит памятник Дону Хуану рядом с его домом, где на склоне лет он основал общину сестер милосердия. Видимо, после рукопожатия с командором и возвращения из преисподней, святясь от благочестия.

Опять муэдзин зашелся. А у индусов тихие храмы, часто неприметные, может быть и с ребенка ростом, где-то в лесу под деревом — мурти, цветок, огонек, вот и весь бог. Он же микроскопичен, тоньше воздуха, Бог — нана. Аллах Акбар, аллааа… Хорошо поет, жизнерадостно. Вообще, задуматься только — как такое могло в голову прийти этому художнику, Боженьке, что ж это за импульс такой должен был он почувствовать, и как, с какой стороны подойти к этому первому шагу в создании мира? Куда ступить? Какими силами, каким зрением? Из ничего. Самая невероятная на свете мысль. И чувство. И вот делает первый шаг, и тут, откуда ни возьмись, Необходимость перед ним возникает с бритвой Оккама: не умножай, говорит, сущности без Меня. Иди гуляй, отвечает, со своей бритвой, а я создам рыбу-парусник и свет над водами.

Однажды мы ехали из аэропорта Севильи, где она встречала меня, а мы и прикоснуться не могли друг к другу. Да, как всегда, обнявшись при встрече и века простояв так. А потом всю дорогу прикоснуться не могли, только глаз не сводили. Мир так истончился, что, казалось, одно прикосновенье — и все исчезнет. И таким

тонким голосом пело все, прощальным, и вместе с тем — как в первый день, когда еще никого на свете — в каждой подушечке пальцев, в виске, в уголках ее губ, и особенно там — внизу живота. Вошли в спальню и начали раздеваться, медленно, лишь украдкой взглядывая, да и то чуть в сторону, и казалось, мы это не переживем — столько лет впереди нет у нас. И присели на пол, голые, лицом к лицу, на расстоянии. И подняли глаза. И опустили. И снова подняли. Так, словно это рождалось только сейчас и здесь. Небывалое, невозможное, из ничего. Она. И, наверно, в ее глазах — я. Она смотрела в лицо мне. Будто пила его чуть приоткрытыми губами. Я опускался взглядом все ниже, и там, где взгляд замирал, тело ее вздрагивало. И бедра ее смыкались вдруг и, обессиливая, размыкались. Что-то странное происходило со зрением: я не сводил глаз с ее лица и в то же время видел каждый волосок в ее светающей темени между ног. Не только со зрением что-то происходило, но и с осязанием: вздрагивая, я чувствовал каждое ее прикосновение — здесь и там, и снова здесь, хотя между нами было несколько шагов. Так же вздрагивала и она, когда я трогал ее — вроде бы мысленно, да, но уже трудно было понять, что реальней. И вкус ее губ, языка был реальней, чем тот, что помнил. И даже это легкое щекотанье от ее ресниц, когда вдруг приблизила глаза к моим, оставаясь на том же расстоянии. Возбуждение уже давно было у той грани, когда рука непроизвольно тянулась к соучастию, но я завел руки за спину, и она, видя это, тоже убрала руки. На миг мелькнуло в памяти, что в тантре это называют божественным соитием, едва ли возможным для смертных, но тут же все это куда-то исчезло, вместе с самой памятью. И потом, много потом — уже стемнело за окнами, которых не было, — я вошел в нее. Оставаясь на

все том же расстоянии. Так медленно я входил, чувствуя теплое, сбивчивое сердцебиенье ее — там, что казалось, идут дни. И затеплился свет — там, в глубине. Как возвращенье домой, не в этой жизни. Смотрел на нее, сидя напротив, из дальних далей, и чувствовал, как он, подергиваясь, изливается, и она, выгнувшись вдруг, постанывает своим полевым цветочным смехом.

#27. Перемещения разрозненного

Когда я, говорит муха,
была, прости господи, Петраркой…
Даже вспоминать не хочу, страшный сон.
Казалось бы, две-три помарки —
и всё, крути колесо.

Но где оно, а где белочка «я»,
не говоря уж про «ты».
А еще бывает, в этом божьем угаре
полюбишь кого живого,
обнимешь его, как дым,
и глядишь, как разматывается за плечом
весь этот бестиарий.

А ты говоришь:
«возлюбленный мой», «любимая»… И комарик
Шекспир перелетает с одного на другого.
Что-то меня от тебя кумарит,
геном говорит геному.

Сколько крови, сестра,
ты выудила стеклянной палочкой?

Подожми губы, дави на пальчик.
Один он и ты одна.
Когда я был панночкой, говорит одуванчик,
был у меня Хома.

Откуда ж ноги растут у этого воздуха,
что там зияет в жизни,
что так открыто чувству
и неподвластно мысли?
Лепестки мои, говорит роза, выстраданы —
из людей нерожденных, выскобленных.

Когда мы были ладонями,
говорят кроты,
мы стояли у слепого оконца,
как в молитве, а потом всё рыли ходы, ходы…
Доня, душа моя,
не вглядывайся в меня,
это просто заходит солнце.

#28. Почта

— Беда, Люба, беда. Женька погибла. Вчера. Упала с балкона. Или бросилась. Нет свидетелей. Она еще жива была — около часа, только моргала, вся сломанная, пока в реанимацию везли. Невозможно, ни доли реальности в этом нет.

— Господи, да что же это, за что?! Я с тобой, родной мой. Чем помочь? Ты в Мюнхене? Прилетишь в Москву?

— Да, но я без документов сейчас — на обмене. Это в Сочи произошло, там и мама и бабушка ее, они в комнате были. Знаешь, это ведь такая сильная любовь у нее

оказалась, и помножилось на безоглядность ее… Мама ей говорила, уже спустя год как все у них там с этим оксфордским мусульманином расползалось: оставь… Но она отвечала: нет, я буду бороться до конца. Кто б мог подумать, что о таком конце может речь идти. Тридцать лет. И такая моя, во всем… И с Лёнькой мы так и не успели ее познакомить, были бы сестра и брат, а вдруг как-то ее удержало бы… У нее сильная депрессия была последние месяцы, я-то думал, что потихоньку рассасывается… В тот день ничего вроде не предвещало — была у моря, далеко заплывала, с аппетитом ела зеленый борщик, ее любимый… сказала: ты, бабуля, посиди, я покурю на балконе… Да, любовь, настоящая, отчаянная… Жили в небе, в перелетах по всему миру, у него большой бизнес был, она ему помогала. А потом что-то случилось у него, все потерял, вернулся домой в Эмираты, отсиживался. Там суровая мусульманская семья, бывшая жена, дети. Брат, мать, все были против нее. Хотя он писал, что не в этом дело, поддерживал ее обещаньями скорой встречи. И начался затяжной оползень отношений. Но вот о депрессии. Она ведь у нее случалась уже — шесть лет назад, когда его еще не было. Я сейчас нашел то письмо ее ко мне. Вот смотри.

Разбита, истерзана, обесточена. Я и представить себе не могла, что такое возможно, состояние абсолютной никчемности, чувствую себя в вязкой паутине безвременья, мне страшно так, как не случалось когда-либо, мысли о суициде, словно сама себе не принадлежу, удушливо-вакуумное состояние, и словно нет на этом пути примирения, такая глубокая душераздирающая тишина внутри и бессилие, вся жизнь как плагиат, одни амбиции, меня словно вытрясли, опустошили до последней капли, я считала себя талантливой, наверно, это комплекс

отличницы, чувствую, что начинаю сходить с ума, день за днем с надеждой на малейший просвет усердно и порой с остервенением занимаясь, но к ночи все словно испаряется, ускользает… Я мыслей по крупицам собрать не могу, какой уж там диплом, смотрю и не вижу, читаю и не понимаю. Я не знаю, как дальше жить. Люди вокруг полны идеями, круговоротом событий и эмоций, убежденностью в своей правоте и особым виденьем жизни. Время словно остановилось. Рвусь изо всех сил, но с места не сдвигаюсь. Стала панически всего бояться, потеряла интерес и доверие к себе. Я не знаю, как мне быть, надеюсь на спасение, но понимаю, что только в себе его найду, это замкнутый круг. Кошмарный сон. И кажется, будто он не закончится никогда. Обнимаю тебя.

Я сразу ответил ей. Она тогда все же потихоньку выбралась из этого состояния…

— Да, все это уже в ней было. Бедная, бедная, тысячу раз бедная Женька, бедные все — и не с кого спросить, и никто не ответит. Главное — не винить себя, не оглядываться, что можно было бы сделать, что изменить. Ты сильный, я знаю, но все-таки береги себя, не расковыривай эту рану.

— Я стараюсь. Но знай я, что-то предпринял бы. У нее ведь, при всей ее открытости, никого рядом по-настоящему не было. И от меня она как-то немного отдалилась в последние годы, я насильно ее не подтягивал к себе — ну как тогда, в Москве, помнишь, тоже отпустил.

— Вот об этом я — нельзя, понимаешь, нельзя, ничего не изменишь, и легче от этих мыслей не станет, это дорога в ад — думать их сейчас.

— Сожгли сегодня.

— Ох, я не могу в это поверить до сих пор. Это болеть будет всю жизнь, всегда.

— Я держусь. Мне кажется. Только эти бесшумные бездны растут внутри все стремительней. И впереди все темней. Час назад вхожу в комнату, смотрю: на двери какая-то черная бумажка прилипла торчком. Странно, думаю, что это? Беру аккуратно двумя пальцами, а она выпархивает в окно. Бабочка со сплошь черными крыльями с обеих сторон, я таких и не видел никогда. Посмотрел в гугле — нет черных. Может, тебе удастся при случае? Небольшая, где-то пять сантиметров в размахе. Завтра девять дней.

#29. Поля превращений

Долгие летние дни в опустевшем Мюнхене, идущие ощупью, как слепой. И бессонные ночи. Изматывал себя ходьбой в парке, таком же пустынном, как и город, забываясь и вздрагивая от немецкой речи вдруг возникавших людей. Где я? В какой стране, стороне?

Ощупью, месяцы, в тишине. Но потихоньку звук возвращался. На днях смотрел фильм о Чернобыле. Неужели тридцать лет прошло? Лейтмотивом на экране появлялся человек лет сорока, в камуфляже, бродил по зоне отчуждения, по руинам Припяти, перебирал брошенные остатки жизни в ДК Энергетик, говорил о своей маме — красивой женщине, ставшей в свои тридцать пять инвалидом, живущей в Киеве, с тех пор почти не выходя из дому... Той самой, что так любила меня тогда. Приезжала в Киев ко мне. С этим мальчиком. И без. И имя у нее было — кто б мог подумать, что до такой степени — Любовь Сирота. Задолго до другой Любы. Что же у меня

с этим именем? Работала она в ДК Припяти художественным руководителем, ставила спектакли, по Цветаевой что-то, потом горячо обсуждала со мной. А я смотрел на ее волосы и думал: когда волнуется желтеющая нива...

Но что я помню? Почти ничего. Кажется, о шумерах больше и вижу ясней, и более цельно, чем свою жизнь. Даже не руины, а какие-то разрозненные полуфразы, которые уже не сложить.

Я приезжал в Припять. Выступал там, немножко жил, дружил. Может, был последним из приезжих, кто ходил по тому четвертому блоку незадолго до взрыва, и еще, кажется, пошутил, глядя на эти приутопленные стержни: а что если рванет, и полетят они журавлиным клином над полями-лесами...

А потом, когда рвануло, мы возвращались с Ильей Кутиком на попутках из Питера, куда поехали с ним и Алешей Парщиковым. И как раз в тот день, миновав станцию Дно, приблизились к Гомелю с заволоченным небом, ночевали в кювете, притрусив себя валежником, умывались в озерце наутро после аварии, когда все это волокло ветром на Гомель.

А потом, в Киеве, уже наполненном беженцами, я отдал свою квартиру Любе и ее подруге, и перебрался в Глеваху — опустевший поселок в пригороде, где писал «Станцию Дно» и ходил, как призрак, в плащ-палатке по полю, глядя на ворон, промахивающихся мимо своих очертаний.

А потом Германия пригласила чернобыльских детей на отдых и лечение, но родители не решались их отпускать с незнакомыми людьми и попросили меня поехать с этой группой. А приглашение было от Ротари-клуба

из предгорья Альп, богачей, реявших над деревнями на своих самолетах и очень старавшихся перещеголять друг друга в опеке детей и подарках им. Эти милые магнаты и меня хотели всячески облагодетельствовать, так сказать, решить судьбу за пару минут, но сказал им, что я тут никакой не писатель, а с детьми, и вообще мне ничего на свете не нужно, все есть, так оно и было.

Через год после этого меня попросили поехать с другой группой, отправляемой уже в Штаты. Более ста детей. В выданный мне мидовский паспорт вклеили около двадцати фотографий — на каждой странице по ребенку, дали как руководителю пятнадцать долларов на месяц и посадили с детьми в самолет. Дальнейшее похоже на безудержный триллер, который память держит в каких-то темных погребах и давно замела туда дорогу.

Приглашающей стороной оказалась церковь евангелистов из штата Орегон. В Нью-Йорке, где нас должны были встретить и посадить на самолет до Портленда, никто не встречал — ни людей, ни билетов, ни денег, ночь. И это было лишь начало. Потом, когда мы добрались до Портленда, детей по одному вмиг разобрали по машинам какие-то посыльные и увезли во тьму. Меня тоже. Я оказался далеко за городом, в детской каморке с фосфоресцирующим потолком в виде звездного неба и многодетной семьей американцев за стеной. Ни детей, ни связи с ними. Сами дети, как потом выяснилось, тоже были лишены связи между собой, а семьи, которым их поручили, не очень понимали, что им делать с детьми. Еще и без языка, поскольку большинство семей было американских. Можно представить себе положение восьмилетнего ребенка, одного, оказавшегося после Чернобыля на другом конце света, вдали от родителей, в ночи,

в чужой семье, говорящей на непонятном языке. Наутро я добрался до города, нашел главаря «евангелистов» по фамилии Мельник, и на вопрос о детях, получил ответ: не соваться не в свое дело, пока цел. Видимо, они уже успели сколотить свой символический капитал при запуске этой инициативы, а теперь, когда дошло до дела, решили умыть руки. Пошел в ближайшую газету. И тут все завертелось так, что и не приснится. Месяц я, то есть эта все более накалявшаяся история, не сходила с первых полос, наряду с войной в Бенгальском заливе и Бушем. На каждое наше публичное действие евангелисты отвечали все изощренней. Меня выкрали и бросили у безлюдного океана, выбирался я оттуда на частном самолете, прилетевшем за мной из Канады и нашедшем меня по костру на берегу, потом мы кружили над городом, я давал интервью ТВ, а камеры показывали нас, кружащих в небе. Потом приезжали какие-то переговорщики из Конгресса, сулили туманно многое. А поутру я находил надписи на доме, в котором жил: остановись, плохо кончишь. К тому времени меня уже узнавали на улицах. Я переселился к владельцу автоколонны, которая, как он сказал: если что — в твоем распоряжении. Позвонили с атомной станции, предложили бесплатное медицинское обследование детей, автобусный парк обеспечил перевозку, потом успелось и многое еще, не говоря о веренице моих выступлений — в университетах и разных организациях, собраны были несколько миллионов долларов, отправлен корабль в Питер с гуманитарной помощью. Трудно поверить сейчас, как не со мной все это, да и было ли? А возвращались на тяжелом бомбардировщике с военного аэродрома, откуда позвонили после очередного моего интервью в газете и предложили решить проблему нашего

перелета в Нью-Йорк. Смутно, но помню, как подсаживал детей в люк на брюхе бомбардировщика и руки американских десантников, подхватывающих их во тьме этого люка. В аэропорту Кеннеди выделили и оцепили посадочную полосу для нас.

Память выселена, как та чернобыльская зона, кто-то там бродит еще, живет. В полях превращений. Которые дышат, где хотят. И в прошлом тоже. А мы не можем без очертаний, без где, когда, что. А жизнь — состояния, меняющие свои узоры быстрее мысли. Они, состояния, по воздуху рисуют, а мы на песке. На песке книг, памяти, очертаний. Где Чернобыль, где Индия, где Люба Сирота? И тот ее мальчик, теперь уже тридцатилетний, бродящий по Зоне. И этот я, еще недавно на другом краю земли, в джунглях, высматривавший слонов.

Дед мой, в честь которого Лёньку назвали, как и больше века назад его родители назвали свой пароход, ходивший в Белорусии по Припяти, дед мой, промолчавший почти всю жизнь и оставшийся загадкой для всех, кто его знал, сидевший при Махно, Врангеле и красноармейцах, гонявший чаи с Циолковским в Калуге, прошедший без единой царапины войну — сапером, вернувшийся в звании капитана, совсем облысевший, но с прежними молодыми глазами, оставшимися такими до последних дней, когда подолгу стоял у окна, глядя в небо и вдруг вздыхая: о-хо-хо, скоро в космос… И переходил на латынь. Дед мой, Леня, родившийся в девятнадцатом веке, был сбит автокраном, шедшим в колонне из Чернобыля в те майские дни.

Здесь, в мюнхенской квартире, недавно искали с мамой его медаль «За взятие Берлина», так и не нашли. Лет двадцать назад пригласила меня знакомая аргентинка,

танцовщица, поучаствовать в ее в спектакле «Обувь и облака», где я должен был играть русского солдата. Я надел военно-полевую форму и медаль деда, спектакль был в центре Мюнхена, возвращался поздним вечером, не переодевшись, ехал в трамвае, полном немцев, по тем улицам, где начинался фашизм. Примерно в том возрасте, когда дед брал Берлин.

Его и оставили там, в Берлине, на несколько месяцев после войны, назначив начальником одной из товарных станций, откуда шли на Восток товарные составы, груженые трофеями. Вернулся он налегке, с маленьким чемоданчиком, в котором был отрез крепдешина жене и дочери, пару перочинных ножей, перьевые ручки и карандаши.

Со стороны казалось, его просто нет, настолько был тих, незаметен, но в какие-то поворотные минуты жизни вдруг становился молниеносно решителен. Как уживалась в нем эта флегма с огнем — бог весть. Книги любил, карандаши и собак.

Не было у него собаки, но незадолго до его ухода появилась у меня. Когда умерла его вторая жена, он перебрался к нам. Сидел на подоконнике, по-мальчишески болтая ногами, радуясь псу. И мне, с которым произносил на несколько фраз больше, чем за всю свою жизнь. И со странной улыбкой поглядывал на маму, однажды сказав: не думал, что ты такая… Какая? — спросила она. Но ответа не дождалась.

Пес погиб ровно так же и на том же месте, как и месяц спустя дед. Я положил пса в рюкзак и поехал на электричке в пригород, закопал под костром в том лесу, куда часто ходил на ночевки с ним. А прах деда мы с мамой подселили в могилу его первой жены, которая двадцать

лет ждала поручика, белогвардейца, ушедшего на фронт и не посмевшего перед тем прикоснуться к ней, а потом вышла замуж за деда, все еще как во сне. И родилась Майя. Легкая, солнечная, с редким даром жизни. Женька была во многом в нее.

В тот чернобыльский год и случился наш краткий роман с М. Жила она в военном городке под Киевом с мужем и годовалым сыном. Приезжала, учась в техникуме. И исчезла вдруг, я не знал, что она уже носит Женьку. Переехала в Венгрию. А через пять лет раздался звонок в дверь, и я увидел ее. Женька тут же взгромоздилась мне на руки, поймала за нос и не отпускала, так заразительно смеясь, что мы уже оба валились со смеху, и М. смотрела на нас, покачивая головой и улыбаясь.

А потом мы с Женькой сбежали в Крым, лет десять-одиннадцать было ей. Из Киева, где она жила с бабушкой и братом, пока М. с ее военным мужем обустраивались в Москве, куда его перевели по службе. Договорились с бабушкой, что она нас прикроет. Но М. все же узнала и вылетела в Симферополь, подняла милицию, они прочесывали прибывший поезд, а мы интуитивно вышли на одну станцию раньше и отправились в Коктебель. И были у нас чудесные дни с ночевками у моря на диких пляжах, и костры, и звезды... Но оказалось, М. не вернулась в Москву, а все еще искала нас на побережье. Пришлось вернуть ей Женьку — в условленном месте, как в фильмах про разведчиков.

За пару лет до смерти Женьки, когда ее отношения с тем оксфордским мусульманином уже накренились, писал ей, что вот, мол, хорошо бы нам с тобой наконец

отправиться в Индию, что многолетний проект мог бы быть — делать сайт, где собрали бы все триста с лишним индийских заповедников, с описаниями, снимками, беседами с егерями. Может, и денежка нашлась бы с индийских берегов. Но все это было где-то в поле светлых фантазий и слов, да и не ладилась жизнь тогда в эту сторону ни у нее, ни у меня. Знал бы, хоть чуточку чувствовал, и все могло ведь сложиться по-другому.

Могло ли? Спокойно. Избыть это лето. А там и осень, полетишь в Индию. Один, наверно. В Масинагуди.

#30. Джунгли

Одному, конечно, рискованней, чем вдвоем. Еще и потому, что с Таей я себя сдерживал, не уклонялся от тропы, не лез в дебри, да и возвращались засветло. Но одному — честней, потому что открыт, обнажен. И лес это чувствует, отвечая тем же.

Рай наш укладывался примерно в пару километров, начиная со звериной тропы вдоль протоки, к которой мы сворачивали, едва войдя в лес. Рай, который в любую минуту мог обернуться и адом. Стада слонов, бизонов, оленей, тигры, леопарды, медведи, птицы, змеи, не перечислить. Но всего этого ты мог и не видеть, лес притворялся тихоней, ни признака жизни. Сколько раз себе говорил: меняй оптику зрения, сбивай инерцию, учись держать порознь мысли и взгляд. И чаще оборачивайся. Есть у индусов среди духовных практик и такая — лесного тапаса, своего рода лесных Вед. Посвящение в нечеловеческий мир. Конечно, не об этом там думаешь, хватает вовлеченности и другого рода. Не соотносимой, пожалуй, ни с чем.

Когда-то на этой протоке лесники обустроили бетонные мостики, их там четыре с расстоянием в полкилометра друг от друга. Может быть, для себя, чтобы потом патрулировать лес, переходя по ним. Но, слава богу, в эту часть леса они давно уже не ходят. Хотя всякий раз я присматривался к следам у начала тропы. Да, наверное, для себя сделали, не для зверей же. Хотя обезьяны ими пользовались. И медвежий помет нередко мы там находили. А слону не пройти — слишком узко. Но, если надо — достанет тебя, подойдя с речки, она неглубокая. С Таей мы обычно шли до второго мостка и устраивались там в относительной безопасности, сидя посередине него так, что только наши головы были видны, направленные в противоположные стороны — сидели валетом, держа в поле зрения всю протоку. Временами я отлучался в дебри — недалеко, на разведку. Лес за ближайшими к протоке зарослями был исполинский, оплетенный лианами, пропитанный тьмой и рваными сверкающими просветами. Сказочный и действительно страшный, если поддаться этому чувству. Ждала. Возвращаясь, я останавливался на подходе и смотрел на нее из зарослей: она сидела пригнувшись, чтобы ее не было видно, и смотрела поверх бетонной ограды на протоку, куда выходят звери, приникала к окошку камеры, чтобы что-то приблизить вдали. И переводила на ближнее цветущее деревце, снимая двух длиннохвостых изумрудных ангелов, пчелоедов, которые в игривом пылу залетали на мостик и чуть не садились ей на голову, в последний миг отпрядывая. И щемяще светло становилось от этой картины.

Случалось, я возвращался из леса уже в темноте и находил ее дома занятой своими делами так, будто никуда

я и не уходил. Рассказывал ей, но со временем со все меньшим воодушевлением и все реже на том языке, на котором переживал это там. Однажды спросил ее, а если я и к ночи бы не вернулся? Мог бы подождать, что ответит, но поторопился продолжить, сказав, что где-то к полуночи надо бы идти к егерям. Не помню — кивнула, кажется.

Ходил я далеко за последний мостик. Какой же там лес прекрасный, как легко и светло дышать. Олешки с замшевыми ветвистыми рогами и снежной пургой на бежевой шерстке, особенно когда бросаются наутек. Но прежде долго вглядываются в тебя, присевшего и замершего на тропе, то вытягивают шею и выглядывают, поводя голову влево, вправо, то опускают ее к земле и снова стремительно подымают, чтобы получше разглядеть, кто же это там — недвижный, но живой. И бьют ногой о землю, сообщая сигнал тревоги, но еще неуверенно, и не бегут, вроде и не человек там.

А я и есть не человек. Уже не совсем, надеюсь. В Раджаджи, когда только приехали с Таей в Индию, уже через несколько дней шли с ней по тропе, и вдруг — в тишайшем и еще минуту назад пустынном лесу — со всех сторон повалили звери, прямо на нас, но и не обращая никакого внимания — шли и шли, олени всех видов, кабаны, павлины, и даже слон вышел. А мы сидели посреди тропы, прижавшись друг к другу, и лишь смотрели, не понимая, что ж это происходит. Олени рвали ветки над нами, кабанчики всей семьей трусили, приближаясь, и в последний момент замирали на миг и огибали нас, как куст. А на следующий день за версту уже не подпускали, как обычно. Те же звери.

Нет никаких ожидаемых сценариев с дикими животными. Есть ты, которым в какой-то мере располагаешь, и есть зверь, считывающий тебя и тоже располагающий — и собой, и тобой. В зависимости от той незримой фигуры, которая рождается между вами.

Несколько дней назад в Нагархоле слон убил директора заповедника, патрулировавшего лес в сопровождении трех джипов, полных егерей с ружьями. Егери кинулись врассыпную, директор смят в лепешку. Дело секунд. В прошлом году убита француженка, а перед ней англичанин. Даже не в джунглях, а на краю нашей деревни. Потом Праба пришлет мне видео, снятое на телефон неподалеку от тех мест, где обычно хожу: индиец с большой семьей и детьми расположились на пикник, слон вдали мирно идет стороной, а отец семейства уже во хмелю, пошел к нему поприветствовать, тот повернулся к нему, показывает всем видом и оттопыренными ушами: не подходи ближе. И все. Крупным планом. Затоптан на глазах у семьи, детей. Даже опомниться не успели.

Да, олешки у входа в лес, а потом малеха, нескольких дней от роду, выбежал из зарослей. Стоит, смотрит на меня, я ему говорю: такой же один ты, как я, и невзрослый такой же, даром что на ногах покрепче стою, и мама моя в далеком Мюнхене, а твоя где? Смотрит, делает неуверенный шаг ко мне. Нет, говорю, не я твоя мама, иди поищи-ка, пока не поздно. Повернулся, пошел.

Олешки, а потом вдруг виденье: повернул голову — в косом луче стоит великан, олень-самбар, древний, могучий, с лесом рогов. Миг, и нет его. Не мог он вот так

взять и исчезнуть. И привидеться не могло, я на него долго смотрел. Лишь луч остался гореть с пятном света, где стоял он. Так, подумал, наверное, и с Христом было. У сокровенного нет свидетелей. Больше одного быть не может. Но и он не сторож себе.

А потом шел вдоль протоки, тропа кончилась, берег обрывист, местами перепрыгивал с края на край, чтобы не спускаться к воде. В одном из таких мест, чуть разбежавшись, прыгнул — и, уже в воздухе находясь, гляжу: подо мной змея, длинная, скользит в воду. Для нее это было так же врасплох, грелась там на песке. И я как бы завис прямо над ней, в метре. И, кажется, даже ногами перебираю в воздухе, чтобы как-то пролететь дальше. И невозможно долго длится это — она скользит, бесконечная, для кобры слишком темная, но, похоже, именно она, а я вишу над ней, каким-то образом не падая, хотя прыжок уже выдохся, а продвигаясь по воздуху дальше. Уже половина ее ушла под воду, и тут это замедленное кино вдруг ускорилось, и я приземляюсь, пролетев дальше, за нее. Вглядываюсь в воду, но она уже переплыла на ту сторону и скрылась.

Еще прошел немного, отвлекаясь на птиц, прислушиваясь к отдаленному треску бамбука — похоже, слоны ломают его, подкармливаются, и тут от неожиданности обмираю: из тьмы зарослей у воды доносится звук, который прежде никогда не слышал. Громкий, надрывный, похожий на рыданье, но как бы втягиваемое с воздухом в себя. И повторяется раз за разом. Вижу откуда, но не видно кто. Тихо, едва ступая, огибаю заросли, чтобы зайти с другой стороны. Медведь-губач! Смотрит на меня, отряс голову и пошел по тому берегу, а я на этом, между нами несколько шагов по неглубокой воде.

И место открытое, как на ладони друг другу. Это он воду так всасывал. Еще придет ночью, не этот, другой, в мой домик, пока я сплю, поднимется по внешней лестнице на второй этаж и съест фрукты в вазе, оставленные на столе на веранде.

Эти губачи любят лесные плоды, корешки и термитов. Разрывают большими гнутыми когтями термитники, суют туда свою голую удлиненную морду и всасывают. И ходят по лесу, уткнувшись в землю, не слыша и не видя ничего вокруг. Потому и столько смертей при неожиданных встречах с ними. Читал я служебный отчет лесного департамента — несчастные случаи при столкновениях с медведями оказались на втором месте после слонов. Там же снимки медведя, рвущего крестьянина в поле, и еще семеро крестьян, пытавшихся остановить это вилами, лопатами и всем, что было под рукой, медведь изорвал всех восьмерых.

Присел я на берегу, он прямо напротив меня, так близко я их еще не видел. То есть видел, но из джипа. Вики, водитель, молодой парень, сын егеря, выросший в заповеднике, нервничал, когда я просил подъехать ближе и выключить мотор, медведь был в шагах десяти и не обращал на машину внимания, но Вики все же отодвинулся вглубь джипа. Сейчас расстояние между нами было сильно меньше безопасного, вроде бы он неминуемо должен был броситься на меня, но нет — продолжал что-то вынюхивать, крутиться на бережке, порой взглядывая на меня, но без агрессии и даже интереса, потом повернулся спиной, чуть присел и долго опорожнялся. Затем подошел к невысокому деревцу, поднял голову, что-то высмотрел там и начал карабкаться. Крона была густой и колючей, ветки тонкие, он все

никак не мог там обустроиться так, чтобы достать, что хотел, и вдруг оступился, свалился вниз. Сел на землю и взялся лапами за голову, чуть запрокинув ее и раскачивая. Я едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. А он все сидел, шевеля губами, вытягивая нижнюю, будто жалуясь: как же это могло произойти со мной, свалиться с такого детского деревца, еще и при свидетелях, вот стыдобище. Поднялся и побрел в заросли. А пяточки — как те «чешки» школьные, кто помнит.

На обратном пути увидел у воды след леопарда. Вроде бы. Стертый, старый. Вспомнил, как с Таей после месяца скитаний по заповедникам, где в последнем жили с гигантскими крокодилами и колдунами-душегубами, оказались в краю тигров-людоедов, в гостях у Гиты, помощницы главного егеря, которого ждали наутро, а пока нас поселили в лесничестве, в каком-то вип-номере, и мы наслаждались горячей водой и неземным, настоящим, белоснежным постельным бельем, а утром, одевшись в чистое и нарядное, постиранное накануне Таей, сидели перед егерем, вернувшимся из лесу, где, копая котлован для водоема неподалеку от найденных недавно наскальных росписей, обнаружили динозавра. Обсуждали, куда он нас отвезет на неделю пожить в лесной сторожке. Пока разговаривали, ему все время слали на мобильный какие-то видео с волнообразным криком людей, он бегло смотрел, прося всякий раз прощения. Праздник? — спросил я. Он горьковато усмехнулся. Это была любительская съемка случившегося вчера в одной из деревень его района. Толпа крестьян с мотыгами и лесники с ружьями. И леопард, вдруг врывавшийся в толпу, перегрызавший горло одному-двоим и так же молниеносно исчезавший. А через несколько минут возникающий с другой стороны.

Кровь, крики, попытки как-то оборониться, подготовиться к следующей атаке, и ничего не получалось. Он мог бы попытаться прорвать это оцепление, ускользнуть, спастись, но нет — почувствовав, что петля стягивается, он будет биться насмерть с ледяной яростью. Они забредают в деревни по ночам, а бывает, что и в дома. Уволакивают коз и попутно давят собак. И идут рожать на чайные плантации, если есть вблизи, там вода почище. У меня шрам на переносице от удара его лапы около года держался. И это он в вольере был, пойманный. В дальнем конце вольера и развернутый спиной. Я просунул объектив камеры в ячейку металлической сетки, чтобы поснимать его. Лишь миг — я даже не понял, что произошло и как можно было так телепортироваться — удар, и кровь залила лицо.

Дошел до второго мостка, где мы обычно сиживали с Таей, и перебрался на ту сторону, углубившись в чащу. Страшноватый там лес, ведущий незримую драму, в которой тебе нет места. Недвижная тишь, наполненная гулом предчувствий. Свежая слоновья тропа, ручей, рваные сети лиан висят, сквозь них — дыры неба. Присел на пригорке у ручья. Тень тут густая, как ночь. Если выйдут слоны — деваться некуда. И на дерево не взобраться — голые необъятные стволы.

Вот скажи мне. Вспомнишь ли ты хоть одну ее фразу, оставляющую долгий след — мыслью, интонацией, сочетанием слов, их свеченьем? Сижу, думаю, смотрю на воду, текущую у ног, и не нахожу, что ответить. Но тогда и ты мне скажи, ты, с другой стороны себя. Слышала ли она от тебя то, что ждала, на том языке, которым живет?

И тут я почувствовал чей-то взгляд в спину. Долгий взгляд, но теперь к нему добавилось и дыхание, чуть присвистывающее. Я медленно повернул голову и отшатнулся: ухмыляющееся чудовище с длинным раздвоенным языком уставилось на меня желтоватыми недвижными глазами. На расстоянье руки. Демон. С меня ростом, лежал, приподнявшись на передних лапах, и дышал в лицо. Вдруг дернулся и вразмашку понесся в заросли.

Что за день — призрак оленя, потом медведь, теперь этот варан. Вернулся к протоке, а там все преобразилось: была тишь, ни души, а теперь обезьяны носились по исполинским бамбуковым кустам, как по мачтам кораблей, внизу бродили стада оленей, вдали стоял гаур по грудь в воде. И — я не сразу его увидел — слон, одинокий, с большими бивнями. Он что-то выуживал хоботом над собой в кроне дерева. Пригнувшись, я начал осторожно приближаться к нему от куста к кусту, замирая, когда он отвлекался от кроны и мог бы меня заметить. Но он уже давно заметил. И видел, как я приближаюсь, хотя и стоял в три четверти спиной. И вдруг выдернул хобот из кроны и, перейдя на бег, скрылся в чаще. Прошло минут десять, и он возвращается — с подругой. Голова к голове идут, она останавливается, рвет ветку над собой, подносит к распахнутому рту — розовому, влажному, какому-то бесстыдно вагинальному и улыбающемуся. Он ждет, опустив хобот, покачивая им у земли, что-то трогая там, якобы занят делом и поглядывая на нее своим утопающим в морщинах, лучащимся глазом.

Чуть в стороне еще одна слониха вышла и уже окунает хобот в воду. Я выключил камеру и открыто сижу, смотрю, как эта молодая женщина, нисколько не тревожась моим присутствием, занимается своими водными

процедурами. Как набирает воду в хобот, полощет рот после еды, как изящно осьмушкой попы садится на краешек парапета, разве что не одернув платье, как потом поднимает над собой хобот и что-то там несбыточное рисует в воздухе… Древние греки считали, что у слонов ноги не сгибаются в коленях, так и передвигаются на колоннах. Входит в купальню. Нега и счастье — и на боку, и задом кверху, и скрываясь из виду, оставляя игривый перископ над водой, и всплывая с разинутым ртом. А потом еще долго стоит на берегу, пока солнце садится, посыпая себя дымящейся в лучах красной пылью.

Тем временем еще одно стадо вышло к протоке, стоит в сухих зарослях, в полутьме, заштриховано черными ветками. Как театр теней. И хоботы у земли вяжут в узелки, и встречаются ими друг с другом, разговаривают. И зеленые ростки на черной земле светятся, его-то они и собирают неторопливо, этот сочный свет.

И вновь округа преобразилась, обратившись в тишь, будто и не было тут никого, лишь один лангур сидит, как дозорный, на верхушке бамбука, раскачиваемого на ветру. Солнце уже клонилось, пора возвращаться.

Местами тропа вьется в густых зарослях, спускаясь к воде. На повороте тропы высокий колючий кустарник, ветки спутались, застя проход. Пригнулся, протиснулся, впившиеся ветки еще держат за спину. Высвобождаясь от них, еще не вижу, что и кто передо мной. В нескольких шагах. Слоны. Трое. С детенышами. Ну вот и все.

Ближняя стоит вполоборота, повернув голову ко мне. На расстоянии вытянутого хобота. Если бы подняла. Маленький карий глаз с длинными ресницами. Некуда бежать. И поздно. А она все смотрит. Не гляди на нее,

чуть в сторону. Медленно, без резких, вдавливаюсь спиной в кустарник. Тело не слушается. Слоненок выглянул из-за ее ноги. Вот здесь она и закончит с тобой. Две-три секунды. Один шаг, и вомнет в землю, вместе с кустом. Глаз ее так близко, что по сторонам все в расплыве. Может, они знают меня, помнят. Не первый день. И запах. А может, и год не первый. Еще немножко. Вроде высвободился. Бегу по тропе, с сердцем, бегущим чуть впереди меня. И кажется, что она сзади, догоняет, еще мгновенье... Оглянулся. Уже у мостика. Тихо.

Даже фонарь не взял, думая вернуться к обеду. Что ж делать? Они могут простоять там и до полуночи. А другого пути, кроме этой тропы, в деревню нет. Быстро смеркается. Рискнуть еще раз? Чудом уцелел, вряд ли это случится дважды. Подождал немного и все же пошел — почти на ощупь во тьме. Вот этот поворот тропы. Кустарник, протискиваюсь, вглядываясь. Стоят! Повернули головы. И снова бегу вслед за сердцем, выдохнул на мостике.

Ждать? Но уверенности, что они ушли, все равно не будет. Или пробираться на дорогу через чащу. Но правила теперь другие — ночь, человек для зверя уже не тот, кем был на свету. Допустим, выйду на дорогу, а дальше? Бежать до самой деревни? Это запретная зона. Машины там проезжают редко, но все же. Как остаться незамеченным в свете фар? И усмехнулся. Выходит, потеря доступа в лес из-за егерей важней потери жизни от зверя?

Дойти до дороги — это я сильно переоценил свои возможности. Передвигался, выставив вперед руки, оступаясь, выбираясь из оврагов, выпутываясь из колючих

кустарников, а потом бежал по дороге, раз за разом уваливаясь в кювет, завидев вдали полоснувшие из-за поворота фары и успевая вжиматься в кусты и коряги. Уже вдали были видны огни деревни, сзади появилась машина, я отскочил с дороги и скатился кубарем в глубокий овраг, откуда метнулась тень. Может быть, леопарда, если не показалось.

Добежал.

Сижу на веранде, даже чай заварить сил нет. Да и тревожить Пушкина на кухне не стоит, уже спит, наверно. Пес пришел, ждет во тьме, как заплатка на ней. Крики оленей с той стороны озерца, кто-то там бродит. Не ты ли, невернувшийся? Надо бы уже добраться до кровати и затихнуть.

#31. Фрагменты чтения

Наутро после истории с ночными слонами решил пару дней повременить с джунглями. Постирал скопившееся, развесил на кустах жасмина и бугенвиллии, спустился к озеру, по пути встретив родителей Пушкина — дородную лучистую мать и сухонького отца, ей до плеча. Спросили меня жестами — ел ли я. И добавили наперебой, чтобы я не уезжал, оставался здесь навсегда. Раскланялись.

Прогулялся по берегу со вдруг всплывшей строчкой из Упанишад: жизнь простерта от Творца, как тень от человека.

То есть где-то за Ним — некий источник света?

Она? Он порождает Ее, она — Его. Пуруша рождает Вирадж, Вирадж — Пурушу, как сказано в Ригведе. Она, Шакти, которая в Нем и не в Нем одновременно, ее свет?

Придя домой, вернулся к переводам из Вишну-пураны и Ригведы, начатым в прошлом году. К тем местам в них, где речь идет о сотворении мира. В священных текстах индусов этих сценариев, явно или мнимо разнящихся, можно насчитать десятки. Переводил я с английского подстрочника, сверяясь с несколькими переводами и комментариями индологов. Как и в той первой моей Индии, пятнадцать лет назад, когда переводил фрагмент из Айтарейя-упанишады о начале мира. Конечно, это не переводы — скорее, свободные переложения, опыты чтения.

Вишну-пурана, II. 5–18

Парашара сказал:
слава золотому зародышу,
началу мира и его концу.
И поклонился опоре Вселенной —
ничтожнейшему Пуруше,
который повсюду, куда ни глянь:
вот его игрище, этого разного мальчика,
но сам он не здесь,
а там — нет у него примет.
Невыразим, незапятнан
ни формой, ни содержаньем, —
таков уговор (стиль).

V. 3–17

В начале
(но где, когда?)
сосредоточился
и тьму создал кромешную.
И взгляд отвел.

И вновь сосредоточился
и сотворил животных —
«канал горизонтальный».
Высокомерны,
они ходили, не говоря друг с другом,
и в каждом было двадцать восемь
несовершенств.
Прикрыл глаза.

Сосредоточился —
и сотворил богов
счастливых, светлых, «внешний
канал». И улыбнулся,
взгляд отвел.
И вновь сосредоточился
и вертикальный создал канал.
Вот совершенство. Люди.
Страсть и косность.

Что хочешь ты еще услышать?

Сходил в деревню пообедать. На полдороге присел под тенистым деревом с Пушкиным, подрядившимся на стройку дома по соседству. Сказал мне, что вчера на закате снова видели черную пантеру — вышла на тот же лесной пригорок у Чикамандира, стояла там долго. Так я и вижу ее: стоит, смотрит вдаль, поверх куполка лесного храма, поверх земли, но ниже неба. Тело тьмы с двумя маленькими заходящими солнцами в глазах. Все никак мы не встретимся, годы идут, она где-то рядом, чуть впереди, чуть позади...

Вернулся, поместил в ютьюбе небольшое видео, снятое в джунглях, и заодно посмотрел фильм, случайно наткнувшись на него — о самовосстановлении клеток, о ДНК, о том, что каждую долю секунды в нас происходит слом, подмена, клетка перестраивается в сторону небытия, и только изощренными усилиями клеточной службы по чрезвычайным ситуациям клетка чинится, возвращаясь к жизни. И снова слом. То есть, выходит, естественное состояние органики — не быть?

И вновь сосредоточился. Надо же, ходят по лесу, высокомерные, не поворачивая головы друг к другу. И в каждом — двадцать восемь несовершенств. А люди — на вершине: страсть и косность. Или, как сказал Кафка: нетерпение и небрежность, потому и изгнаны из рая, и вернуться не могут.

Вышел на веранду, Праба у дома подвязывает высокий куст бамбука, надломленный слоном, приходившим этой ночью.

Нет вестей. Верней, слишком много, но ни одной среди них первородной — той, что от самого истока дней. Даже Творец, говорит Ригведа, не ведает, как все началось. Желанье на Него нашло. Откуда ж оно возникло? А сам Он? Не ведает. Как и то, кем и как этот мир сотворен, да и был ли создан. Вначале — Нечто, о котором не сказать ничего определенного — ни как о существующем, ни как о несуществующем. И вдруг — с чего бы? — растущий жар, стремленье к жизни. Там, за покровом, что-то движется туда-сюда. Как нечто женское. В Нем и как бы уже не в Нем. Образуя эту квантовую струну. Порыв внизу, приятие вверху. И — дрогнувшие уголки губ мира, еще незримого, в едва улыбке.

Именно так и происходит. Всякий раз. Как отсвет этого Нечто. Так близко. Как дальние зарницы в сердце.

Еще потоптался на крыльце, глядя на голубые горы вдали, и вернулся к Ригведе.

Мандала X, 129

Не бытия и не небытия.
Ни воздуха, ни неба за пределом.
Что двигалось туда-сюда? Под чьим покровом?
Что за вода была — бездонна, глубока?

Ни смерти не было, ни вечности.
Ни признака ни дня, ни ночи.
Одно дышало, воздух не колебля, — Нечто,
само себе закон. Одно, и ничего вокруг.

Вначале — мрак, и мраком был сокрыт.
Пучина, непроглядь — и всё.
То, что стремилось к жизни жаром
желания, рождалось в пустоте.

Желанье на Него нашло,
как первой мысли семя.
Происхождение сущего — в не-сущем,
сказал мудрец, увидев сердцем.

Струна была натянута в начале.
Но был ли низ там? Был ли верх?
Лишь Нечто. Натяжение. И семя.
Порыв внизу. Приятие вверху.

Кто знает истину, кто скажет?
Откуда мир возник и где исток творенья?
Мир сотворил богов — собой.
А сам возник откуда?

И как возникнуть мог —
был создан или нет?
И кто следит за ним? Кто знает —
Он? А может, и Ему ответ неведом.

#32. Минус-корабль

Спустился к озеру. Черная шапочка, белая шея и манишка цвета запекшейся крови. Прям стигматы, клювом себя изводят, столпники. Аисты-епископы. На кустах бамбука сидят. А под ними читалы расхаживают, олешки пятнистые, щиплют азбуку природы на уроке природоведения. На это разночинное озерцо ходят все лесные обитатели. Выйдет мишка, нарисует Шишкина на бревне и опять в чащу скроется краски готовить.

Катя Дробязко, жена Алеши Парщикова, пишет мне, что вышла Алешина книжка «Минус-корабль», будет презентация в Москве, вот бы ты, говорит, снял видео, сказал бы что-нибудь на фоне слонов, джунглей, а мы там на экране покажем. Ах, милая Катя. Значит, так ты себе это представляешь: сижу я на фоне выходящего из зарослей слона или тигра и читаю Алешины стихи. Светоносная минута, прощальная. Но что-то надо придумать, да.

Большая белая цапля, сама на себе женатая. Не шелохнется и так вечность может простоять на одной ноге. А зрачком миры процеживает до сухого остатка с головастиком Вишну на дне. Медитация. Взмыла. Хорошо летит, почти как я.

Алеша. Тридцать лет близкой дружбы. Один из считанных собеседников, последних, все ушли. Где он сейчас, на каких небесах — между Гоголем и Теслой?

Вот что надо. Поехать в Карнатаку, там на заброшенном хуторе древний храм Тримурти с очень особой аурой, солнечной, теплой, и колонны портика поющие — бум-бум костяшками пальцев — как по нотам. И священник Нагендра такой же солнечный, семисотлетняя храмовая династия по отцу. Симпатия у нас давняя бессловесная. В последний приезд, когда я друзей привозил, он меня вдруг обескуражил — поручил вести ритуал, а сам отошел в сторону и улыбается. А в другой раз мы с ним праздничную расписную корову из алтаря пытались выдворить, это Понгал был, день урожая и солнцестояния, угощали ее подношениями, а потом она нас, еле выдворили. Вот, поехать туда, присесть в алтаре, когда храм пуст, а он почти всегда пуст — дальний хутор, и попробовать поговорить с Алешей — оттуда, из Троицы, из этих зыбких солнечных дней зарождения мира с фигурой первослона Айравати — на тот свет, к Алеше. И пуджу для него сделать вместе с Нагендрой. Да, надо ему позвонить. Но он говорит только на языке каннада. Может, Прабу попросить, он оттуда родом. Вышел на дорогу, джип меня обгоняет и останавливается, выходит Вики. Спрашиваю, не говорит ли он на каннада? Нет, но его напарник может помочь, правда, по-английски он не понимает. Набрал номер. Говорю Вики на английском, он переводит напарнику на тамильский, и тот уже произносит на каннада Нагендре. И в обратную сторону тем же макаром. Оказалось, Нагендра в отъезде эти дни, советует мне поехать в другой храм, такой же древний и в этой же стороне — в храм

Лакшми, он предупредит священника. Что ж откладывать? Переоделся в белое и поехал.

Хутор назывался Калали. От главной дороги надо было добираться проселками. Храм еще издали выглядел необычайным. Могучий, древний, надвинувший, как шапку до бровей, тишину. И вокруг пустынно. Только высокие, выше храма, дощатые башни, в которых томились праздничные колесницы с фигурами богов и богинь. Хутор несколько в стороне, одноэтажные цветные домишки и вереница женщин в ярких сари и с большими горшками под рукой, выстроившихся за водой к колонке, а набрав, несли эти горшки уже на голове.

Храм был заперт. Обошел его по пустырю и краю леса. В единственном ближнем доме дверь была приоткрыта, я заглянул: в глубине сидел на полу пожилой индус и обедал. Я спросил о священнике, оказалось, он уехал, будет завтра. На пальцах попытался объяснить ему, что мне надо бы в храм, не знает ли он, кто мог бы помочь? Он кивнул, отодвинул миску, снял со стены связку ключей, и мы вышли. Он отпирал замок за замком, отодвигал засов за засовом, я уже сбился со счету, сколько их. За первой дверью была другая, третья, на подходе к алтарю, исполненному из золота, последняя. Света в этот час в храме не было. Уж не знаю, как и почему этот ключник так мне доверился, ни единого слова не проронил, просто открывал, видя, что мне нужно пройти дальше. А когда я наконец присел у этих мерцающих золотых врат в гарбагриху, он исчез во тьме и вернулся с затепленным напольным подсвечником. Я установил камеру, показал ему рукой, что мне надо остаться здесь одному и на часах отметил полчаса, он кивнул и растворился. Хороший знак, подумал я, все, кажется, складывается. Храм Лакшми.

Богини красоты и процветания. Как и та гречанка, вышедшая из пены, только эта — из молочной. Включил камеру, хотя что говорить и с чего начать, не знал.

Ну здравствуй, Алеша.

И замолчал. Но потом потихоньку начал что-то говорить — о беде и счастье. Об отклике мира, который, как пес, радовался, когда он его выгуливал и отпускал на свободу, об этой их обоюдной страсти жить в длящихся днях творенья, где еще все возможно, где краски еще не просохли. Где-то на этих словах в храме вдруг зажегся свет. Большая крыса вышла из алтаря и привстала на задние лапы, сложив на груди передние. Вахана Ганеши, индийского чудотворца. Посидели так в тишине. И снова погас свет. Я еще что-то договаривал, вспоминая, как он ждал и мечтал, что кто-нибудь из его друзей создаст поэтику рая, но сам писал ее всю свою жизнь. И радовался моим письмам из Индии. Майя, головная боль без головы. И две молекулярных двойных спирали в людей играли невдалеке.

А потом, на обратном пути, в вечернем автобусе, который шел через заповедник, всплывали строчки Алешины про минус-корабль и как-то невольно перемешивались, чередуясь с другими — из десятой мандалы Ригведы. А в окне к дороге выходили слоны в последних лучах заката, но скоро совсем стемнело, да и автобус вдруг опустел.

Не бытия и не небытия.
Ни воздуха, ни неба за пределом.
От мрака я отделился, словно квакнула пакля.
Что двигалось туда-сюда? Под чьим покровом?
Было жидкое солнце, пологое море пахло.

Ни смерти не было, ни вечности.
И возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.
В горах шевелились изюмины дальних стад,
я брел побережьем, а память толкалась с тыла.
Одно дышало, воздух не колебля,
само себе закон.
Но в ритме исчезли рефлексия и надсад,
по временным промежуткам распределялась сила.
То, что стремилось к жизни жаром
желания, рождалось в пустоте.
Все становилось тем, чем должно быть исконно:
ослик с очами мушиными воображал Платона.
Струна была натянута в начале.
Но был ли низ там? Был ли верх?
Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,
на заднем плане изъян — он силу в себя вбирал.
Порыв внизу. Приятие вверху.
Вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,
белее укола камфары зиял минус-корабль.

#33. Почта

— Ты уже дома, в Мюнхене?

— Да, мы на днях с мамой в Хорватию летим, она так долго ждала, просилась — хоть куда в последний разок съездить, тихо и тревожно, без слов, лишь глазами — как ты когда-то перед родами с пакетом вещичек, сидя на краешке кровати. Ну пиши же мне. Не болеешь?

— Нет, только бессонница, лежу до утра с широко закрытыми. А днем вычитываю Вечера на хуторе. Ты там на связи будешь или не очень?

— Я тоже вычитываю — наш хутор называется Медулин, тут маленький клочок песчаного пляжа, на который и клюнули. Домик чудесный — с двумя спальнями и садом, но все же немного на горке, хотя уверяли, что нет. Море плачевно, по сравнению с Крымом, да и той же Хорватией, которую знаю, — лужа, и нужно идти всю жизнь по колено. Еще и дождь моросит, но ничего, завтра осмотрюсь и найду, как ты понимаешь, рай на земле, и солнце нарисую. А что значит «вычитываю Вечера»?

— Это работа, пусть денег не много, зато Гоголь ведь! Я редактирую Гоголя, Гончарова и Стивенсона — вот это по мне, да. Вижу, у тебя там погода наладилась. Порадуйся, не сгуби себя в раздумьях о будущем, рассмотри сегодня.

— Погоду я поймал в солнечном окошке, а по краям — проливные дожди. Беда в другом — мама в первый же день к вечеру слегла с температурой. Надеюсь, справимся, но досадно очень, она так ждала этой поездки, так волновалась. Все равно я ничего не понял с Вечерами — что же вычитывать — огрехи при верстке?

— Ох, какая жалость — пусть поправляется, сил ей и помощи небесной. Да, меня тоже смущало — что делать редактору в этой серии, но представь: открытий чудных много. К Гончарову составляла список примечаний, у него уйма дивных устаревших слов, за каждым из которых надо лезть в интернет, и много не сразу распознаваемых цитат поэтов-современников — словом, облегчала путь ленивому и нелюбопытному. А Гоголь-то, Гоголь! Зависла я на его фразе: Знал и твердо-он — то, и слово-титлу поставить. Собственно, корректорской моей душонке было непонятно это тире, но и дореволюционное «Зналъ

и твердо-онъ-то и словотитлу поставить» мало что проясняло. Разобралась, конечно, в итоге — но за этой нумизматикой, за разглядыванием буковок классиков, и проходит время. Да, и еще: не вздумай убрать поросят Паоло и Франческу из ленты в угоду этим пошлейшим веганкам и веганам: снимок, без дураков, шедевр, душа на него содрогается и откликается, а те, кто считает, что искусство — это клумба для услаждения их взоров, пусть проходят себе стороной.

— Ты моя несусветная радость, я напишу твои слова на флаге и построю корабль. Пришел в фб запрос от Лёньки — дружить. Это необычайно. Вся жизнь — как титло. Мама носит подаренное тобой в нашей прежней жизни колечко с лунным камнем, и с ним происходят истории то и дело: однажды упало, треснуло, она его починила, а потом как-то потеряла на улице и долго возвращалась, ища не зная где, и нашла на обочине. Колечко и нитку жемчужную от Рама, которую он подарил ей в Ришикеше. А, еще сумочку ришикешскую на поверезке, для денежек и документов — с тех пор и неразлучно. А позавчера немного полегчало ей, и сразу на кораблик, поплыли на острова, укачало, вернулись, к вечеру совсем худо ей, зовет меня перед сном и тихо так, но собранно: вот здесь, говорит, страховка моя, а здесь денежки. Я еще долго ночью заглядывал в ее комнату, прислушивался — дышит ли. А наутро — слабенький хвостик у нее, но уже бубликом. Ходим, разговариваем, все к Женьке возвращаемся, у меня, знаешь, наплывами — то прихватит, то отпускает, а у нее тянется, душу ест непрерывно. И еще эта неразрешимость — как же это стряслось, что же на самом деле было. Вот и еще один егерь Гракх, на другой лад. Вспомнили с ней, как Женька однажды в Гурзуфе,

не дочитав, взяла в Москву один из томов Толстого, я ее потом корил, что не вернула. Анну Каренину. Понимаешь? Тут молнии пляшут над морем и гремит отовсюду, сезон закончился, по поселку ходят два бритых яйцеголовых англичанина и дева с гипсовой ногой. Наши хозяева уехали в Загреб, мы одни в трехэтажной вилле с садом, с веток валятся недоспевшие гранаты. Только что в ответ на молнию вспыхнул холодильник. Кошка с лицом Рембрандта сидит в дверном проеме. Мама, дочитав Кундеру, говорит, проходя: дом без книг это большое несчастье. Где мы живем?

— Спасибо тебе за этот осенний листок на ветке — и грустно, и сдует вот-вот, но и светло от твоего письма. Так все это трогательно, непереносимо — и очень тяжело от того, что ей приходится переживать из-за Женьки. Меня это тоже не отпускает, но скорее вспышками: иду, например, в школу за Лёнькой мимо Атриума, и вдруг пронзает — а вот здесь мы с Женькой кофе пили, на первом этаже, и какая она была в тот день ослепительная. И так то и дело. Да, этот внезапный поворот руля, миг невнимательности капитана — самое мучительное, что у нас есть. Ох как я ее понимаю про дом без книг — я так долго без них обходилась в своей жизни на полноге, оставляя на случайных квартирах, а потом и из Крыма отдав в библиотеки, так самонадеянно верила, что электронных книг мне хватит, что теперь принялась наверстывать, то разыскивая книжку из своего детства, то уже не зная, куда их ставить. С походом пока все непонятно, но твоя мысль про нас с Лёнькой вдвоем в походе меня очень растрогала. Людям с тревожными расстройствами только так, да. А то, может, к Немуре съездить в Крымскую обсерваторию. Ее

зовут Нелли Евгеньевна Орлова, между прочим. Только странна и печальна будет эта поездка, да! И ты, видно, забыл, что мы и так все время с Лёнькой вдвоем, нам нужны живые люди. Долго вы еще в Хорватии пробудете? А я ношу ее колечко с кораллом. Другие у меня теряются, ломаются.

— Да, я забыл, какой ты топограф, и вспоминать не согласен, поскольку в моем понимании ты настоящий миклуха, хотя и пятничный. А вот про то, что вдвоем и где люди, где они — это да. Как ты можешь помнить весь астрономический период Немуры? Ты все же невозможный птолемей языка и коперник памяти. Отправил письмишко знакомому чиновнику в лесном департаменте Индии — с примерным описанием дома и окрестностей, где хотел бы жить. Пора уже, похоже, начинать обустраивать это как реальность. Ну еще год-другой, а там уже и окошко чтобы зажглось. Ты знаешь, что россиянам начали с этого года давать пятилетние визы в Индию? А там, глядишь, и совсем отменят, может быть. Собираем посылку, что положить?

— О видел бы ты мои мучения про Немуру: подпругин? чресседельский? — ты бы уж понял, сколько гордости в звуке этого, как ты говоришь, астрономического периода для меня слилось. К зиме? Даже не знаю — может быть, теплую куртку, из старой он вырос, и ботинки хорошо бы — в Москве зимние по восемь тысяч. Но что-то, наверно, будем покупать уже сейчас — в кроссовках и сейчас холодно, так что только если совсем-совсем теплое. Смотри, что нашла. Около 250 лет назад магараджа Джодхпура приказал срубить деревья кхеджаджи, чтобы расчистить место для прокладки дороги, ведущей через деревню. Вишнуиты оказали сопротивление приказу,

поскольку при рубке деревьев кхеджаджи гибли места обитания гарн. И обнимали деревья, не давая рубить. Движение возглавила Мата Амрит Деви; она и трое ее дочерей первыми поплатились за это жизнью. Вместе с ними погибли еще 363 мужчины и женщины, обнимая кхеджаджи. В память о них лесной департамент Индии в 1978 году посадил 363 деревца кхеджаджи.

— Да, так и мы обнимаем наши деревья внутри себя. Пытался Лёньке позвонить в скайпе, потом он мне, потом я — так и не связались. Что-то мне грустно эти дни. Храбрюсь и маюсь, храбрюсь и маюсь…

— Мне и самой невесело, Взро, как-то все не так и не туда, и наполнила я уже эту пустоту под завязку буквами, но пустота остается. Держись, кораблик, сам свой штурман, сам свой капитан. У тебя скоро Индия, а у меня и ее не будет.

#34. Перемещения разрозненного

Сидел на веранде, смотрел, как дождь развешивал себя на солнце. Немцы вокруг — птицы, деревья, отменно выглядят, даже белочка — и та Марлен. Только вижу ли? На краю земли, за три моря, сын тебя по утрам возводит из любви и тоски, как воздушный или песочный замок… Пелена.

С кем же ты говоришь, белошвейка чудес и сестра неземных словарей, кого губят-голубят слова, с кем живут ненаглядно и места себе не находят? С кем они, эти ожоги-бабочки? Что с ладонями-поводырями, за которыми все так беспомощно стало, и не знает, что делать с дарами и сердца пустыми дворами…

В тихом мюнхенском парке у реки лежат камни: на спине, на боку, лбом в землю. Маленький, брошенный, безутешен, всего ничего ему: тридцать пять миллионов лет.

Ах люба, зачем это с нами случилось?

#35. Хануман

Еще тогда. Все так перемешалось в памяти. Может, я и не уезжал отсюда. Или только вернулся. Из Карнатаки, где говорил с Алешей Парщиковым в храме Лакшми? Из Мюнхена? Из ниоткуда. Еще тогда. Когда дни мои понемногу возвращались в лесную колею. Ночами мы попеременно дежурили с Прабой, отгоняя слонов и других непрошеных гостей с огородов, а по утрам мимо моей веранды, где я пил кофе, проходила с вязанкой дров мать Прабы и, потряхивая у рта пустую щепоть, трогательно спрашивала глазами: ел ли я? Потом и Праба являлся поливать сад и всякий раз искушал меня покупкой земли по соседству и постройкой дома. Иногда доходило и до бумаг с расчетами и почти до покупки, но, прожив наперед очередную авантюру и славно состарившись в этих мыслях, я все же делал шаг в сторону. В сторону леса, где пропадал днями, а к вечеру шел в едальню «Сарасвати». Но порой повар там уезжал на несколько дней навестить родню, и тогда я шел в «Хануман».

Взял чикен-бирьяни и гоби — капусту, запеченную в тесте. На столе стоит бидон с дохи, произносят на украинский манер — дохгхи. А на деле — простокваша; смешав ее с нехитрыми овощами, в основном луком и огурцом, получается вроде нашей окрошки, которую здесь называют райта. И черпак в бидоне, бери не хочу. И свеколка.

Включил камеру. Table-talk. Это я себя так отвлекаю, чтоб не есть угрюмо в себя. А может, и что любопытное проговорится невзначай. О том, что сейчас в уме-памяти, а завтра тю-тю. Да и еда видна, процесс, а не просто голова говорящая. О чем же нам сегодня? О любви?

Соснора говорит: нет в живых тех, кто любил. Вот, собственно, и все, что можно сказать об этом.

Перейдем к другой теме. О еде, например. Есть ли в живых те, кто ел? В старину китайцы при встрече вместо приветствия спрашивали друг друга: ел ли ты? И считали, что на каждый кусочек пищи, отправленный рот, должно быть не менее шестидесяти жевательных движений. Это китайцы. А здесь есть значит проживать все это мистериальное пространство между тобой и едой. До полного единения, и не просто телесного, и не столько через вкус. В голове это происходит, а у нас мысли за едой скачут, как блохи. Зачастую мы ведь не здесь и не в сейчас. Думая о планах на завтра, о прошлом, о черт знает чем. Даже те, кто любит Индию и едет сюда с, казалось бы, пониманием, живут тут вприглядку с мобильным телефоном. В руке мобильный, в другой еда, взгляд в сторону, а сами не там и не там. И не здесь. Вообще это нелегкая задача — удерживаться в настоящем, не выпадать. Любим мы пользовать эту ходкую парочку «здесь и теперь». А Бог, видите ли, везде и нигде. По Николаю Кузанскому. А дудки. Вот Он-то в каждой точке этого здесь и теперь, за всех нас каждое мгновенье и проживает. В каждом мгновенье — Бога всклянь, а нас нет.

Ладно, раздухарился. О еде говорю, ем, а сам черт-те где. Возьмем-ка лучше этот ломтик гоби, отправим в рот и станем им. Потому что знать — это входить в поток

трансформаций, вот как умно я скажу. А если попросту — это не ладонь, не пальцы, а медиумы. Между мной и этим рисом в тарелке. И связь не просто тактильная, но и, извините, мистическая. Ведь рис этот уходит во времена Рамаяны и далеко за них: солнце встает, садится, поколенья индийцев перелистываются, женщины поют, дети бегут, мужи с войн возвращаются… Эпос, мы едим эпос! Женщины в полях, от зари до сумерек, не разгибаясь, как запятые. Белые волы с крашеными рогами. Кобры, глядящие, как из-под руки, на восходящий рис. Мандалы, нарисованные спозаранок у порогов домов. Храмы, звон колокольцев, огонь и вода. Голод и смех, смерть и улыбка. Где все это? Здесь, в этой тарелке. А пальцы — проводники. И толмачи. А сам ты на краю своих очертаний. Но ограничен ими. А они — рис, лук, все, что здесь на столе — нет, не настолько. А гоби, капустка? Она ведь так ждала встречи с нами. Годы, столетья, преображаясь… Не дождалась.

И пеликан не дождался, умер. В прошлом году это случилось. В небольшом заповеднике в Карнатаке. Никто из местных о нем, оказалось, не слышал. Вроде бы там обитали волки, четырехрогие антилопы, леопарды и панголины, эти допотопные калики перехожие с длинным носом и детскими ручками. Три у меня мечты было — увидеть черную пантеру, сонного лори и панголина. Наконец, нашел на краю деревни лесничество. Двор с лежащей собакой по горло в пыли и домик со спящим за столом сторожем. Так продолжалось несколько дней — за столом всякий раз спал другой человек. Наконец появились лесники, начались пантомимы переговоров, поскольку с английским там бедово. И только после звонка в город важному чину, которого мне как-то удалось расположить

по телефону, было получено добро, чтобы мне показали заповедник, обычно закрытый для сторонних посещений. Едем вдесятером на джипе, поднялись на смотровую вышку, лесники галдят между собой, я в бинокль рассматриваю холмистую округу и вижу на горизонте на горе нечто, смахивающее на храм. Оказалось, древний храм Дурги, куда в прежние времена ходили паломники по горной тропе, но уже давно подступы туда перекрыты — заповедник. Я запомнил и по возвращении в лесничество снова позвонил важному чину и выпросил разрешение отправиться к этому храму. Вдвоем с лесником, немного понимавшим по-английски. На мотоцикле до подножья горы, а дальше восхождение пешком. Завтра. Жду, а его нет. Вообще никого, кроме спящего за столом. Звоню тому, кого жду. Он говорит, что он далеко, за двести миль, что не может говорить, что… пеликан умер. Какой пеликан? — переспрашиваю, думая, что ослышался. Средних лет, говорит, при невыясненных обстоятельствах. Прости, говорит, не могу продолжать разговор, сейчас министр выступает — срочное совещание лесного департамента: решаем вопрос этой смерти. Когда ж ты вернешься? — спрашиваю. Этого, говорит, никто не знает. Так я и не дождался его, уехал.

Камера отключилась, батарея села, ну и бог с ней, к лучшему.

А потом, спустя месяц, приехала Тая, и мы оказались рядом с этим заповедником панголинов. В лесничестве та же картина со спящим сторожем. Но после звонка тому же важному чину мы наконец отправились, доехали до подножья горы на джипе с двумя лесниками. Они надеялись, что это и все, в гору им карабкаться совсем не хотелось. Мы пройдемся наверх, бросил я лесникам,

и мы скрылись в зарослях. На полпути к вершине растительность кончилась, дальше шла голая гладкая скала, угол которой становился все круче. Обернулись: похоже, за нами уже погоня. Двое местных егерей, которых вызвали наши конвойные, шустро карабкались вверх. Мы прибавили ходу. А шли мы босиком, сунув обувь в рюкзак. Не потому, что такие уж мы индусы и чтим святость храмовой местности, а чтоб подошвы не так скользили, хотя камень, нагретый солнцем, обжигал, но если быстро переставлять ноги — терпимо. Долина млела в синеватой дымке далеко внизу, чуть ниже нас кружили коршуны. Расстояние с этими двумя зверобоями начало расти, что радовало — кое на что, значит, мы еще годились. Поднялись на вершину. Может ли в наше время такое быть, чтобы стоял могучий намоленный храм восьмого века и о нем не было никаких сведений — ни в Сети, нигде? Чтобы его не видел никто, кроме местных деревенских жителей, да и то немногих? Непредставимо, но в Индии — может. А перед мурти Дурги в алтаре лежат почти свежие цветы. Кто ж их принес, когда все пути сюда перекрыты? И на голове ее замерла ящерица — агама, желтый узорчатый самец.

На обратном пути я что-то небрежное сказал об этом восхождении, о храме на вершине, мол, необычайно, чудесно, да, но вот та агама, с которой провел в тишине целую жизнь, ее глаз, ставший отчасти моим, и те мысли, которые, как лесные отшельники, не знакомые друг другу, сходились во мне… Вот это останется в памяти. И что-то еще продолжал в том же духе, а потом повернул голову к Тае: меня в ней не было, отторжение, боль, чужесть, как она говорила — до зубовного скрежета. Что-то там приоткрылось для нее — в этом восхождении

и там, наверху — сокровенное, какая-то дверца меж нами, а я ее, не заметив, походя, этими словами захлопнул, защемив ее пальцы.

Но все так перепутано — где Индия, где Тая, где я — не знаешь, за какую нитку тянуть, чтоб хоть что-то понять. Вроде бы просто: бывает, человек рядом действует на тебя так, что ты становишься тоньше, выше, лучше, а бывает наоборот — сползаешь в мутное, грубое, непролазное. Но ведь и то и другое — в тебе, только ждет оклика, вызова. И нижнему — только дай, не унять эту косматую лапу. Двое, а третий — Индия, пронизывающая насквозь и оплетающая собой так, что уже не понять, где верх, где низ, где Тая, где я, и где эта Индия. Это с тобой происходит? Вот это, единственное, милостью божьей? И оно же — сволоченное в немоту, в боль. С тобой? Ни отринуть, ни к сердцу прижать. И не назвать по имени.

Когда мы впервые здесь оказались, целыми днями пропадали в джунглях. Однажды на выходные приехало человек сорок молодых разухабистых хлопцев и заселились в соседний двухкомнатный коттедж. То есть, наверно, тихих и скромных по будням, а на выходные выезжавших на пикник распоясаться во все милые тяжкие дружной мужской компанией. Они уже хорошо поднабрались, горланили песни и гоготали, вульгарно поглядывая на Таю, высылая к нам смельчаков — познакомиться, пригласить к столу. Было среди них несколько относительно трезвых, собравшихся на сафари, предложили и нам. Тая отказалась, а я, хоть и против воли и не пойми почему, поехал. При въезде в заповедник меня вдруг накрыло. Все сорок, или сколько их там, вломились к ней и брали ее — грубо, страшно, с гоготом и хихиканьем, по очереди и гурьбой. Табун истомившихся жеребцов,

переполненных спермой, которую некуда деть до женитьбы. Я не мог повернуть взгляд в ее сторону. Но и не видеть не мог. Не видеть — ни рваной одежды, ни распяленных ног, которые удерживали двое по сторонам, ни ее слез, ни крика, и главное — вдруг — вопреки всему — жалобно постанывающего полевого смеха. Не понимаю, как такое могло войти в меня, не мазохизм — хуже, гаже. Но и глаз отвести не мог. Что ж за сила втаскивала меня в эту пытку? Приближая к глазам так, что не вывернуться: на, смотри! И — не выговорить, но где-то со дна этой жути всплывала и оглушенная щемь возбужденья. Кинулся к водителю, вернулись с полдороги, бежал через всю деревню, распахиваю дверь: она стоит в нашей кухоньке, готовя ужин, тихо так, и никаких сорока разбойников. Обернулась ко мне: что, соскучился?

Вот что это? Даже сейчас вспоминая, всего выкручивает, как мокрую тряпку. Ревность? Которую, кажется, никогда до нее не испытывал. К телу? Но чувство было, что не ее брали, а и меня вместе с ней, нераздельно, и все кончено.

Ладно, выдохни. О чем я говорил, о лесе? В фейсбуке есть индийское сообщество любителей дикой природы, фотографы, двести тысяч участников, помешанных на заповедниках. Однажды я предложил там совместные вылазки в джунгли, реальный опыт. И — гробовая тишина, ни одного желающего.

Праба спрашивает меня: ем ли я верблюдов в Германии? Да, обычно по верблюду в день. Но курю их, не ем.

Вчера перед сном записал вдруг:

Ты у меня одна, бродячая, говорю я душе,
как собака, которую подкармливаю собой.

Смотрит в глаза: отведи, мол, меня домой.
Ну вот, думаю, опять начинается.

Совершенно непонятно, куда теперь жить,
когда мир с людьми отошел, как воды.
Ни роженицы, ни младенца. Просто годы
на песке подсыхают, как водоросли.

Что-то там Платон говорил об этом «вдруг», с удивлением его разглядывая. Не вдруг, конечно. Как-то весь день поднывало там… под ложечкой жизни. Пока приплясывал от ее радостей.

А сегодня утром с местным хлопцем поехал на мотоцикле за край людской — домик присматривал для отшельничества. Умеренного. Нет, пока не готов — ни я, ни домик.

Считал перед сном — не слонов, а сколько раз ходил с Таей и без нее в джунгли. Только те походы считал, когда надолго и с риском не вернуться. Где лес полон тигров, медведей, слонов, змей… Около ста таких походов получается. Как же мы уцелели? Ни царапины. Там, куда никто не суется, да и запрещено. Каждый год тысячи погибших и бог весть сколько искалеченных. Тая, при всей ее смелости, порой срывалась в панику, правда, собранную, сжатую внутри в пружину. Как-то сказала: не так погибнуть страшно, как быть искалеченной. Думаю ли об этом? Нет. В лесу — нет.

В первой нашей Индии, когда оказались в Боре и шли вдоль озера по заповеднику, увидели заброшенный деревянный настил на дереве с полусгнившей приставной лестницей. Лесники сделали когда-то для наблюдений. Мачан называется. Такие и крестьяне мастерят на краю

деревень, охраняя огороды от диких животных. Давай, говорю, заночуем на этом дереве в мой день рождения, отметим? С утра Тая сходила к рыбацким лодкам, купила рыбу, приготовили праздничный ужин, уложили в рюкзак, взяли в домике Сурии большое теплое одеяло с нелепым изображением тигра, и к закату были у дерева. Нарвали травы, застелили, как могли, этот куцый полуразваленный деревяный настил в невысокой кроне в трех-четырех метрах от земли. Поглядывали сверху на лестницу — сможет ли взобраться по ней медведь или леопард. Благо, слонов в этом лесу не было. Тихо праздновали в ночи в самом сердце тигриного заповедника, изредка светя фонарем во тьму под нами и вокруг, наполнявшуюся ночной жизнью, ища вспыхивающий в луче отраженный свет глаз зверей. А потом она спала — тихонько, на жестком, кривом, проломленном настиле, а я полночи ворочался и затихал, глядя на нее, спящую, но на мгновенье открывавшую глаза, чувствуя мое дыханье у ее лица. Деревце, и мы в нем. Не на земле, но и не в небе. В раю, но и в изгнанье, одновременно. И незримый лес, ставший нашей кожей. И тигр, укрывший нас. День рожденья. А наутро подошел нильгау, высокий, небесный, как будто плывший над землей, замер, и долго смотрел на нас, просунув голову в листву. Потом отошел и через несколько шагов снова замер, спиной прислушиваясь. Эй, тихо позвал я, эй, дядя всего земного… Он обернулся через плечо, и так и остался — на веки вечные.

Свеколка тертая — почти как наша. Щепоть бирьяни, потом листик гоби, и свеколку вослед, самое то.

Дуновенье, полслова — и нет ни домика на дереве, ни волшебного леса, ни этих двоих. Рай, как слеза, стекает по щеке от соринки в глазу.

Как-то в глубинке Кералы, проводя ночь с магами тейяма, решил пройтись через джунгли к необычному храму, о котором намекнул один из участников этого ритуала. И вот босиком, без фонаря иду по едва заметной тропе. Где-то на полдороге встречаю человека, с которым у меня во тьме происходит разговор, хотя разговором это трудно назвать — его английский все время сбивался на местный малаялам. Он пытался рассказать историю этого храма. Жил король, и все у него было — и ум и молодость, и красота и богатство, и власть. Не было лишь той единственной, которую бы назвал женой. Едут гонцы во все концы королевства с тремя вопросами для возможной невесты. И возвращаются ни с чем, вернее, с убогими ответами. И вот однажды донесли королю, что есть одна — необычайной красоты и ума девушка, но живет она в стороне от людей. Посланы к ней гонцы. На два первых вопроса она ответила так, что у короля земля ушла из-под ног от счастья, а на третий… Тут он замялся, не зная, как перевести это слово, сказав, что английское «секс» не передает его смысл. Онемел король, услышав ответ, и в гневе приказал публично изгнать ее из королевства. И вот она, отверженная, опозоренная, идет по лесу дни и ночи, не разбирая дороги, раскладывает костер и стоит над ним, клонясь к пламени. Это видит издали один крестьянин и, почувствовав неладное, спешит, пытаясь спасти ее, но не может подойти к огню — как воздушная стена перед ним, за которой она сгорает в огне. Крестьянин приходит в себя, растерянность и страх, что отныне карма его непоправимо омрачена. И тут возникает перед ним Шива, и говорит: иди домой, не волнуйся, все у тебя будет хорошо, она бессмертна.

Шакти, наверно, думаю я, идя дальше в темноте, и жалею, что не все понял в его речи. Храм стоит в перелеске, никого на подворье, в проеме двери возникает монах, говорит шепотом, что вход только для индусов. Я знаю такие храмы, их не много, но есть. В Гурваюре, например. И уж было повернулся уйти, но что-то меня остановило — то ли его лицо и свет, идущий из глубины храма, и лес вокруг с луной над ним… Говорю ему так же тихо: а ты не торопись, посмотри на меня внимательно. Смотрит, молчим. Он делает шаг в сторону и говорит: проходи.

Да какой из меня индус, в тот приезд Индия с меня просто снимала кожу и выводила из дома. Хорошо, если за руку.

Ранголи рисуют женщины и дети у порогов домов на рассвете. Мел сыплют из кулачка тонкой струйкой, из-под мизинца, чередуя цвета пигментов, миры рисуют, узоры. Соотносясь с небесной мандалой. А к вечеру все это исчезнет бесследно под колесами телег, под подошвами ног. Вот так и текст надо писать, из-под мизинца. Чтоб исчезал, не исчезая — под колесами телег, под подошвами ног.

Письмо-мандала и письмо-баньян, два пути, но второй мне ближе.

Нет, он был не единственным пеликаном в том заповеднике. И не то чтобы редкий вид. Просто один из. Умер. По неведомой причине. Может, сошелся с избранницей и умер. Или напротив — умер, отверженный. Или выпил кривой воды. Чрезвычайное положение. Лесники съезжаются на срочное совещание. Не волнуйся, говорит Тая, ты не пеликан, будешь долго жить. Да и ты не Шакти, не шагнешь в огонь.

Что ж за наважденье такое? В который раз вот так вдруг, без какой-либо связи всплывает в памяти ее лицо, с каким она ждала ту тигрицу. Когда сидели в засаде без засады, просто на тропе, открыто. И ждали. С минуты на минуту в час заката она должна была прийти к водопою с двумя рослыми детенышами. Нас было четверо — два молодых егеря и мы. Вернее, один егерь, он сидел с нами и очень нервничал, потом как-то стих, вытер испарину на лице и прошептал: мне страшно, я не выдержу. Второй — из крестьян-добровольцев при лесничестве, он сел в засаду неподалеку, у родника, договорились, что если тигрица выйдет, он подаст сигнал, как это делают лангуры — гулким кашлем, как бы через губу. Два мотоцикла, на которых мы приехали, стояли на тропе у нас за спиной в десяти шагах. Сказал егерю… Как же его звали, выпало из памяти, Тая еще ревновала меня к нему, к нашей дружбе и вылазкам в лес вдвоем. А вдвоем потому, что у нас с ней в те дни все спотыкалось — то взлетало, то падало. Надо же, именно в тех местах оказываясь, какими лишь ангелы могли одарить по своей неземной щедрости. Мистер Такари, главный лесник области, после нашей встречи, к которой Тая постирала и погладила извлеченную из моего и ее кулька одежку для особых случаев, которую протаскали всю зиму в рюкзаках, выделил джип и сопровождение, чтобы нас забросить на пару недель в его служебную сторожку в джунглях на краю тихого хутора со сплоченными тесаными фигурками потусторонних оберегов вместо храма. Сторожка оказалась столетним британским домиком с дивным садом. И мы там одни, джип уехал. Как же я радовался… бы. Если б не эти наши столкновенья — как всегда, вдруг и на ровном, казалось. Она лежала на плетеной кровати,

отвернувшись, безучастно глядя в стену, а я укатывал с этим егерем в лес, но и там ведь — ни себя, ни леса. А потом, полуживыми выбираясь из этой глухонемой разрухи, льнули друг к другу, и снова взмывал парусок чудес. На день, на полдня. И уходили в джунгли. Однажды там заблудились, слишком далеко зайдя, вот тут и заночуем, поддразнивал я ее, разведем костер и ляжем под бочок ему, обнявшись как две любви, а посередине гвоздик. Не улыбнулась, бросила взгляд с милой такой, безоблачной чужестью. А лес был прекрасен с этими вдруг стоящими огромными деревьями с нежно розовыми стволами в буйных наростах, похожих на бестиарий, стихающий лишь высоко у кроны. Та тигрица могла выйти либо из чащи прямо напротив нас, либо появиться сбоку, идя по тропе, которая просматривалась до поворота шагов на двадцать. Выйди она отсюда, у нас бы оставалось несколько секунд. Сидели, ждали, молча, недвижно. Моей стороной внимания была тропа, его — окно в чаще. Тая сидела между нами. Сказал им: если она появиться на тропе — отходим, спокойно, без резких, но быстро, все же какие-то секунды у нас будут, чтобы зайти за мотоциклы, там и стоим, дальше не загадываем, по ходу. Сидим. Следим за каждым шорохом, дуновеньем, дрогнувшим стеблем осоки. Птицы поют, перепархивают, а то тишь обложная, как под током, слабенькое, но растущее напряженье — отовсюду, волнами. Пересел, чтобы чуть дальше видеть тропу, но оттуда вижу и Таю — чуть сзади, в полупрофиль. Сидит недвижно, и вот это лицо ее, которое наважденьем потом всплывает. Как же о нем сказать? С того света? Нет, с этого, но по ту сторону от меня и всего, чем жив. Да и света ли? Как маска. И смотрит в одну точку перед собой, но ее там нет, этой точки. Что

же в лице ее в эти минуты, что я так хорошо знаю и не могу найти слов? Если бы она видела, что смотрю на нее сейчас, тут же стряхнула бы это лицо, вернувшись в то, с которым живет с людьми, особенно, когда они рядом. Наверно, с каждым из нас это случается — более или менее. И со мной, в такие минуты ведь себя не видишь. Что же? Воск. Сумрачный, чуть светящийся какой-то дальней болью воск. Почти безжизненное, обезлюдевшее лицо. Недоброе. Не состарившееся, но много древней, чем ее родное. Только которое из них ее? Лицо, сосланное в себя с обреченностью вечной жизни. В котором и для которого тебя нет и никогда не будет. И не только тебя. Я знаю его. Всякий раз, когда у нас все кончено и я пытаюсь найти слова, пальцы свои, губы, чтобы вернуть нас друг другу, пытаюсь, видя перед собой вот это ее лицо, глядящее в одну точку — туда, где я, которого нет.

Та тигрица так и не вышла тогда.

Хорош бирьяни, и чикен неплох в нем. Куриные лодочки в волнах риса. Похоже на Харнай, вид сверху. Тут, напротив этой едальни, стоит христианская церковь. А рядом лавка мясная с тушей телячьей на крюке. Индусы мимо ходят, все на виду. Жизнь, горстка солнышка, а им говорят: кайтесь, кайтесь, это бобок, и грядет окончательный. Особенно здесь, на границе трех миров внахлест — Тамилнада, Кералы и Карнатаки. Вроде суфийского танца со смещенным центром тяжести и равновесия.

Амман, Амман, Мариамман, я — не я, держу контроль… Все возвращаюсь туда, в это круженье. Легкие одежды желтого и белого цвета. Впереди идут барабанщики. На шеях мужчин и простоволосых женщин длинные до живота ожерелья из нанизанных лаймов. Идут,

тесно сплотившись, придерживая руками мурти богини на головах, ломаясь в танце и крике, завинчиваясь вниз и восходя в этих протуберанцах психики. Сквозь лица сочится свет и тьма. У кого сочится, у кого рвется. Амман входит в них, мать земля, прабогиня, в имени которой дождь и смерть, а выходит жизнь, как пот проступая на лице. Свет и тьма, нераздельные, как грязь, вступая в долгую полосу превращений, которая закончится через три дня и ночи этого непрерывного трансового ритуала, закончится выходом — резким, мучительным, как родовая схватка. Через три дня, а до тех пор — держать удар Амман, держать вход для нее открытым и при этом удерживаться на ногах. Сказать, что зрелище это ослепительной, сметающей зрение красоты? Той, которая, кажется, с красотой уже не имеет связи? Но, может быть, именно ею, настоящей, и является? Той, которая спасает? Что делать страшной красоте? Непереносимо. Но даже в той экстатичной ломке они сохраняли достоинство, держали лицо, насколько это было возможно. Верней, не держали, это природа, которая и при урагане остается собой, разлетаясь в щепья, но не утрачивая естества. Амман мнет, рвет человека, выворачивает наизнанку, кричит изнутри сквозь его заткнутый рот, и человек отдается ей на краю пропасти, пытаясь сохранить равновесие, и возвращаясь в себя — другого, чаемого. Если вернется. А потом уже и нет никого, только те две девочки все еще идут по кругу в тихом трансовом танце — любовь и смерть.

Кавалькада на мотоциклах промчалась с ревом. Дискотека будет всю ночь с плясками у костра. А наутро в обход кордонов на сафари рванут на мотоциклах. И с чего это слон кинулся и растоптал неповинных людей, спрашивается. А потому что вот такие сукины дети

наквасятся, накурятся, сядут на свои ревуны и айда этой гоп-компанией в джунгли. И давай, если увидят, преследовать слона, выводить из себя. А он терпит, но все ведь записывается у него в памяти. Раз, другой, двадцать третий. А потом отзовется, но часто ведь не на этих, а на неповинных.

И красота так отыгрывается на неповинных? Страшная красота. Лакшми, открой сердце. А там — Махакала, всепожирающее время. Лакшми, а в ней — но так, что и не разглядеть — Кали. Когда ж это было — в прошлом году, позапрошлом? Без Таи. Занесло меня в глубинку Карнатаки, в городок Белур, одну из столиц бывшего царства Хойсала, с которым пришел расцвет южной индийской архитектуры. Чудеса света рассыпаны по округе — по полям-хуторам. Например, Халибеду, откуда приехал в Белур. Слышится: холить беду. Что и делает, став музеем. А раньше это место называлось Дварасамудра. Два раза перемудрило себя, упустило свое счастье, когда здешний храм Хойсалешвара сиял на все царство. Приехал в Белур, поселился вроде бы в самом сердце городка, но он же и окраина — в маленьком отеле Вишну, а на двери каждой комнаты табличка с именем одной из его тысячи аватар, у меня оказалась: Шридхара, номер 209. Проверил. Оказалось, шестьсот десятая его ипостась: Тот, кто держит Шри у себя на груди. Прямо под окном в дворике — двенадцатый век, а в десяти минутах ходьбы — подворье древних храмов. Через несколько дней, слегка ошалев от всего этого, отправился искать хуторок с дивным именем Додагодували, где стоит тысячелетний храм Лакшми. Ни диспетчеры на автостанциях не знали туда дорог, ни водители. Но нашел, остаток пути проделав пешком по кукурузным полям, шелестящим

на украинском санскрите. Шел, разговаривал с собой: и как это ты, дружок, находишь такие места? Что ж тут ответить? Надо, говорю, быть в любовных отношениях с дорогой, это знает любой ромалэ. Как там у Мейсфилда — и чайка морей, и вечно кочующий кит. Вон он, у озера — приземистый и прекрасный в своей простоте храм с четырьмя, кажется, пирамидальными резными куполами из серого камня, издали похожими на черепичные. Но главное — внутри, куда нельзя, храм на замке. И ни души вокруг. Нашел на хуторе ключника, он позвонил куда-то наверх, передал мне трубку. Занебесный голос, но, видно, я правильные слова подобрал — ом, ответил голос, завершив разговор, и храм отворился. Четыре алтаря там во мраке по сторонам света. Две пары. Кали и Шива, Вишну и Лакшми. Напротив друг друга. Неслыханное дело. У алтаря Кали два стражника Махакалы стоят, в полтора человечьих роста. Страшные запредельные лица, ребра ходуном и причиндалы до колен. Маленькие люди прячутся у ног, ползут по телу, стражники их жрут. Даже воплей не слышно, тишь и хруст. Вышел, прилег у озерца за оградой. Птицы поют, цапли по мелководью расхаживают, вдали на холме ветряк крутится. Вот бы в Индии в форме свастики делали лопасти ветряков, подумал, глядя. Надо же, Шива напротив Лакшми, жены Вишну. А Вишну напротив Кали. Равновесие напротив крайней экстатики. Именно так, и все во все переходит. Смотришь вверх, но это низ, видишь себя, но это не ты. Нам с этим трудно. Вот если перед глазами дом, дерево, Иван Иванович, то хоть в какой-то степени должны ими быть, а в индуизме — нет. Вишну, но он же и Рама, и Кришна, и вереница других, в том числе, женщин. Никакой фиксации, определенности — ни в чем. Все текуче.

Перрон ли скользит, или поезд? Мать ли это твоя, отец ли? Как с этим жить? Где ты здесь, кто, на что опереться, откуда отсчитывать, от какой реальности? Или живи на той же неуследимой скорости перевоплощений, как и все живое. Вот красота. А откуда возникла? Из океана. Из его пахтанья дэвами и асурами, богами и демонами. Чтобы добыть амриту бессмертия. Змеем пахтали. Боги с одной стороны, демоны с другой, держась за концы одной веревки, одного змея. И убивались, непримиримые. И взмолились к Вишну: помоги, урегулируй, чтоб хоть не до смерти, дай работу закончить в относительной безопасности. А тот им говорит: нет, лучше займитесь творческим сотрудничеством. То есть добро и зло в четыре руки творит мир. Вот что кладется в начало индуистского мироощущения. А если сделать еще пол шага, то можно сказать, что в чистом виде добро, как и благочестие, или так называемая высокая нравственность и святость — бесплодны. Другое дело, когда божественное в творческом сотрудничестве с демоническим. И появляется из вспахтанного океана амрита бессмертия. Но и яд чудовищный. И красота, Лакшми. А Афродита откуда? Из фаллоса оскопленного Урана. Афродита, сирота, не знавшая ни матери, ни отца.

Отличное гоби, особенно с простоквашей. А я где сижу — там у озерца или здесь в столовке в Масинагуди? Там — Махакала, великое время, одна из первых манифестаций Шивы, Бхайрава, огненное, пожирающее себя время. Вселенная сгорает в огне, пожирающем себя, и возрождается. А наш астроном Козырев к чему пришел? Солнце ест энергию времени, ест самое себя, доест и погаснет. А что порождает энергию? Время, Кала. Которое, разгораясь и пожирая себя, затухает, становится

вечностью, Махакалой, пралайей, и начинает новый отсчет.

Хорош день, где-то под тридцать. Свежо, как тут говорят. Тысяча двести над уровнем. Уровнем чего? Бывает, и самого себя. Самого тебя с твоим знанием о смерти и представлением о мире. И присвоенным тюремным номером «человека». Кем присвоенным? Рой подкоп, готовь побег. В тюремном дворике души гуляет разум. Дыши-дыши, не надышишься. Ах, как она застенчива, душа-застеночек. Бежать-бежать, да не набегаешься. А обернешься — ни добра, ни зла, ни дворика. Ах, весна-весна, руки за спину.

Нет, пока еще не за спину. Взять кувшин со стола, поднять над запрокинутым лицом, влить в рот на пару глотков. Не соприкасаясь, как делают индийцы. Гоби, пеликан, Амман, Махакала… Говорил, говорил, а думал о другом.

Я могу без тебя жить, я могу, — повторяла она как заклинание. Тая. И я, хоть и не вслух. И немного сходили с ума, отдаваясь этому «я могу», делая вид, что мы сильные, мы умеем. Но даже в эти дни, когда, казалось, все кончено, длилось свеченье. В кривых зеркалах. И темная теплая кровь на губах. И усталая нежность.

Через несколько дней я отправился в соседний штат, на север Кералы, надеясь наконец увидеть то, о чем думал не первый год, — древнюю мистерию тейям.

Ехал я на деревенском автобусе через горы Декана с захватывающими видами, пока не начался спуск с двух тысяч метров к океану. За рулем сидел нечеловек в берете Че Гевары, наворачивающий мертвые петли

убийственного серпантина, как те гоголевские галушки, и вообще не глядел на дорогу, обернувшись и что-то еще договаривая пассажиру, когда колесо уже почти зависало над пропастью. Сам автобус с мигающей светомузыкой по всему салону напоминал павильон Болливуда.

Тая незримо сидела рядом со мной у окна. Мне нравилось, как она держится. Подняв ноги и уперев подошвы в спинку кресла напротив, приваливаясь на виражах то ко мне, то к окну. Спокойно. В себе. Как и я. Невыразимо легко без нее. И невозможно.

#36. Тейям

Надо бы записать. Для одного интернет-ресурса, попросившего материал об этом.

С чего же начать, как говорил Саша Соколов. С второстепенного, с гардероба? От которого пришел бы в замешательство самый изысканно-дерзкий кутюрье, а наряды театра но или кабуки выглядели бы рядом едва ли не как школьная униформа? При том что весь этот многоярусный космос изготавливается простыми крестьянами низшей касты в глубинке Индии на протяжении тысячелетий и никогда не показывался за пределами деревенской округи небольшого городка. Или вообразить, что в наши дни где-то в глубинке Греции продолжает идти античная драма или элевсинские таинства.

Удивительно, но никаких протяженно развернутых сведений о тейяме до сих пор нет. И один из ответов на этот парадокс: Индия. Недавно, прокладывая маршрут в глубинке штата Карнатака, я наткнулся в сети на любительский сайт индуса, который годами в одиночку ездит по деревням и описывает древние храмы — о половине

из них не найти внятной информации, а среди них храмы мирового уровня. Даже новые виды животных до сих пор находят здесь. Так что не мудрено, что о тейяме нам известно так мало.

Узнал я о нем случайно несколько лет назад и только в этом году добрался до городка Каннур. Это северная Керала, мало посещаемая приезжими, туристическая местность расположена много южнее, это там — аюрведа, спа, пляжи, театр Катакхали, храмы Тирананду-ма и прочее, а здесь — городок, опоясанный военными и полицейскими гарнизонами, которые не очень решаются вмешиваться в его жизнь: с одной стороны — коррупция и криминал, с другой — неугомонно марширующая компартия, лидирующая в этом краю. Улицы в ряби красных флажков, мостовые в тату серпа-молота, а на площадях стоят гомерически прекрасные фигуры или просто головы Ленина, Мао, Че Гевары и Маркса, будто сделанные Параджановым на пару с Кустурицей. Городок с его чересполосицей современных зданий и хибар производит впечатление несколько защемленного между НЭПом и военным коммунизмом — с веселой поправкой на Индию и двадцать первый век. Плюс христианская община, процветающая в этом штате. Ну и общий градус патриотизма и самооценки: Керала лучше всех — и по образованию, и по медицине, и по красоте, и по климату.

Как-то на одной из улочек Каннура я разговорился с интеллигентным светским человеком средних лет. Узнав, что я из России, он спросил, давно ли я видел Ленина. В мавзолее, добавил он, видя, что я несколько опешил. Причем, начиная со слова «Ленин», голос его перешел в застенчиво-нежный регистр, а взгляд заструился поверх моей головы. Не знаю, сказал он, смею ли

я просить вас об этом, но… когда вы будете в Москве… зайдите к нему, я был бы счастлив, если б вы прислали мне фотографию: вы и он.

В округе этого городка и происходит древняя мистерия тейям, исполняемая лишь в зимние месяцы. Узнать, где и когда — непросто: объявления написаны на местном языке и расклеиваются по городу накануне. Двенадцать дней и ночей, а представление, как правило, начинается вечером и длится до утра, а то и два-три дня и ночи непрерывно, я дрейфовал с участниками тейяма от деревни к деревне, спал, вернее, передремывал вместе с ними на земле у костра под звездами на храмовых подворьях и возвращался в гостиницу через день-два лишь помыться и переодеться.

Тейям означает и сам процесс магического ритуала, и имя бога, духа (или облака духов). Суть обряда в призывании духа тейяма, его вхождения в танцующего медиума (бхагавата) и транслирования его божественной энергии. Цвет тейяма — красный и желтый. Труппа состоит примерно из двадцати человек, половина из них — музыканты, в основном барабанщики. Таких трупп в округе около десятка, принадлежат они низшей касте, называемой ваннан. Но только две труппы имеют бессрочное право исполнять эту мистерию. По преданию, оно было ими получено от короля, и с тех пор они передают это право и опыт по наследству — от отца к сыну. У каждой из трупп свои отличия в репертуаре и свои особенности. Есть один сюжет, где речь идет буквально о жизни и смерти для исполнителя: вхождение в огонь. В наши дни по-настоящему исполнить этот тейям могут, как мне сказали, лишь два человека. Одного из них я видел.

Обычно тейям заказывает семья попечителей храма совместно с деревенской общиной, которая покрывает расходы и выплачивает символический гонорар исполнителям. Символический, поскольку тейям не профессия и не заработок, а служение. В среднем исполнитель получает в месяц жалованье слуги, домработницы. У каждого в труппе есть своя профессия и работа, к которой они возвращаются после тейяма.

Начинается представление с пролога: один из труппы (второй медиум), как правило, обнаженный по пояс, в облегченном гриме, стоя у костра, призывает тейям медитативной песнью под глубокий звук медленного барабана, возвещая начало, «открывая каналы». Затем выходит бхагават и начинается главное действо, длящееся около двух и более часов. Входя в транс, он исполняет танец, рассказывающий один из сюжетов, отсылающих либо к Махабхарате, либо к пуранам. За ним следует свита с факелами, музыканты и другие участники. Говорят, что сюжетов около четырехсот, но в актуальном обиходе не более двадцати-тридцати. Действо происходит без слов, но зрителям, похоже, все понятно — что за сюжет и что происходит в любой из моментов танца. Даже по мимике лица бхагавата, его рук, пальцев, что тоже отдельный спектакль. Для чужестранца, пусть и знакомого с источниками, разобраться в этом трудно. Бхагават может, например, быть обряжен в женщину с полушариями половинок кокоса, изображающих грудь, облачен в подобие матроны на манер самоварной бабы, но при этом играть роль мужчины. Или танцевать некую битву со Смертью (Ямой), но когда я спросил у моего приятеля-барабанщика, тот был глубоко удивлен. Во-первых, «Смерть» оказалась просто Слугой, во-вторых, никакая

не битва, а Служение, в-третьих, даже если б это была Смерть, сказал он, то какая же с ней может быть битва? Только любовь. И у бога, и у человека.

Но действие в тейяме может быть и бессюжетным, просто вхождением в образ одного из богов — в царя обезьян Ханумана, например. В конце мистерии — жертвоприношение. В прежние времена это мог быть буйвол или черный козел, ныне, как правило, рябая курица. После финала бхагават садится на «трон», благословляет свиту и музыкантов, затем к нему выстраивается очередь из зрителей. Каждый шепчет ему на ухо свои заботы-печали-радости, он утоляет их, подбадривает, благословляет.

Первые упоминания о тейяме, сделанные на тамильском языке, восходят к середине первого тысячелетья до нашей эры. Понятно, что речь идет об обряде, существовавшем задолго до этих записей. И хотя тейям привычно соотносят с Кералой, сейчас трудно сказать, как, где и когда он зародился. Затем, вплетаясь в индуизм, тейям отчасти трансформировался, сближаясь с ним, многое перенимая, но при этом удивительным образом не утрачивая свою аутентичность. Так в него вошли боги индуизма, среди которых одна из ключевых для тейяма фигур — Дурга. Вернее, та, которая была в начальной архаичной поре тейяма Дургой, покровительницей земледелия, многоликой, прекрасной и страшной богиней, чье имя кануло, будучи заслоненным Дургой, возникшей, согласно одной из версий, из черной сброшенной кожи Парвати. Одна из ипостасей Дурги — неумолимая Кали, черная богиня, у которой в свою очередь есть (за)предельный облик с испепеляющим взглядом — Чандика. Именно на подворьях храмов Дурги и разыгрывается мистерия тейяма.

Видимо, эта связь с Дургой, как и с женской энергией в целом, уже в начале нашей эры развернула тейям в сторону поклонения Шакти. Впитав и этот опыт, тейям через несколько веков снова вернулся к своим очертаниям. Насколько можно судить, несмотря на дальнейшие перипетии, он примерно в этих очертаниях и дошел до наших дней. Где-то в семнадцатом веке там же, в Керале, возникает известный ныне по всему миру театр Катакхали — один из сценических отсветов тейяма. А в Ориссе на заре индуизма возникает джаганнат, эта народная «ересь» и сейчас имеет миллионы последователей, свои храмы и свой пантеон богов, иконография которых похожа на тейям, с той разницей, что в джаганнате это парсуны и изображения, а в тейяме — живая мистерия.

Наблюдая тейям, я ловил себя на том, что, как бы мы ни были оснащены, оставаясь чужестранцами, мы неизбывно имеем дело с псевдопониманием. Здесь важней другой опыт восприятия — высвобожденный из хватательного рефлекса интеллекта. Как говорили древние индусы: содержание второстепенно, идеи сочтены, сюжеты известны, вещь кончается там, где свершается ее форма. Форма огня, например, где человек сгорел.

В тот день в деревню было завезено двадцать тонн распиленного тамариндового дерева. Для погребальных костров в Индии берут баньян, тоже плотное дерево — около трехсот пятидесяти килограмм на одно тело, но жар от тамаринда адов и долгоиграющ. Неподалеку от храма особым образом выстраивается из поленьев высокий зиккурат — так, чтобы, затеплив огонь у верхушки, он медленно прогорал внутрь — от верхней чакры к нижней, а очертания его стояли до последнего, не

сгорая. Несмотря на то что костер возводился за оградой храма, все работы выполнялись босиком, обувь лежала в стороне, по завершении совершается пуджа с ритуальным обходом костра как живого божества. Догорев к рассвету, этот циклопический костер превратился в солярис жара, к которому не приблизиться и на десять шагов. Тем временем по другую сторону храма, пока на его подворье всю ночь разворачивалась мистерия тейяма со сменяющими друг друга бхагаватами и сюжетами, того, кто войдет в огонь, готовили к предстоящему. В течение нескольких часов я был рядом, снимая все это на камеру, вглядываясь в лицо этого медиума, лет тридцати на вид, но бог его знает, сколько ему было на деле. Ни горних отсветов, ни божественной дрожи, ничего героического. Балагуря между собой, трое помощников обряжали его в нарезанные из кокосовой пальмы юбки. Я насчитал около восьми таких юбок — от бедер до пят. Затем двое взметывали его над собой, а третий затягивал влет на нем пояс как можно туже. К поясу приторочат две сплетенные веревки, за которые его всякий раз, когда он обегает этот раскаленный ад по кругу и бросается в него ничком, будут вытаскивать оттуда. Сюжет, как мне сказали, восходит к сказаниям о споре Вишну с богом огня — Агни. Дух Вишну должен войти в него, бхагавата, и выйти живым. Босые ноги, открытое незащищенное лицо и ладони. И только древесный шелестящий наряд, верхняя половина которого потом будет снята. Почти голый человек ложится ничком в раскаленные угли от двадцати тонн сгоревших бревен. Более ста раз. И никакого скрытого от зрителя фокуса. Огонь и человек.

Смотрел, приблизившись, насколько мог — с десяти шагов. Сложное чувство, смешанное. Но, наверное, так

и выглядит крупным планом все неприкрытое: смерть, война, страдание и тот же подвиг. Расхожая мысль, но отдающая жаром, когда по живому.

И еще подумал об этом бхагавате, вот он отдышится, переоденется, сядет на свой мотороллер и поедет утренними проселочными в свою деревню, к своей семье, детям, если они у него есть, и вернется к своей работе — тачать сапоги, печь пироги или растить рис… До следующего тейяма.

#37. Почта

— Мы снова в Москве, здесь холодно и темно. А Крым подарил нам хорошие каникулы, с большим и просторным окном тепла и света, и была нам елка и тихие настольные игры. Вот тебе из наших с Лёнькой разговоров. Понимаешь, мама, тайны бытия меня мучают. Ну вот, к примеру, думаю я о происхождении слов… Ну понятно все про корни, этимологию. А самые первые слова как же? И мучает меня, что эту тайну разгадать невозможно, нет у нее ответа.

— И как это ты умудрилась вырастить такой мыслящий тростничок? А мне, Петрушке, и буквы твои рассматривать — радость. Я видел необычайное в Керале — мистерию тейям. Но об этом тыщу и одну ночь мне писать тебе.

— Смотрю на циклон, бушующий над Кералой и Тамилнадом. Но увидела снимки последние у тебя в фб — и успокоилась. Ты дома, ты там, где быть должен. Ты пишешь о невероятном, о счастье, а глаза на фотографиях — грустные.

— Помнишь, я тебе рассказывал про работу в реставрации — в Киеве, в Почаеве, про друга моего — из тех древнерусских богатырей, мастеровых милостью божьей и с душой ребенка. Славик. Сгорел. Ночью. С мамой, вдвоем. Заживо. Замыкание обогревателя. Два обугленных тела, она — в своей комнате, у двери, а он в коридоре, на пути к ней… Бубенчик он меня называл, бубен-бубенок. И никто никогда меня с такой самоотверженной нежностью не любил, с такой беззаветной и бескорыстной добротой и детской открытостью. При такой силище огромной, стоящей за всем этим. За последние тридцать лет мы виделись всего пару раз, коротко. Но их не было, этих тридцати, в сердце не было — ни у меня, ни, уверен, у него. Понимаешь, из тех он, кто, доживи хоть до ста — из могилы бы встал, чтоб заслонить меня грудью. Что ж это за год. Я таким гордым и радостным из Индии возвращался, хоть отравленный и измотанный, но вот думал: жизнь налаживается, вот дело, вот деньги, вот радость событий и впереди можно рисовать будущее. Но если обернуться на эти годы, на все эти нити обрывов… Помнишь, я рассказывал тебе, как мы, вернувшись из Почаева, работали с ним вдвоем в церкви Рождества Богородицы в Печерской лавре. Поставили под куполом на лесах ведро восколака варить со скипидаром на электроплитке, спустились во двор, сели на качели, треплемся, смеемся, май, облака над Днепром, каштаны… Глядим: дым валит из окон наверху и языки пламени. Спокойно так переглянулись, вошли в дым, поднялись под купол, уже не видя друг друга там, и погасили пожар. И снова сидим на качелях. Понимаешь, помимо самой этой страшной смерти, да еще и с мамой, которую так лелеял, невообразимо вот что: он ведь был

чуть ли не единственным на свете в моем представлении, вернее, без чуть ли — вот тем ладным, радивым, обладавшим почти вымершим в людях даром… черт, слова разбегаются… той простой и единственной точности жеста, решения — в прикладном, бытовом смысле, от простых до сложнейших — когда они в его исполнении светились, причем он не демонстрировал это, а жил так во всем, как дышал, и они светились не каким-то там неземным светом, а своим естественным, редким. И я так исподволь всегда радовался этому, такое мне счастье было в этих светящихся мелочах. А когда самому удавалось что-то изредка в этом духе — как же он целомудренно отводил взгляд и улыбку не мог сдержать. Бубеночек, шептал, ну что ты за человек! И так тихо в душе становилось и неловко светло. Так вот, я к тому, что с кем угодно такое могло бы случиться, но с ним — невообразимо. Как невообразимо и то, кого я увидел, встретившись с ним в Киеве после многих лет: навстречу мне шел, прихрамывая, худенький мальчик, без бороды, высокий, да, но далеко не тот, к лицу которого я запрокидывал голову. Оказалось, он после падения с лесов пролежал в растяжке около года. И я ничего этого не знал. Годы шли, жизнь, а я ничего не знал, не звонил, не искал встреч. Как же все это сложить? Как сложить отца? Как Женьку сложить? А нас?

#38. Нагзира

По какому праву ты требуешь документы, рявкнул я перед воротами в заповедник Нагзира в лицо егерю, просунувшему голову в нашу машину. У нас служебное разрешение от — и назвал имя замминистра лесного департамента. Что было блефом, конечно. Это моя жена, кивнул я на

Таю, с которой он не сводил глаз. Немедленно открыть ворота! — Есть, сэр! — прошептал растерявшийся егерь, и мы въехали. За рулем у нас был тоже егерь, но из другого района, к которому нас перенаправил лесной инженер, специалист по камерам слежения за животными, к которому нас… в общем, длинная цепочка, ведущая от Сурии, со встречи с которым все и началось. Через час мы уже обустроились в самом логове этого заповедника, в вип-номере лесничества. Директор был в отъезде, а пока разберутся, у нас, как я надеялся, будет несколько дней. А там поглядим, как обернется. Заповедник тигриный, мы в его глубине, рядом озерцо и смотровая вышка. Это несколько в стороне от лесничества, тишь. Казалось бы, радость такая, обняла бы, погордилась бы, пусть и тихонечко, а ночью на вышку поднимемся наблюдать, как раз полнолуние, все на ладони, тигры тут, леопарды, кого только нет, один из самых богатых, хотя и маленьких заповедников. Взяли б еды с собой, прижались там наверху друг другу, счастье, целая ночь. Все ж не сквозь джунгли продираться, борясь со страхами. Но нет, опять споткнулись друг о друга и все выронили. Весь этот рай. Да и без рая — просто жизнь. И на зубах, как песок, скрипит. Стенка на стенку, эго на эго. Кто б мог подумать. Жизненные территории, ее и моя, распахнутые друг другу, чтобы стать единой. И наотмашь, за малейший неосторожный шаг, ожидая, что каждый понимает правила внутренней территории другого, верней, разделяет их, потому что и сам так живет. Не живет, не разделяет и не понимает, где и куда ступить, чтоб не наотмашь. Не сразу, а накапливается, заслоняясь этим необъяснимым родством и тягой, а потом как шарахнет, и выронили. Лежит под двумя одеялами в домике, сходил к егерям, принес ей еще одно, лежит, отвернувшись к стене, с этим лицом после наших разрывов — живым-неживым,

потусторонне красивым, как на фаюмских портретах. А я сижу на вышке под круглой луной, в одеяле, вжавшись в колени от холода. Жду, прислушиваюсь. Иногда включаю фонарь, свечу на гладь озера или в заросли с выходом на поляну. Часы идут. Перебираю в памяти эту первую нашу Индию, тогда еще первую, всего-то два месяца прошло, как мы увиделись в Домодедово. И такое чувство было с первого взгляда, прикосновенья, той ночи, такое чувство судьбы… И проваливаюсь в полусон, и открываю глаза. Как же могло так произойти, и что с нами сейчас? Перебираю, проваливаюсь.

Когда это было? Год назад, месяц? Привычные наши попытки осмысленной видимости. Видимости чего — жизни? Нет никакого прошлого, живущего где-то там, отдельно от сейчас. Может, и есть, но где оно, кто? Да и живет ли — не сказать. Пока вдруг не входит в сейчас, в твое сейчас. Память ли это? Проще всего сказать: да. Но там, где все это происходит, наверно, лишь улыбнулись бы.

Вот мы летим, потом едем в тумане, ее щека на моем бедре. Потом Ришикеш, Ганга шумит у самого дома, холодно по ночам, я простыл, она греет мне ступни, прижав их к своему животу и зашептывает простуду в подвздошную ямочку, мне смешно и щекотно. Но уже что-то идет не так, первые трещинки, она уходит, сидит на камне у реки, спиной ко мне, вдалеке.

А потом заповедник Раджаджи. В загоне напротив хижины Мохаммед-Хана прежде жила великая слониха Арундати. После ее смерти сюда перешел Йогин — слоненок, которого подобрали в джунглях, когда ему было около трех месяцев. Мы с Любой поили его молоком,

купали, разговаривали, а когда приехали год спустя, он бежал навстречу, обнимал хоботом меня и ее, слушал сердце, трогал лицо… А потом, когда у него начался период созревания и слезы застили взгляд, он не узнал меня и с разбегу пнул так, что я отлетел на несколько метров, но приземлился на ноги, а он потом все извинялся… Йогин, теперь ему девять лет, и перед ним мы с Таей. Он в соседнем загоне для взрослых, где раньше стояла Арундати, а на его месте трехмесячная Рани, принцесса, за ней нежно ухаживают, поят молоком, но она грустно глядит перед собой, чуть кивая весь день, непонятно кому и куда. Сел рядом, она скосила глаз, осторожно подошла, потрогала лицо хоботом, и началось необъяснимое. И рассказали друг другу всю жизнь, без слов. В избытке чувств она привалилась ко мне, изнемогая. А Тая все снимала, снимала на камеру…

И начались джунгли. На третий день случилась ее встреча с тигром, без меня. Я в тот час сидел в глубине леса на солнечной поляне и смотрел, как пятнистый олень, лангур и кабанчик, каждый занятые своим делом и нисколько не обращая на меня внимания, невольно сблизились, образовав чудесную картинку, похожую на рождественский вертеп. А потом мы шли с Таей по свежим тигриным следам и сели у тропы, прикрывшись ветками, ждали. В том месте, где следы наматывали петли. Справа — заросший обрывистый спуск, переходящий в луг, откуда семенила в нашу сторону многодетная семья кабанчиков. Отец семейства оставил их позади и пошел наверх на разведку. Тая прижалась ко мне сзади. Еще шаг, и он буквально ткнулся своим пятаком в объектив моей камеры. И стоял, закипая, не зная, вступать ли в поединок с этим крупным сдвоенным хряком напротив себя

или ретироваться. Хрюкнул — и скрылся. Да, мы тот еще вепрь.

А потом было много «потом», пока не переехали на юг и не оказались в Махараштре, в городе Нагпур, на площади, носившей странное имя Zero-mile, означавшее нулевую точку, географический центр Индии. Откуда и началось наше странствие на годы вперед и куда не раз возвращалось. На этой площади находился офис егеря Сурии Кумар Трипати, который дал нам ключ от своего летнего домика в заповеднике Бор и нарисовал карту, куда и как ходить в джунгли в обход патрулей. Добавив уже в дверях, что из местных дело там лучше иметь с лесником по имени Fate, то есть Роком, Судьбой. И вот мы уже в Боре, обустроились в домике Сурии. Наутро к нам заглянул школьный учитель, он же змеелов, поймавший в деревне, с его слов, несколько тысяч змей. Ядовитых в лес выпускает, безобидных оставляет у себя на ферме. Запас еды у нас на неделю, в кухне под столом ружье. Временами наведывается немой Арун, присматривающий за домом. В новогоднюю ночь развели костер, украсили хлопковый куст за домом мандаринами и веселой всячиной. Взошла луна, где-то рядом ходит тигрица, вскрикивают олени. Все шло хорошо, съездили накануне в ближайшую деревушку Хигни, купили праздничное, не густо, но что нашли, радовались, готовясь, и вдруг, как нередко у нас, задели друг друга, столкнулись углами, она молча ушла — во тьму, в сторону джунглей, на холм, где стоит пустынная часовня Ханумана. Сидел у дома, глядя в огонь, обернулся на шорох, думал, вернулась, нет — самка самбара выглянула из-за дерева. А там, в часовне, она затеплила свечи, присела у алтаря, а снаружи доносилась какая-то возня, замирающие шаги по сухой палой листве, или это ветер играл, но все больше

казалось — та тигрица, о которой предупреждал Сурия. Значит, уже не выйти, и, прижавшись спиной к этим мурти богов, смотрела в черный проем двери. Пришла встревоженная, помирились без слов, ладонь в ладони, костер потрескивает, елочка с дребеденью. А наутро ушли далеко в джунгли и нежданно увидели битву двух исполинов райского сада. Я читал об этих ритуальных поединках нильгау. Мол, становятся на колени и мерно чокаются лбами. Но тут была битва едва не насмерть, молниеносная, переходящая в бой на коленях, когда один, поддевая рогами, вздымал над собой другого. И пыль клубилась солнечная. А третий, молодой, стоял рядом, смотрел. А потом побежденный побрел к озеру, пройдя в нескольких шагах от нас, обернулся с удивлением и поплыл на ту сторону, остужая пыл и печаль.

А может, это только я был так распахнут нашему будущему, а она и не думала о дальнейшей совместной жизни? Поначалу. И потому так болезненно реагировала.

Какой-то шорох у кромки озера. Включил фонарь. Нет, показалось. Сижу на этой вышке, как в небе, накрывшись с головой одеялом. Лишь середина ночи, под утро будет еще холодней. Спит ли она там или смотрит в стену, переживая… Спит, наверно.

А потом был райский луг, куда спозаранку выходят неисчислимые звери. Залегли под деревом и смотрим, как они текут друг сквозь друга, как в игре в «ручеек». А по сторонам семенят многодетные кабанчики, обмахиваются своими веерами павлины, скользят мангусты, а птицы, садясь на оленей, играют в дерматологов. Посреди луга там своя миргородская лужа, в нее хаживают самбары — как правило, обросшие густой шерстью мужчины. И валяются в ней часами, как в сакских

грязях. А барышни окунают в нее лишь ноги — маникюр, педикюр, то да се. А те мало что изваливаются до безобразия, так еще и, выходя, похоже, считают себя неотразимыми женихами. Того ветерана Лужи я заприметил еще в первые дни. Он вышел из нее, будто только что созданный из текучей глины, и сразу пошел клеиться к барышням. Но все как одна его игнорировали, отворачиваясь, продолжая щипать траву. Он и так подъезжал к ним, и этак… Пока в порыве отчаяния не попытался взгромоздиться на одну из наиболее благоуханных красавиц. Но та была настолько занята сбором трав, что, вильнув задом, смахнула с себя этого глиняного адамиста. Смотрел на него и вспоминал о молодом Гоголе, лежавшем в сакских грязях, о Гоголе, панически боявшемся всего хтонического, окончившем жизнь с пиявками на носу. И мнился мне луг с расхаживающими по нему мавками и панночками… А на следующий день мы снова увидели его, одинокого, в колтунах просохшей на нем и свалявшейся грязи, он горько слонялся по лугу в этой шинели, как Башмачкин.

Похоже, не было у нее той домашней любви в детстве, которая потом озаряет жизнь и хранит. Рано ушла из дому — в геологию, в тайгу. Мужа в девяностые «поставили на счетчик», и они скрылись куда-то в Забайкалье, где анонимно жили много лет. Сводили концы, растили детей. Потом она окончила университет, защитила кандидатскую по психологии. А у него снова появились деньги, а с ними — квартиры, дома. Потом что-то произошло. С рожденьем ребенка, третьего. И четвертого. Верней, с нерождением их. Она рассказывала об этом, но всякий раз по-другому. Или я что-то не понимал. Ушла. Когда приезжала в Москву и Питер к своим

повзрослевшим девочкам, старалась не задерживаться дольше нескольких дней. Чтоб не мешать их жизни, как она говорила. Ушла в свободу, кружила по миру — Южная Америка, потом Севилья. Так и встретились — как две свободы на одном пути. Попутные, казалось.

А потом случилась та встреча с двумя тиграми. Но вернулись живыми. А после очередной размолвки она молча переселилась вниз в прихожую рядом с кухней и спала там, прижав к груди дворового кутенка, которого принес немой Арун, а вокруг шуршали крысы, пытаясь добраться к подвешенной нами на крюк под потолком еде. Эти несколько дней в джунгли я ходил один. Сидел на волшебном лугу, привалившись к коряге, смотрел. Ту маму с ребенком я наблюдал уже не первый день. Они очень выделялись из общего ряда, если он есть. Держались в стороне от других оленей и проходили сквозь и между ними, будто не замечая, оставаясь в каком-то внутреннем далеке от происходящего. И даже когда раздавался сигнал тревоги, и все звери уносились с луга, эти двое словно не слышали. И вот эта мама с детенышем задумчиво и неспешно приближается, подходит ко мне и заглядывает в лицо. Стоит и смотрит. И я на нее — снизу вверх. Они перемещаются в тень под дерево: он глядит на озеро в дымке, а она что-то нежно нашептывает ему на ухо, то прильнет щекой, как на иконах Умиления, то кладет ему голову на темя, годы идут.

Возвращаясь уже в темноте, подумал: был бы я Адамом, не давал бы имен — никому, ничему.

Человек незаметно перерисовывается на ходу. Какие-то черты покидают его, что-то наносится новое в этих местах, но сквозит. Тем неосознанней и сильней, чем глубже утрата. Не обижай ее, не унижай. Ты даже не замечаешь, как ранишь, не со зла, но от этого ведь не легче.

Однажды оказались на служебном заседании таинственного заповедника Мелгат. Перед тем был разговор у нас с директором — тучным, надменным, с пальцами в золотых перстнях. Раздражение по ходу разговора нарастало, обоюдное. Тая под столом мягко наступала мне на ногу. Потом, уже в зале, на третьем часу заседания, речь зашла о выселении из заповедника местных племен и стратегиях денежных компенсаций им. Я знал об этом государственном проекте и не раз сталкивался с его плачевными последствиями. Шел торг, грубый, циничный, с прибаутками и хохотком директора, которому подобострастно подыгрывал полный зал егерей. Я не собирался вмешиваться, но слово за слово, и схлестнулись, жестко с обеих сторон. Потом перерыв был, и на заднем дворе, где курил, ко мне подошли два егеря, с которыми подружились накануне. Рассказали о местечке Тарга в глубине этого заповедника, на верхних холмах. И, приложив палец к губам: мы тебе ничего не говорили. Несколько дней спустя мы проникнем туда и увидим черного оленя-демона, из третьего глаза у него рос ветвистый рог. А потом была безлюдная крепость за облаками в том же заповеднике, построенная неизвестно кем и когда. С символичным именем Нарнала, где на дне озера лежит философский камень, а по холмам бродят первобытные бизоны. И переехали в край Гондия, где постреливают…

Еще там, в Боре, у меня появился странный нарыв на ноге между бедром и коленом. Перевязал тряпкой, на большее рассчитывать не приходилось — аптека в деревне, в которую ехать — день тратить. Да и забывал я об этом в лесу. Лишь возвращаясь, на подходе к дому, начинал слегка закусывать губы. И по ночам. Тая потом говорила, что я ее почти не трогал в тот месяц. Разве? Но даже

если так, что вряд ли, то, конечно, не из-за этого. Когда вскоре, уже в другом заповеднике, нас обоих обдало мучительной сыпью на несколько недель, это не мешало — ни джунглям, ни близости. Может, и этого не было? Она ненастойчиво заговаривала о врачах, о помощи, но где ее было взять в тех краях, надо было бросить джунгли, выбраться ближе к цивилизации, но как бросить — она же видела. Мазались какими-то остатками из походной аптечки и помогали друг другу там, где сами не могли дотянуться, а так — каждый за себя. Порой она что-то напевала о гангрене, это она любила, чуть что. Но стоически. Я вспомнил об алоэ, нарисовал на песке немому Аруну, но он никак не мог сообразить, о чем речь. Пошли с ним в его деревню, и там, заглядывая через плетни, я наконец нашел. Прикладывал, перевязывал старой тряпкой, а по утрам и вечером выдавливал из нарыва по столовой ложке гноя. Тая только покачивала головой, понимая, что говорить бесполезно. Так длилось весь месяц.

А потом мы переехали в край, длиной в несколько лет и одну фразу, попробуй ее сказать, а в конце обернись. В том краю, куда ни на чем не добраться, кроме едва существующего автобуса, идущего в ночь по лесному серпантину на дикой скорости, а за рулем — недвижный индус с перевязанной головой и руками, вцепившимися в руль, отдельный от этого автобуса — просто летящие в космосе руки и руль, а в салоне странные люди, перекатывающиеся вдоль и поперек с лесными топориками и древесными темными лицами, и кондуктор, бьющийся лбом о стекло, смеясь и заговариваясь своими прошлыми жизнями; в том краю, который называется Калитмара — имя той деревушки, где опустеет автобус и останется ночевать в лесу, в заповеднике Пенч, где бродят вселенские

гауры, эти многотонные пуруши мира в белых носочках, гауры, один из которых растоптал отца Рамдаса, когда тот был ребенком, того самого Рамдаса, в хижине которого мы поселились, а в соседней хижине в ту же ночь сойдутся два колдуна: один — уже зарубленный, другой сидит над ним, говоря: «я не мог поступить иначе, ты навел на меня порчу, ты встревожил меня»; в том краю, где вдоль пустынной реки, как руины крепостных стен с проломленными зубцами, лежат исполинские крокодилы, которых зовут здесь «макар», и, ухмыляясь, глядят ввысь; где на пути к реке, в заболоченном безлюдье стоит невесть с какого неба свалившийся лебедь с педалями и сиденьем, на котором, как в страшных сказках, нужно переплыть на ту сторону жизни; в том краю, где живет маленький верткий старик, которого, когда ему было сто с лишним лет, загнал на дерево тигр и изрядно потрепал снизу, старик смеется, показывая шрамы, и, сидя на скамье, болтает ногами, не достающими до земли; в той деревушке в одну улицу, уходящую в джунгли, где хмурые крестьяне не говорят ни на одном из человечьих языков, где я однажды утром спускался к реке и, проходя мимо крайней хижины, увидел в дверном проеме двухлетнего мальчика, очень внимательно посмотревшего мне в глаза, и потом, уже в спину, спокойно, на ясном русском языке сказавшего: «Куда ты?» — я замер… и не обернулся.

Все-таки есть в ней что-то цыганское. Табор уходит в небо. Потому и в Индию как в родное вписалась. И в Севилью. И в нас.

А потом была деревушка Брахмапури, что можно перевести как «божье местечко». Это там на нас будет нестись в ночи, мерцая баскервильими глазами, черт

знает кто — думали, леопард. Шел петлями, то влево, то вправо, а я пытался высветить его фонарем, а потом он вдруг рванул прямо на нас, резко свернул и исчез. Это там посреди деревушки будут стоять тесаные болванчики идолов впритирку друг к дружке, как маленький батальон под детским навесом. А бога этих людей в деревушке зовут Ма. И каждая пара к свадьбе заказывает у резчика своего идола-оберега и потом с ним шепчется в урочные дни. Это там, на задах британского егерского домика, будет всегда к нашим услугам сикх Джуни, похожий на волшебного гнома с сияющими глазами. И мы будем колесить на его стареньком мотороллере по джунглям, разговаривая на пальцах у свежих следов тигров и леопардов. А однажды, выйдя поутру, мы увидим его, Джуни, внутри клетки для тигра, привезенной «на случай» и смонтированной у домика. Это там приедет егерица Гита и скажет, что в соседней деревне будет Драма. С семи вечера до рассвета. И мы помчимся на мотоцикле с молодым егерем через леса-леса. Туда, куда прикатил «Глобус» индийского Шекспира, настоящий, с цунами слез и смеха. И все это будет в огромном, натянутом с вечера шатре, куда стекались из окрестных деревень все, кто мог передвигаться. Это там женщины на рассвете в полыхающих сари идут к озеру с тазами на головах — колошматить белье о камни. А мальчишки, босиком и взявшись за руки, бегут куда-то вдаль на луг. А мужчины моют в озере белых быков. И олени выглядывают из леса: когда уже освободится водопой? Это там ранним утром отец и сын подметают двор у британского домика, у отца легкая несгибаемая спина, и сын кружит как птица, а птица сидит у колонки с водой, смотрит на редкие капли и умирает. Это там…

А здесь все ближе к рассвету и все холодней. Встала бы, вышла, поднялась по лестнице на эту вышку, просто взяла бы мое лицо в ладони, ничего не говоря. И не надо слов. Ладони все скажут. Если хватит сил и тепла. Если только забыть о себе. И лицо к ним прильнет и утонет. Не сразу, не сразу… А ты? Встал бы, спустился по лестнице…

Как же оно называлось — то местечко, где мы ошалело обводили взглядом округу с веранды отеля, который нам подарили на неделю или как захотим. Гомерический гибрид ашрама, Болливуда, Диснейленда и черт знает чего. И ни души, гряда холмов, джунгли, двое слуг у озера под деревом. А, Нагбид называлось! Возвел этот комплекс отелей профессор Джесвал, дворец которого на подъезде к деревне. Тая прогуливается по территории, остановилась у дерева с обувью, развешенной в виде плодов, машет мне. А я сижу под статуей Гаруды и думаю о здешней тигрице Т-16, которая несколько дней назад убила человека. Случилось это как раз у лесной фотокамеры слежения. Я видел снимки. Начала грызть и отшатнулась, замерла, так и сидела над растерзанным телом четыре часа недвижно, как в трансе от происшедшего.

Ты ж, говорит, такой герой в глазах публики, всюду один, сам, меня нет здесь, вот и иди один в джунгли, ночуй, я не пойду. И не пойдет ведь. А я так радовался, все собрал для похода, сетку купил, чтобы шалаш понадежней сделать. Нет нас, говорит. Разве не она успела этому столько палок в колеса воткнуть, а теперь озирается: где ж эти «мы»?

Здесь. Хотя уже далеко не те, кто летел сюда по небу. Я сижу позади одного мотоциклиста, она позади другого,

едем в Купальню Ситы — смотреть наскальные рисунки семитысячелетней давности, найденные недавно местными змееловами на высокой горе за полями, лесами. Мы узнаем об этом чуть загодя в кабинете у лесничего. А что это, спрошу, за снимок у вас на стене — типа Стоунхенджа, где это? А, говорит, это неподалеку, не знаю, что и делать с ним. Кстати, в том же районе есть наскальные рисунки на горе, которую называют «Купальня Ситы». Тоже непонятно, что делать, вроде как в моем хозяйстве. Вы ж, говорит, были реставратором, да? Может, что посоветуете. И вот сидим со змееловами-краеведами на обочине дороги у чайханщика, ждем пятого мотоциклиста, чтобы отправиться смотреть дольмен эпохи неолита, недавно обнаруженный этими змееловами, ждем, о змеях говорим. Так спят они зимой или нет, спрашиваю. Кто спит, отвечают, кто нет. Вот эти, например, не спали — и указывают на мешок у моих ног. И кто в нем, спрашиваю. Keelback, две особи, вон в том доме, говорит, поймал, возьмем с собой, в поле выпустим. И вот мы уже на пустыре меж деревень, подъехали к дольмену. Козы пощипывают траву вокруг него, а больше никому дела нет, у крестьян свои камни. Один из змееловов номер по мобильному набирает: есть, говорит, профессор в Бомбее, он лучше, чем мы, расскажет, — и передает мне телефон. И стою я в этом чистом поле у входа в пять тысяч лет, в ухе у меня голос профессора из Бомбея, у стены в тени — мешок с двумя килбэками, которых сейчас выпускать будем, в зрачке моем — девочка-пастушка с козой, а в уме картинки плывут: как мы по пути сюда попали в Махабхарату, которая тут на хуторе, за клуней — вырубленное в камне несколько тысяч лет назад жилище, где скрывались пятеро братьев Пандавов

и жена их Драупади в отдельной темничке-светелке, и у каждого из братьев было по два дня любви с ней, чередуясь, и так все тринадцать лет их скитаний, проигранных Кауравам в кости. И еще пытаюсь вспомнить тот эпизод с ней, красавицей, когда после какого-то харассмента, когда была в рабстве у царя, поклялась, что не вернется к облику своему, пока богатырь небесный, забыл его имя, не заплетет ей волосы руками, смоченными в крови убитого обидчика. Килбэки томятся в мешке, профессор рассказывает историю неолита в мое ухо, солнце садится над дольменом, красавица Драупади с кровавыми волосами бредет по пустырю между козами, а мы только этим утром выехали на мотоциклах со змееловами из своего несусветного отеля, построенного доктором философии, живущим теперь анахоретом где-то у холма, на котором сидит голубой Шива высотой с Родину-мать между двух кобр с раздутыми капюшонами. А прямо за отелем — ферма-курятник, куда этой ночью тигрица Т-16 наведывалась, трясла дверь, бросила в сердцах, ушла.

Вот как это, а? Два человека летят, светятся как одно, единое, и падают как подкошенные — в чужести и немоте. И все повторяется раз за разом, и ничего с этим сделать не могут. Ну не бывает так, чтобы настолько все сходилось между двумя и так рвалось на части. Ты, говорит, всегда теперь будешь во мне, что бы ни случилось.

Накануне ночью лес патрулировали с егерем, храпящим всю дорогу на заднем сиденье. В лесу ни души, только заяц, оцепеневший в свете фар, водитель перенес его за уши на обочину. А потом простой индийский парень Паван Нагджи, то есть Змеиный Ветер, будет держать на весу только что пойманную кобру одной рукой

посередине тела, а она смотреть на нас своими, как сказала Тая, девичьими глазами. Как же так, ведь физически ей ничего не стоит цапнуть тебя при желании? Да, говорит Паван, физически — ничего, при желании. И смеется. Кладет в мешок и идем в дом чай пить, с семьей знакомиться. Рядом с его жильем стоит маленький домашний храм. Он мог быть посвящен Шиве, или Хануману, или Ганеше… Мог бы и королю Шиваджи, я видел семейные храмы, ему посвященные, он там сидит в цветах и кокосовом молоке, золотой и чудесный, похожий на сына Дон Кихота от брака с Сальвадором Дали. Мог бы и Нагу, учитывая его страсть… Но посвящен он поэту, святому Тукараму, младшему современнику Шекспира. Тукарам написал около четырех тысяч стихотворений на местном языке маратхи в те времена, когда и язык, и все индийское едва шевелилось под мусульманами. Ходил по деревням и исполнял под таблу свои киртаны в традиции бхакти. Разговаривал в них с Ведами, Упанишадами, с самим собой — о жизни и смерти, но, в отличие от браминской герметичности, говорил в них легко, по-пушкински. А сам был из касты неприкасаемых. Его переводил Ганди, сидя в тюрьме. Под Пуной, в деревушке, где Тукарам родился, стоит храм, стены которого исписаны его стихами.

«Я больше не могу кривить душой,
и Господом зову барбоса моего.
Смущен,
но улыбается уже,
танцует.
И держимся.
Не дивно ли, но так оно и происходит
с людьми».

Храм, расписанный стихами, это чудесно. А у нас Пушкинский храм мог бы быть. Но что это там за шум у озера? Включил фонарь. Ибис. Один. Странно. Откуда он взялся среди ночи? Красноголовый черный ибис. Птица египетского Тота. Или, по преданию, та, что после потопа вывела Ноя к Евфрату. В брачный сезон они вьют гнезда на деревьях, никогда не предаваясь любви на земле. В этот период их серые клювы и ноги розовеют. Как у нас на том деревце, где мы ночевали в день моего рожденья.

Когда я вернулся в Мюнхен из Севильи, пишет мне: Такой нежный солнечный свет в груди, когда думаю о тебе. Но самое неутолимое — держать тебя за руку и целовать родное твое лицо. Так стало вдруг жалко нас обоих. И булочками забыла тебя накормить с курагой и яблоками. Такое чувство, словно ничего еще не начиналось. И еще — что мы были всегда и везде. И голова кружится.

А потом: Ты думал, это у нас игра: замри-умри-воскресни? А ведь я умирала и воскресала каждый раз всерьез.

Маленький продувной домик с одним школьным классом на десять детей. В деревушке в несколько хат, стоящих на вершине горы, куда не ходит никакой транспорт и только текут облака, заволакивая жилье. В тот час класс был пуст, сел за парту, еле втиснулся, верчу старенький облезлый глобус. В дверном проеме возникла девочка, увидела Таю, робко подошла к ней, присевшей навстречу, трогает ее за палец, рассматривает, якобы палец, а украдкой — лицо. Тая обняла ее, взяла на руки. И класс потихоньку начал наполняться — этими девятью, осторожно заглядывавшими в дверной проем. Ах эти индийские дети! Когда двор — мироколица и за

каждым углом — остров сокровищ, когда дружба насмерть, и в глазах счастье. Когда они на рассвете бегут в школы, взявшись за руки, щебеча и сияя, когда каждый сызмальства ладен и весел и умеет все, что мы только читаем в старинных книжках — про жизнь на живую нитку. Ладно, я могу эти песни долго петь. И, наверное, тут есть что-то от тоски и по своему детству. В тот год нас часто приглашали выступить в школах. А что главное в жизни? — спросил я в одной из школ у младшеклассников. Хорошие манеры, выпалила девочка из первого ряда. На нее посмотрели с удивлением. И поднялся мальчишка с дальней парты, и сказал: интерес, главное, чтобы жить было интересно — как настоящее приключение. А в школе для адиваси, в том краю, где завелись тигры-людоеды и несчастье коснулось семей этих школьников, я с порога спрошу: а кто из вас видел тигра? Лес рук. А поднимите руку, кто за то, чтобы их не было — ни тигров, ни горя. Или — пусть будут? Две-три руки — за первое, и все — за второе. Проходит время, я оборачиваюсь и вижу девочку в несуразно чудесном платьице, она стоит у двери со все еще поднятой рукой. Ты что-то хотела сказать? Я, говорит, за тигров… за жизнь.

Помоги ей, у нее ж никого, кроме тебя, нет. Это ведь все бравада, а сердце ее с тобой, хочет с тобой быть. Из последних сил. На днях вспомнила, как ты бережен был с ней, когда чуть приболела, дал ей чаю в постель, сбегал в аптеку, ты даже не помнишь и удивился такой чепухе, настолько это само собой, а для нее, видишь, не то чтобы драгоценней всех твоих подвигов, но не меньше. Дай ей хоть на что-нибудь опереться, кроме самой себя. К тебе же, чуть что, не подойти — бьет током.

А в другой школе спросил у малышей: что нужно, чтобы стать человеком? Читать книги, ответили они. А еще? Читать книги, повторили они. А потом во дворе ко мне подошел мальчик и сказал: а какое самое сильное впечатление было у вас в жизни? И я задумался.

Взойдет солнце, ты спустишься, молча переоденешься и уйдешь в джунгли на весь день, вглядываясь в тигриные следы и оставляя метки на деревьях, чтобы вернуться. А она постирает вещи, развесит у домика и будет отвечать егерям, поднявшим тревогу, что понятия не имеет, где ты. Да и ты к тому времени уже знать не будешь.

Ты же любить не умеешь. Как и она. Бедные вы, бедные.

#39. Почта

— Что-то отчаянно тревожно, и все вокруг — стена, чашка, мир в окне, все делает вид: а что, я ничего, все в порядке. И жужжит тихонечко, как лампа, готовая перегореть. Почему никто не разговаривает? Нигде, ни на одной из дорог и людей. Печаль моросит, не понятно, что делать — со всем на свете. Ты говоришь: Индия, воодушевление, казалось бы… Ты, видно, не очень себе это представляешь. По одну сторону — группы, по другую — Тая. Это в фб потом все ослепительно, но мы-то знаем, на что способны слова, изображения и вся эта магия. А что — бандеролька с зимними черевичками не пришла еще?

— Знаешь, чего я по-настоящему хочу? Ровной дистанции между нами, чтобы не было этого вечного двоемирья между дверьми, этих вечно прижатых пальцев. Я так не умею, как ты, у меня — или-или, твоя бесконечная, божественной природы полигамия творчества слишком для

меня мучительна. Ведь не к телу же ревновать, в самом деле, не к телам же. Но, видимо, всегда — к текстам, которые ты складываешь из тех женских образов, что подвернулись, что просто рядом. Не будет у нас ничего, не из-за других, не из-за ревности, а из-за того, что я тебя не простила — и не могла не, потому что ждать от тебя другого значило бы не знать тебя. И не прощу никогда: за преданный наш лес, за Лёньку, за эти широко заброшенные и все длящиеся сети — с этой твоей убийственной откровенностью, возможной лишь между двумя, — но она у тебя со всеми, со всеми. Живи, пожалуйста, уже свою жизнь без моего участия, мне хватит наблюдения за ней издалека, а все остальное — непереносимый ожог, мне уже надо найти наконец себя, без этой постоянной мысли о тебе.

Я не должна была писать тебе это дурацкое письмо, прости, тебе и без того нелегко. Нахлынуло и вырвалось — не дала себе времени ни опомниться, ни остыть. Текст у тебя правда вышел замечательный. И я очень хочу, чтобы наши жизни начали хоть как-то налаживаться, просто все по-прежнему больно и трудно. Но в этом твоей вины нет, все дело во мне самой. А ты еще можешь взлететь и не касаться земли, уже это сделал. Пусть все будет хорошо, Взро. Все равно твои слова самые нужные, даже тогда, когда. Дай нам сил, боженька наш лупоглазый Джаганнат, боже наш ушастик Ганеша, пусть нам всем станет легче там, где мы есть.

— Аминь. Это лучшая на свете молитва. И прости меня еще раз. Мой родной, я сейчас буду говорить глупости, ненужное, запутаюсь, но не смогу по-другому, меня все

это не отпускает, такой осадок нехороший — от всей этой нелепости, от себя… Понимаешь, когда начал писать, это было обращено не к ней и не к тебе, а к той воображаемой, когда грежу о каком-то возможном и невозможном. И вроде поначалу я так и писал, а потом как-то сам текст мне стал подсовывать эти детали — слово за слово: от Сурии, раз уж помянут, к его домику, а домик потянул за собой и дальше — а там и деться некуда. Я понимаю, насколько нелепо все это звучит — мол, думал это, не замечая того… а тут еще так быстро все написалось, отослал в журнал, не вчитавшись даже. И жил с вот этим ощущением, что текст этот просто очень мой, давний, вечный — о домике, о джунглях и еще со всеми этими мерцающими перебежками стихотворных строчек, пасьянс которых меня тогда захватил. И потому так опешил от твоего письма, правда. И кинулся перечитывать этот текст… И стыдно, и не объяснить. И даже не ухватить то, где эта саднящая развилка, эта двусмысленность, от которой так муторно. Плохо все получилось, и не вывернуться. А текст — если без всего этого, если без нас — кажется, из лучших получился. И от этого как-то еще горше. Ну вот, наговорил, наизвинялся, как чеховский персонаж… Жизнь нечистая у меня, потому и мутится — не здесь, так там, и не уберечься, не уберечь… А так хотелось бы, так единственно надо. Хоть тебя.

— Послушай, не надо, отпусти это. Мне вчера вдруг стало легче утром — при том что, конечно, ночь я не спала, все думала, глотая слезы. Дело ведь не в этом тексте, который — я тебе уже сказала — очень хорош. Вообще все твои тексты последних пяти лет — незаживающе прекрасны, в них появился тот чуткий баланс, которого раньше иногда не хватало из-за все нарастающего

суфийского кружения, а в последних — мне так нравятся эти как бы внезапные переходы, эта неожиданная, на вдохе, задержка дыхания. А еще этот странный союз мысли, наблюдения и обнаженной эмоции — они ведь и так редко в паре ходят. Да, так вот — дело, конечно же, не в тексте — да и с Таей ты не вчера сошелся, и я уж пятый год как не одна. Просто я привыкла подавлять в себе и мысли в эту сторону, и чувства, ты ведь знаешь: мы, китайцы, строители великой стены… И я жалею, что меня прорвало вдруг, может быть, это и неправильно, жить под анестезией, но другого пути, во всяком случае на ближайшие годы, я не вижу и не представляю. Но у меня есть наше прошлое, понимаешь? И в нем и джунгли, и поиск дома — то в манговой роще, то на берегу океана, а ты вдруг берешь и перерисовываешь эту карту на моих глазах, вписывая другие, чужие мне детали, и окликая другую моим именем. Пусть бы это была абсолютно новая история, не так бы наотмашь. Но я все понимаю — это история не про любовь, не про женщину, а про тебя, ты не нам и не вам дом ищешь, а себе, в котором будет все твое заветное: лес, женщина, книга. Это твоя история и судьба, и от перестановки слагаемых это действительно не меняется. Так что не мучься, все это действительно нелепо — есть ведь то наше, что поверх слов и, парадоксальным образом, суть слов и есть. Это ты прости меня — тебе бы надо отлаживать и обживать эту новую жизнь, а я, вместо того чтоб помочь тебе, взорвалась вдруг, глупо и по-детски ревниво. Да и не нужно это никому — важен лишь текст, а не из какого сора. Пусть у тебя все будет: и Индия, и женщина, и избушка, и новая книга. А я у тебя есть и так.

#40. Харнай

Сели в Мумбаи на лапоть-паром, где на корме буржуйка и гальюн, а на мостике капитан в игрушечной будке, и поплыли в какую-то Мадву, высмотренную еще в Мюнхене под лупой на карте. А потом вдоль побережья по разбитым океаном деревенским дорогам, то завинчивающимся серпантинами в горные джунгли, то падающим к воде, через паромные переправы и кукованье в полях в ожидании попуток добрались до Муруд-Джанджиры, сняли домик у кромки океана, вышли наутро — как в день Седьмой.

Наняли лодку с рваным и натруженным полотном, которое заполоскалось над головой, выгнулось, и поплыли к острову. Который можно пересечь пешком за полчаса. Остров-форт, построенный народом сидди, беглыми абиссинцами, основавшими здесь свое крохотное государство Джанджира, сохранившее независимость до середины двадцатого века. Сведений о нем почти нет. Познакомились с местным сидди, бывшим учителем, двадцать лет собиравшим по крохам уцелевшее и издавшим на свои деньги небольшую брошюру о полуторатысячелетней истории своего народа. Вот что было там о Джанджире. В пятнадцатом веке рыбацкий атаман Раджар Патим построил на этом острове деревянный форт и стяжал со всех кораблей — и торговых, и пиратских — все, что мог и хотел. По соседству находились владения шаха Ахмаднагара, который был, как многие княжества в Индии того времени, сам за себя, воюя и с мусульманами Делийского султаната, и с индусами земли маратхов. Ему обрыдло видеть этот произвол под носом, и он послал корабли — захватить остров. Корабли ушли на дно, потопленные атаманом. Тогда он собрал весь флот

и поставил капитаном над двумя сотнями тысяч воинов Пирем-Хана, сидди по происхождению. Тот взял крепость и был назначен ее комендантом. Но как взял! Как Трою. Нагрузив корабль дарами — бочками с ликером, а в ненаполненных сидели воины.

Хан перестроил остров в неприступный каменный форт с улицами, дворцами, гарнизоном в несколько тысяч человек, гранитными стенами двенадцатиметровой высоты и большими пушками, тихой сапой перетащил туда всех своих соплеменников и объявил независимость. В государство входили остров-крепость и небольшой поселок на берегу — Муруд. С тех пор кто только не пытался сломить их: и Великие Моголы, и империя маратхов, и шахи, и короли, и португальцы, и британцы. Даже туннель пытались прорыть под океаном. Или взять осадой, измором. Но на острове было два неиссякающих озера с пресной водой. Неприступные стены и створ входа в крепость, видимый лишь с нескольких метров при приближении с моря.

К началу двадцатого века Джанджира начала понемногу хиреть и с объявлением независимости Индии прекратилась. Последний потомок Пирем-Хана принц Роби Филип эмигрировал в Нью-Йорк. В Муруде на холме стоит его туманный замок с запертыми воротами. По пустынному пляжу бродят белые в яблоках лошади. Сами сидди разбрелись по Индии, нищенствуют, подворовывают, исполняют на свадьбах под барабаны свои пляски dhamal. А форт в сказочном прозябанье: зацветшие зеленые васнецовские затоны, оплетенные лианами руины, висящие, как сети, стены и громадные длинные пушки, лежащие с открытым ртом в безвременье.

Доехали до нашего Харнай и потеряли счет дням. Фантасмагория жизни полилась через край. От красоты слепнут. А от мельтешения чудес? Выглядывает из землянки блаженный ветхий мусульманин по имени Адам и идет красить стены в нашем доме. Застенчивый манговый король зовет к себе погостить в края далекие. Мебельщик в соседнем городке, у которого по ходу купили стол со стульями, грузит все это в три этажа в салон маленькой легковой машины вместе со своей семьей и нами, и мы едем по ночному серпантину в нашу рыбацкую деревушку, дорогу перебегают лисы, зайцы и черные виверры. А в соседней деревне лесники вырыли экскаватором могилу рядом с пальмой и положили туда пятнадцатиметрового кита, выбросившегося на берег. Есван, хозяин дома, где живем, вместе с дочерями убирает мусор на берегу, чего не делалось здесь последние несколько тысяч лет. Полицейские, закончив пуджу и развесив веселую иллюминацию в своем дворе, готовят корабль, чтобы показать нам индийскую рыбалку. А мы с Таей лежим в изумрудной чаше лесного ручья, и я рассказываю ей о Ману, первочеловеке, сыне Солнца, брате Смерти, — как он однажды окунул руку в ручей, и малек меж ладоней затрепетал, обернувшись Вишну. Местный Пиросмани рисует гавань, и я вешаю эту картинку в изголовье, за которым эта же гавань. А портной за углом, он же главный змеелов, босой ногой чуть прижимает кобру к земле и подхватывает рукой. В тени под деревом сидит музыкант, играющий на табле, он же зеленщик. И машет нам мороженщик, сочиняющий лучшее на свете мороженое ручной выделки. В наш дом вносят новую кровать, срубленную как Кижи, а Заур, двухметровый шах, утопающий в белом балахоне и черной бороде, выкатывает на берег лодку, на которой

будет возить нас на необитаемый остров согласно составленной нами бумажке — с днями и временем, которых тут нет. На веранде нашей над океаном горят гирлянды огней и лодочка луны. И радуюсь я — чудеса побеждают. Именно они ведь и есть настоящая реальность.

И Тая радовалась, все у нас было хорошо. Вроде бы. Наводили уют, в который раз обживаясь в нашей комнате у рыбака Есвана, у нашего папы и его, ставшей уже родной нам, семьи. В деревне, которую мы звали наше Макондо. С океаном в окне и под ухом, невероятным рыбным рынком и сказочным флотом. И время от времени заговаривали о том, что вот бы остаться здесь навсегда, лучшего места, пожалуй, и не найти. Разве что джунглей тут нет, и это останавливало, по крайней мере меня. А она все больше роднилась с этим местом, говоря: наш дом. По утрам, когда я еще спал, любила ходить на рыбный рынок в гавань, называемую здесь бандер, — в ослепительную толчею женщин, баркасов, белых быков с красноколесными повозками, диковинных рыб, чаек, цапель, садилась в стороне, взяв масала-чай, и смотрела, вернее, просто жила, растворяясь во всем этом. Возвращалась, прихватив по пути для нас парочку вадапау — булочек с острой овощной котлеткой. А я уже сидел на нашей веранде с милой балюстрадой над океаном, пил свежесваренный в турочке кофе. И такая легкая, озорная она взбегала по лестнице на веранду, обними же ее, обними… Но нет, пью кофе, глядя в океан на кивающий вдали кораблик. А она рядом, и тоже делает вид, что занята по хозяйству.

А потом мы возьмем рикшу и через час будем в Даполи, она пойдет за покупками и просто пошататься по городку, а я к Амиту, частному стоматологу. Три

с половиной часа на неуследимой скорости будет длиться процедура под местным наркозом: вырван зуб, разрезана десна, пробуравлена челюстная кость, а затем наращена, вставлены сваи под импланты — две в один присест, одна из них в свежую лунку вырванного зуба. Не то что боль — вообще ничего не почувствую, даже вздремну. И уже в дверях скажет, чтобы я приехал завтра — мост ставить рядом с имплантами. То есть в хлам разворотить челюсть, ввинтить в кость шурупы, а наутро мосты наводить. Но это была еще разминка, несколько дней спустя я лицезрел настоящего махатму, пришедшего ставить импланты, этот сеанс они проводили в четыре руки. Что сказать. Я видел в деле немецких мастеров, видел американских, не говоря о наших. О непостижимые индусы! И где — в провинциальном городке. В прошлом году, когда я сказал Амиту, что скоро уезжаю, он дал мне пинцет и нарисовал швы, которые наложил у дальнего зуба, мол, чтобы я снял их через неделю. Там три узелка, говорит, подденешь пинцетом и маленькими ножницами — чик-чик… Ну и от острой пищи, говорит, пока воздержись… нашей. И смеется. Вышел во дворик, Тая уже ждет, вернулись к вечеру с мешками всякой хозяйской утвари и отходящим наркозом.

Несколько дней спустя, в Даполи, что-то нам нужно было срочно распечатать, а негде, зашли на территорию сельхозакадемии, чуть ни главной в Индии, но приютившейся почему-то в этом маленьком городке, долго искали в разных корпусах, наконец спустились в какой-то подвал, где в пустынном компьютерном зале сидел одинокий парень, попросили его помочь, а он в ответ начал громоздить семиполенную телегу о сложностях этого пути, ведущего к особому разрешению ректора. А по-другому — никак,

нет и нет, повторял он. При том что компьютер и принтер стояли перед ним. Дождавшись последних звуков, говорю ему: нет тебя. И матери с отцом у тебя нет, и детей не будет. Знаешь почему? Потому что Бог перед сотворением мира сказал: нет, никак. Но, к счастью, он сказал: да. Да — в начале жизни, вопреки всем «нет» и «никак». А ты что положил в ее начало? И кто ты после этого — индус? Нет у тебя здесь ни родины, ни земли. Бедолага стоял, совершенно оглушенный этим сообщением. Таким его и оставили. Блуждали по корпусам, наконец попали к ректору, он вызвал декана, входит тот самый парень. Вот, говорит, знакомьтесь, он вам поможет.

А потом приехали гости, мы купили на рынке двухметровую рыбу-парусник, взвалили на плечо и понесли. Внутри она выстелена воздушной подушкой, похожей на пузырчатую полиэтиленовую пленку для перевозки стекла. А над спиной — парус. В брюхе у нее был кальмар. Непонятно, зачем ей такая чудовищно избыточная скорость под водой и зачем ей меч. Перворыба мифологий. На местном языке маратхи она зовется та́рмаса. Была уха в чане со свастикой и жаренные на ореховом масле ломти. А на другой день — о, истома погребенных под лангустами, и тигровые креветки, не помещавшиеся по одной на большую сковороду, и нежнейшие морские угри на углях в руинах форта с лунной дорожкой океана. Праздновали с друзьями Дивали — победу Света над Тьмой.

Когда приезжают гости, она действительно хочет помочь, и все у нас ладится в одно касанье — и рыбные пиры на веранде у океана, и походы-поездки, и все чудеса событий. И в то же время я совершенно издерган этим ее… как бы мягче сказать… участливым шансоном.

И другой музыке тут уже нет места. И растет раздражение. А со стороны глядя — прям светимся, особенно, когда обнимемся.

В соседней деревне, в нескольких километрах от побережья, стоит храм с могучей молчаливой энергией. Тысячелетний. Стоит в стороне, все идут в другой, где брамины побойчее и путь живописней. А этот, редчайший, тих. По фасаду на уровне земли он опоясан фризом с танцующими гандхарвами — мифическими музыкантами, полубогами-полулюдьми, падкими, помимо своих танцовщиц-апсар, до человечьих женщин. Эти небожители почти не видны, заросшие кустами и травой. Такой же орнаментальный фриз внутри храма — со слонами и тиграми вперемеж с людьми. На подворье лежат вросшие в землю фигуры богов — большие и малые, расколотые и целые. Мы в шутку спросили брамина, можно ли взять что-нибудь на память. Он всерьез ответил: что хотите, хоть все. Бог — в тебе, а не в этих стенах и сводах, которые можно заменить, как прохудившийся горшок в хозяйстве.

Да, только боги у нас с ней разные. Разные? И задумался. Ничего о ней не сказать с ясностью. После первой Индии вернулась в Севилью свою любимую, и, говорит, не могу ни жить, ни глядеть, ни дышать, все какое-то опереточное после Индии. Но уже вскоре снова любимое — и город, и люди, и жизнь, чтобы дотанцевать ее под апельсиновыми деревьями и немножко догрустить, но это потом, как она говорит — может быть, к старости. И без меня, похоже.

А пока плывем на лодке к острову Суварнадурга, он в полумиле от берега и виден в дымке с нашей веранды. Форт на нем вырос в одиннадцатом веке, а в семнадцатом

его захватил и перестроил король Шиваджи. Называли этот остров Золотое перо в шапке королевства. А теперь он в чудесном забвении: руины, необитаем, только небольшое стадо бог весть откуда взявшихся коз. Есть поверье, что это души тех, кто искал там сокровища короля. Козы и колония летучих лисиц, этих сладострастных демонов-веганов с размахом крыльев до полутора метров. Питаются они фруктовыми плодами, цветами и нектаром. И морской водой, которую пьют, когда не хватает минеральных солей. Эхолокацией обычно не пользуются, предпочитая зрение. Как если бы мы, имея крылья, не пользовались ими, предпочитая ноги. Живут колониями до нескольких сотен на одном дереве и, улетая, возвращаются на него же — всю жизнь. Любовную мистерию самец начинает с куннилингуса, им и заканчивает, а между — оплодотворяет. Ученые в недоумении по поводу последнего этапа, поскольку, вылизывая самку, он сильно рискует вылизать своих наследников. То есть страсть, чтобы не сказать — любовь и нежность, оказывается сильнее природного инстинкта.

У входа в форт — барельеф с Хануманом, попирающим ногой демона Равану, а на земле валяется обломок Нанди. Зацветшие зеленые пруды, руины. То возникающее, то исчезающее стадо коз. И два золотоглазых султана — черный и бежевый. Черный порой выходит на скальный мыс, обращенный к пустынному океану, и стоит недвижно, осыпаемый брызгами волн, глядя в даль. А мы спускались на лоскут песчаного пляжа, ложились у воды, трогали, перебирали друг друга. Как мифическая змея амфисбена, у которой вторая голова на хвосте. Змеились, не сходя с места. А на камне перелистывался на ветру Беккет, взятый с собой в эту поездку, так и не читанный.

А потом отправились в поднебесную резиденцию короля Шиваджи. Который воздвиг около пятисот фортов на неприступных вершинах гор Декана. Главный, избранный им столицей, — Райгад. В прошлом году мы туда поднимались с ватагой индусов, празднуя День короля. В этот день миллионы его приверженцев бегут с факелами, флагами и барабанами по всем дорогам Махараштры, восходя в небо. Памятники этому народному кумиру стоят повсюду, изображения его в домашних алтарях — рядом с Шивой. Руины форта грандиозны, виды на ущелья и пропасти — тоже. Один из утесов называется Так-Мак — место казни, оттуда сбрасывали живьем в мешке. Рыночные ряды длиной в улицу сделаны так, чтобы всадник мог совершать покупки, не сходя с лошади. Шесть спален императрицы, каждая площадью с кремлевский зал, были оснащены туалетами и ваннами. Склеп короля стоит рядом с могилой и памятником его любимой собаке.

Вернулись, ночью был шторм, брызги взметались над опорной стеной и залетали в окно. А наутро увидели с веранды тонкое, ростом с человека, голубое свеченье во дворе. Это пришла невеста пригласить нас на свадьбу. Склонилась передо мной, коснувшись ладонями моих ступней, затем перед Таей. Февраль, самое время свадеб, когда они прокатываются по всей стране, накрывая ее. Накрывало и нас в нашем Харнай. Свадебная мелодия и этот древний танец со вскидыванием рук и поворотом тела с наклоном вокруг оси были так заразительны, что мы, казалось, даже просыпались с этим поворотом и сходились, вскидывая руки. Океан по ночам светился, из ближней деревни Панчпандари, горевшей огнями за заливом, доносился несмолкаемый бой барабанов, а наутро на крыльце уже дежурили посланцы

других молодоженов, чтобы мы хоть на часок стали гостями и у них. А выглядит это так. Свадебная процессия длиной в полкилометра движется в течение трех дней, описывая круги по деревне, уходя по дороге в соседние, встречаясь с другими свадьбами и не вполне возвращаясь. Наряженные жених и невеста сидят на лошади, которую ведут под уздцы родные и близкие. Впереди несколько человек тянут за собой на веревках генератор с протянутыми от него проводами к светильникам, которые несут в руках и на головах светоносцы, за ними движется помост на колесах, где сидят музыканты, дуют в трубы и дубасят в барабаны, за ними движется пляшущая процессия, за которой — лошадь с молодоженами, за которыми… И так — от горизонта до горизонта — все три дня и ночи, которые переходят в следующие свадьбы.

Тая сидит на веранде, разговаривая с отцом по скайпу. Он в Сибири, давно уже с другой семьей, ходит в тайгу, ставит силки на зайцев, а на зиму с женой заготавливают лесные дары. А я иду в гавань за скатом на ужин. Но скат лежит на песке один — огромный, пятиспальный. Хожу, смотрю, что взять взамен. И вдруг — это, небывалое, ни один рыбак не может назвать мне имя ея. Нет у нее ни имени, ни семьи, ни родины. Тело тонкое, змеиное — цвета бронзы в патине. Губки — «скажи: изюм» и крохотный хвост, как корона принцессы эльфов. Шедевр пучинного Боттичелли. Взял ее, прижал к сердцу. Днем спустя нашел в интернете ее имя: глубоководная рыба-флейта.

С отцом разговаривала и иногда с сестрой, которая была чуть младше ее, почти глухая с детства, жила в Москве, одна, с тихой длинной обидой на старшую, у которой жизнь сложилась так ярко, с мужьями, детьми, путешествиями, а ей привелось все эти годы ухаживать

за больной матерью, и вот, уже смирившись и не чаяв, встретила человека, не успели обвенчаться, как сообщили, что его уже нет в живых. Однажды она выбралась к ней в Севилью, погуляли по городу, а потом Тая устроила ее в курортном пансионате на берегу океана. Как же, говорю, она там одна, без слуха, без языка? Она так хотела, говорит, ей хорошо одной. И Тае хорошо. Я улетал в Индию, она — на Бали, живя там одна в глухомани с серым вулканическим песком на побережье, брала маску, трубку, плавала днями, глядя вниз, в зазеркалье рыб и кораллов. Всем, прости господи, хорошо.

На всенощный праздник вишнуистского бога Виттала, покровителя и подданного Кундалини, и его храма, притихшего на холме у безвестной деревушки на юге Махараштры, мы приехали с молодым профессором физики и нашим другом Шреасом. Отец у него брамин, а мать зовут Река, она директор школы в нашей рыбацкой деревне, и просто, как мы ее звали, Волга Индии. Добирались мы туда на машине Шреаса проселочными дорогами и паромными переправами весь день и прибыли к ночи, начавшейся с совместного семейного ужина на сто человек. Затем женщины увели под руки Таю в дом, вернулась она едва узнаваемой, в темно-вишневом сари с золотыми нитями, причесанная, как богиня времен Вед, в серебре браслетов и цепочек на лодыжках, и еще каких-то мерцаниях и высверках других украшений, которые проявляли себя лишь при ее движениях. Смотреть на нее — терять землю под ногами, но и отвести глаз невозможно. Царственно поднятая голова, тонкая открытая шея, и взгляд — спокойный и слегка отстраненный. И глаза — такого глубокого карего света, что казались древнее Индии. На тонком лице юной

женщины в обрамленье светлых, слегка волнистых волос, ниспадавших к груди. Мы поднялись на холм к храму, где уже ждали музыканты, и началась всенощная Виттала со сводящим с ума хоровым пением детей и взрослых, факельным шествием вокруг храма и обносом его мурти бога, сидящего в паланкине, и потом — с молчаливыми разговорами у костра и забытьем вповалку на земле, где я лежал между двумя стариками, а Тая сидела во тьме у обрыва и смотрела вниз на огни деревни. А наутро туман, обратный путь, паромы через устья рек, впадающих в забытье океана.

Прежде временами я ее подначивал: давай попробуем заглянуть за предел отпущенного людям в телесной близости — и физически, и психически. Что и было у нас почти всякий раз, но всегда оставалось это мерцание проемов, за которыми, наверное, еще были дали, куда не дошли. Шесть непрерывных часов, как я это называл. Зачем это нам, озорно прищуривалась она. И почему шесть?

А на закате шли на мыс, к маяку. Как же мне нравилось с ней идти. Просто идти, за руку или без. Легко, в одном ритме. Присели на траву на мысе, глядя на дух над водами, на отвесный свет солнца, зашедшего за облако. Тая взяла камеру, отошла на несколько шагов. Может, поговоришь, расскажешь об этом месте, включить?

Где ж мы находимся? Солнце заходит за Аравийским морем, откуда в тысяча пятьсот каком-то году из Африки поднялась вдруг туча песка, перенеслась с одного континента на другой и, успокоясь, легла здесь, в нескольких километрах от этого маяка, где мы сидим. Небывалое цунами в тот год случилось и перебросило сотни тонн песка, как из ладони в ладонь — из Африки в Индию.

И стихло — я не я и песня не моя. Лежит. Двадцатиметровой толщины слой. Африканского песка. Который жил там, золотился, скрипел, пересыпался. А теперь здесь, в Индии, в другой земле, стране, языке, у того же моря, но с другой его стороны. Пятьсот лет лежит. И день известен, когда лег, и месяц, год. Мы были там, видели, ходили вдоль границ его очертаний. И, как некий затерянный во времени архивариус, стоит, понурясь, брошенный экскаватор на берегу. А здесь, за моей спиной внизу — гавань Харнай. Бог весть, в какие дали ведет история гавани и этой мало кому известной деревушки. Вдоль берега тянутся Западные гхаты, а эта узкая полоса побережья, уходящая на юг к земле дравидов, называется Кокан. Здесь плантации лучшего в мире манго. Здесь… Переведи камеру на гавань. Веселая рыболовная флотилия с вереницей разноцветных флагов, в том числе и черных, которыми помечают опущенные в море сети. А на берегу — рыбный рынок, пучинный вавилон рыб: многометровые меч-рыбы и огромные скаты, и разноликие акулы с ухмыляющимся полумесяцем чуть съехавшего набок полуоткрытого рта, и тысячи каракатиц, этих иллюминатов, ежесекундно меняющих не только цвет, но и, кажется, формы жизни. Сгружают на лодки, подвозят к берегу, а там их встречают повозки-колесницы, запряженные белыми быками-зебу, заходящими по грудь в воду. Рыбу с лодок перекидывают в повозки и доставляют на берег — туда, на торг, на жизнь, на рынок, как восклицал Хлебников, где уже бурлит толпа, ждут аукциона, верней, десятки аукционов вокруг распластанных на песке рыбных сословий, разминаются глашатаи, эти цицероны цен, прочищают глотки. А женщины! В полыхающих одеждах, с невероятно изысканным

в своей простоте сочетанием рисунка и цвета, с густыми и длинными, но всегда умонепостижимо заплетенными и уложенными ночами волос, и невозможно юной, даже у старух, кожей, в сверкающих от лодыжек до темени украшениях — браслетах, кольцах, серьгах, цепочках, всей этой милой цыганщине… И чистые, как божий свет. В этой грязи, пыли, чистя рыбу кривыми ножами чаку в гомоне рынка. Женщины, с их хриплыми голосами пираток, под стать голосам ворон, чаек и цапель, которых здесь не счесть, снующих меж людьми и ворующих рыбу. А поодаль — скольщики льда большими ухватами вздымают айсберги и швыряют в камнедробильный механизм. Обо всем этом можно говорить дни и ночи. А здесь, где сидим на мысе, замыкающем гавань, стоит тихий маяк, заброшенный. И домики среди деревьев, где поначалу хотели поселиться. Сюда раз в неделю наведывается некий метеоработник — из тех, наверно, живущих в прежних временах, когда тут была метеослужба, горел маяк и все это было кому-то важно. А по ту сторону мыса — маленький остров Суварнадург. Здесь в семнадцатом веке индусы впервые заметили, что у них есть океан и там бы могли быть корабли, их корабли, которых до той поры не бывало. Ай да индусы — столетьями жить у океана и не замечать его за ненадобностью — ни флота, ни путешествий, ни торговли, ни водного сообщения. Ну, за исключением Ориссы, этих индийских финикийцев. Вот так, тысячи лет как уже все создано: и мир, и индуизм, даже ноль обнаружен и шахматы изобретены, — сидят играют. Это — дом. А океан — задний двор, в основном для низшего сословия, и отхожее место. И лишь в семнадцатом веке, когда великий король Шиваджи начал объединять индусов в освободительной войне против

мусульман и наращивающих тут влияние европейцев, они заметили океан и решили построить флот, чтобы отстаивать себя не только на суше. И произошло это здесь, в деревушке Харнай. Король обвел взглядом своих приближенных и остановил его на коренастеньком крестьянине из местных — Канханджи Энгри: вот ты с моей армией и построишь флот — на этом острове, через три месяца, и станешь адмиралом, самудратлой — грозой всех морей. И он, самудратла, сделал это. На острове, который можно за час обойти, был создан флот, давший отпор на море не только Моголам и разогнавший пиратов, но и положив на дно корабли Британии и Португалии. Ну вот, исчезает солнце, садится в аравийское марево, крошево… Переведи на него камеру. Все, выключай. Нет, подожди. А вчера мы были в полиции в ближайшем городке Даполи, который местные произносят как Наполи, понятия не имея о Неаполе. Начальника полиции края зовут Ларк, жаворонок по-английски. Сидим с ним в его кабинете, о том о сем говорим, зашли посетители, параплан недавно купили, спрашивают, как далеко могут они летать от берега и где вообще тут нейтральные воды. Склонились над картой с карандашами, как в генеральном штабе, нет ответа. Ушли. А разговор наш как-то невольно качнулся в сторону индуизма, Вед, Упанишад. Видя, что я вроде кое-что смыслю в этом, он прям светиться начал, словно в нем некий лотос распускался. Слово за слово, коснулись Далай-ламы, и, узнав, что когда-то была у меня с ним личная встреча, он, помолчав, вдруг приподнялся и, перегнувшись через стол, тихо мне говорит: а мой папа — коммунист, его зовут Ленин. Полное имя — Кумар Ка Бета Ленин. Ленин, Сын Горшечника. И, медленно садясь, вдруг как закричит: Шива! В дверях появляется

двухметровый гренадер в полицейской форме и, сплясав какие-то умопомрачительные коленца чести, говорит: да, Сэр! Чаю, Шива, — кричит сын Ленина, внук Горшечника, — лучшего нам, масала! Вот, последние мгновенья солнца, тает, уходя в океан — там, где пятьсот лет назад летел волшебный ковер песка…

На обратном пути шли вдоль сверкавшего серебра — тысячи худеньких рыбок риббон выложены сушиться на скалах мыса, и, подвяливаясь, сворачиваются полукольцами, как арабская вязь или девангари. Оглянувшись по сторонам, свистнули несколько рыб, взяли пару бутылок местного пива и с непривычки захмелели на нашей веранде. Обсасывали рыбку, запивали и смеялись. А завтра решили съездить к лесному водопаду. Там от подвесного моста, смытого когда-то в монсун, надо подыматься по руслу ручья, заваленного камнями, то бредя по воде, то перепрыгивая с камня на камень. Я едва поспеваю за ней. Лучше не смотреть — на ее легкую спину, и особенно ниже, иначе споткнусь. Как странно. После двадцати пяти многие женщины уже безвозвратны. А она вдвое старше, но все еще девочка — в каждом движении, и, кажется, навсегда.

Уже на подходе к водопаду присели у большого круглого валуна. Как с неба свалившегося. Может, это и не валун, а книга? Хармс был прав, книга это шар. А шар — книга. И Николай Кузанский задолго до него: Бог — это окружность, а человек — вписанный в нее многоугольник, чем больше у нас граней, тем ближе мы к Абсолюту. Грани, грани… Поменьше бы этой экспансии, этого атмана, который якобы брахман... Через несколько дней Рождество. По одной из ересей, он окончил свою жизнь здесь, чуть севернее, в Кашмире. В возрасте восьмидесяти

четырех, кажется. И упокоен неподалеку от своей матушки Марии, которая пошла за ним, часовня ее еще сохранилась… Там же где-то и волосы Магомета схоронены. А здесь камушек круглый, с неба упавший, для тех, кто прочтет. А кто прочтет? Кто подальше от «я» живет. Да и от Бога тоже. Как Мейстер Экхарт говорил: если хочешь, чтобы Он услышал тебя, отойди дальше. И мы отойдем — дальше, вверх, к водопаду, откуда выкатилась эта книга.

Каменные билибинские чаши с зеленоглазой водой в тиши, красота и прана поет в ней. Тая костер развела, мусор сжигает, индусами оставленный со времен Рамаяны, собирай-собирай, лапочка, чистюля, умывай землюшку, радость нашу, убирайся в доме, в светелке нашей жизни на краю вселенной. Что ж ты поешь там вдали, в юбку запахнута, такую же зеленоглазую, как эта вода в чашах с плавающими в ней желтыми листьями, а выше бедер нет на тебе одежд, только волосы цвета той же листвы льются, застя спину твою, худенькую, родную, певчую, как и все здесь в этот час. Что ж ты поешь там, смеясь тихонько — про любовь цыганскую? И ханумаиы сидят на деревьях, глядят сквозь листву вдаль. Зной полуденный, какое пугливо бесстыдное наслажденье — раздеться и войти в эту сумеречную нишу под ледяные струи — вдвоем, вдвоем…

Я смертельно тоскую. Сижу на нашей веранде, пью кофе, Тая развешивает белье, смотрю на океан, на нее, привставшую на цыпочки, чтобы набросить на веревку мою рубашку, на восходящее солнце, просыпающуюся деревню, и смертельно тоскую по дому, вот этому, нашему, который еще не покинули ведь, а уже, по вот этому берегу,

родному, с простыми рыбачками чище света, с хижинами лодок, вросших в землю и увитых лианами, неспешными буйволами, бредущими из Махабхараты, руинами форта короля Шиваджи, где в тиши под луной пекли на костре морского угря, по нашей веранде на краю света у самой кромки океана, по семье рыбака, которого зову папа, хотя он младше меня, по его жене Бхарати с птичьим осипшим голосом, по фантасмагории рынка на песке гавани, рыболовному флоту в тысячах разноцветных флагов и огней, рваной кисее цапель вдоль берегов, письменам арабской вязи тоненькой рыбы, вялящейся на скалах мыса, дивным храмам за плетнями и под деревьями, средневековью песнопений в ночи, барабанам и огням блуждающих по округе свадеб, людям, от еле заметной улыбки которых земля из-под ног уходит, по этому взгляду в любую сторону, где тысячелетья бродят, как те коровки и облака, по чуду каждого мгновенья в ореоле светлого безвременья.

Вот по всему этому и, конечно, по ней, Тае. Хотя вот же она, развешивает белье. А я тоскую — так сильно, что и не знаю, как быть — с губами, словами, руками… Даже не по близости тоскую, а просто видеть ее. Или идти, взявшись за руки. Спать рядом, слышать дыханье. Или есть еду. Да, просто сидеть напротив друг друга и есть. Какая тоска смертная по таким, казалось бы, неприхотливым вещам. Вот же она, смотри, иди, спи, ешь. Обернулась, почувствовав взгляд, спрашивает глазами: что? И столько дорог у нас, чтобы идти, идти, кругосветно. И домик с окном в океан, и другой — с видом на горы и лес, и кровать чудесная. И суп куриный с лапшой только что сварен. И? Неутолимо. Чем больше мы с ней, дольше, ближе, тем неутолимей. И всякий раз, когда

расстаемся, такое чувство, что ничего еще не началось, только-только коснулись друг друга губами. Ненадолго расстались ведь — всего на неделю, на месяц, навсегда. Разве встреча этих двоих может длиться больше нескольких дней? Но погружаясь во все это очевидное, безысходно хворое, взгляд выворачивается — туда, в настоящее, не держащееся от неутолимой тоски и нежности на ногах.

#41. Почта

— Ну что же ты такой беспокойный и нетерпеливый — я же написала тебе, что буду сильно занята, как вернусь. Больше всего я хотела бы для тебя, чтобы люди, их оценки и мнения перестали тебе досаждать. Отверни от них свою красивую гордую голову — и, мне кажется, губы твои перестанут так горько складываться. Да будут тебе серны и слоны, красавицы и замки. Ладно, пошла я к своему рису и чаю. И я обижаюсь, да. Вот уже много лет как. Когда ты сделал выбор — в сторону себя, пути: без нас, от нас. И даже если не так — как ты говорил и говоришь, — именно то, что случилось, определяет теперь все в моей жизни, во мне, безнадежно, мучительно, неизбывно. И все эти годы я стараюсь жить без тебя. Поначалу совсем не получалось. Теперь — то лучше, то хуже, то плывем, то уходим под воду. И очень стараюсь и жизнь свою удержать в ее нынешних очертаниях, и с тобой ее, нынешним, замирить, и не всегда выходит так, как хотелось бы тебе. Ты обижаешься, потому что своей меркой меришь. А это неправильно. Изначально мы были не в равных позициях: я тебе всю свою жизнь принесла, с красной тряпочкой, на которой сидела под батареей, потихоньку на тебя взглядывая. И так боялась тебя потерять, что трижды говорила нет рождению сына,

чтобы тебе не мешать. Отпусти меня, не требуй моего присутствия в твоей жизни ежедневно. Не смотрю твои фильмы, да, но и не только в этом ведь дело. А в том, что каждый раз ожог — и я твержу тебе это и дую, дую, а ты вроде бы и слышишь, а вроде бы и нет. А про Сати с Шивой я все же посмотрела. Мне из-за моего эгоизма кажется, что все, все — о нас? И потому так невыносимо?

— Ты права. Но что же делать? Я не могу не говорить с тобой. Как с собой не говорить не могу. И это так срослось во мне — ты, я… Да, конечно, я понимаю, не все и даже, наверно, не многое, но кое-что и временами — да. И уже через миг — куда ж мне деться — я уже в середине разговора с тобой. Еще и поэтому — вроде слышу, а вроде и нет. Да, и в моей жизни то, что случилось, определяет, еще как. Чем светлей — тем темней.

#42. Перемещения разрозненного

Просыпайся, Брахма, надо поговорить,
в непробудном сне твоем что-то пошло не так.
Жизнь, как пряха, между губами сжимает нить,
только нити нет. И рисует небо себе тилак
на рассветном лбу, за которым нет
ни тебя, ни того, что часть,
только меленько рваный свет,
как письмо — ни сложить его, ни прочесть.
Это майя, мир, головная боль —
без, как ты сказал, головы.
Левый глаз заволочен — быль,
правый — небыль, и оба глядят на вы
друг на друга. Третий
прикрыт рукою. Куда ж нам плыть
в этом сне, где когда-то двое

были всем мирозданьем, и даже вой
в оба горла был поначалу светел.
Просыпайся, заварим чай,
надо поговорить. Там, за твоей спиной
Шива с Вишну сошлись, чтоб дитя зачать,
чтоб оно побороло зло, потому что вроде
тут надеяться больше не на кого. Дитя
и демон — вот и все, что еще в природе
откликается на тебя.
Просыпайся…

#43. Вриндаван

Тошнило ее, рвало. И меня, надсадно. Через каждые несколько километров просили водителя остановиться. То она открывала дверь со своей стороны, то я со своей. Выворачивало во тьме, до спазмов. Ехали в аэропорт Дели, возвращаясь домой.

А днем раньше такой дивный вечер был. После бескрайнего дня, который все еще мерцал и переливался чудесами — большими и маленькими. Присели в кондитерской на веранде за деревянным столом, уже стемнело, рядом что-то пекли в жаровне, коровы, проходя, изучали витрину. Напротив нас сидела молодая пара индусов, ели пиццу. А мы, отставив нетронутые тарелки, лицом к лицу положили головы на сложенные на столе руки и, глядя друг на друга усталыми, родными глазами, тихонько запели. Никогда мы еще так ладно, так безоглядно, всем сердцем и одним голосом не пели. Песне этой не было конца, хотя слова давно должны были кончиться, а мы все пели и пели, уже и кафе закрылось, опускали жалюзи… Казалось, даже в минуты самой невозможной

близости я не был так глубоко в ней, а она во мне. И не важно, о чем эта песня, длилась только мелодия — музыка глаз, губ, которые были ближе своих глаз, губ, жизни.

В этот городок Вриндаван, где, по поверью, четыре тысячи лет назад юный Кришна предавался любовным утехам в певчих рощах с милыми пастушками, лесными нимфами, которых у него было, говорят, около тысячи шестисот, мы ехать не собирались как в слишком туристический, но он лежал на пути в Дели, откуда у нас был вылет домой, и мы решили провести там несколько дней, которым вскоре потеряли счет. Пишут, что в этом небольшом городке пять тысяч храмов. Толпы паломников и туристов роятся в центре, а окраины тихо текут в безвременье и почти безлюдье. Как и священная Ямуна, приобнявшая городок. В прежние времена это было место силы, с энергией, отстроенной по вертикали, теперь оно больше похоже на растаманскую ночлежку с полуразрушенными домами, бродягами и разного разлива кришнаитами. Воздух тут соткан из переливов колокольцев, запаха благовоний, сточных канав, возгласов хари Кришна и хари Радха — той, кто стала избранницей Кришны в его юные годы до женитьбы на Рукмини.

Если углубиться в источники, можно обнаружить дивную ненастойчивую линию: Радха и Рукмини, будучи совершенно разными — одна и та же женщина. Радха — замужняя пастушка, история о которой обрывается после ухода Кришны из Вриндавана. А о Рукмини, королеве кшатриев, уведенной из-под венца Кришной, мы ничего не знаем до дня их встречи. Нараяна в тридцать девятой главе девятой книги Бхагаватам говорит, что в начале времен с левой стороны Кришны проступила необычайной красоты богиня темно-синего цвета,

выглядевшая двенадцатилетней, перед ее глазами полуденный лотос осени испытывал стыдливое смущение. Внезапно она разделила себя на двух женщин, вставших по обеим сторонам Кришны, который тоже поначалу разделил себя на два, чтобы быть с каждой. Их четверо, трое, двое, и вместе с тем они — единое.

История жизни Кришны и его образ несколько драматичней, чем представляется в обиходе. Родился он в многодетной семье, и было прорицание, что один из детей станет причиной смерти брата его матери — царя Камсы, который приказал убивать всех рождавшихся у своей сестры младенцев. Что и исполнялось, но Кришну удалось спасти, передав приемным родителям, с которыми он и вырос. Потом чудесная юность в любовных рощах с танцами, флейтами и утехами. А затем случилась война между братьями Пандавами и Кауравами, и перед Кришной стоял неразрешимый вопрос — на чьей стороне ему быть, поскольку те и другие — кровная родня. Сделав выбор, он вскоре был проклят одной из женщин из стана той армии, против которой воевал. После всех драматичных коллизий Кришна удалился в лес в одинокую медитацию и ушел из жизни. Проклятье женщины, потерявшей в той битве своих детей, сбылось.

Проводили мы дни, слоняясь по окраинам, оставляя позади тихие ашрамы и уходя все дальше вдоль реки. В заводях, заросших мусором и кувшинками, расхаживали цапли и ярко синие султанки. Там, где почище, купались обезьяны, прыгая с берега и плывя под водой, чего я прежде не видел. Или расхаживали по мусорному мелководью на двух ногах, высматривая, чем поживиться. Город опоясывает путь посвящения, где паломники ложатся ничком на дорогу, вытягивая руки вперед,

встают, делают несколько шагов и снова ложатся — так, чтобы ступни оказались там, где только что были пальцы рук. И так за день своим телом покрывают весь этот путь. В храмовых двориках, которые тут сокрыты за каждым углом, сидят в окружении дымящегося коровьего навоза полуголые садху в позе лотоса, укрыв лицо тканью, медитируя. На пустынной улочке у реки устроился бродячий музыкант с фисгармонией, поет пураны, а две его маленькие дочки в волшебных костюмах на фоне золотой кулисы изображают Кришну и Радху. Вокруг жуликоватого продавца украшений собирается возбужденная толпа. Рядом прачечная под небом, колошматят белье о камни. Обезьяны работают артелью: высматривая зазевавшихся туристов и выхватывая у них мобильный или очки, затем ждут выкуп, сидя на дереве, и честно отдают сворованное за банан или печенье. Паломники, ослики, рикши, буйволы, запах мочи, нежно-розовый цвет домов и ажурных беседок в бугенвиллии, черные свиньи и сверкающие зимородки; старик, сидящий на земле, как в незримой капсуле посреди уличного потока, пишущий страницу за страницей; мраморные быки, калеки в обмотках, смеющиеся горбуны; мальчик с девочкой, прибирающиеся в алтаре часовни, стараясь украдкой коснуться друг друга; бритые наголо полицейские с кришнаитским хвостиком, растущим из темени; плывущие по реке молитвенные венки. К разлитому над городом сладковатому дымку безвременья примешивается запах травки, которую покуривают осевшие тут без срока разные бабу и садху, спящие где придется и столовающиеся повсюду, где кормят, а кормят повсюду и даром. Непрост городок, многослоен, с тайными рукавами. Как, бывает, сидит у реки садху — нечесаный, с хитроватым,

слегка затуманенным взглядом, и с ходу не поймешь — настоящий, липовый, или обман зрения. Вот и чувства тут такие же смешанные.

В один из дней Тая осталась дома, а я бродил по городу и вышел к затерянному в переулках необычному храму. Высокий красно-коричневый цилиндр со сферическим куполом. Наглухо зашоренный, развернутый в себя, похожий на космический корабль. Пятисотлетний Мадан Мохан. Индуистский храм, в облике которого преломился и ислам, и христианство, и отсвет архаики и модерна. Только что закончилась пуджа, прихожане усаживались в дворике на трапезу. Позвали и меня, поел с ними тали — горка риса и сабджи на банановом листе. Потом часть паломников, приехавших, видно, на денек-другой и осевших тут на месяцы, прилегла в тени храма на послеобеденный отдых — покурить травку, погутарить. Прилег и я. Компания смешанная, из разных городов и весей. Рядом со мной лежал старик, похожий на Феофана Грека. А по другую сторону — запорожский казак из Раджастана, спросивший меня, посверкивая кольцом в ухе, сколько у меня жен. По-английски никто из них не говорил. Разве что несколько слов. Я показал мизинец и ополовинил его. Что привело этих хлопцев, сошедших с картины Репина и расположившихся на паперти храма, в большое возбуждение. А у тебя, спросил я. Он показал три пальца. И как же ты справляешься, ведь каждой надо гостинцы дарить, приодеть, то да се… Справляюсь, говорит. И смеется, показывая, что он здесь, а они там.

А на закате спустился к реке, убрел далеко к пустошам, присел у воды. К ноге подполз слизень. Будущее, как рожки улиток, стоит им коснуться чего-то твердого,

говорит Эпиктет. А если мягкого — прошлое? Особенно, которое впереди. Они ведь, слизни, гермафродиты, почти андрогины, как мы были когда-то. Но наша камасутра — ничтожна рядом с их любовной космогонией. Пара этих приапов природы взбирается по стволу мирового древа в одури близости и спускается с ветки на клейкой нити — с неба на землю — свиваясь в танце, распускаясь дивными цветами в непрерывных оргазмах. И, приземляясь, откусывают друг у друга половые органы — у них они длиннее тела. И расходятся навсегда — оплодотворенные, счастливые и богооставленные.

Подумал, что здесь, во Вриндаване, у нас почти не было близости. Как же это? Почему?

Интересно, что в нашем великом и могучем, на редкость способном передавать оттенки чувств и эмоций, нет слова оргазм. Как пишут словари: искомое слово отсутствует. Заимствовано у греков.

Рукмини, свою первую и единственную жену, Кришна, по ее просьбе увел из-под венца у соперника. Много лет спустя, когда у них уже выросли дети, он спросил ее, почему она предпочла его, намного уступавшего своему сопернику. Признаться, я не такой уж герой, сказал он, и в общем-то трус. И убийца. У меня нет цели в жизни. И люди не очень-то меня понимают. Был пастухом, любил Радху, все бросил ради царских почестей, которые не про меня. Удел многих женщин, с которыми я был, — слезы, любовь ко мне приносит страдания. Я нищий бродяга. Мне чужда привязанность к семье, детям, дому и преуспеванию. Твой выбор неосмотрителен. Рукмини лишилась чувств. Вернув ее к жизни любовью и лаской, Кришна признался, что пошутил.

Человек и дикое животное по-разному переносят боль. Разница астрономическая, но в чем? В психике? В пороге чувствительности? В знании о смерти? Домашние животные острее реагируют. Собака и волк. Домашний кот и дикий. Человек и свинья кричат в панике. Почему я об этом подумал, потерял нить…

Если это было самоубийство, то из-за обрушенной любви, обрушенной в безвыходность. Настоящей, единственной, по глубине и силе превосходящей инстинкт самосохранения и разум. И не в семнадцать лет, а в те ее тридцать, когда за спиной у нее было столько ярких романов — и в России, и в Европе — как редко кому выпадает. Мама переживала, говорила ей: ну не свет клином же сошелся на нем, окунись в жизнь, как ты умеешь, в то, где люди, встречи, все еще будет… Что-ты, Майца, отвечала она, таких, как он, нет и быть не может, я знаю. Перед второй нашей поездкой в Индию коротко встретились с ней в Москве. Втроем, с Таей. Шел проливной дождь, поздний, предзимний, спрятались где-то у Полянки в полуночном кафе, уговорив, чтоб пустили. Сидели в безлюдном полутемном зале, Женька рассказывала об Амрите, тихо, с долгими паузами, но за внешним спокойствием светилась сплошная рана. Мне рассказывала, Тая сидела молча, чуть в стороне. Что-то я говорил ей — о божьем даре ее чувства и даре судьбы. Какой бы драматичной и непосильной она ни казалась. Иначе, был бы разговор о примерно известном, обжитом, о долинах, а не вершинах. Может быть, из ее близких лишь я один не пытался ее как-то отвлечь, разуверить, утишить на этом пути, уберечь… От чего? От любви? Той, что случается так редко, думал я, за которую и отдаешь жизнь… Но не буквально же,

не буквально! Даже мысли не было о таком. А случись это со мной? Наверное, шел бы, как она, до конца. Но она пошла еще дальше. А он жив. Надо же — Амрит, нектар бессмертия… Где-то за окном, в дожде, стоял ее припаркованный алый мерседес, легкий, летящий, безоглядный, как и она. Везла нас через ночную проливную Москву к дому, где лежали наши собранные в Индию рюкзаки. На одном из пустынных перекрестков нас тормознул полицейский, попросив документы, она небрежно вытряхивала из бардачка всякую дребедень, продолжая мне что-то рассказывать, потом обернулась к нему с этой ее обезоруживающей улыбкой: а черт его знает, где они! Улыбкой, такой открытой и чистой, на которую невозможно не ответить. И мы понеслись. Это была последняя наша встреча, больше я ее не видел.

Вернулся в отель. Тая сидела на крыше, глядя на огни вечернего города с доносившимся пением из храма неподалеку. В те дни мы все время меняли жилье. То комната в доме, где жила семья индусов, то роскошный пустынный ашрам, то какой-то пропащий угол. Искали, чтоб по душе, но что-нибудь все время было не так. И бродили по городу — то вместе, по порознь. Если наложить рисунок ее блужданий на мой, может, и проступил бы некий ключ…

Проступил, но не ключ, а день отъезда. Рвало нас, выворачивало. Да, оба понимали, что в той харчевне нельзя было есть, это было видно с первого взгляда. И ели, молча, давясь. Так обессилили, изведя друг друга. Долго шли во тьме через город, присели б в любой харчевне, пока они еще были открыты, но не могли остановиться, не то что сесть рядом, и у последней дхабы, на краю города, наконец обессилили.

А вечер обещал быть таким чудесным. Вышел из гостиницы купить еду для прощального ужина, накрыть стол весело и красиво. Жили мы на крыше шестиэтажного отеля, куда переселились по дружбе с менеджером. Там одна служебная комната, которою мы и заняли, и огромная крыша-веранда с видом на город. И черепахи в террариуме, и качели, и кухонька. Прошелся по улице, присел у чайханщика, напротив — старик с волшебным лицом, пьем чаёк, поглядываем друг на друга. Он вынимает из кармана леденец, протягивает мне. Беру и даю ему взамен из своего кармана. Оба разворачиваем, внимательно читаем обертки. Очень серьезно. Как дети. Смешно и чудесно. Тогда он передает еще один, выбрав из горсти, чтобы не повторялся. И я отвечаю ему тем же. Долго так длится. Главное, не выдать себя улыбкой. А мы и не выдаем. Сидим, чаёк пьем, века идут.

На той же улочке момики готовили, маленькие пельмени с разной начинкой. Тая, кажется, их еще не пробовала. Взял горячих. И еще разного прекрасного к столу. И цветы. Вернулся, накрываю праздничный, с видом на город. И тут, как не раз прежде, слово за слово, и земля расходится между нами, уже разошлась. Обнял неловко. Оттолкнула, вырвалась.

И вдруг за окном все взвыло, небо заволокло, молнии заблистали. Ветром смело наш праздничный стол на веранде, ливень хлынул, свет погас, мир передернулся. Так и сидели на дальних краях кровати, молча, во вспышках молний. А когда стихло и свет вернулся, собрали рюкзаки к отъезду и вышли поужинать. Протянул руку к ее ладони — отдернула. Так и шли до края города, не повернув головы друг к другу.

Шел и думал. Об этом чувстве, на которое не хватает ни опыта, ни сил. На таких перепадах рушатся горы, но и вроде бы мир создается. Только мы не так крепки, как камни, и не всегда в руках божьих. Шел и думал. Об этих бедных стойких «я» с ногой на горле любви и жалости. Любви, живой, беспомощной, не сдающейся, сводящей с ума.

Не скажет. И я не скажу. Всего, что так, наверно, ждала от меня. При том что оба за эти годы так много наговорили друг другу чудесного, настоящего… не о том. Шел, уже не думая, обессилев. Пока не оказались на краю города у пустыря, там и сели в той пропащей харчевне, давясь отравой, не поднимая глаз.

#44. Могила

Я был в Могиле, а где была Тая, я не помню. В Москве, оформляя документы в испанском консульстве? Под Читой, у знакомой знахарки? На Бали, с дочерью? Не помню. Был октябрь, взял билет и улетел в Индию, попав в сезон дождей, затянувшийся, волочащий свой мокрый хвост по всему югу и взвинчиваясь циклонами. И меня волоча за собой, измотав, доведя до края, пока не оказался в Могиле, где наконец полегчало. В пропащей деревушке в глубинке Карнатаки.

С самого начала все было против, и все же поехал — думал, там переменится. Не тут-то было: отнималось все, к чему протягивал руку. С порога был отнят лес в заповеднике Мудумалаи — новые правила, отрезаны подступы и любые возможности проникнуть. Вслед за этим камера накрылась, затем мобильный, потом место, где жил. И лили бесконечные дожди. Храмовые обряды

и фестивали обычно зимой, до которой еще далеко. Росло раздражение и усталость, и главное — уязвимость, все отнималось, куда ни ступи. Дело, конечно, не во внешних неурядицах, тем более, не бог весть каких. Но бывает вот так что-то накапливается, вроде само по себе ничтожное и во многом даже незримое, но ткется некий узор беды, пишет на твоей коже, тихонько обнажает до той уязвимости, когда каждую соринку чувствуешь, будто в глаз попало, весь гол, как этот глаз.

Двумя неделями раньше, когда из аэропорта приехал в Масинагуди, был праздник Дивали, победа добра над злом, света над тьмой. Небо над деревней рвалось петардами. Присел на окраине, где потише, с буренками и буйволицами, и думал, куда отправиться, в какие дали, за каким счастьем… Да уж хоть за каким, не помешало б оно. Вернулся к Прабе, у которого снимал жилье в те дни. Курица за домом заполошно взметывалась из травы, пригляделся, а там кобра с поднятой головой. Курица ее на себя отвлекает, птенцов спасая. Увела, успокоилась, да и кобра постояла так и прилегла. Взял палку, подошел, не вижу ее в траве. Кричу Прабе: тут у тебя за домом кобра… А он: да пусть. Ну пусть так пусть. Две ночи мы с ним слона с огородов гоняли. Огнем и криком. Есть тут сосед у нас, он чуть не каждую ночь кричит на всякий случай, выйдет с фонарем из своего домика и кричит — тяжко и гулко, как роженица. А потом весь день поле пашет. Что-то совсем не понять, куда ехать, куда жить. Зелено очень, в октябре я еще тут не был. Когда подъезжал, стада бизонов шли сквозь стада пятнистых оленей, по грудь в играющей в лучах заката изумрудной траве. Ночью думал о Маугли, о его десяти лет спустя, печальный рассказ получился бы, но правдивый.

Есть что-то в человеке, что никак в него не вписано. И это «что-то» трогает лицо, и человек при этом, как рука, которой трогают и нет которой.

Рай заколочен. Но все ж пошел в первый же день в джунгли. Нож, камера, дождь моросит, иду, а за озерцом — шлагбаум, кордон, которого не было, и не обойти. Подзывают меня двое в форме, с ружьями. Полицейский наряд при лесном департаменте. По первому разу мне удалось им голову задурить, и даже больше — пропустили пройтись до ручья, где местное племя ирула постирушки справляет. Сказал, через часок вернусь. Не сдержался, пошел дальше в джунгли, куда обычно, но на полдороге прислушался к себе: не горячись, могут проверить у ручья, а тебя там нет. Вернулся, а там уже на ноги все подняты в деревне — и полиция, и лесники. Теперь можно ходить лишь до озерца, посидеть у кромки леса.

Дождь все льет. Чувство щемящего конца надежд и путей-дорог. Как-то вечером окликают меня двое у деревенской харчевни: пойдем, говорят, чайку попьем. Оказалось, это те, кто меня тормознул у шлагбаума — начальник наряда и его помощник, но теперь они без формы и ружей. Пьем, разговариваем — о странах, о семьях, о детях… Наполовину на английском, наполовину жестами. Я им — терять уж нечего — говорю, куда и как я все эти годы ходил. И что в этом вся моя жизнь, весь воздух, которым дышу. Слушают, кивают, пьют чай, никакой полицейской реакции, напротив, как-то сочувственно даже. И тут этот начальник говорит: мы по работе должны постоянно прочесывать лес, ходим на несколько дней, отряд у нас десять человек, ночуем в деревнях или в лесу. Ловим маоистов, их тут немало в округе. Пойдешь с нами? Да, говорю, но… как же эти ваши восемь, проговорятся

ведь, и тогда вам тюрьма или минимум прощай работа. Кто проговорится? — удивленно смотрит на меня второй, — будут молчать, не пикнут. Допиваем чай, обмениваемся телефонами. Имя начальника — Шива. А твое, оборачиваюсь ко второму. Улыбается: Ганеш.

Еще на что-то надеялся поначалу, добился встречи с заместителем министра лесного департамента края. Прежде мне часто везло с егерями, а этот — просто чиновник, еще и трусливый. Говорю ему, уже давно не сдерживаясь, да и видя, что ему все божья роса: если бы все жили по параграфам, мир бы кончился, не начавшись. Да-да, отвечает, согласен, но риск-то какой, вдруг случится что, а кто разрешил — я, выходит. И чай прихлебываем, а в дверях вся его свита стоит на цыпочках, прислушивается. Да, говорю, согласен, когда вас рожали, тоже риск был, и немалый, выходит.

Переехал севернее — в Карнатаку, но и там дожди, вопреки прогнозам. Вымотался и в какой-то мрачной деревне взял билет наугад на ближайший поезд, наутро выйдя в Тирупати. Там на высокой горе стоит храм, самый золотобрюхий в мире, куда текут миллионы паломников, оставляя по тонне состриженных волос в день, превращаемых в миллионы, но уже долларов, в США. Храмовый болливуд, елейный ад. К тому времени я уже давно не мог смотреть ни на еду, ни на кровать, чтоб хоть выспаться. И этот голос повсюду: ты не там, не туда, не сейчас…

Где ж она была тем октябрем? У отца в Братске? Который петли на заячьи петли ставит? В Севилье, взяв из Питера мальчика-умельца по ремонту квартир… Как же его звали? Чтобы помог перестроить дом. И сняла номер на двоих в ближайшей гостинице, а я все представлял

себе непотребное, жгучее, а она смеялась в ответ. Мальчик не справился. С ремонтом. Уехал.

И какая разница, где. Где родилась, на кого училась, кем работала, сколько у нее было мужей и вообще вся эта биография? Ее, моя, чья бы то ни было. Разве небо рассказывает земле, кем оно было, где носило его? И дерево не морочит голову соседу своей биографией, и зверь. Все они — вот, в настоящем, и все их прошлое, пережитое — в них, здесь, сейчас, в том, что видишь, чувствуешь. Это, а не биография с ее прихотливыми отсветами, большая часть которых живет далеко в стороне от человека. Отсветы, но куда ложащиеся — бог весть, а коснулись бы нас — едва признали. Но нам, людям, ведь так важно и нужно это — и в жизни, и в книгах — пусть во многом и иллюзорное, чувство жилого пространства во времени, что было до, что после, все эти связи, причины, хоть мнимый уют и упорядоченность в доме. Иначе, без этих костыликов прошлого и будущего по сторонам, трудно стоять, неуютно — где ты, где дом, где твоя жизнь? Здесь, в тебе, в голосе, жесте, глазах. И отец твой, и мать, и все что было с тобой — в тебе, так и настолько, насколько твое лицо сейчас — твое. Это не о невежестве преклонения перед одним настоящим, о котором говорил Пушкин. Не о беспамятстве. Время не линейно, верней, не единственно линейно. И не циклично ходящее кругами, теми же и не теми, мнимо припоминающими себя. Как мы и жили, и куда дольше и привычней, чем в этой стреле. Но оно, время, и особенно в Индии, еще и баньян: ни ствола, ни корней, ни ветвей, ни начала, ни конца, одно в другом, в этом дереве-роще, узоре превращений. Здесь, в этом мгновении. Где нас нет.

Милые речи. А сам-то живешь так? Разве что, может, изредка. Нигде нет — ни тебя, ни нас. Нигде так, чтобы сказать: вот. Даже наше сознанье вне нас. Да, ромалэ?

Глядеть, как солнце ручку золотит. И ту, что движет, не узнать и не унять…

Тая, Тая… Оборотень отношений. И где настоящее лицо того, что меж нами, и есть ли оно — бог весть. Но пока все это длится, кажется, что где-то впереди вдруг спадет эта пелена двойственности, и все сойдется в одно, где мы едины. А если нет, и останется та же изматывающая неразрешимость, я все равно буду, вернее, надеюсь, что буду развернут к свету меж нами, пусть и краткому, иллюзорному...

В стороне от толп, текущих к золотобрюхому храму в Тирупати, зашел в департамент лесников. Сидят в нарукавниках, перекладывают бумаги. Кабинет начальника, вдоль стен выстроились подчиненные, чай на столе, трое вносят и разворачивают карту, он склоняется над ней и — не сразу — находит свои лесные владенья, отмеченные как заповедник. Вот здесь, говорит, я бы мог вас поселить, и наносит точку где-то в горах, и вот здесь — в другом краю. А где, спрашиваю, побогаче животными? В первой, говорит. И какие же там? Долго листает галерею в своем мобильном, наконец находит — вот. На экране птичка. Но где-то, говорит, был и пятнистый олень, я его видел в прошлом году, не могу найти…

Почти все ушли за последние годы, все близкие, жизнь опустела. Отец, Женька, потом один за другим друзья. Вот и Индия отступает. Ходил в номере от стены к стене. Бежать? И как потом с этим жить? Остаться, ждать, прислушиваясь к себе, с этим ряженым раем за окнами?

Чехов пишет: будь деньги, уехал бы в Африку, надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, имеешь цель. А Печорин у Лермонтова: только не в Европу, избави Боже! — поеду в Аравию, в Индию — авось где-нибудь умру по дороге.

Однажды в Харнай проснулся среди ночи от укуса крысы. В подушечку указательного пальца. До крови, но не сильно, словно чуть прикусила, давая понять. Что же? Меньше указывай себе?

Набрел в интернете на баулов — бродячих поэтов-мистиков, восходящих к средневековой традиции на пересечении индуизма и суфизма. У них ежегодные фестивали, один из них в Бенгалии. Может, туда податься? Начал смотреть видео этих фестивалей. С первых секунд ясно — по лицу с запрокинутым микрофоном у рта. Не говоря об общей атмосфере попкорна. Мистики, их мать, самосожженцы неопалимые! С десятками миллионов просмотров. Не горит и не тонет. Злюсь от досады. И тут натыкаюсь на любительский ролик. Сорок просмотров, два подписчика. И человек делает то и так, когда не знает, выйдет ли из этого живым, когда не важно, перед кем это все и, вообще, обитаема ли земля.

Земля, Авни. В прошлом году собирался из Бора переехать в небольшой заповедник Типешвар, он неподалеку — полдня на автобусах до Яватмала. Перед тем, еще находясь в Мюнхене, читал о нем, пробирался по гугл-карте, искал входы-выходы, тропы, переписывался с Сурией. А тем временем происходило там вот что, как выяснилось потом. Тигрица Т-1 по имени Авни из года в год убивала людей, на протяжении нескольких лет это замалчивалось, лесники ничего не предпринимали. Когда

число жертв достигло тринадцати и крестьяне начали громить и жечь кордоны егерей и их джипы, власти зашевелились. К этому времени у нее родилось двое тигрят. Медленно, со всеми бюрократическими перипетиями, наконец было принято решение усыпить тигрицу, а если не получится — ликвидировать. Но обнаружить ее, несмотря на то что лес там не такой уж большой, никак не удавалось. Силы наращивались и были доведены до двухсот специалистов с подключением армии, полиции, снайперов, слонов и охотничьих собак, камер слежения, дронов и парапланов. И даже мужского одеколона Calvin Clein, привлекающего диких кошек. Безуспешно. Бульдозеры прокладывали пути в дебрях. Махуты на ездовых слонах, выписанных из соседнего штата, поскольку в Махараштре их нет, прочесывали лес. У одного из слонов еще в дороге начался гон, стал неуправляем, убил махута, покалечил несколько человек. Разрешение на отстрел тигрицы выдали знаменитому стрелку Навабу Шафат Али-Хану, хотя и среди егерей недостатка в профессионалах не было. Наконец тигрицу заметили, позвонили стрелку, трубку взял его сын и с друзьями выехал на место. Убил. Сказав, что она атаковала джип, в котором он находился. При этом пуля была у тигрицы в боку. А усыпляющий дротик, с которого по закону обязан был начинать, оставляя пулю только на крайний случай, был воткнут вручную потом — для видимости. В животе тигрицы должны были быть обнаружены ногти и волосы жертв, они сохраняются в течение полугода. Вскрытие показало, что этих следов нет. Начались поиски тигрят, уже десятимесячных. Стрелок награжден от правительства серебряной статуэткой тигрицы. Крестьяне праздновали успех запуском петард. Авни, что означает — Земля.

Слонялся по Тирупати, уворачиваясь от вереницы паломников, убредая на окраины. Что же делать? Идти до конца, но куда? Вернуться домой? В таком состоянии интуиция сбита с толку. И все же поменял дату обратного вылета. Поехал проселочными на местных автобусах в сторону аэропорта, до которого было два-три дня пути. Первой остановкой и оказалась Могила. Маленькая деревня с древним храмом Могилишвара. Сел напротив него с чашкой кофе, который сварил в своей турочке у чайханщика, смахивающего на Будулая, и так легко вдруг стало, и Индия вновь такая моя, родная, странствовать бы и странствовать, куда глаза. Ведь у меня еще целый месяц… был. Подъехал мотоциклист с петухом под мышкой. Передал брамину, тот отсек голову петуху, окропил землю вокруг мотоцикла, ушли вдвоем в храм.

Слово и жертва, пишут индусы, было вначале. Под одной простынкой. Пожимающие плечами. О том, что могло быть, и не случилось. И темнящая жизнь так кромешно по-женски светла.

Дорога без дороги, автобус движется, как баркас в непогоду. Ты путешествуешь, говорил мне молодой 800-летний монах в вайшнавском храме, но зачем и что оно значит для тебя — испытание, некое развитие? Развитие чего? Хорошо ему спрашивать в этом возрасте служения по отцовской линии. В храме, где родился и уйдет с братией. А зачем, спрашивает, нам четыре тысячи глаголов в этой жизни?

Почти все. И Рашид ушел. Тридцать лет спустя как переселился в Индию и со временем став свами. Открывал ее мне, когда я впервые там оказался, а потом нам с Любой. Годы непростых, странствующих отношений. Когда

он включался на полную, выдержать разговор с ним — даже молча, но находясь в реальном диалоге, то есть тотальном, не только интеллектуальном — больше часа было едва ли возможно. В наших беседах, соглашаясь с ним во многом, я порой провокативно занимал противоположную позицию. Помню один такой разговор, при котором уж не знаю, как мы остались целы. Полночи наворачивали круги у священного пруда в храме Марса: он — «восток», я — «запад», хотя могли бы и наоборот. Он с посохом, в багряной шали, я в белой, соприкасаясь плечами. Ты кончишь свою жизнь, бросал он мне, устав доказывать, как все твои кумиры — в ничтожестве перед смертью с непрожитой жизнью. Как они, которым неведома практика реального проживания и трансформации, у которых лишь одни слова. И эго. Я отвечал ему не менее жестко. Расстались. И обнялись наутро. Ханси, японка, с которой он жил последние годы, пишет, что перешел в самадхи. Не думаю. Хотя что мы тут можем думать?

Бывает, какой-то ландшафт, пейзаж на краткое время выбывает в самадхи, такое ощущение. А потом приходит в себя, оживает. Что-то происходит между вами, или это только в тебе, твоем взгляде…

Нет, не было в нем того благостного лада, который источают якобы достигшие, просветленные. Была мощная арена многоуровневой работы — конфликтной, парадоксальной, живой, этим и был интересен, и в своей силе редок.

С ним же наметил проект русско-индийского арт-ашрама у Ганги, но спрос в наших краях оказался в ту пору невелик, отложил, а он спустя годы, перебравшись на юг, к дравидам, все же воплотил его, уже без русской стороны. И ушел.

Но не тем холодным сном… О чем он? И темный дуб, и дремлющая жизнь в груди, и дальний голос о любви, и мир навек — свободы и покоя… Удивительно, ведь в то время Лермонтов о самадхи ничего знать не мог. О том одном из двух путей перехода, когда частично еще сохраняется сознание.

Вот и мне посветлело — там, в Могиле, с частичным сохранением.

Да, голос, хоть дальний, тихий, о любви. В сиянье голубом. В этом все дело.

Жизнь — тихоходка, ростом полтора миллиметра, похожа на глубинного водолаза в скафандре. Ходит на тот свет как в соседнюю комнату, забываясь там на годы. Экстремальные условия нипочем, на ты с апокалипсисом.

А некоторые мхи способны восстать из мертвых и через десятки тысяч лет. Анабиоз, близнец-антипод самадхи, вроде бы та же физика, но устремлен не к вершине, а к низшей точке, с возвращением при благоприятных обстоятельствах. Хотя в сахаджа-самадхи тоже возвращаются — Будда, Христос…

Как-то у меня в Гурзуфе в книжных полках поселились дивные летучие создания — что-то между осами-наездницами и львиными муравьями. Материнское сообщество с плавно заторможенным полетом. Они, эти эфемеры, оставляли клейкую кладку на страничных торцах книг. На Прусте, под сенью девушек. На замке Кафки. На Чехове. Шиферные трубочки кладки с темной мерцающей начинкой, будущими младенцами. Не на всех книгах, на избранных. Какое-то в этом было послание. Вылетали оттуда, рея по комнате, эти насекомые ангелы, чуть шевеля под собой длинными ниточными руками-ногами,

и зависали у лица, исполняя причудливый танец. И тишь во все края за окнами.

В конце восьмидесятых, когда переехал жить в Гурзуф из Киева, достался мне при обмене участок земли на холме с крохотной дачкой и чудесным видом на море и горы. У многих в Крыму были такие садовые участки, называемые самозахватом, но это не мешало считать их частной собственностью, а спустя годы и узаконить. У меня прежде не было своей земли, воодушевился, сочинял сад, все цвело и плодоносило — от персиков до хрена. Пировал там с друзьями, когда приезжали. А за плетнем хозяйствовал доброжелательно прижимистый Гриша, служивший агрономом в Артеке, и мерял у себя рулеткой каждую лунку, сверяясь по методичке перед посадкой, и поглядывал на меня, втыкавшего палку наугад и уезжавшего на месяц, а палка распускалась побегами инжира. Счастливые годы безвременья, яйла над поселком, где еще водились стада оленей, пустынное побережье в несезон, книги, дачка, и где-то по ту сторону всего этого едва ощутимая жизнь страны с почти незамеченной мной сменой эпох. Гриша жил в том же доме, где и я, ниже этажом, в сплоченной семье — с женой, работавшей в ЖЭКе, двумя физкультурными сыновьями и тремя большими холеными собаками. Со временем отлучки мои становились все длительней — в Европу, Америку, и однажды я сказал Грише, чтобы присматривал за участком, а если хочет — может сажать там что-нибудь для себя. Вернувшись полгода спустя, увидел, что дачки моей нет, есть удвоенный и огороженный забором участок Гриши. И сам он удвоенный с поднятой дыбом шерстью к предстоящей схватке. Я представил себе все дальнейшее, вряд ли когда-либо разрешимое, как арабо-израильский

конфликт, и отпустил. Не то чтобы вычеркнул из жизни, но выключил там свет и вышел. Да, непротивление нелегкое дело, когда не на словах. Особенно, если касается земли, дома. Но всякий раз делаешь выбор из этих двух путей. И это вовсе не связано с пресловутой духовной свободой от привязанностей — материальных или любых других. По мне — напротив: привязывайся и во все лопатки, в этом твоя близость с жизнью. Но и умей отпускать. Как осень лето. Как и потом, когда Крым станет российским, а ты — иностранцем по отношению к своему же дому, и свет замигает и здесь.

Как странно, уже двадцать лет жизни в Мюнхене. Но там ли я, жил ли? Поначалу — да, и путешествия по Европе, а потом интерес поугас, началась Индия. Отъезды и возвращения. Всякий раз, идя по улице или гуляя в парке, задумавшись, вздрагиваю, вдруг слыша немецкую речь. И доходит не сразу, где я. Нередко спрашиваю себя, как бы дед, прошедший войну, отнесся к этому переезду. В тот день в сорок первом, когда Киев бомбили, бабушка с девятилетней мамой были на дебаркадере, оборудованном под плавучий санаторий, дед на весельной лодке переплыл Днепр под рвущимися бомбами, взял жену с дочкой и, когда они дома слишком долго собирали вещи в эвакуацию, вытолкал их налегке, выбросил ключ, посадил в эшелон и ушел на войну. Считанные случаи в его жизни, когда, к удивленью знавших его, вдруг так решительно проявлял себя. В той самой жизни, где все мы в какой-то мере проявляемся, а о нем и этого не сказать, бог весть, в каком измерении он пребывал, кроме тех считанных раз. С той же безапелляционностью, когда родилась мама, прислал краткую телеграмму: назвать Майей.

Изарек штрассе — мюнхенская улочка, где живу-не-живу. Изар — речка, эк — угол. Но ни угла, ни реки, она на другом конце города. Тишь, липы, акации, булыжная мостовая. Дома невысокие, разноцветные крашенки. Квартира с выходом во внутренний дворик с садом. Птицы, белки, куница. И коты. Соседка Герта, медсестра рукопашной комплекции. Отец ее был в гитлер-югенд, в первый же бой вышел с поднятыми руками. Сын у Герты от неизвестного мужа, и два любовника — оба Вольфганги. Ходят к ней в будни попеременно, а по праздникам — вдвоем, в обнимку и навеселе. Выше этажом живет Урсула, ей под девяносто. Ребенком, еще до революции, ее вывезли из Питера. Первым мужем был немецкий композитор. Погиб в расцвете. Вторым — австрийский барон, оставившей ей наследство и замок. Третьим — жиголо, итальянец, все промотал и исчез. Детей нет, и родни не осталось. Как-то чинил у нее телефон, вроде наладил, и говорю: надо бы позвонить кому-нибудь, проверить. Долго листает ветхую записную, испещренную меленьким почерком. Этот, говорит, умер давно, эта тоже, и тот, и на эту последнюю букву. Alle tot, говорит, все умерли, все! И смеется — так по-детски, до слез, но беззвучно, и остановиться не может… Верней, не могла.

Куда ж деть себя, где ты, жизнь, где ты, Мисюсь? Покинул Тирупати и на следующий день к вечеру оказался в небольшом поселке на границе со штатом Тамилнад в заповеднике Коундинья. Зашел к лесникам, крестьяне возбужденно толпились на подворье. Оказалось, один из жителей убил дикого кабанчика. Вернее, кабанчик сам убился, сунувшись на огороженный проволокой под током огород. За кабанчика — штраф или тюрьма. Крестьяне пришли заступиться. Когда поутихло, договорился, что завтра меня

лесники свозят показать заповедник. Долго изучали мои документы и бумаги, фотографировали их и меня, звонили в город, согласовывали. При том что, насколько я знал, заповедник у них пуст, только слоны, да и то раз в году в период миграции. Наутро едем. Тремя мотоциклами. Взбираемся на наблюдательную вышку, там они делают селфи со мной — их задача выполнена. И напоследок показывают в своих мобильных снимки людей, съеденных тиграми, видео со слоном, сбитым поездом в глуши — слон привалился к откосу, вздыхая и беспомощно озираясь на остановившийся за спиной поезд.

Перебрался из заповедника в Могилу, оттуда в городок Колар с двумя древними храмами. Первый — храм Шакти, фасады испещрены древними текстами, резным орнаментом букв, то есть буквально ни пяди невербальной нет, письменный храм. Другой — шиваистский, там присел в безлюдном дворике и долго смотрел жизнь на высокой башне, где выясняли свои отношения попугаи, совы, орлы и зеленые голуби.

Как ни парадоксально, говорю тому молодому монаху, сидя с ним на завалинке, но люди, желая счастья себе и друг другу, подсознательно его сторонятся — за его кратким всплеском неминуем спуск, если не срыв вниз. Смеется. К испытанию счастьем, как и его младшей сестрой — радостью, говорит, нужна смелость и открытость. Или блаженная слепота.

Женька — вот у кого было хоть отбавляй смелости и открытости. А за ними в глубине — неуверенность и отчаянье. Как и у меня, с этим зорким самонадеянным зрением — вроде бы видеть как есть, но и перерисовывать на ходу в то, что хочешь видеть. Блаженная

слепота. Испытанных счастьем. Именно там и гнездится отчаянье. Какая улыбка у нее была — безогляднее не бывает. И глаза — яснее дня божьего. И ноги длинные, неземные — чтобы лететь… Лететь.

Сколько же путей-дорог у нас было с ней, когда чуть подросла? Отвезли нас на лодке в бухту на мысе Аю-Дага, договорились, что заберут через несколько дней, но шторм разыгрался, неделю лодки не было, ютились в отвесных скалах, как птицы, над заливаемой волнами бухтой. И я рассказывал ей об Ифигении в Тавриде, о храме жриц любви, который стоял на вершине этой горы, и срубленные головы мореплавателей наутро катились по уступам скал по обеим сторонам от нас и падали в воду, она прислушивалась, вздрагивая, и вдали уже проступал парус Ореста… А потом она еще подросла, и мы ушли надолго по горному Крыму, жили в пещерах Тепе-Кермен, и однажды после долгих скитаний поднялись на Мангуп и обомлели: на вершине залитого солнцем пещерного холма стоял большой вертолет и ни души вокруг, лишь пенье цикад. Прошли еще немного, раздвинули кусты, а там на полянке сидят обедают летчики. Разговорились, я пошутил, спросив, не станут ли они кудесниками для вот этой девочки, мечтающей немножко полетать? За скромный гонорар в сто долларов, что по тем временам были приличные деньги, но все же не для таких авантюр. Шутка не удалась — полетели! Мы с Женькой и летчик в накрахмаленной рубахе и галстуке, несколько эллипсов вокруг холма с киношным зависанием у пещер. Как же она счастлива была!

Могила, Колар, потом деревушка с непроизносимым именем. Окраина, вдали за окном ночлежки — шамшан, жгут кого-то, звук барабанов. Где-то в той же стороне за

шамшаном — аэропорт, утром вылет. Ну вот и все, еще выйти, побродить, проститься с днем. Ветерок оттуда, сладковатый дым, как листья жгут, листвяной человек, прогорающий. В прежние времена для погребального костра брали два мана сандала, четыре мана топленого масла, пять серов камфары, полтора сера алоэ и десять ман твердого дерева. И лучше в Варанаси, чтобы избежать восьмидесяти четырех тысяч перерождений.

А что противостоит необратимости? Творчество? Черновик, переписывание, порой неудержимое, как у Врубеля? Входя в те пределы, которые вроде бы этой перезаписи не подлежат: в жизнь, отношения с людьми, временем, миром? И жизнь поддается. Порождая и чудеса, и инвалидов рая.

Вернулся, стоял у окна, к чему-то прислушивался внутри — дальнему, неречевому. Минуты настоящей близости с жизнью — бесчеловечны.

В последних лучах солнца пролетел ибис, истошно голося, и потом еще долго стихал скрипучей жалобой небесного нежилого дома.

#45. Чат

Какая странная поездка вышла на этот раз. Вот тебе и Индия, возвращаюсь бегством. В три часа ночи придет машина отвезти в аэропорт Бангалора. Спать не имело смысла, собрал вещи, написал пару писем, открыл чат с Любой, последняя фраза была написана полугодом раньше: Одиссей становится Гомером, ослепнув, и только тогда он — Одиссей.

Прокрутил наверх на несколько лет.

— Я поговорю с тобой про себя на улице. Внутри себя с тобой. Ну все, я ушла, а то у меня сметана в пороге валяется, а я ведь женщина. Интересно, вспомнишь? Ты так однажды мне сказал, и я слегла насмерть. Мы пришли из магазина, и пакет со сметаной в пороге остался. И ты возмутился, что для тебя редкость, конечно. Ну ты же все-таки женщина, ты сказал. И я слегла. Весь вечер плакала.

— Видишь, как был я прекрасен с тобой!

— Если честно, да. Ты был очень терпелив и замечателен. Мне было легко. Ну ладно, пошла. Индия… Какой же ты счастливчик, что летишь. И как же я за тебя рада.

— Иди, три пичужки моего счастья. Ты ведь мне еще пожелаешь, чтоб я вернулся?

— Вчерашнее потрясение еще со мной, не думай. Я еще читаю. Но все очень сложно — я не могу полностью раствориться в этом, мне надо немного себя и здесь оставить. И радость, и боль — ты, наверное, все-таки не очень понимаешь то, что я чувствую.

— Что это наша с тобой Индия, и настолько наша, что каждое прикосновение… — об этом? И уходить в это безоглядно и так, как могла бы и, может, хотела бы, — невозможно, потому что есть вот эта жизнь, которую надо жить?

— Да.

— «с одной женщиной и двумя-тремя книгами» — это про тебя, ты поняла?

— Беда в том, что мы оба слишком хорошо все понимаем. А еще думаем друг про друга: а вдруг не?

— Шишкин говорит, что не выраженное в слове будто и не существует. Нет ведь: не существует то, что не откликнулось.

— Лёнька полетит, по-видимому, первый раз сам в Крым на лето, у меня практика. Вообще он вырос и даже кормит меня ужином, запекает мясо и все такое. После вашего разговора озабоченно сказал, что если поедет к тебе когда-нибудь, надо будет фасоль прихватить — побаловать тебя фасолевым супом.

— Я уже в Мюнхене несколько дней и окунулся с головой в монтаж фильмов: привез около четырехсот фрагментов видео, половина из которых — тейям. Вчера смонтировал свадьбу индийскую, которую учинил в Харнай с нашей парой из Ганновера. Выложил сегодня в фб, но, оказывается, траур в России, а я ни сном ни духом. Ладно, не буду удалять, в конце концов — а когда его нет, траура, неизбывен.

— Я рада, что у тебя эоны событий, и почему-то мне кажется, что есть у тебя с кем все это делить. Про свадьбу в не слишком подходящий момент… Да, я бы на твоем месте убрала, трагедия ведь очень многих всколыхнула. Как представишь детей, запертых среди огня… Неизбывен траур, да. Но есть когда совсем тяжко. Плохо у меня на душе. Я последнее время только с теми, кто ушел, и разговариваю.

— Вот и я уйду, тогда и начнешь разговаривать? Вчера прочел у Михайлова: «Стать лесом, видящим сны про своих обитателей. Язык нужно оставить при себе, даже при полном рассыпании сознания».

Ты как-то там не в духе или занята… Я тут вдруг сел на пол и включил камеру… И получился фильм, где

я читаю тебе стихи о нас и немножко говорю с тобой… Я понимаю, что все это очень непросто. Но и не показать тебе совсем я тоже не смог бы, наверное.

— Я только сегодня смогла послушать. Трудно, конечно, даже пытаться сказать тебе что-то об этом. С содранной кожей, да, но и спасибо, всеми нами и всеми словами, произнесенными и никогда не… Так странно — ты прав, что им, этим словам, может быть, нужно было быть так произнесенными больше, чем нам — потому что мы их малая часть, а они наша. Не жди от меня легкости и стройности речи, у меня сердце до сих пор колотится. Беда в том, что мы так все о себе двоих чувствуем и знаем, что вроде бы как больше всех слов… но и без них невозможны. Знаешь, как я это слушала? Как будто мы двое уже в том лесу и с улыбкой смотрим на тех, что здесь еще так болеют, и горят, и говорят, словами и без слов, друг с другом. Но как правильно ты сказал, их четверо теперь. Но речь все-таки не только о нас. Эти тексты… такого ведь правда еще не было, кажется. С такой степенью достоверности — то, что ты называешь горечью, а я чистой беспримесной болью, которая и создает эту невозможную подлинность. И никакой отклик со стороны тут невозможен, я думаю. Это как конец света по Элиоту — не взрыв, но всхлип, который никто кроме вошедшего не услышит. Так трудно тюкать пальцем с телефона. Я скоро буду дома и напишу тебе, когда приду, ладно?

#46. В сенсорном радиусе

Четыре часа она стоит в трансе над убитым ею человеком, глядя поверх обглоданного лица. Содрогается и сглотнуть

не может. Слом программы. Внутри нее все обезображено, нет ее и уже никогда не будет. А та, кем станет, стоит поперек горла, и не сглотнуть. Это впервые с ней. Не понимает, как это произошло. Он присел в зарослях — видно, приняла за оленя или кабанчика, да и ветер был боковой. Бабочка кружит над его лицом, присела, пьет кровь. Тигрица Т-16, так она значится у егерей. Камера слежения, приторoченная к дереву, снимает ее беспрерывно все четыре часа, сенсорный радиус, так совпало.

Зрение, отходящее, как наркоз. Ветка дрогнула в будущем и опустела. И руки горькими стали.

В ту минуту, когда бабочка пьет, я нахожусь у подножья холма в храме Дурги — той, что верхом на тигре в плюмаже и мишуре, сижу на полу, напротив брамина, сказав ему: помолчим.

Где ж она ходит, эта Т-16? Вчера, говорят, была у озера, где я ее не дождался: вышла, смотрела на стреноженных буйволов — всю ночь: привстанет, готовясь к прыжку, и снова садится. А на заре подошла к куроферме, трясла железную сетку, сторож спал у костра…

Одет в безоружную тихую смелость. И слушал движение слов, как глухонемой, прикладывающий ладонь к горлу собеседника. А ты говоришь, почему отнимается река у теченья, взгляд у зрения, голос у губ. Тихонечко смеются раны, и бабочка лакает кровь.

Если такой ты герой, она говорит, иди сам, без «мы», которого нет в тебе, иди, ищи ее, эту Т-16, или как ее там, говорит, пятясь от моих попыток приблизиться к ней. И да, говорит, я боюсь и не понимаю, зачем это так непреодолимо в тебе.

Свет стоит среди дней сереньким колом. Жизнь темнеет, как живопись. Воздух прильнет к лицу и отпрянет, как обознавшись.

Четыре часа он лежит, и камера непрерывно снимает — его, не меня, который невидим, но все еще здесь, над этим обглоданным телом. Лесоруб, из адиваси — так он проходит по ведомости. Пять тысяч рупий за корову, десять — за человека, такова компенсация. Может быть, он и был мной. Теперь, четыре часа спустя, я не чувствую с ним такой уж связи: сознанье вне нас… И камера выключилась бы уже, если бы не тигрица, стоящая над ним в сенсорном радиусе.

Она живет в нем, глядит со дна, и как небо разводит его руками, смуглой водою соткана, тверже камня.

Бог знает, где мы. И лебедь-лодочка на привязи у берега, как в страшной сказке, и зеркальце, и гребень, и лесок. И переправились. И у плетня наутро она чесала волосы и жгла, а люди ткали плач в соседнем доме вокруг покойника с топориком во лбу. В деревне двое было знахарей, шаманов. Один другого зарубил за то, что порчу на него навел. Мучительно и долго думал, потом пришел средь ночи и зарубил во сне. И рядом сел, и говорил чуть в сторону: зачем меня ты так встревожил? Зачем теперь ношу тебя внутри? В ту ночь, когда так обжигающе по-детски, и вскрикнула, и засмеялась, как во сне. Зачем, зачем любовь и речь, зачем ношу тебя внутри?

Повела, где сама за пределом белого. И такой разор нестерпимой нежности, что сама растеряна. А потом: сотри, говорит, черты свои случайные, сотвори чаянья. Дар слова — бог утрат.

Деревья в огне, как Даниилы, не сгорают. Что горит? — пробелы, звенья. Нет места для соучастия. В самом себе. Нет стороны. Идем по следу. Танцуем черновик сближения. Сближения людей — сродни весенней свальной змеиной свадьбе на пригреве. Идем. Она не понимает, зачем ищу я встречи с той, в ком человек лежит. Вертеп, тигрица, джунгли, куклы. Надеты на руку. Ты весь под куклой речи. Лес, поляна. И руки раздевают вас. Ты входишь нежно, как нож, в нее, как зверь — в любовь, и все плывет и кровью мажет губы. Она лежит, раскинув руки, и смотрит в небо, легко и пусто в ней. Тигрица обходит камни, метит место.

Где-то небо, как боль затылочная. И слова-богомолки отсекают голову после соитья.

Молчи. Пусть тело, хоть оно какое-то сближение плетет. Летит по свету, и все моложе кажется, свобода ей к лицу. И губы недоцелованы. Любить себя — тяжелый грех. Но как любить без самоотреченья? Что происходит, и почему все так размыто? Тут сдвиг какой-то, сбой программы, и человек в тебе, как в клетке бьется, но кажется почти недвижен. А может, там и нет его. Косноязычье чувств. Но ты ведь жил с доверием к судьбе, и эта женщина с тобою неслучайна…

За пределом пониманья и языка, в той вывихнутой близости, в той единственной жизни, нечитаемой, которой и умираем.

Лишь то, сквозь что мы смотрим, наведено на резкость, а то, куда — в размыве.

Она кладет ладонь мне на лицо, и зарастает солнце травой тигриной. И Драупади идет по пустырю, и волосы ее влажны от крови, и губы в уголках надорваны, язык раздвоенный трепещет, и дотлевает в небе алфавит.

Как зеркальце к губам подносят — так телом всем туманясь и мутясь, они друг друга осязанием выпытывают… Не обольщайся, в памяти нет сердца. Жар внизу живота, а в волосах — роза.

Бурдюк окаменевшей веры, подвешенный на гвоздь небесный. Собор. Внутри — Колумб подложный. Севилья. И големы-дома, растущие из пепла. Распятья в изголовье спален. Недвижный свет за ставнями. Народ сожгли как ведьму. И тишь, и апельсины с веток на мостовую падают со стуком горьким. И камни спят, и видят сны. И головы быков глядят со стен стеклянными глазами.

Ей этот город нравится: Сивилла, Гвадалквивир, фламенко, страстный руконогий цокот, жизнь ночная, ей нравится в почти бесплотном платье скользить по улице, и чтобы ветер крыло волос выгуливал. Ей нравится язык, гитара, Лорка, близость океана, апельсины и солнце круглый год. Ей холодно в России. В ней кровь цыганская. Ей хочется одной побыть, за ставнями, и кукол наряжать, и в люди выходить улыбчивые, легкие…

Сидим в кафе. Напротив лавки сувениров, по сторонам которой — две улочки: одна зовется Жизнь, другая Смерть. Риоху пьем. Сиеста, зной, лошадка стоит зашорена, турист в коляске. Я говорю: а помнишь Харнай, где жизнь и смерть бегут, за руки взявшись, чумазы и светлы, как дети. Не говорю, смотрю в лицо ее, и речь зашорена, как та лошадка.

Друг другу — край, лежим, прижавшись, выдыхая близость. И кажется, еще я слышу смех ее стихающий, чуть влажный, в солнечной росе, смех полевых соцветий с темными глазами. И ночь стоит с топориком во

лбу, и дни идут вокруг нее, танцуя. Лежим как световая щель меж ставень. Тут — город фейковый, как тот Колумб в соборе. А там — тигрица метит место… Лежим, мутясь как свет, и лебедь в нас плывет.

#47. Аджанта

Не могли покинуть Бор в тот год — с вечера собирали вещи, а утром смотрели на них, отводя взгляд. Еще разок сходим в лес, а завтра уж поедем, да? И так день за днем, лишь почти месяц спустя тронулись. В нашу рыбацкую деревеньку Харнай — домой, хотя дом этот с годами становился все призрачней. Может, от этой смеси счастья и безысходности, с виновато улыбающимся будущим.

Ехать решили через Аджанту, куда давно хотел добраться. Эти буддийские пещеры, которым более двух тысяч лет, находятся в Махараштре, на отрогах гор Декана. Дороги разбитые, в округе пустошь, редкие деревеньки и племена, которые в праздники запрягают в одну повозку лошадь с быком.

Стоим с Таей на краю необъятной чаши долины и смотрим с высоты птичьего полета. Привез нас сюда местный парень, сказав, что покажет лучшую видовую точку. Вдали слева — водопад, вливающийся по отрогам скал в речушку, вьющуюся по дну цветущей долины, подрезая подножье нижнего яруса пещер, а над ним второй и третий. Эта линия пещер тянется где-то с полкилометра по скале. Наверху, над плато, восходит солнце. Мы уже были в этих пещерах и пойдем еще раз, тут бы и месяца не хватило вглядываться, а может, и лет.

Вот были бы, думаю, лишь эти пещеры с их чатьягрихами для ритуалов и кельями-вихарами для жизни

и молитв, с этими древними фигурами Будды, ступами, индуистскими богами, барельефами, мы могли бы говорить об одном из мировых шедевров, о чуде света, но здесь еще и мир настенных росписей, и слова стихают, ты уже на зыбкой границе между явью и сном.

Двадцать девять пещер. Странно, в Панхаликаджи тоже это число. Символическое в буддизме? Надо бы выяснить. Двадцать девять, созданных до нашей эры в дремучих джунглях на обрыве базальтовой скалы безвестными мастерами, которых опускали сверху на веревках, и они углублялись в эту непробиваемую породу, образуя колоссальные залы с царственно пышной резьбой, сотнями огромных фигур и тысячами барельефов. Каким же изощренным абстрактным воображением надо было обладать, чтобы вот так, по сантиметру, врубаться во тьму, оставляя за спиной этот преображенный космос. Это же не тесать фигуру из камня, к которому можно подойти с любой стороны, а входить в монолитную базальтовую стену на десятки метров и спустя годы выходить из огромного зала, заполненного фигурами. И вослед камнетесам и скульпторам приходят живописцы и создают миры, вдоль которых плывешь, как под водой.

Мы плыли с Таей порознь. Договорились, что она пойдет от начала к концу, а я в обратную сторону, посередине встретились, вышли ненадолго, спустились к реке. Говорить не хотелось, тихое ошеломление. От живописи, от портретов, лиц. Наверно, Аджанта — один из последних на земле визуальных порталов в ту эпоху, в тот мир, к тем людям. Говорят, при создании росписей, чтобы хоть как-то видеть в полумраке, живописцы выстраивали вереницу медных зеркал от входа к дальним

углам, где велись работы. А расписывая своды, сверялись с отражением в воде на полу. К нам подсел лангур без руки, поднял голову к небу и долго смотрел туда, прижав культю к сердцу. Я тоже перевел туда взгляд, так и сидели с ним. Тая хотела сфотографировать, но поняла, что сейчас не нужно.

Когда любящие живут одну на двоих жизнь, еще и полную необычайных событий, то, наверное, естественно, что со временем память между ними обживается всеми этими бесконечными «а помнишь?», и даже без этих «помнишь» — какими-то обмолвками, отсветами, птичьими голосами этой рощицы памяти. Мгновенно переносящими обоих именно туда и так, как оно там было и есть. Подумал вдруг, что, кажется, у нас никогда не было этого «а помнишь». При всех порывах. Чтоб не столкнулись неузнанные, не те, не там. У каждого свое, об одном и том же, непредсказуемое друг для друга. Так и держали в себе, чтоб не обжечься и все же надеясь, что где-то на последней глубине, вопреки нам в этой жизни, они сходятся, или сойдутся когда-нибудь.

Все же невероятно. Вот перед тобой глухая базальтовая стена, которую и инструмент-то не берет. И ты должен по сантиметру в нее углубляться, чтобы, может, лет через пятьдесят, и уже не ты, наверно, а следующее поколение, продвинулось на десятки метров вглубь, оставив за спиной огромный зал с фигурами, алтарем и изваянием Будды перед ним. Как это? Глядя в стену, видеть, где и что будет находиться. И, допустим, вот здесь будет Будда, а пока перед тобой лишь стена. Где его мизинец ноги, где улыбка? Допустим, здесь и здесь. И что дальше? Проявлять этот мизинец, постепенно углубляясь к пятке? И так по всей фигуре? Или грубо оставить ее как бы в каменном мешке

непроявленной, обогнув с обеих сторон и поверху? А потом, когда уже будет пространство подхода со всех сторон, вернуться и проявить? Я бы, наверно, выбрал этот подход, но кто знает, как оно было. Это еще с движением по горизонтали, а Кайлас в Эллоре? Там углублялись сверху вниз, в землю, от купола храма к его основанью и создавая по ходу движения интерьеры. Немыслимо. Через несколько веков, в начале нашей эры, эти методы были уже забыты, строились отдельно стоящие храмы.

Обнаружены эти пещеры были в середине девятнадцатого века британским офицером с редким именем, вроде нашего Иван Петров — Джоном Смитом, охотившимся с приятелями в этих местах на тигра. Собственно, тигр и стал триггером в истории открытия века. Пещеры к тому времени давно пребывали в забвении, заросли лианами, превратившись в непроходимый звериный ковчег — сонмы летучих мышей, орлы, медведи, леопарды. Смит вырезал ножом на стене: здесь был Джон, и началась полоса долгих перипетий с Британским королевским обществом, лишь через пятнадцать лет сюда начали направлять ученых. Один из них — британский офицер Роберт Гилл, антиквар, художник, списанный со службы по инвалидности. Он и был послан в Аджанту, чтобы сделать копии росписей, и посвятил этому жизнь, день за днем в течение тридцати лет вычерчивая карты местности и пещер, исследуя, каталогизируя, фотографируя и рисуя. Многие копии делались в натуральную величину. Страшная судьба ждала эту титаническую работу. Отправленные в Лондон, почти все рисунки сгорели в пожаре, за исключением нескольких листов, которые ходят по частным коллекциям, иногда всплывая на аукционах, как недавно на Сотбис, ну и еще в Бостонском музее хранится несколько копий.

И вот этот Роберт Гилл, переодевшись в индийскую одежду и кое-как наладив отношения с местным племенем бхилов, довольно недружелюбно относившимся к чужеземцам, оскверняющим своим присутствием их божий дом, каждый день приходил и рисовал, рисовал, и все это исчезало на почтовых путях, сгорало, уничтожалось, и он снова рисовал, год за годом, тридцать лет.

Это не фресковая роспись, она делалась по сухой основе и потому так плохо сохранилась. Особенно с тех пор, как пещеры открылись для публики. Пришлось снова погрузить их в полутьму, убрав искусственный свет. В основном в этих росписях жизнь Будды. Но не только. Есть и индуистский период. Но главное — лица людей, живой будничный мир. Но в луче фонарика зыбкие изображения становятся мертвенно плоскими. Отдаляются, меркнут, не хотят видеть и быть увиденными. Гилл эти росписи еще застал во всем их живом дыхании, не тронутом нашим временем.

Как по улочкам затонувшей Атлантиды. Между явью и сном. Между племенем бхилов, чей бог — Змей, и умирающим Гиллом в огне рисунков. Между ранеными тиграми и медными зеркалами. Между мной и Таей, свешенных на веревках друг в друга, выкраивая в непроходимой породе эти мнимые пещерки для жизни…

Посмотрел историю зеркал, начиная с Горгоны и щита Персея. Одно небольшое зеркало, когда наконец научились их делать в Венеции, стоило втрое больше картины Рафаэля.

Подумал, с чем можно бы соотнести эти росписи. Фрески Помпеи? Фаюмские портреты? Колоссальный пробел после наскальной живописи до этих считанных

порталов. Две с половиной тысячи лет этим лицам. По ту сторону, которая вот, перед глазами, смотрит на тебя, но между вами выпавшее звено — какой-то утраченный вид людей. И потому, наверно, охватывает это фантомное чувство отсеченной части тела, руки, например, она ноет, болит, ею, кажется, можно пошевелить или взять чашку, но руки этой нет.

Тигр-триггер привел к открытию Аджанты, стоявшей в тиши забвения. Первый ее исследователь посвятил ей жизнь, рисуя и между тем охотясь на тигров: сто пятьдесят тигров было убито им, и большая часть рисунков сгорела.

Живопись Аджанты осыпается, все попытки ее спасти проваливались, реставрация оказалось крайне неудачной. Говорят, небесам неугодно было появление тут людей, в особенности чужеземцев. Сейчас Аджанта живет в полутьме, видеосъемка запрещена, возможно, вскоре пещеры закроют совсем.

Накануне этой поездки в Индию я был у отца на мюнхенском кладбище. У отца, детдомовца, прошедшего очень непростой путь, но до конца дней оставшегося верным жизнелюбию и достоинству. У нас была редкая связь, какая между людьми едва ли случается, даже самыми близкими. И вот он ушел, меня не было рядом. А перед тем пробежала трещина, по недоразумению, и все никак не могли поправить — чем больше пытались, тем больнее и неразрешимей. Таким и осталось уже навсегда. Десять лет со дня его смерти я не был на его могиле. То есть был, но поддерживая маму, с которой они разошлись, когда мне было шесть. А прийти один — не мог. Серенький день, моросил дождь, я не знал, как начать, куда при этом смотреть, где он, где я… Что-то говорил, чувствуя,

что каждая фраза фальшивит, что все не о том, не так, не я… Чем дальше, тем хуже. И это тихое мюнхенское кладбище — не из нашей жизни, ни его, ни моей. Отошел. Вернулся. Попросил прощения, и это было еще хуже. Его нет нигде. И в то же время он был рядом, во мне, а я не знал, куда повернуть голову. Между явью и сном. И Аджанта, и могила отца, и все эти бесконечные миры, текущие сквозь вереницу незримых зеркал.

#48. Пространство Парщикова

Пришло приглашение на Красноярскую книжную ярмарку. Нужно было написать несколько страничек доклада для круглого стола «Поэзия пространства в творчестве Алексея Парщикова». Ярмарка в ноябре, лечу из Мюнхена, а оттуда — в Москву, договорились с Таей встретиться там, и уже из Москвы — в Индию. Шесть лет, как ушел Алеша. Стоял, глядя в осеннее окно, перебирал слова, слишком далеко забрел в личное и малопроглядное, потом отодвинул все это и написал другое.

Полемически обострив, я бы сказал: ни у одного поэта, по крайней мере в русской литературе, феномен Пространства не играет такую важную роль, как у Алексея Парщикова. Сродни той, какую, скажем, у Введенского — Время или у Хлебникова — Число и Слово.

Попробую прояснить сказанное, начиная с этих трех понятий: «пространство», «роль», «играет». И снять маску со слова «важную».

О каком пространстве может идти речь, если его существование, наряду со временем, не доказано? То и другое, нередко как единое и неразрывное, лежит в основании нашего мышления о себе и мире, но сами они, или оно, нами

не ухватываемы — ни мыслью, ни словом. Не выражены, а стало быть, и существуют (поскольку создают мнимую очевидность, в том числе в ощущениях), и не существуют.

«Да, есть у мира чучельный двойник,
но как бы ни сильна его засада,
блажен, кто в сад с ножом проник
и срезал ветку гибкую у сада».

По Парщикову, пространство расхожего очевидного, с которым мы имеем дело, — чучельный двойник. Это мир «с собачьим постоянством на губах», не случайно он там рифмует это постоянство с пространством. Мир инерции и гравитации, и не только физической, на чьей привязи мы находимся.

Но есть и другое пространство, где все возможно — первородное. Пространство рая. Не библейского с его линейной драмой, а бесконечный перформанс мироздания, полигон возможностей, где время обратимо, где очертания сущего перерисовываются на лету и на той скорости превращений, которая нам лишь снится, и мир этот — вот, перед глазами, сейчас, а не во времена дней творенья. Но кто может видеть это первородное пространство? Ведь видеть — значит, совпасть с его скоростью превращений и теми мириадами траекторий, происходящих одновременно — в разных масштабах, временах, ландшафтах и мотивациях. Но тут мало видеть, мало обладать уникальным даром зрения, райским глазом (запутанным, как грибницы), надо еще и быть участником этого действа. «Где витала та мысленная опора, вокруг которой меня мотало?», «И, возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя».

Тут мы подходим к трудным вопросам и шатким границам. Насколько реально это пространство, с которым имеет дело Парщиков? То есть насколько оно и есть эта первородная реальность, в которой мы находимся и не схватываем ее? (Как говорил Элиот: реальность непереносима для человека.) Не порождаема ли она лишь виденьем поэта, его энергией воображения? Или эти миры возникают из их обоюдно провокативной встречи, подстрекающей друг друга к отношениям, к этим демиургическим танцам, соблазнам, схлестам и разрывам? Заметим: радостной встречи, безоглядно увлеченной происходящим, что, как ни парадоксально, большая редкость в поэзии. Наверное, так и должно быть. Так, наверное, светла чистая творящая сила и этим же чувством откликается ею сотворенное. Соблазн и эротически окрашенная радость вовлеченности в безграничные возможности мира, в его все еще длящееся начало. Даже вечность, по Парщикову, — только начало уже завершенного жеста.

Но как можно существовать в таком пространстве? Казалось бы, при такой реактивной тяге воображения память не может работать, она должна быть сметаема этой тягой. И при таком положении памяти как может работать рефлексия, этой памятью в определяющей мере питаемая? Еще один трудный вопрос.

«Камни — геном времен, от камней происходит время», — пишет Парщиков. А от чего происходит пространство? И где оно?

Принципиальное отличие пространств Парщикова в том, что этих пространств нет. Верней, не было — для нас. Насколько реален его «минус-корабль», насколько реальны

идущие по городу «стеклянные башни» и многое, что он описывал, образуя входы в незримое нам, хотя и с первого взгляда знакомое и даже очевидное, будь то «жужелка» или «тренога», «ревность» или «нефть». Или поэма «Деньги», в которую мы входим через купюру, оказываясь внутри денег и ведомые, как Вергилием, фигурой интуиции.

Можно сказать, что его пространства — это пространства-входы (дромосы). Пространства-ключи. Работа, отчасти сродни исследованиям натурфилософов, отчасти визионеров. Со сложной оптикой и исследователем, включенным в опыт. А в каких-то случаях — исследователем, раздвоенным или размноженным для одновременного отслеживания каждой из точек таких пространств. Поскольку настоящее живое пространство не однородно, а пребывает в разной, сообщающейся друг с другом размерности.

> «*Колотясь в разнобое масштабов,*
> *один и тот же план туда-сюда летает*
> *меж небом и страницей, будто картошка,*
> *которую подбрасывают, остужая*».

Для исследования таких пространств нужно обладать не бинокулярным, а поликулярным зрением. И высокой скоростью ассоциативного метафорического мышления. Но не линейных ассоциаций между «далековатыми понятиями», а сложным парадоксальным синтаксисом траекторий, с опущенными звеньями, схлопывая расстояния этим взвинченным броском так, что вещь оказывается пойманной в своей свободе.

В эти пространства он вводит через зазеркальные кроличьи норы, но без самой норы, а как в непосредственную

реальность. Так устроена его поэма «Я жил на поле Полтавской битвы», или «Новогодние строчки», начинающиеся с обхода циферблата тремя персонажами — автором, снегурочкой и петухом. Само поле битвы, как и ободок циферблата, является действующим лицом в не меньшей степени, чем Карл XII или автор. И медный купорос действующее лицо в не меньшей степени, чем заяц. И дело не в том, что «есть неорганика в нас», а в том, что в первородном пространстве творения они все равны и взаимопроникаемы.

«Координат осталось только две:
есть ты и я, а посреди, моргая,
пространство скачет рыбой на траве.
Неуловима лишь бесцельность рая».

В своих оценках текстов других авторов он часто пользовался критерием непредсказуемости. У самого Парщикова степень непредсказуемости развертывания поэтического пространства, мне кажется, одна из самых высоких в русской поэзии.

Второй критерий — многоходовость. Нет одноходовых пространств (смыслов, образов, вообще — любых фигур, принадлежащих живым процессам). Вернее, есть, но они принадлежат тому чучельному двойнику с собачьим постоянством на губах.

«Мы только вероятные пространства
меж них, меж точек,
въедливых в ничто.
Мы — испаряемся, они — дымятся».

Парщиков работает с пространством в экспедиционном исследовательском режиме, как бы совмещая в себе три ипостаси: Адама, дающего имена, натуралиста эпохи Просвещения и современного перформера-испытателя, проводящего свои опыты на границах сред. Эти трое авантюрным образом связаны друг с другом в художнике с феноменальным виденьем и воображением. Каждая такая экспедиция — даже величиной с небольшое лирическое стихотворение — своего рода одиссея с новым Улиссом, без которого «как тугая прическа без шпильки, рассыпается этот ландшафт».

Существует представление, что язык, в чьи владения мы попадаем прежде, чем понимаем, куда попали, не очень приспособлен для описания картины мира, поскольку обладает определенной грамматической структурой и апеллирует к линейной логической речи. Опыт Парщикова показывает, что можно работать со сложнейшими системами и их связями на любом уровне, оставаясь в пределах дискурсивной записи.

Можно было бы сказать, что пространства эти метафизические, и это было бы верным, но лишь отчасти, поскольку в них то, что находится по ту сторону вещей, и все, что по эту, как говорит Парщиков, «снует как бешеные соболя».

Эти пространства — своего рода исследовательский полигон, где автор выводит их из себя — в обоих смыслах. Провоцируя их на экстатику, на сдвиг, сам являясь такой эксцентричной провокацией, вовлекаясь в сближение, ловя пространство на себя, на язык как на живца в этом лицедейно сосредоточенном танце. Где пространство вместе с автором становится и ареной, и актером. «Можно махнуться любимыми в этом Египте».

Возвращаясь к началу — об «игре» и «роли» пространства у Парщикова: в первородном мире игры бесконечных возможностей и превращений («Ты же актриса, ты можешь быть городом, стой!») нет ни родословной, ни начала, ни конца этой не-игры, и ни реальность ее, ни ее легитимность не выводятся из «чучельного двойника». Как восклицает Парщиков в один из таких экстатичных моментов:

«Открылись такие ножницы
меж временем и пространством,
что я превзошел возможности
всякого самозванства».

В один из его приездов в Мюнхен мы пошли с ним в известный Музей техники, оказавшись там перед самым закрытием, и выбрали из множества возможностей зал оптики. В дальнем углу зала была обустроена комната с иллюзионом, куда вело два проема за черными пологами. Он шагнул в один, я в соседний, и оба попали в оптическую западню: зеркала были расположены полукругом так, что перед каждым из нас была вереница наших близнецов, косящихся друг на друга и возвращавших нам самих себя, какими мы себя не видели и не знали. То есть двенадцать Парщиковых, глядящих друг на друга под углом крайнего отчуждения — у него, и столько же моих двойников у меня. Вышли, не проронив ни слова. Долгое время спустя он сказал: «И с этим человеком я жил, спал под одним одеялом, любил женщин?» Вот об этих пространствах и речь, которые за каждым углом и условным пологом.

У Парщикова есть короткий — в несколько строчек — поздний текст, где он определяется в своих отношениях с Богом. Заканчивается он так:

«Я Тебя не ищу.
Ты найден в своей свободе».

Кажется, эти слова могли быть сказаны и самим пространством — автору.

#49. Чат

— А где же наши дворы и шишки?

— Слушай, я сейчас на кухне, у меня тут рыба судак, я ее чищу и ненавижу, попозже отвечу.

— Я подумал, может, как-то все же устроить так, чтобы ты с Лёнькой приехала в Мюнхен — в любое и на любое время?

— Мне нужно все это тут обсудить, причем осторожно, в несколько заходов. Он, конечно же, не может запретить вашему с Лёнькой общению, но к нашим с тобой встречам болезненно не расположен. Пошла опять к судаку. Звучит все это грустно, понимаю. Тем временем я победила рыбу. Я — старик, я — море. И я читаю тебя. Понемногу украдкой. Это лучшее, что случилось за последние годы. И радуюсь, что мы снова разговариваем. По-настоящему, без этого чертова кола в спине.

— Я тебе хотел прислать один текст, но там не про нас, и я опасался.

— Вся наша нынешняя жизнь — не про нас, что уж теперь. Читала медленно, чтоб личное не примешивалось. Ну, совсем-то беспримесно не получилось, конечно. Ты и правда все меньше оставляешь читателю. Помнишь, я тебе рассказывала историю, как один мой нелюдимый знакомый попал на вечеринку, и его подруга, желая облегчить его участь, снабдила его биркой «интроверт, не

беспокоить» — в итоге он весь вечер безуспешно пытался отделаться от тех, кто непременно хотел его разговорить. Так и здесь — чем меньше остается пространства для читателя, тем — настоящему — нестерпимей жжется: идти вслед во что бы то ни стало. Ну и я бы не сказала, что это про любовь. Это про стремление стать целым, про близость, которая должна бы — но не ведет к целому, про вечное изгнание, про боль. И язык — поэтому — другой. Если раньше в нем рай и ад были слиты воедино, то теперь это язык ада, который все еще глядит вслед отплывающему раю.

— А героиня?

— Героини ведь никогда и нет и не было — в той или иной степени. Главное — в нем, где все возможно и все происходит. И тут уж абсолютно неважно, резонирует ли с ним та, что рядом, — текст от этого не перестает быть.

— Ты — лучшее из созданного господом.

— Ну надо же, буду повторять себе это по утрам, шепотом. А ты — самое нечеловеческое из созданного им же, и лучше тебя нет никого — но, кажется, я тебе уже это говорила в одной из прежних жизней, Вишну.

#50. Тэла, плато забвения

Годом раньше, разглядывая карту, думая, куда бы направиться и не найдя вблизи ничего, что привлекло бы, взяли билеты на самолет — туда, где все были, а мы до сих пор нет. В Раджастан, в Джайпур. Но уже через пару дней понял, что, как и ожидалось, это не наше место. И снова склонился над картой, где чуть не под лупой выискал деревушку Тэла, прильнувшую к тигриному заповеднику Сариска, но со стороны противоположной входу

в него, в глухой местности, куда не вели прямые дороги. Но и кривые, как оказалось, тоже. Диспетчеры на автобусных станциях прокладывали для нас какие-то невообразимые маршруты, еще и в разных направлениях, хотя по карте эта деревушка должна быть в паре часов езды к северо-востоку от Джайпура. Наконец рикша отвез нас в пригород и, ткнув пальцем в кусты, сказал, что автобус пойдет отсюда. Раздвинув эти кусты, мы действительно увидели автобус, стоящий во дворе полужилых хибар. Пустой автобус, похоже, стоял там не первый год. За столиком сидели мужчины и играли в карты. Спросил, ответили покачиванием головы, ничего не поняв. Мы собрались уходить, но что-то подсказало повременить. Через полчаса из-за угла вышел человек и сел в кресло водителя. Тэла? — спросил я. Он тоже покачал головой, то есть «да», как хотелось бы думать. Сели, поехали — водитель и нас двое. Через час автобус был полон, и нам удалось выяснить, что это единственный рейс в сутки. Через семь часов езды какими-то петлями, спускаясь в ущелья и выезжая в поля, сменив два автобуса, уже во тьме, мы сошли в Тэле. Автобус развернулся и уехал. Ни души. Только одно окно горело за полуоткрытыми воротами. Тая пошла поискать туалет и вернулась в сопровождении нескольких дружелюбных полицейских. Они позвонили кому-то, и за нами приехал хозяин единственного тут гостиного дома на окраине. Последние постояльцы были у него во время оно. Во дворе лежал верблюд. За забором, в непроглядном небе, куда указал хозяин, находился старый форт.

Расположились. Сходил в деревню за едой, но ни одной харчевни там не было, в единственной открытой лавке, кроме печенья, разжиться было особенно нечем. Поиграл в бадминтон с продавцом, потом долго искал наш дом, Тая уже спала.

Приехали мы сюда, не только надеясь проникнуть в джунгли, но и увидеть чудом сохранившийся храм седьмого века — Нилькандх, стоявший где-то на плато в заповеднике. Информации о нем почти никакой нет, сюда мало кто едет. Еще поискал и, поскольку спать не хотелось, вернулся к начатым переводам из Ригведы. Мандала X, 135. Мистическое странствие мальчика в царство смерти вослед за своим отцом. Много темных мест, так и оставленных комментаторами непроясненными. Вначале говорит сын, потом голос отца, и в финале некий голос, возможно, Ямы. Яма, бог смерти, означает также «близнец». По одному из мифов, он пожертвовал собой, чтобы проложить путь в потусторонний мир, тем самым породив земную жизнь и человека. Он сидит под деревом, но это не дерево. С ним его товарищи, все они во хмелю. Но это не хмель. Да и товарищами их вряд ли назовешь. Там и отец, только что прибывший, сам не свой, озирается и не находит ни тени своих предков. Так видится сыну, приблизившемуся к нему визионерской дорогой зренья.

Утром прошлись в деревню, присели под деревом у чайханщика. По улочке брело стадо верблюдов — коричневых, белых, черных… За ними буйволы. Под деревом расположилось человек пятнадцать из местных запорожцев. Один из них, подкручивая усы, вслух по слогам читал газету. Видать, давно сидят. Принесли чай — мне черный, Тае — с молоком, она включила камеру, сказала: поговори, я поснимаю.

Это деревушка Тэла, говорю. Или просто Тело. Заброшенное за околицу вселенной. И лежит оно рядом с тигриным заповедником Сариска. По улочке бредут буйволы вослед верблюдам. А тут у нас платоновский дворик. Местные пифагорейцы пьют чай, гутарят

о Махабхарате. Вот этот, с буденновскими усами, как раз читает ее вслух в газете. Слышите шумок? Это чайханщик на керогазке шпарит, только что налил мне стаканчик. Я попросил его кали-чай, то есть черный. Ну вот он и сделал мне этот мутный свирепый, как богиня Кали. Одна заварка, спитая, сама б Кали, наверно, этот чифир не осилила. Голова улетает. Но она здесь, собственно, незачем. Потому что… Смотрите-ка, все вдруг притихли, сидят на корточках, слушают русскую речь впервые в жизни. И этот, на заборе, макак, или, как их тут называют, бандер, свесил голову вниз, тоже прислушивается. Или в газету вглядывается, в новости про махатму Моди. Оживились, услышав знакомое слово, буденновец подкручивает ус, повторяя: Моди, Моди. Это Раджастан, понимаете: усы и тюрбан. И караван верблюдов. А прямо тут, за забором, на котором бандер разлегся, полицейский участок. Вот и среди этих хлопцев полицейский сидит, в мобильный смотрит, улыбается. Женщины кувшины на плече несут. Или кувшины плывут, несут женщин. Так и идут века. Потому что тело преходяще, а вот такие пифагорейские посиделки вечны. Может, где-то там, в мокше, в раю индуистском, они ровно в этих же позах будут сидеть. Или уже сидят. А здесь — майя, игра света — того. Обычное дело.

Лучше всех меня слушал макак на заборе, свесив ко мне голову. Прошлись к воротам в заповедник. На сафари мы, конечно, не поедем, а других вариантов, похоже, нет. Договорились с хозяином нашего дома о джипе к храму.

Мальчик и корабль. Или, по другой версии, — мальчик и колесница. Он слышит голос отца, сидящего под тем не-деревом: на мнимом корабле ты плывешь, мой мальчик. На том, что плывет во все стороны одновременно.

И песнь поверх воды перебирает нас, как четки. Древняя мантра Яме: пусть бог смерти осветит мой разум.

Нашли едальню. Чечевичный суп и чапати. Скромный завтрак аристократа. Ями, говорю Тае, сестра Ямы, соблазняла его, но он устоял. С потусторонним можно, а с родней нельзя. Мы с тобой потусторонние друг другу, нам можно. Промолчала. Даже не сказала привычное: я знаю.

О йоге вдруг заговорил, с чего бы? Вспомнил из прежней жизни, как одного моего приятеля, индуса, учителя йоги, пригласили в калифорнийский университет преподавать курс. Прилетел в Нью-Йорк и свалился в аэропорту, трясло его, никакая йога не помогла, не смог пройти эти плотные слои тамошней атмосферы. И вернулся обратно, еле в себя пришел на родине. Тая не расположена к разговору. Какая-то отстраненность в ней, ни дуновенья. Может, Тэла так действует?

А вот в Андхра-Прадеш, говорю, лет десять назад, когда нас на свете не было, оказался я в глубинке, где племена жили, и вдруг приехало местное телевиденье, узнав о пришельце. Вопросы у них были уже заготовлены, но на слове Ришикеш, йога — замерли: расскажите, просят, нашей аудитории это было бы крайне интересно, что же это такое? У меня спрашивают. А мы думаем — Индия, йога, тантра… От силы один процент населения. И настоящих среди них не найти. Они ж не в людях, не там, где школы и грамотки выдают. Уходят в горы, в тапас, наедине с собой.

Тая все чаёк прихлебывает, смотрит в сторону — что там на улице происходит. Буйволы бредут, мальчишка колесо катит проволочным крючком, как мы в детстве.

Странное равновесие у нас сейчас. Или расстояние? Где-то в себе она, а я болтаю, чапати в суп обмакивая. Какая-то Тэла, Шива ждет в заповеднике, тело сидит небесное, чай пьет… А кто тебе обещал собеседника? Это из неутолимых иллюзий. И выпьет она тебя через соломинку женщины, такой же мнимой, как и ты…

Равновесие, говорю, где оно? Как-то давно в Ришикеше, когда я был еще юн… в некоторых частях своего тела, решил любопытства ради взять несколько уроков йоги. После асаны на равновесие, которую делают с закрытыми глазами, то есть равновесие — сосредоточенно незряче, учитель говорит: а теперь дышим. На «хам» — вдох, на «са» — выдох. Так, кажется, если не перепутал. Хам — это творец вместе со всем мирозданием, а са — это ты, твой выдох. Хам-са, хамса, по-одесски звучит. И как же это так бессовестно получается, спрашиваю, боженьку вдыхаем, а выдыхаем черт знает что? Ему, между прочим, в лицо выдыхаем. Он задумался, в позе равновесия.

Приехали за нами, уже сигналят.

Дорога, вскоре перейдя совсем уж в тропу, вьется по заповеднику вверх на плато. Ни шлагбаумов, ни лесного патруля на ней нет. Кроме считанных местных, да и то раз в неделю, тут никто не ходит и не ездит. Джип едва продвигается, буксуя и заваливаясь в рытвинах. Мы почти уже на плато. Над долиной внизу восходит солнце. Въезжаем сквозь бывшие ворота древнего города. Город Забвения, руины храмов, крепостные стены, фигуры, обломки, разбросанные по земле. Чтобы все это обойти, нужны дни и дни. Тысячелетнее царство, лишь облака, плывущие над плато, видят это. А по сторонам — заповедник, сюда по ночам, наверно, забредают медведи,

тигры… Плато, но нет примет высоты, если не подходить к краю, откуда далеко внизу проступает долина. Здесь в незапамятные времена был великий город Паранагар. Руины притягивают куда сильней, чем сохранившиеся с иголочки чудеса. Они живые, дышат, переговариваются, в них остановленные мгновенья, как в лицах помпейской драмы.

Храм без стен и купола, отдельно стоящие колонны, портики, арки. Здесь был алтарь, гарбхагрия, как на санскрите это место зовется, в алтаре шивалингам. Врытый в землю фриз камасутры. Обломки, кладбище времен. По дальней гряде на километры тянется крепостная стена, замыкая округу, но не земную, а вот эту, промежуточную. Как лимб.

Кто сотворил тебя, сынок? Кто на воду спустил корабль? Голос вступает. Чей — неясно. Этот вопрос на разные лады слышен и в других гимнах Ригведы. О том, что, возможно, и Бог не ведает, как все возникло. А на дне мира — дырка, отверстие. Как дудочка, чтобы дуть в обе стороны.

«Мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда», — повторял я в детстве за отцом, читавшим мне одно из моих любимых стихотворений — «Морская лихорадка» Мейсвилда. Ни отца, ни корабля, ни звезды. Что же движется во все стороны с расходящейся за спиной водой? И не только за спиной, а и перед лицом тоже.

В этой же десятой мандале Ригведы есть заговор на возвращение. Так начинается:

Когда ушла твоя душа,
Как в землю — в небеса,

Ее мы возвратим тебе,
Чтоб здесь жила-была.

Уходит, значит. А потом ее возвращают. И чувство такое, что, может быть, вся твоя жизнь — между этим уходом и возвращением.

Тая присела в густой желтой траве в мареве рябых мотыльков. За ней стоит другой храм, тоже без свода и почти без стен, в алтаре — высокая многометровая фигура Шантинатха, одного из двадцати четырех джайнских святых. Это шестнадцатый. Стоит вне времени, превратившего храм в руины. Когда обходишь храм сбоку, то за полуразрушенной стеной видна лишь верхняя часть фигуры, будто он полусидит в саркофаге или ванне под открытым небом, а вокруг обломки и фрагменты других жизней, времен, рук, голов разбросаны по земле. Длинный фриз с тысячью слоников, ни один не повторяет другого. А в овраге обломок женщины вниз лицом.

Не ново, но жизнь все больше напоминает вот такой город Забвения. С руинами здесь и там, и спросить не у кого, хотя вроде бы все знакомо. Арки, колонны, фрагменты. Женщина вниз лицом. Под небом голубым. На высоком плато, куда ведет заросшая тропа.

Спиной вперед идти, отдаляясь от джайнского храма, потому что нет сил отвести взгляд. Небольшой погост слева у тропы. Кабр, погост, по этим белым, похожим на игрушечные юрты, домикам-могилам можно посчитать, сколько настоятелей сменилось в храме за все эти времена. За погостом — Нилькандх, к которому легче добраться на облаке, чем с земли. Нилькандх Махадев, построенный в эпоху династии Ганги. Храм синегорлого Шивы. Когда

он, спасая мир после пахтанья океана дэвами и асурами при добывании амриты бессмертия, проглотил полокеана яда, и жена его, Парвати, сжала руками его шею, чтобы яд не проник в тело.

Фасады испещрены барельефами. Сцены Махабхараты, Рамаяны, Камасутры. Внутри — три алтаря: Шиве, Вишну и Брахме. А рядом с храмом за железной сеткой стоят, сидят, лежат фигуры богов и людей, собранные, видимо, в ближайшей округе. Как те, у чайханы, вдаль глядят, читают обрывок газеты, движимый по земле ветерком.

Нельзя фотографировать. Бог знает, на какой нитке спустившийся с неба служка ходит по пятам и следит, но все же мы сделали несколько снимков. Таких храмов осталось всего ничего в Индии. По легенде, спасли его пчелы, они миллионным роем преградили путь Моголам, шедшим сравнять его с землей. Пчела над символическим треугольником Шивы.

Человек вышел ниоткуда. Оказался учителем в этом крохотном селении, которое сразу и не увидеть. Даже магазина здесь нет, самоходом привозят необходимое из долины. Попросился подбросить его вниз до Тэлы. Он из Джайпура, жена в салоне красоты работает, видит ее и детей раз в две недели на выходные.

Спуск по той же дороге. Через пару часов мы окажемся в другом краю у храмового колодца восьмого века — Чанд-баори, на сто пятьдесят метров сходящего амфитеатровым конусом вглубь земли.

Сын:
У древа с дивною листвой,

где Смерть в кругу товарищей хмелеет,
отец сидит, как сам не свой,
и озирается, и не находит
ни признака почивших предков.
Его я вижу там, и сердце точит
тоска, кривой дорогой зренья
идя за ним, как день за ночью.

Отец:
На мнимом корабле ты, мальчик, но куда
плывет — не ведаешь, во все края,
похоже, одновременно. Вода
вослед за ним расходится.
И песнь поверх воды плывет,
и сквозь тебя ко мне восходит,
перебирая весь наш род
как четки жертвоприношенья.

Голос:
Кто сотворил тебя, сынок?
Кто на воду спустил корабль?
И кто сегодня б мог
сказать, как эта связь возникла?
Кому и кто ее передавал?
Не здесь ли нить и
начало жизни, и на дне ее —
отверстие, обитель
Ямы, вверенный чертог.
И дудка, чтобы дуть
в отверстие. И дерево, и Бог.
И мальчик, и корабль.

#51. Череда

А потом, но отсюда еще не видно, и Аркадий уйдет. Из самых близких друзей. При том что могли годами не видеться. Трудно о нем, хотя — вот он, открыт, казалось бы, каждому. Открыт необыкновенным даром внимания и отклика. Самого себя опережающим и в этом смысле не принадлежащим себе. И этим фамильярно пользовались многие. Очень глубокий и вместе с тем разбрызгивающий куда ни попадя эту глубину — до луж и радуг. Искрометный, с невероятной скоростью ассоциаций, за которой, казалось и сам уследить не мог. Беззащитный, летящий и неуследимый, как жизнь. Между внутренним и внешним у него была удивительная акустика, как случается у редких женщин. Общение с ним дарило неловкое ошеломление счастьем. В нем каким-то прихотливым образом сочетались самые разные отсветы — провинциального чудака, озорного интеллигента и еще бог весть кого. У него была прекрасная жена и друг — Лена, рано ушедшая. Дети уехали в Израиль. Он жил один. Аркадий, Ара — как его звали близкие. Если есть тот свет и возможен рай, то где-то на самом его краю должно быть место таким, как он, — раненным милостью божьей и не принадлежащим себе.

И совсем обезлюдеть — Геша уйдет. Много лет назад я переселился из Киева в Гурзуф, никого там не знал, писал книгу, поглядывал на дверь, вернее, на ее отсутствие — надо было навесить. По пустынной улочке шел парень, я из окна окликнул, чтобы помог. Он, увидев у меня на столе печатную машинку, сказал, чтоб я не отвлекался, он справится сам. И все украдкой поглядывал на меня, пока я стучал на машинке, а он ладил

дверь. Потом он признался, что за год до этого его сестра принесла ему книжку «Дар смерти». На задней обложке был мой портрет. Мы сдружились в том возрасте, когда такая дружба уже почти не случается. В нем было редкое сочетание природного лада — как море, как лес — и сталкера. Я забросил свою квартиру, и мы жили у него в саду, где построили капитанский мостик над садом, а внизу под нами кипела жизнь — московская, питерская, сибирская, и пиры до утра и опять до ночи — счастье небесное, и речи, и смех, и странствия, и походы в горы… А к концу сезона мы оставались одни, в другом измерении — до снега… Втроем: он, я и Чес — большой рыжий барбос, который ложился на бок, обхватывал лапами голову и, с улыбкой глядя на нас, человеческим голосом произносил: ма-ма… Нет Чеса. А два года спустя, за неделю до смерти, Геша переберется из своего дома в мою брошенную квартиру, чтобы перезимовать в тепле. Ляжет на кровать, которую мы с ним когда-то смастерили у него в саду, и умрет. Вот так все началось — с двери и «Дара смерти», и закончится на моей кровати.

А потом Праба пришлет мне из Мудумалаи снимок растерзанной тигром женщины — рядом с той поляной, где я собирался построить дом. Возвращалась из перелеска с мужем и двумя детьми, вела коз с выпаса. Прыжок, и все. Вернее, не все, а уволок на глазах мужа и детей в лес. Нашли в километре. Мертвую, но не тронул, не людоед. Странный случай. Не коз, не детей, именно ее выбрал, вот ведь. А днями раньше Вики пришлет снимок слона с пылающим на голове снопом огня. Фермер швырнул в него, подошедшего к дому, горящее одеяло. Видно, облитое керосином. И слон, вскрикнув, уходил

в ночь, молча, с этим апокалиптическим сияньем над головой. Два дня спустя его увидели рядом с деревней Бокапурам, неподалеку от храма Амман. Шел, постанывая. Лесники усыпили, но не успели довезти до больницы. Умер в открытом вагоне, привалившись к борту, свесив хобот наружу. Деревню, уже давно ставшую для меня домом, закрыли для приезжих. Вот и Индия уходит, вскрикнув, в ночь, с этим сияньем над головой.

В тот же день сообщение о Moony — человеке с чудесным именем Коля Капелькин, создателе сайта Индостан.ру, объединившем тысячи благодарных ему людей. Все эти годы рядом с ним была любимая и любящая женщина, с которой они обошли полсвета. Я с ним знаком не был, но временами мы переговаривались по почте. И было мне светло — просто от того, что я не один на этих путях. Все чаще заглядывал в его телеграм-канал «Межгалактический дирижабль», что там у него происходит. Недавно они вдвоем с Надей, которую называл своим штурманом, вернулись из Индии, немного поскитались по осенней России и перебрались в Черногорию, где в последние годы осели, деля жизнь на летнюю черногорскую и зимнюю в путешествиях по Азии. Даже в этом как-то зеркаля со мной, именно так я предлагал Тае… Перебрались, радовались, готовились к зимовке, снимали видео и ждали открытия путей на Восток. И вот он пишет в своем фб:

Осень и половина зимы вышла очень тяжелой психически и физически. Свалилось как-то все и вся, накопленное за десятилетия путешествий. Было совершено множество глупых ошибок и потерь. Полгода дирижабль трясло и кидало в стороны, поливало метеоритными дождями, отрывало крылья и двигатели. Часто казалось, что

все, больше нет межгалактического дирижабля, его унесло солнечными ветрами в черные дыры. Хантер Томпсон сломал свою печатную машинку и вынес себе мозги. Потому что все перестало приносить наслаждение. Штурман, доложите показания приборов. Настроение на ноле, здоровье на ноле, сила воли на ноле. Штурман — моя единственная поддержка. Я понял, что такое настоящая любовь. Спасибо за это. Люблю тебя как никогда раньше. Еще я понял, как я люблю Индию. Каждую ночь она снилась. Вот я иду с друзьями по улицам Варанаси или Вриндавана. Еду на пляж в Махараштру. Веду экспедицию в Гималаи. Ем тали в забегаловке в Дели около Красного Форта. В моем последнем сне я просто иду босиком из Ришикеша в Харидвар. Иду босиком, потому что мои шлепанцы кто-то свистнул. Но я никогда не был так счастлив. Я шел и повторял: благодарю, благодарю. Может, дирижабль больше не взлетит. Может, у меня еще есть шанс запустить двигатели и направиться в сторону Азии. Можете считать, что это пост надежды. Можете считать, что это пост прощания с надеждой. Как хочется жить, дышать, слышать запах любимой женщины, авиационного керосина, ходить по Индии босиком или в шлепанцах и благодарить. Спасибо вам всем. Всегда ваш, Коля Капелькин.

Через несколько дней он покончил с собой. Надя обратилась к друзьям, собрали деньги на кремацию, для которой пришлось перевозить его в Сербию, поскольку в Черногории не кремируют. Прах, когда откроют путь в Индию, она собирается развеять в тех местах, которые он перечислил в своем сне.

Как же так? Человек с таким опытом настоящего путешествия. С индийским опытом, что особенно. Еще и не

один, а милостью божьей со второй половиной — женщиной и другом. В силе, в зрелом возрасте. С делом, которое, помимо радости, приносило еще и деньги. В любимой Черногории. С уймой планов. В ожидании следующих путешествий, которые не за горами. В отчаянье кончает жизнь. Тот, с которым я себя отчасти соотносил… Что же происходит, где мы живем?

Может быть, дело в подмене твоего я? Когда приходит депрессия, тебе поначалу кажется, что ты еще справляешься и что это еще ты. Но постепенно расстановка сил меняется, и этот момент, когда уже она справляется с тобой, ты упускаешь, и не можешь не упустить: там, где был ты, твое я, там уже твой «сменщик», тот, кем она владеет. Это он, воспринимаемый тобой как свое я, мучительно вглядывается в происходящее, видит его безвыходным, принимает решения. И у тебя нет того привычного себя, который сказал бы: брось, это не ты и картина мира совсем другая, не поддавайся. Но и помощь со стороны близкого тебе человека не работает: его некому в тебе услышать. Там — сменщик. Это он, а не ты, принимает решение покончить с собой — с тобой.

Женька… Крутили педали с ней на водном велосипеде в Гурзуфе, уходя в открытое море. Ей еще не было десяти. Безоглядно солнечная, смеющаяся, длинноногая, загорелая, с золотом волос. А что это мы так похожи, спрашивала она, лукаво поглядывая на меня. И здесь, и вот здесь. И тут. Отвечая ей не всерьез, подыгрывая, я не заметил, как вдруг проговорился, что я ее отец. С мамой ее, сидевшей на берегу, мы давно по ее просьбе условились, что когда-нибудь скажем, но пока пусть все будет, как есть. К тому же она замужем, у нее двое детей, и муж считает обоих — и сына, и дочь — своими. Папа, папочка! — только и успела

вскрикнуть она и свалилась с водного велосипеда в море, захлебываясь от счастья: я знала, я чувствовала, давай же скорей к берегу — как мама обрадуется!.. Мама ее, когда вернулись, сказала: успокойся, он просто писатель, художественное воображение. Бедная, Женька. Такой красивой, сильной и безоглядно открытой росла. Такой солнечной, казалось. Так и останется неразрешимым — что же это было? Несчастный случай или…

Нет ее. Еще совсем недавно неслись с ней верхом на лошадях под Суздалью, запрокинув головы, смеясь. А когда еще девочкой была, обещал купить ей на совершеннолетие лошадь и подарить гурзуфскую квартиру, которую так любила. Квартиру, куда жизнь спустя придет Геша, чтобы согреться и умереть на моей давно опустевшей кровати. И Коля Капелькин идет по тому свету, говоря: как хочется жить, дышать, слышать запах любимой женщины, ходить по Индии босиком и благодарить… И слон в короне пламени, опускающийся на колени, спиной к миру. И мир с незаметно вошедшим в него сменщиком, и некому ни сказать, ни услышать: это не ты…

#52. Перемещения разрозненного

Душа входит в тело, как в тишь голос, который кажется не твоим, а потом в стороне от себя они расплетаются и звучат на чужом языке.

Нет, еще не пора. Не к концу сентября, когда местность, как после соитья лежит, разметавшись во все края, и все в ней чуть под углом друг к другу — море к берегу, небо к поселку, горы к горам, чуть отвернувшись, с тем же чутким зазором вины и родства. С тем же

взглядом, косящим чуть в сторону, — как по холодному полу идешь босиком, поджимая пальцы, чуть в сторону, как после близости. И повсюду этот стыдливый зазор с пустотой неумелой — меж землею и небом, дорогой и домом, водой и губами. Эта тяга родства и обратная тяга — к его отторженью. Только спайки тоски с этой ноющей сладковатой виной. Пока заживают зазоры, оставляя рубцы между людьми, словами. Пока догорает вина, помнящая о родстве. Пока остывает земля, уже протравленная к утру проступившим инеем. Не сразу, но к ноябрю.

Живешь, словно книгу читаешь, думая о разрозненном, теряя нить. Дни зудят, как комарики, пьют любовь, а потом чешется. Ты позванивай, говорят, позванивай…

Кто б мог подумать, что такое случится с двумя людьми тьму времен спустя после сотворения мира. Что вернут им рай — настоящий, не иллюзорный. Но дьявол в том, что рай этот будет для тел, а души маются за спиной, неприкаянны, льнут вослед, и отпрядывают, приходя в себя. И жизни болят, болеют — ни с телом не могут, ни без него, которое там, в этих промельках рая, одно на двоих.

И будущее, как умалишенный, с улыбкой ходит от стены к стене.

У меня два сообщения.

1. В Австралии обитает птица малюр. Ярко-бирюзовая, величиной со скворца. На нее охотится птица флейта и убивает, поймав, довольно изощренным способом: накалывает на длинный шип терновника — насквозь — и склевывает. Так вот, охота ее начинается с песни, и эту песнь издалека слышат малюры, и самец начинает вторить этой песне смерти, во весь голос, и настолько чисто

и точно, что не отличить, где чей голос. Самка при этом находится поблизости. Ученые полагают, что он делает это для привлечения к себе внимания самочки — мол, этим смертельным номером покоряя ее сердце. Полагают, хотя не уверены.

2. Гусеницы бабочки-голубянки могут в точности имитировать песнь муравьиной матки. Услышав ее, муравьи переносят гусеницу в свой муравейник с царскими почестями, кормят и лелеют ее — вплоть до того, что в голодные времена скармливают ей пережеванных своих братьев и сестер. При этом настоящую королеву выдворяют из муравейника или убивают. Потом голубянка окукливается и улетает.

Между Волгою и Гангой,
между жизнью и несмертью,
что ж ты кружишь, речь-цыганка,
где твой табор?

Жил с тобою как с судьбою,
мой соколик, говорила,
что же вторишь ты вослед мне:
где твой табор?

#53. Тарибандер

Прошел год. Взяли рикшу, едем с ветерком вдоль океана. По пути подсаживаются женщины-рыбачки с корзинами, возвращаясь из Харнай в свою деревню Панчпандари, живущую одним бесконечным лабиринтом дворов и переулков с никогда не закрывающимися дверьми домов, где коровы, собаки, дети, рыба, коты и женщины давно

срослись в единое существо. Рыба сушится, серебрясь по всей земле, и моросит, как дождь, подвешенная на нитях. Дети и коты болтаются по небу, стоящему на коровах. А женщины с хриплыми птичьими голосами могли бы взглядом класть на дно корабли, но некогда тратить себя на такие мелочи — у них рукопашный рынок на рассвете и закате, где они полыхают в грязи и гомоне такой красотой одежд и тел, что не сразу видишь восходящее над океаном солнце.

Едем мы и поем в голос: рыбачка Соня как-то в мае… И рыбачка, сидящая рядом, с удивлением поворачивает к нам голову, на ее лице проступает неуверенная улыбка, и все ширится, и наконец она кивает нам, понимающе: да, да, но дело, видите ль, не в том. Потому что эти двое пришельцев неуемно счастливы, и поют, поют, и бог с ним, что у него не очень-то со слухом, зато от души, а у нее — все чудесно, и голова ее на его плече. И рикша отводит взгляд в смущении.

Панчпандари, где нас уже знают, позади, едем дальше — к устью реки, впадающей в океан и выпадающей из него, с течением в обе стороны, смотря в какое время дня. Там рыбацкие корабельные доки, за которыми мусульманская деревня Тарибандер с двумя мечетями. А на той стороне реки — безлюдье до горизонтов, безвидный песок и небо. Заросший мангровым лесом берег реки с деревьями, забредающими в воду по грудь, а в часы отлива отступающими до лодыжек. В зарослях — брошенные, оплетенные лианами корабли. На тот берег везет маленький сухенький Яма на доисторическом челне с противовесом, похожим на длинную, скользящую по воде оглоблю — древний прообраз катамарана. Паромщик стоит на корме с шестом, бос,

просмолен, в высоко подоткнутой лунги и взглядом поверх обозримого. В челне, кроме нас, мусульманка в никабе, и мы горланим: поедем, красотка, кататься… Верней, горланю я, поглядывая на нее, Тая смеется, подпевая, а она все выше подтягивает свой никаб, но видно, что под ним улыбается.

Однажды обнаружив эти места, мы нередко сюда ездили в течение этих лет. Переправлялись на челне, шли по прибрежному песку к устью, раздевались догола и ложились у воды. Тая могла так лежать жизнь напролет, а я, опоясавшись куцым индийским флагом, наматывал праздные круги по золоту суши и серебру воды, и возвращался к ней, любуясь то вблизи, то издали. И счастье было таким первозданным, именно что. И такой радостный пес носился внутри, ну что ему скажешь, приходилось не подавать виду, ходил благороден, гол и задумчив вокруг якобы спящей красавицы.

Каждый час с обоих минаретов за рекой раздавалось пение муэдзина. Второй муэдзин чуть запаздывал, и получалось вынимавшее душу двуголосие, лившееся над этим безлюдьем и безвременьем, над пустынным берегом с вытащенными на сушу кораблями, над мангровыми лесами, над маревом океана с желтоволосой звездой над ним, над нами и сквозь нас. Я брел по воде и подпевал: «Рам, Рам», — успевая вставить этот отсвет индуизма между двумя «Аллах Акбар», которые тянул муэдзин. И оба мира переплетались.

Было два дня до ее отъезда в Севилью, я собирался еще остаться, и, видимо, надолго, думая о дальнейшем путешествии, перебирая варианты. Что-то необычайное происходило с нами. Будто кто-то незримый взял нас в ладони. И такая нежность друг к другу, тихая радость,

и столько света… но с нестерпимой собачьей печалью в глазах. И какая-то незнакомая прежде бережность друг к другу. Страшно сказать — на грани понимания. И грань эта дрожит, как жилочка. Потому что расстаемся? Но не впервые и ненадолго ведь.

И вот неслись на этой разухабистой бричке-таратайке, смеялись, пели громко: «Капитан, капитан, улыбнитесь, и «Загулял, загулял мальчонка», и «Утомленное солнце», и жались друг другу, и она так щекотно вдруг подцеловывала в плечо и шею, и рыбачки смущенно отворачивались.

Потом переправились на тот берег, легли у воды лицом к лицу, и я тихонько ей: «все вы, губы, знаете, все вы, думы, помните…» Нет, улыбается, губы — помнят, думы — знают. Ладно, говорю, и снова: все вы, губы, знаете… Она льнет поцеловать меня, но я смеюсь и чуть отстраняю ее: дело ведь, говорю, серьезное. Абсолютно, шепчет она. И тут эти два муэдзина затягивают свою песнь, мы уже сидим спиной к спине, она запрокинула голову, положив ее мне на плечо, и прикрыла глаза. Губы окаянные, думы потаенные, поем мы, и муэдзины тянут второй голос: Аллааа Акбар, и долгая их песнь, сплетающаяся с нашими голосами. Верней, создающая какую-то сводящую с ума потустороннюю акустику. Бестолковая любовь, головка забубенная… И я чувствую, как на предпоследнем слоге первого слова лицо ее чуть кривится от горечи, вкладывая в это подчеркнутое ударение всю безнадежность усилий. Муэдзин вдруг смолкает и проступает завыванье собак за рекой. Все вы, губы, помните… Она находит за своей спиной на ощупь мою ладонь. Позову я голубя… Порывы ветра глушат голос, срывают его с губ, голова ее запрокинута, глаза

прикрыты, ладонь в ладони. Пошлю дролечке письмо, и мы… Встаем, идем к воде порознь, я ныряю и плыву под водой, плыву… уже нет воздуха, совсем его нет. Она нагибается, споласкивает от песка ладони и идет вдоль берега, поддевая ногой нити воды.

#54. Каннур, Харнай

В тот приезд в Индию я был один, без Таи. Нужно было провести группу по двухнедельному маршруту, она хотела помочь, говорила, что все будет хорошо, но я в это не очень верил, понимая, что вряд ли продержимся мирно. Осталась в Севилье, благоустраивась. А я отправился на север Кералы с надеждой надолго погрузиться в тейям и снять фильм об этой древней мистерии. До приезда группы у меня был месяц.

Кочевал с актерами по округе, ел с ними, спал у костров под звездами, снимал фильм. Со временем мне удалось сблизиться с ними настолько, что меня пускали в гримерку, и я мог видеть весь многочасовой процесс приготовлений. Однажды я попробовал сосчитать детали наряда, в который обряжают бхагавата. На второй сотне сбился со счета, а еще предстояло закончить пятиметровый головной убор ручной работы, выполняемой несколькими подмастерьями. Все это делают не мастера мировой сцены, а простые крестьяне, из года в год.

Чем дальше я погружался в их мир, тем больше мне казалось, что тейям, по своей мистической силе, глубине и красоте совершенно не с чем сравнить. Задумался сейчас. Наверно, я мог бы для краткости сказать, что это тот предельный опыт, где искусство, жизнь и бог сходятся в магическом танце. Пустая фраза. А как и чем

ее наполнить? Неловко и болезненно признаться себе, но нечем и, с большой вероятностью, — вряд ли когда-либо. Мы из другого измерения, другой культуры, времени, координат сознания, нам к этому не приблизиться, не говоря уж понять, пережить. Дело не в знаниях, их можно со временем приобрести — что означает та или эта деталь одежды, жест, поворот сюжета, рисунок музыки и прочее. Это можно, но оно мало что даст. Поскольку тут не символическое представление, не театр, а реальное проживание, нередко оканчивающееся буквальной смертью. Вернее, не оканчивающееся ею, а продолжающееся.

Чтобы участвовать в этой мистерии как зритель, а он вовлечен в происходящее не меньше «актеров», нужно обладать… Вот опять эта трудность со словами. Сказать: «мифологическим мышлением»? И мы уже в привычной культурологической ловушке, где кажется, что все понимаем.

К этому времени, на протяжении двух лет и еще двух впереди, я видел около ста тейямов. И могу сказать, что ничего не понимаю и не пойму, и дело не в моих способностях или желании. При всем кажущемся мне стремлении моем и готовности, у кого-то их может быть намного больше, но и в этом случае — в тейям не войти. Не только нам, людям с Запада, но и даже индийцам, живущим не в этой местности, где веками он происходит. Они стоят у порога, глядя на тейям как на нечто по ту сторону их обиходного восприятия. Да, любой индуистский ритуал иномирен нам. Иномирен для действительного вхождения в него и проживания, а не для интеллектуального понимания, зачастую мнимого. Хотя все это не умаляет силы воздействия этой мистерии — даже на совсем

неподготовленного зрителя, видящего тейям впервые. Будто ты находишься на очень странном космодроме другой планеты и вовлечен в неизъяснимое путешествие среди чем-то похожих на тебя, но совсем не людей, и кто из вас пришелец — неясно.

Надо бы дать хоть какое-то представление о внешнем облике бхагавата. Но как? Вроде бы не с чем сравнивать, чтобы описывать. Особенно если не знать изображения джаганната или театр Катакхали, который вырос из тейяма. Трудности с первого шага: это не одежда на нем, не наряд, а, скорее, само тело — космическое тело бога, которым обрастает бхагават в течение многих часов с помощью мастеров тейяма, готовящих его к мистерии. Весь этот космос ручной сборки передается столетьями из поколенья в поколенье. Так называемый наряд состоит из сотен составных частей и деталей. Материал — красные ткани, тонко нарезанный тростник, ювелирные украшения и живой огонь в особых приспособлениях, крепящихся к наряду. Вначале тело бхагавата покрывается красной охрой — лицо, ладони, ступни. Затем на лицо наносится сложный символический узор — красной, черной и белой краской. На лодыжки надеваются обручи с бубенцами, которыми он вместе с музыкантами будет сопровождать танец. Потом создают «подъюбочный» каркас, оборачивая его бедра многометровой, сильно накрахмаленной белой тканью, затягивая в поясе и расправляя в виде прихотливо мятого колокола книзу. Поверх ложится красная ткань. Ширина тела в бедрах получается до двух метров. Верх может быть разным, в зависимости от роли и сюжета. От голого, обклеенного пухом и перьями тела, окрашенного горчичным цветом, до невообразимых форм расходящегося по обе

стороны костюмированного декора. Черный парик из конского волоса с хвостом до талии. Пятиметровой высоты головной убор с изощренной проработкой каждой пяди. Или двухметровый в диаметре и сложно устроенный многослойный диск, в центре которого — лицо бхагавата. И все это мерцает и переливается десятками ювелирных украшений — браслетами, цепочками, кольцами, инкрустированными в одежду камешками и стеклами. И горит живыми огнями — диадемой по периметру огромного диска вокруг лица и в «ладонях» деревянных рук, растущих из бедер. В таком облачении он в течение часа повествует сюжет, исполняя изощренный танец — ладно бы, когда медленный гипнотичный, но и входя в крайнюю экстатику, развихриваясь до неуследимого, совершая обратные перевороты через голову и уносясь во тьму. И возвращаясь для жертвоприношения — по нынешним временам, рябой курицы, а в прежние — черного козла.

Помню чувство, когда я впервые увидел этого горящего огнями мистического пришельца, выходящего из тьмы к кострам у храма в ночной глухомани и на миг остановившего на мне свой взгляд, я подумал тогда — каково же было видеть такое здешним простолюдинам сотни и тысячи лет назад.

Особенно близко я сошелся с барабанщиком одной из трупп — Сантошем. Прежде он исполнял роль бхагавата, входил в огонь, ложился в развал раскаленных углей, но теперь уже был не в тех силах и возрасте. Он и направлял меня, зная, когда и в какой из деревень будет следующий тейям.

Обычно тейям длится с вечера до утра и состоит из нескольких сюжетов, самые рискованные по исполнению

происходят перед рассветом, когда публика редеет, и мне доводилось видеть такие тейямы, когда почти не оставалось зрителей. Именно тогда все и начиналось. На одном из таких тейямов бхагават вдруг вспыхнул: пламя от керосиновых светильников, которыми он был обряжен, перекинулось на него, когда он в танце начал вращаться вокруг своей оси. Такое случается нередко, и не многих удается спасти.

Однажды мне довелось провести не один час в гримерной вдвоем с лежавшим рядом со мной бхагаватом, которого только начали обряжать и готовить. Все вдруг вышли, гримерная опустела. За пологом доносился бой барабанов, шло представление, сотни зрителей, горящие костры у храма. Он лежал с закрытыми глазами, я сидел у его изголовья. В нем происходило физически передаваемое мне восхождение по вертикальной стене — без стены. Трудное для него. Почти нестерпимое для меня, сидевшего рядом. Хотя кто я, чтоб это чувствовать. Так пропитывается ткань, краем опущенная в раствор. Он лежал наполовину в не здесь, в не человеке.

Когда я вышел из гримерной, уже была ночь, полыхали костры, бхагаваты со своей свитой исполняли мистерию тейяма, двадцать молодых полуголых, с перекинутой через плечо белой тканью барабанщиков стояли в полукруге, пританцовывая и подзадоривая друг друга, входя в ту степень экстатики, когда полифония их дроби казалась уже недосягаемой ни для исполнения, ни для слуха. И падала в тишину, и вновь набирала силу сложными переливами. Они шли за горящим бхагаватом, раздвигавшим толпу зрителей своим танцем. Где каждое движение, жест, выраженье лица было исполнено смысла и развивало сюжет, который считывался по этим знакам.

Под стеной храма сидели мальчик с девочкой, взявшись за руки и опустив глаза. Подхваченный людским потоком и движимый вослед бхагавату, я каким-то образом еще и снимал на камеру, но время от времени возвращался к ним взглядом: там происходила необычайной тонкости и тишины драма любви.

То и дело кто-нибудь из зрителей впадал в измененное состояние. Одного, рухнувшего как подкошенный, унесли. Другая, вся передергиваясь, пошла за бхагаватом и с криком опрокинулась, начав выкатываться по земле. Рядом со мной стоял старик с детским лицом, его с двух сторон держали под руки, он резко вскидывал голову, изумленно оборачиваясь то к одному, то к другому. И вдруг обвис.

Сотни зрителей, вовлеченных в действо, следовали за перемещением бхагавата вокруг храма, и не меньше людей расположились в стороне — на границе подворья и сразу за ним начинавшихся джунглей. В основном родители с маленькими детьми. Так много детей на ночном тейяме я видел впервые. Одни спали на руках у родителей или просто на земле, другие играли или смотрели представление. Ближе к утру, но еще затемно, я вдруг заметил, что все они куда-то исчезли. К тому часу, когда начало светать и закончился последний сюжет тейяма, произошло то, что останется у меня, наверно, одним из самых сильных и не переводимых в слова впечатлений. Дети, голые до пояса, босые, с заплетенным в волосы жасмином, держащие в руках горшочки с огнем и озаренные им, шли нескончаемым крестным ходом из тьмы джунглей. По обеим сторонам их сопровождали родители, одной рукой поддерживая ребенка, а в свободной неся кокос и цветы. Эта колонна по трое в ряду тянулась из

леса и заплеталась вокруг храма. Впереди колонны шли барабанщики, за ними — танцующие бхагаваты в фантастических облаченьях, вращаясь и рисуя факелами в воздухе огневые узоры. И вослед им — крестный ход детей. Совсем маленьких, кто еще не умел ходить, несли на руках. Никто не кричал, не плакал. Даже эти крохи, казалось, переживали всю сокровенность происходящего. И не сказать, кто кого держал за руку — не было ни детей, ни взрослых, было единое в божьих ладонях тейяма. Видение светлого апокалипсиса.

К утру, думая, как выбираться оттуда в сторону города, я спросил дорогу у индуса в одежде садху, с которым мы познакомились среди ночи, он сказал, что может меня подвезти, только переоденется. Зашел за дерево и через несколько минут оттуда вышел полицейский. Пойдем, сказал он, машина на дороге. Несколько дней спустя, уже в городе, я остановился на перекрестке, где с тележки продавали ломтики арбуза. Взял, ем, подходит незнакомый индиец в сером офисном костюме. Ну как, спрашивает, съедобный? Вполне, говорю. Стоим, едим. Оказался тем самым садху-полицейским.

На одном из дальних хуторов, куда меня занесло к концу месяца, я к утру после тейяма пытался вспомнить имя деревни, где накануне в гостинице оставил вещи, деньги и документы. А добирался на этот хутор попутными перекладными. Поехал наугад с индусом на его мотороллере, даже не спросив, куда он направляется. Оказался поэтом, пел мне через плечо на ветру свои строчки, оставляя за спиной незнакомые края, ехал я с ним и думал — ну и бог с ними, с вещами, когда-нибудь, может, объявятся, и вдруг вижу — вроде знакомые места, вот и та улочка, где гостиница.

Зашел в едальню к мусульманам, что, спрашиваю, есть? Чикен-сука, говорят. Сука, переспрашиваю, и как выглядит? Заходим в кухню, открывает крышку… Ну, сука как сука, лежит, изрядно вываленная в подливочной распутице. Больше ничего, спрашиваю. Ничего, говорит. Взял ее, и хороша была.

Заночевал в другой деревушке, где на выселках стоит храм посреди пруда, в котором живет крокодил, наворачивающий бесконечные тихие круги — со времен Вед, как сказал сторож.

Вернулся в Каннур, в ту неприметную гостиницу, где меня давно знают. По утрам ходил на соседнюю стройку со своей немецкой турочкой и тамильским кофе, там временно осели два индийца неопределенного возраста, у них газ-баллон и плитка, варят чаны еды, пекут чапати для сорока паломников, с которыми дрейфуют по стране. Один из этих двоих, показывая на второго, говорил: это моя жена. По-английски они ни слова, но мы ладили, я варил кофе, угощали друг друга. Потом брал рикшу, показывая клочок бумаги с адресом на местном языке малаялам очередной непроизносимой деревушки в джунглях, куда ехал смотреть тейям. И возвращался уже через несколько дней.

Можно бы писать книгу и без женщин, без отношений. Перемежать странствие размышлениями, приключением мысли. Или взять малоизвестную судьбу какого-нибудь древнего индийского философа. И перемежать, вплетая. Но, как сказано в Вишну-пуране: есть лишь она и он, и больше на земле ничто не ново. И есть путь. Не разговоры о нем и смыслах с больших и маленьких букв, а само его проживание. И опыт здесь — мнимая величина,

чем дольше живешь — тем меньше опыта. А то немногое, что есть, не передается. И разум — даже не шлюпка, подвешенная на этом корабле. Можно, конечно, лечь в нее, покачиваясь на весу, вспоминая Гераклита, говорившего, что разум вне нас. Но не нужно. Она и он, и дорога, и больше ничего от жизни не остается.

Было еще несколько дней до прилета группы в Мумбаи, и я сел в поезд в ту сторону. Путь тянулся вдоль океана, почти по кромке. В окне — лодки, рыбаки, сети, селенья, плавни. Утром вышел в Удупи, древнем центре кришнаизма — побродить, посмотреть и к ночи ехать дальше. Смешно по-польски звучит имя этого городка: у дупи — ты задница. Кришнаитская. Там чудный храм, как космическая станция, вокруг которой плавают ее сателлиты. Похожие на однокупольные василии-блаженные на колесах с трапом, ведущим наверх в кабину этих космолетов. В час пуджи туда восходят два-три монаха и садятся у открытых окон-иллюминаторов, а сотни паломников-бурлаков тянут этот храм на канатах, возя его по улицам вокруг храма. Впереди — слон и музыканты. Космонавты машут из окон и улыбаются. И так каждый день.

Доехал до Харнай. Подготовил все для приезда группы. Десять человек — из России, Беларуси, Европы и Америки. В лицо я знал лишь одного из них — Виктора, жившего в Мюнхене, мы встретились с ним перед моим вылетом в Индию, побродили в парке, он был очень воодушевлен, считал дни до путешествия. Никогда в Индии не был, мечтал о ней. Чуть старше меня, в отличной форме, заядлый горник со множеством восхождений, в этой же группе был и его напарник из Питера. Рейсы прибыли, вся группа в сборе, кроме Виктора. Летел он с пересадкой

в Стамбуле, где в этот же самолет пересаживалась половина группы. Караулим с его питерским другом у выхода, идут часы. Спрашиваю у наших из Америки, летевших тем же рейсом. Так его, говорят они, еще на взлетной унесли из самолета — сердце. Персонал пытался помочь, потом скорую вызвали, а стюардесса обратилась к пассажирам — нет ли кого из русских тут? У него в кармане вместе с паспортом лежало твое письмо к каждому из нас с инструкциями. Мы же его не знали, он далеко впереди сидел, только когда письмо увидели — поняли. Что же вы молчали, говорю, мы же его ждем, ждем…

В здание аэропорта по индийским правилам не войти без билета на вылет. Вызвал представителя Турецких авиалиний, они связались со Стамбулом, но ничего прояснить не получалось — пять утра, звоните позже, в рабочие часы. Сели в машины, едем, семь часов дороги, звоню в Стамбул, связываюсь с немецким консульством, пока не решаясь звонить в Россию его бывшей жене, он жил в Мюнхене один. Наконец приходит ответ: умер. На взлетной полосе. На взлетной в Индию, о которой мечтал всю жизнь. Так мы и прошли весь маршрут — с ним, без него. Харнай, Панхаликаджи, тейям в Керале, заповедник Мудумалаи. С его пустыми комнатами в отелях, полкой в поезде, креслом в самолете…

Попрощались в заповеднике, где жили в коттеджах у Прабы, посадил группу в машины до аэропорта. Куда ж теперь? Впереди месяц, но плана не было. Накануне разговаривал с Вики. Он говорит: а слыхал ли ты о Мелукоте? Это храмовый центр вишнуизма в одной деревушке на холме в стороне от дорог. В соседнем штате Карнатака. Всего сто пятьдесят километров на север. Выйти на развилке и дальше по проселочной. И показывает

в мобильном снимок. Храм в небесах на чуть вывернутой ладони скалы, безлюдье вокруг.

#55. Чат

— У тебя там Тая, удобно ли?

— Она в Москве давно. Мы разошлись, уж не знаю, насовсем ли на этот раз. У тебя есть немного времени сейчас? Хотел кое-что показать тебе.

— Я на 307-й странице из 340.

— И я — в жизни. И строчки плывут.

— Не балуйся, у тебя еще много страниц. А у меня история Казанского театра и Искусство советского плаката. А у тебя олени, слоны и тейям, а ты жалуешься… Иди супчику поешь, ты сильно осунулся.

— Я казанский сирота в ханты-мансийской вселенной.

— Ты Вишну, ты Брахма, ты солнечный свет.

— О леденчики твои, летят во тьме, моргают и слезятся… Я тебе на почту отправил. Только ты мне все же побыстрей напиши, а то я и так волнуюсь.

— Разорвал сердце. И светло так, и невыносимо. Безотносительно нас, всего на свете. И относительно нас — тоже.

— Как же я рад тебе. Ведь все так непредсказуемо, а вдруг ты так обожглась бы… Ладно, о другом, а то я взволнован. Смотрел вчера в интернете о возможности купить слоненка в Индии. Нет, никак нельзя. Черт его знает, как жить дальше. Мы сейчас с мамой в какой-то глухомани, похожей на маленький поселок 90-х между Керчью и Феодосией, называется Крит. Море штормит, пляж крохотный, галька и камни.

— Я так люблю это место у Саши Соколова, где — та ли? та? — ой, пошла перечесть это место и зачиталась. Я, когда рядом была с тобой, все боялась, что самозванка. Но ведь это оттого, что у тебя всегда открыто это: а вдруг за поворотом? а вдруг не та?

— Ты боялась, да, я тебе не гожусь, говорила, но мы-то знали.

— Знаешь, когда ты с Таей — от неизвестности еще мучительней. Другое дело, что я тебе могу предложить… А внутри все равно ведь есть оленек, который ножкой топает, поэтому я стараюсь читать все это… по-родственному. Мне так бессовестно хорошо с тобой — когда мы видимся, разговариваем. Да, так бессовестно легко, интересно, единственно возможно…. Но не могу я, понимаешь, не могу сейчас ни-че-го. Все годы, что без тебя, — ничего не помню, не летит душа, а одно утро наше вспомню — и озарено все. Любое! Как легко, как ладно было… как певче! Да, вот это, пожалуй, главное ведь. И ничем не заменишь, не подменишь… Ну вот, я опять в слезах вся. А я же давно не умею. Знаешь, я бы не выжила, если б не Лёнька. Не уцелела бы. И так странно — если б не Лёнька, может и не было бы этого всего — с нами. Всего этого неправильного.

— Да, я не могу это произносить.

— Но так и есть ведь. И поневоле приходится тебя временами ненавидеть. Шучу, шучу. Нет у меня к тебе ничего этого. И не было никогда. Обида — да. И та уж прошла. Но я приняла это, поняла, что по-другому ты был бы не ты. Раньше не могла этого понять, принять. Так что, бедный мой барбослый, не могу я тебе сказать: не надо ничего, у тебя есть я. Потому что вроде как нет у тебя никакой меня. Но как бы и есть, да — и это, может,

мешает тебе тоже. Теперь мне надо поплакать немножко. А то я экран не вижу. Как же все это чудовищно, то, что происходит с нами, и прекрасно, да, только мы так могли умудриться. Но все равно — тебе ехать в Индию, без меня, так что опять тебе вставать утром, пить кофе с сигаретой, и думать, думать… Но и одному — не дело. Тебе надо, чтоб было для кого хвост пушить. Просто последнее время тебе с каким-то покореженным эго дают. Но у тебя и самого эго будь здоров — так что, может, тебе чего объяснить хотят. Но мне твое будь-здоров-эго всегда было дорого. А им — свое, вот в чем беда. Или пусть бы уже близкое тебе эго…

#56. Мелукоте

Предчувствие не обмануло, я вновь оказался в средостенье необычайного — древний многоярусный мир на высоком холме, где столетья бродят, как коровы, и каждый переулок длиной в жизнь. Небольшая деревня в одну улицу, вдоль которой — головокружительный обрыв и текущая внизу священная река Кавери, а по другую сторону восходящее кружево переулков деревни к вершине холма, где стоит тысячелетний храм Йога Нарасимха. Стоит он на как бы скрюченной скальной пятерне вдвинутой в небо руки — кажется, едва держась на ней. За ним — такой же обрыв и долина в синеватой дымке с парящими внизу орлами. Оттуда же хорошо виден весь Мелукоте, утопающий в садах, одноэтажных домишках вперемеж с руинами храмов, мегалитами, пещерными святилищами, выпростанными из земли арками, крепостными стенами и обломками бог весть каких времен. Все это настолько срослось с будничной жизнью деревни, что, кажется, никто этого уже и не замечает. Хлев во дворе переходит

в пещерное святилище, руина храма прильнула к крестьянскому дому. В любом переулке длиной в сто шагов ты проходишь вереницу столетий. Руин, кажется, больше, чем жилых домов. Повсюду бродяжат коровы, козы, буйволы, с которыми на узких улочках не разминуться. Там же бомжуют несколько исполинских быков, глядящих на обычных коров с заоблачной высоты.

В конце главной улицы стоит такой же тысячелетний, как Йога Нарасимха, храм Челува-Нараяна. Между этими двумя главными храмами протянуты незримые нити, странные, безответные. Каждый из них погружен в себя. Первый — небесный, туда взбираются паломники, но не задерживаются там, только обходят алтарь по кругу: служба краткая, символическая, два-три монаха. Второй — корневой, наполненный могучей жизнью, напомнил мне священный Чидамбарам в Тамилнаде. Большая община монахов, живущая в деревне, проводит там утреннюю и вечернюю службу, а в праздники, которых, похоже, немногим меньше, чем дней в году, фантастически живописные ритуалы с украшенными цветами колесницами, музыкантами, песнопениями, охватывая всю деревню, дни и ночи шествуя по ее улочкам и уходя к дальним прудам в безлюдье. Таких древних священных прудов с гхатами, похожих на водные арены со ступенчатыми амфитеатрами, около ста в этой маленькой деревне. В один из праздников на главном пруде величиной в пол-Колизея был построен плавучий помост с цветочными гирляндами и иллюминацией, куда внесли мурти Вишну, совершившего плаванье по периметру пруда с духовым оркестром, факелами и песнопениями тысяч паломников, сидевших на гхатах.

У Мелукоте много имен — Нараянадри, Ведадри, Ядавадри, Ятишейла, Тирунараянапурам… Восемьсот домов, четыре тысячи жителей. Почти все — вайшнавы. Половина из них так или иначе связаны с храмовой жизнью. Сюда в одиннадцатом веке пришел изгнанный из земли тамилов, где процветал культ Шивы, ачарья Рамануджи. Изгнанный, как Дант в Равенну. И прожил здесь двенадцать лет, создав вишишта-адвайту, придав вишнуизму те очертания, в которых он и пребывает сегодня. Наряду с этим Рамануджи восстановил и заново освятил храм Челувана-Нараяна, нашел спрятанное в земле под термитником мурти Вишну — то, которому, по поверью, поклонялся Рама и Брахма. Основал религиозный центр в Мелукоте, внес ряд реформ в отправление культа — например, допущение низших каст к богослужению. В некотором смысле фигуру Рамануджи в вишнуизме можно соотнести с фигурой Лютера для католиков. У шиваитов, например, была попытка придать культу Шивы такие же упорядоченные очертания, но дальше повтора на свой лад сделанного Рамануджей в вишишта-адвайте они не продвинулись, создав шива-вишишта-адвайту. Можно бы соотнести его с Абхинавагуптой и его ролью в кашмирском шиваизме, но это уже отдельный разговор.

Живописный скальный холм, плывущий в безвременье с двумя могучими храмами и поселком, непрерывно раскладывающим пасьянсы событий. Рамануджи, растворенный повсюду в воздухе — между домами, крестьянами, мегалитами, буйволами, монахами, колесницами, песнопениями гимнов Ригведы, факелами, паломниками, храмовыми пещерами, безднами обрывов по сторонам и синевой долин далеко внизу. И на краю

поселка — академия санскрита, научный центр в саду, разбитом по законам васту, с библиотекой в десять тысяч манускриптов, написанных на пальмовых дощечках тысячу и более лет назад. Здесь работает всего несколько сотрудников, а сама академия — два одноэтажных здания, сокрытых за листвой деревьев. А за садом — еще одна бездна и пустошь до горизонта, где находится невидимый отсюда поселок Таннур — бывшая резиденция Майсурского царства. А по другую сторону Мелукоте — заповедник волков, леопардов и панголинов, утопающий в зеленых холмах, на одном из которых пустынный храм Дурги, куда закрыты дороги, и сам храм безлюден, но затеплен огонь, и у ног богини лежит свежий цветок гибискуса. Туда мы с Таей взойдем полгода спустя, а за нами по гладкой крутой скале будут взбираться двое егерей, чтобы нас остановить. А когда вернемся в Мелукоте, то на его окраине набредем на двухъярусные пещеры в скале, возраст которых плавает по ту сторону первого тысячелетья, а вокруг — рощи забвения с руинами мегалитов на манер маленьких стоунхенджей, заросшие аппиевы дороги и редкие пастухи с козами. И почти никакой историографии.

Когда я разговаривал с директором академии, он с воодушевлением показывал начало работы по сбору сведений о Мелукоте, в том числе свидетельств старожилов и, может быть, сохранившихся у них архивов. Начало. Чтобы собрать эти крохи. От маленькой необъятной вселенной. Живой, очевидной и почти неведомой. С хором монахов, поющих в факельном сумраке храма гимны Ригведы почти так же, как это происходило тысячи лет назад. Думал ли я, что не просто вживую буду слышать и видеть это, но и буквально перемещусь в те времена,

сходя с ума от пятидесятиголосья мощных и красивых умом и телом полуголых монахов, поющих оттуда, где еще не остыли дни творенья. А что я знал об альварах — индийских трубадурах, создавших полторы тысячи лет назад пятую — дравидскую — Веду из нескольких тысяч стихов о мистической любви? Случай привел меня в храм Челува-Нараяна именно в день праздника святого Амальвара, когда и исполнялись его гимны на тамильском. Полночи после этого, приходя в себя, я просидел на пустынном краю обрыва, один, вернее, вдвоем с восходящей из тьмы круглой багровой луной.

Этого быть не может, но, к счастью, сюда все еще не проложены туристические тропы, и нет иностранцев, а в будние дни совершенно пустынно, жизнь течет, как сотни лет назад. Но и в праздники сюда добираются лишь паломники, обычно не остающиеся на ночь, гостиниц тут, кроме одной с пятью номерами, нет, а в ашрамах свободных мест не много. Есть, правда, в году несколько праздников со столпотворением, и особенно в день Вайрамуди, день главной реликвии храма — короны Вишну, на которой драгоценных камней, как звезд в небе. Праздник этот длится тринадцать дней, на него съезжается около полумиллиона паломников. Корону водружают на мурти Вишну, и в паланкине, убранном цветами, несут по деревне. А потом прячут на год. Волна паломников уходит, и проступает мир будничных чудес.

Что же сказать? Светлое, тихое, чтоб не спугнуть, не проснуться, ошеломленье. От каждого дня, от невозможной фантасмагории любой из прогулок. Идешь, будто в мареве бабочек — в рое времен и миров. К двум местам на земле, ставшим для меня в последние годы нечаянным

даром и домом — Харнай у океана и Масинагуди в заповеднике, добавилось третье — Мелукоте.

Устроился я на краю деревни, на самой ее верхотуре в ласточкином гнезде над пропастью. Это ашрам Рамануджи, задуманный для проведения конференций, которых пока что одна-две в году, а в их отсутствие используемый как гостиница для приезжих, но паломники не знают об этом месте, находящемся на отшибе. Так и стоит, пустуя. Устраивался я уже в темноте, объяснившись на пальцах и улыбками с хозяйкой по имени Ашвини, которая была сильно испугана поначалу, впервые говоря с иностранцем, но потом мы сдружились, и полгода спустя уже радостно встречала, когда приехал с Таей.

Только наутро я разглядел, где я. Огромный холл с длинным панорамным окном над пропастью, с кружащими вровень окну орлами и синеватой дымкой долины внизу, стелящейся к горизонту. Несколько простых чистых комнат с горячей водой. Кухня, где тут же сварил свой кофе, вышел во двор, присел на какой-то врытый в землю камень, пригляделся к нему, а он весь испещрен древними надписями. И такие же плиты валяются повсюду вокруг. Одна из них приспособлена у колонки под стирку. Внизу — бездна, вверху, чуть в стороне, — храм Йога Нарасимха на каменной пятерне, возносящей его к небу. Из бездны по невидимой тропе поднимаются буйволы, проходят мимо, заглядывая в мою чашку кофе.

Понгал, понгал, восклицает пастух, кивая мне и указывая на солнце, — Сурия, Макар Санкранти! Вот оно что, сегодня Понгал, праздник урожая, день Сурии, начало зимнего солнцестояния, тамильский месяц таи. Надо же, имя Таи. Но будет и другой день месяца таи, в другом

краю, и праздник другой, нелегкий, с нею. А сегодня украшают коров, благодарят их, кормят понгалом — сладким рисом с кардамоном, орешками и всякой волшебной всячиной. Это третий день. Первый — празднуют в кругу родных. Второй — славят солнце. А в четвертый — благословляют птиц.

Подошли две нарядные девушки и смущенно протянули мне на подносе сладкую съедобную волшбу. И крохотная сахарная коровка там же, в мешочке.

Вот что по-настоящему важно. Солнце. Из главных праздников у индусов. Солнце, под которым ходит Матушка-земля. И держится за коровку. Над которой поют птицы. Из этих чудес и рождается человек. И благодарит их, просит милости, плодородия, особенно в эти дни.

Спустился в деревню, встретил по пути мифического исполина — из тех трех быков, которые глядят на обычных коров, да и на людей с заоблачной высоты. Черный с белыми материками. Поздравил, поговорил с ним о смыслах жизни и немножко о Махабхарате. Он опустил и придвинул голову к моему лицу, лизнул в плечо, оставив на нем воспоминание о мысе Горн.

По переулкам водят нарядных, крашенных в желтые пятна коров с золотыми рогами и привязанными к ним воздушными шарами. У некоторых между пятнами белые и красные отпечатки людских ладоней — взрослых и детских. Коровы подходят к открытым дверям домов, откуда им выносят сласти, бананы и рисовый понгал. И проводят маленькую пуджу с блюдцем огня, обносимого вокруг коровы, с обменом благодарностями и благословениями.

Вышел к священным прудам, которые называют здесь коте. Паломники совершали свои омовения, окунали

детей, а потом сидели группами на гхатах, пели мантры, обедали, смеялись. Гладь воды иногда нарушалась морщинкой плывущей змеи. Обезьяны, завидев, тут же выбирались на сушу. Спустился на рыночную улицу, выпил тростникового сока, свежевыжатого на кафкианской давилке, познакомился с Рамануджи. Им оказался рослый крестьянский парень с чудесной широкой улыбкой, которую он от смущенья не знал куда деть. Взялся быть моим проводником и очень воодушевился моей страстью к джунглям, близкой и ему, но разделить ее до сих пор было не с кем, ходил один. Показал в мобильном снимки панголина — мечту мою.

Присел у храма Челува-Нараяны в ожидании начала службы. Рядом сидел молодой монах, которому, как оказалось, по отцовской монашеской линии было около восьмисот лет. В хинди, говорит он, вдруг обернувшись ко мне, девять форм настоящего времени, десять прошедшего и четыре будущего. Девять, десять, четыре, понимаете? Обменялись улыбками и неожиданно разговорились: о человеке в мире, о возможности отклика на дар жизни, о небесной любви, разорванной в небе и взошедшей на земле садами, оттуда свернули к свободе выбора, потом — к свободному выбору своих родителей и своего прошлого, а оттуда — почему буддизм был выпровожен из Индии, и дальше — о ничтожестве предсказуемого мира без чудес. И затихли. Подошел пожилой монах, хотел, похоже, что-то важное сказать своему собрату, но увидев, насколько глубоко мы заняты молчанием, удалился. Потом долго смеялись, а отчего — не вспомнить. Что-то очень бесчеловечно философское. И поймал себя на том, что рассказываю ему дивную историю о нашем с Любой трехмесячном сыне, свалившемся вниз головой

на мраморный пол в Ришикеше, и о дальнейшей карусели ада и рая индийской медицины. А к чему? Девять, десять, четыре. И пошли в храм на певчую службу в честь св. Амальвара, поэта-мистика раннего Средневековья.

Храм со стороны улицы выглядит небольшим, приземистым, еще и, к сожалению, выкрашен белесовато-желтой краской поверх древнего живого слоя. Верхний опоясывающий его фриз густонаселен фигурами богов и сценами Камасутры. В одной из сцен — полулежащая женщина с раздвинутыми ногами и входящий в нее слон. А изнутри храм огромен. Собственно храм — как закрытая шкатулка — находится в центре, а вокруг него по периметру расположены широкие галереи с колоннами, рукавами, притворами и алтарями малых храмов. Высокие каменные колонны испещрены древней резьбой. Пол — ниже уровня улицы, что создает ощущение подземелья, но с просветами: галереи устроены так, что одна сторона их расположена под сводом, другая под открытым небом. По галереям прогуливаются монахи и прихожане. Или сидят на каменных скамьях, ступенях и просто на темных тысячелетних плитах пола. У некоторых притворов горят факелы. Один из монахов, старик с мягким женственным лицом, сидит читает письмо. Я, проходя, пошутил: от мамы? Он заулыбался. Двое монахов стоят под сводами галереи и о чем-то возбужденно беседуют. Третий стоит отдельно, скрестив легкие, ветхие ладони на груди. Верней, не скрестив, для этого нужно ими владеть, как и усилием, чтобы скрестить. А они, ладони — как последние два листа на сухом деревце, готовые опасть. И сам он как деревце, с тонкой морщинистой корой, за которой уже ничего и нет: большая голова со щетинкой волос на темени, колеблющаяся нитка рта, и большие

влажные глаза, глядящие перед собой в никуда с той кротостью одиночества, которое уже ничем не утишить. Что-то шепчет, не слышное и самому себе, только сдвоенная нитка рта чуть колеблется.

Два храма: на высокой скале Йога Нарасимха — львиная ипостась Вишну, победившая великого демона, и Челува-Нараяна, где Нараяна — вселенская его ипостась, тот гончарный круг, на котором вращаются миры. В Законах Ману впервые говорится об изначальных водах, называемых «нара» и порожденных Нараяной. Елена Блаватская соотносит Нараяну с Духом и водами. А челува — мурти Вишну, его древнее изваяние, стоящее в алтаре храма. То, которое так лелеял Рама. Бытует история любви дочери мусульманского правителя к этому мурти Вишну, то есть к самому Вишну, поскольку здесь нет границы между овеществленным символом и самой сущностью. Например, когда движется храмовая процессия вайшнавов, неся на паланкине мурти Вишну, двое монахов, идущих по сторонам от него, обмахивают его опахалами из павлиньих перьев, чтобы ему было не жарко, а впереди идет еще один и держит зеркало, обращенное к богу, чтобы он видел себя и дорогу домой, в храм. Так вот, эта девочка всей душой полюбила мурти Вишну и проводила с ним годы в играх и разговорах, а когда ее отец переехал с семьей и двором в Дели, она взяла из храма это мурти с собой. И Рамануджи, в ту пору перебравшийся из Таннура в Мелукоте, отправился к ней, чтобы вернуть Вишну в опустевший храм. Но она не могла расстаться с ним, и тогда Рамануджи встал под ее балконом и сказал: пусть бог сам выберет, с кем ему быть. И девочка выронила мурти, упавшее в руки Рамануджи. Девочка взрослела и сохла от любовной тоски, и в конце концов

вернулась в Мелукоте, чтобы быть ближе к возлюбленному. И ныне в храме стоит маленькая мурти этой девочки, и, говорят, по ночам они выходят из своих недвижных очертаний и танцуют во тьме под сводами храма — девочка в паранджe и шальварах и Вишну.

А Нарасимха, одна из инкарнаций Вишну в облике льва, глядит из каждой лавки — его маски вывешены на витринах, покачиваясь на ветру. Интересна история про великого демона, который был поначалу не менее великим аскетом, простоявшим в медитации несколько тысяч лет, птицы вили гнезда в его волосах, термиты возводили свои замки у его ног. Брахма, глядя на этот беспримерный подвиг, говорит: проси, чего хочешь. Бессмертия, вздыхает праведник. Бессмертия нет даже у меня, отвечает Брахма и наделяет его взамен всем, что тот просит, кроме бессмертия. И демон становится властелином всех миров, которые вскоре начинают стонать под его игом. И тогда боги взмолились к Вишну, который принял облик Нарасимхи и вступил в поединок с этим вселенским оборотнем.

Бог знает, что он смертен. И не может ответить с определенностью, как и кем был создан мир. Такая метафизика мне по душе.

Ашвини сказала, что неожиданно приезжают попечители центра Рамануджи, большая группа, все комнаты будут заняты, и помогла мне на неделю снять в деревне жилье. Переселился я в самую гущу деревенской жизни, была у меня верхняя светелка в двухэтажном домике в кривом переулке, где вся жизнь протекала во дворе — люди, коровы, собаки, куры, буйволы, утренние и вечерние пуджи, песнопения, огни, весь круговорот будничной волшбы.

Сидел на своем голом хлипком балконе, пил кофе и смотрел. А кофе варил у хозяйки — стройной, длинноволосой, безмолвной и очень красивой, тело которой, казалось, светилось даже под ярко-желтым сари. Она часами по утрам, чуть нагнувшись на крыльце, расчесывала волосы, ниспадавшие до земли. Но вначале расчесывала дочь, которая украдкой сквозь застящие глаза волосы поглядывала в мою сторону. А рядом сидела бабушка, перебиравшая чечевицу и время от времени грызя с того боку, где еще были зубы, сладкую палку тростника, сезон которого уже начался. Я проходил в их дом, варил кофе и подымался на свой балкон напротив, продолжая смотреть этот многосерийный фильм, все больше погружаясь в это чудесное состояние со множеством измерений одновременно, которые, как карточная колода, перетасовывались в незримых руках и раскладывались всякий раз в новом пасьянсе.

Чуть левее, в огороде, виднелся древний дольмен, о который чесали свои бока буйволы, а справа, за забором, проглядывали руины храма, с которым сросся жилой дом. Дальше, за хлевом, зияли в скалах проломы в пещерные храмы. Времена и события паслись на воле, проходя сквозь людей и друг друга. Все это кружилось и тонуло в непрерывных вайшнавских праздниках с песнопениями, факельными шествиями, колесницами с гигантскими фантастическими фигурами, утопающими в цветах, и оголенными до пояса 800-летними монахами с молодым крепким телом, необычайно жизнерадостными, и при этом с той колодезной глубиной, где и речь стихает, и свет.

У меня было много разговоров с ними. И отдельных — вдвоем, и в кругу братии. В Мелукоте около пятидесяти

монахов, но точнее сказать трудно: одни постоянно живут в домах и ашрамах деревни, другие странствуют и возвращаются. Между утренней и вечерней службой они исчезают из виду, отдыхают или сидят под тенистыми деревьями, проводя время в беседах или чтении. Я не раз находил себя сидящим под деревом с кем-либо из них в неторопливой беседе, блуждающей где-то у истоков мироздания, и вместе с тем, как бы труден разговор ни был, в нем всегда оставалось место юмору и смеху.

Но случалось и так, что не хватало сил, чтобы просто следовать пониманием за их речью и мыслью, не то что вести диалог. Так было в один из первых дней. После службы мы случайно оказались стоящими у одной колонны. Старец в малахитовой шали, видимо, из верхних чинов, с седой жесткой бородой и глазами, похожими на мокрые камешки, освещенные солнцем. Разговор поначалу топтался у берега, но потом, коснувшись адвайты, стал стремительно отдаляться от моих интеллектуальных и психических возможностей. Понемногу придя в себя, я заметил, что давно стою один в пустом храме.

Но бывало и по-другому — курьезно и весело. Среди монахов было несколько неразлучных жизнелюбов борцовского телосложения. Как-то они подошли ко мне и говорят: Россия — страна мудрецов. С чего бы это? — спрашиваю. Раша, говорят, происходит от слова «риши», на санскрите — старец, мудрец. И смеются.

Так листались дни. Просыпаясь, выходил на балкон, где неизменно сидел на ограде петушок, тут же слетавший вниз — к маме и дочке, так же неизменно в этот час расчесывавших волосы на крыльце. Варил кофе, смотрел жизнь, шел прогуляться по переулкам, завтракал

в чайной на рыночной улице и перемещался к главному храмовому пруду — коте. Звучит как к-т — компьютерная томография. Это и есть своего рода сканирование священной гладью пруда внутренних времен и пространств. Коте эти созданы, по поверью, Рамой, пролетавшим над этой местностью. 108 прудов, конечно. Сидел, наблюдал, снимал видео. Обедал в храмовой едальне, единственной на всю деревню, если не считать чайные и быструю еду с колес. Подавали там традиционное тали на пальмовых листьях и овощной супчик, по-здешнему называемый хули. И отправлялся в лесничество — в который раз договариваться о поездке с егерями в заповедник. Что наконец и удалось — втроем на мотоцикле, а потом пешком в холмы, но панголинов мы так и не нашли, хотя были рядом, судя по следам.

Или сидел на балконе, читал. Про хутор Таннур, например, куда собирался съездить — всего в десяти-пятнадцати километрах, но прямых дорог нет, автобусы не ходят, и когда я лишь полгода спустя, уже с Таей, отправился туда, взяв рикшу, ехали мы полями, лесами, дворами — несколько часов. В Таннуре была резиденция майсурской династии. Рамануджи пришел именно туда поначалу. Король был джайном и строил в округе джайнские храмы, но, по мере сближения с Рамануджи в их долгих беседах, постепенно склонялся в сторону вайшнавов и, сменив веру, велел разобрать все джайнские храмы и из тех же камней воздвигнуть храмы, посвященные Вишну. Затем Рамануджи перебрался в Мелукоте, где и прожил двенадцать лет, написав вишишта-адвайту. В основе его веры и практической философии лежит бхакти — мистическая любовь, и, конечно, он опирался в том числе на наследие альваров, поэтов-мистиков. Их

было четырнадцать, среди них одна женщина. Жили они с шестого по четырнадцатый век, а непосредственным предшественником Рамануджи был святой Ямуначарья. Все это уже было известно, я только упорядочивал ворох сведений, по ходу останавливаясь на любопытном. Как, например, согласно священным текстам, перечень необходимых навыков для достойных мужчин и женщин:

«Пение, игра на музыкальных инструментах, танец, игра на сцене, живопись, нанесение на тело тилаки и узоров из рисовой муки и цветов, изготовление цветочных украшений, водное музицирование, водная игра, смешивание цветов, создание гирлянд, украшение головы гирляндами и цветами, изготовление костюмов для актеров, художественное украшение ушей, создание ароматов, искусство надевания украшений, показ фокусов, ловкость рук, кулинарное искусство, изготовление напитков, рукоделие, вышивание, игра на вине и дамару, отгадывание загадок, декламация стихов, сочинительство стихов, пересказ книг, пересказ пьес и историй, разгадывание стихов-загадок, изготовление выкроек для одежды, изготовление стрел, прядение, плотницкие работы, архитектура, проверка металлов и драгоценных камней, металлургия, огранка драгоценных камней, знание минералов, траволечение, искусство ведения бараньих и петушиных боев, одомашнивание попугаев, использование духов, уход за волосами, отправка символических сообщений, софистика, ведение споров, изготовление игрушек, изготовление янтр, использование амулетов, ведение беседы, анализ стихов, маскировка при помощи одежды, ведение игр, знание духов, управление колесницей, письмо, уход за слонами и лошадьми, изготовление тамбул, плавание».

Какой же замысловато нарядный человек снаряжался, такому и умереть недосуг. Особенно тронула отправка символических сообщений. Вышел на балкон, одно сообщение уже сидело на ветке дерева — райская мухоловка. Около получаса наблюдал за ней. Удивительная птица, не первый раз я ее вижу, но здесь было как никогда близко и долго. Черный растопыренный гребешок, голубой клюв и такое же ярко-голубое колечко вокруг зрачка. Самочки в терракотовых, чуть распахнутых пеньюарах, а вот самцы меняют цвет несколько раз в жизни и становятся белыми, хвост удлиняется так, что становится чуть не втрое длиннее тела. Вернее, не хвост, а одно перышко, как зимняя колея. Безногая райская птица, как ее назвал Линней, описывая по безногой тушке, привезенной туземцами. Отсюда потянулся миф, что летят они из рая, не касаясь земли. Она сидела на ветке, держа в клюве стрекозу — перламутровую в нежно-голубом клюве. Приблизил зумом камеры: стрекоза была живая, мухоловка держала ее, казалось, настолько осторожно, чтобы не повредить, но и не выронить. Странно, что так долго и почти недвижно, только несколько раз сменила ветку. Вдвоем. Вспомнил, как в Нагбиде с Таей пошли на ночевку к озеру, где вся округа была в следах тигрицы-людоеда. Там на лугу из-под ног вскидывались дивные птицы… как же они назывались? Выпало из памяти. Вскидывались, как тряпичные узелки. И — даже не перелетая, а както перешвыриваясь на десяток шагов и неловко падая в траву. Заинтересовавшись, я шел за ними, они подпускали почти вплотную и снова вскидывались. Глаза у них были похожи на бельма. А еще вспомнил изумрудных голубей в Нагархоле, когда шли с Таей в тумане вдоль заповедника. Несколько фигур ее и несколько

моих, появлявшихся в промоинах тумана с разных сторон. А над нами на верхушках голых деревьев сидели изумрудные голуби в открывавшемся и вновь затуманивавшемся окне. На тонких веточках, которые лишь подразумевались.

Мухоловка наконец взлетела, плавно унося свой баснословно длинный хвост в сторону академии санскрита.

#57. Сад санскрита

Прошла неделя, и я вернулся в свое ласточкино гнездо Рамануджи. Ашвини, надев грозную львиную маску Нарасимхи, которые продавались тут в сувенирных лавках на каждом шагу, и вооружившись длинной палкой, гоняла обезьян, бесчинствовавших на крыше. Девочка из соседнего дома, стирая белье у колонки, смущенно отворачивалась, радуясь, что я вернулся. На ночь в этом зазеркалье над бездной я оставался один, Ашвини давала мне ключ и уходила в деревню.

К этому времени я уже посетил академию санскрита, находившуюся на окраине деревни, и теперь каждый день наведывался туда. Исследовательский центр с табличками на дверях: «Упанишады», «Пураны», «Рамаяна» и так далее. Рядом — корпус библиотеки с десятью тысячами манускриптов, написанных на пальмовых листьях. Невообразимо, но в каждой такой книге, похожей на стопку школьных линеек, перетянутых бечевкой, может уместиться вся Махабхарата или Рамаяна. Двадцать четыре строки на каждой дощечке, испещренной мелким почерком. На таких дощечках были написаны наши с Любой судьбы, найденные и выданные нам в библиотеке Акаши девять лет назад, куда нас привел Рашид. Что-то там было

и про Женьку, какой-то несчастный случай, но вроде все должно было обойтись…

Тысячи пальмовых манускриптов лежат под номерами на железных этажерках, образуя библиотечный лабиринт. Написаны они на санскрите, старотамильском или на почти таком же древнем языке Карнатаки — каннада. Этому способу записи более четырех тысяч лет. Пальмовый лист высушивался и обрезался до 30–50 сантиметров в длину и 5–10 в ширину. Текст наносился заостренным металлическим стилом, которым прорезывали буквы, затем покрывали смесью масла и сажи и полировали пчелиным воском. Или же писалось тушью. Есть в библиотеке и несколько стеллажей с древними бумажными рукописями, и манускрипты на бересте, которую использовали в Кашмире.

Мне повезло в первый же приход познакомиться с ведущим сотрудником академии, с которым у нас сложились долгие дружеские отношения — на годы. Звали его Нараяна, имя одной из ипостасей Вишну. На первый взгляд он совсем не производил того впечатления, кем на деле был. Вроде ничем не запоминающееся лицо и обычная цивильная одежда. При этом его внутреннее пространство не уступало лабиринту библиотеки, он и сам был этой библиотекой, и в то же время знания там не пылились и не тяготили его. Очень подвижный жизнерадостный ум, парадоксальные узоры ассоциаций, мягкая ирония, дар слышать собеседника и оставлять чуткие пробелы там, где словам лучше не суетиться. Именно что Нараяна — равновесный круговорот миров. Он и провел меня по исследовательскому центру и библиотеке, рассказывая, знакомя с сотрудниками, которых там, как ни странно, всего несколько человек. Заметив, что я понимаю чуть больше, чем он ожидал,

ему самому становился все интересней наш разговор, где уже не нужно было исполнять казенную роль экскурсовода.

На санскрите, одном из самых совершенных и богатых языков мира, уже давно не говорят и не пишут. Но в Карнатаке есть поселок Матур, где санскрит до сих пор обиходный язык деревенских жителей. Все никак я туда не доеду, но, вспомнив, спросил Нараяну — не говорит ли кто из сотрудников библиотеки на санскрите. Пожалуйста, сказал он и открыл дверь, где в кабинете за письменным столом сидел грузный, седовласый, похожий на садху человек в больших очках, и через минуту по нашей просьбе начал читать по памяти древнюю Вишну-пурану, и так увлекся, что в окне за его спиной уже садилось солнце, а он все складывал пальцы в различные мудры в такт произносимой речи. А в другом кабинете индус помоложе и сухощавей, в белой шали, наброшенной на голое тело по диагонали, прикрыл глаза, настроился и исполнил один из гимнов Ригведы. Пока слушал, вспомнил, что не раз видел его по утрам на реке за деревней, долго и одиноко плывущего против теченья.

К моим ежедневным прогулкам по округе добавилось и посещение академии. Либо сидел в библиотеке, читал то, что было на английском, начиная с жизни и трудов Рамануджи и заканчивая историей края, либо проводил часы в разговорах с сотрудниками академии. Но главным, конечно, были беседы с Нараяной. О, как же я, выходит, истосковался по такому общению, и в родном-то языке не часто происходящему, когда о боге, пути, смерти и жизни говоришь как о самом тактильно близком, но отправляясь за этим в настоящее странствие, откуда не возвращаются. Да еще и с таким собеседником, оставляя

друг друга в молчании и находя осторожными тропами слов. И улыбки. А нередко и смеха. Обходными путями, с вглядыванием, засадами — сродни джунглевым. О началах и концах мира, о месте речи в нем — даже божественной — которая, согласно священным текстам, способна доходить лишь до определенной черты, а дальше — может, но уже как бы без своей речевой амуниции, и, возвращаясь из этого неречевого опыта, приходит в себя, утрачивая его, этот опыт, и обретая речь. Об этом мы говорили в один из первых наших разговоров. Все безвозвратнее уходя в эти смутные дали и в то же время оказываясь все ближе друг к другу и настоящему времени. Которое Создатель пересоздавал до тех пор, пока сотворенное, а не Он, не сказало ему: хорошо. И о вайшнавах, которые, в отличие от шиваитов, считают, что не в майе, не в иллюзии мира дело, а в лиле, игре. Мир — игра, но она реальна. Мир реален, но это игра. Но штука в том, что нет того, кто мог бы сказать: the game is over, тем самым отделив одно от другого. Они неотделимы друг от друга, и обеим нет конца. Never, говорит Нараяна. И смеемся, идем пить чай. Но не успокаиваемся, а теребим другие дали, уже не погружаясь глубоко, а расслабленно, за чаем — о буддизме, выросшем здесь и ушедшем на восток с миром, нарисованным взрослым твердым карандашом 2-Т, и индуизме, созданном детскими мягкими цветными, с его прятками перевоплощений и теплым раем мокши. И о парампаре босой индийской жизни.

В одну из таких встреч возникла мысль, а не попробовать ли нам, совместно со специалистами академии и монахами храма, сделать несколько переводов древних индуистских текстов на русский. Переводов с опорой на звуковой строй, спанду, дыханье, которое, согласно

Упанишадам, и есть речь, разлитая по телу. Не случайно письменный санскрит, доведенный до филигранного уровня, с уже созданной Панини в середине первого тысячелетия до нашей эры нормативной грамматикой, на протяжении еще многих веков пребывал не у дел, — устная традиция покрывала все поле жизни. Это как если бы, изобретя электричество, не пользоваться им, а еще веками жить ясным днем и при свечах. Или космический корабль, прозябающий в амбаре на заднем дворе. Этот живой огонь речи, который передавался из поколения в поколение, опираясь на предписания Самаведы, и попробовать воссоздать в русском. Обсуждая все это построчно с практикой распева и дыхания, при том что исполнялись ведические тексты под музыку, где в отличие от нашей двенадцатитоновой октавы, у них — двадцать два тона, с четвертьтонами и неравными промежутками между ними, и отображать эту своего рода мистерию перевода в виде некоего мультимедийного дневника, в основе которого была бы видеозапись происходящего. Нараяна воодушевился и готов бескорыстно участвовать, и со стороны сотрудников, да и монахов, думает, отказа не будет. И не раз еще в другие мои приезды и в переписке мы возвращались к этой мысли — не только с ним, но и с теми монахами, с кем особенно сдружился. Может быть, со временем эта затея и воплотится.

А пока бродил по поселку — один или в компании ладного улыбчивого крестьянина Рамануджи, с которым собирались отправиться в здешние джунгли поискать панголинов, этих многомиллионолетних созданий с похожим на доспехи окостеневшим волосяным покровом, длинным носом и маленькими ручками, которые они носят у самого лица, будто дуют в ладони или несут

незримый лесной ридикюль. Или сидел, уже считая дни до отъезда, в своем ласточкином гнезде над пропастью, глядя вдаль, а если и опускал взгляд вниз, то, спохватываясь, отводил. Не из боязни высоты, этого у меня нет. А из-за гибели Женьки, с тех пор.

Однажды, за несколько лет до ухода, она прилетела в Мюнхен, меня в то время не было, но она хотела побыть с мамой, с ней они души не чаяли друг в друге, больше всего, наверно, она была в нее, бабушку по моей линии. Стояло лето, и они пошли в открытый бассейн в большом саду с горками, аттракционами и вышками для прыжков в воду. Плавала она чудесно, но с большой высоты никогда не ныряла, а тут с первого захода полезла на самую верхнюю площадку — метров десять или больше. И сиганула безоглядно, что очень в ее характере. Летела, размахивая руками, заваливаясь набок. Мама моя смотрела, обмерев. И особенно теперь отвести взгляд не может, когда вспоминает.

Никто не видел, как она летела в последний путь. Лежала на земле, еще живая, только моргала быстро-быстро. И когда в реанимацию привезли, еще жива была. Девочка, как твое имя? — спросили. Женя, ответила. И ее не стало.

Сидел, смотрел в даль, в синеватую дымку, перебирал в памяти. Был у нас с ней один случай, которому нет слов. Ей было, кажется, девятнадцать, она недавно поступила в университет на лингвистику, гуляли с ней поздним зимним вечером по Замоскворечью, зашли в клуб-квартирник «Третий путь», музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное — одно, другое, и так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами — сидеть,

разговаривать, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, говорю ей. Иду в туалет, возвращаюсь, а там, на выходе, закуток между баром и танцевальным залом, блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И вот мы стоим, прижавшись друг к другу, еле касаясь губами, ресницами, может, глаза у меня и прикрыты, но и не нужно видеть, потому что все уже произошло, она здесь, со мной, мы одно, единое, навсегда. Разве спрашивают имя у навсегда, разве заглядывают в лицо единому? Просто была одна жизнь, и кончилась, верней, началась, настоящая — я нашел ее — мою единственную, такую родную, мою. Кто же она — с моими ладонями на ее щеках, или ее ладонями на моих? Я все стою с закрытыми глазами, а она тихо отдаляется, как отплывает, но мне не страшно, потому что мы нашли друг друга и уже ничто не может нас разлучить, выронить, потерять… Она где-то здесь, как и я для нее — где-то здесь. Мне светло и спокойно, как никогда, только сердце подрагивает, но не от тревоги, от счастья. Возвращаюсь к барной стойке, мы продолжаем о чем-то разговаривать с Женькой, что-то еще заказываем, я вижу ее губы, но голоса не слышу, то есть и слышу и нет — меня относит туда, в только что случившееся. Да ты не слушаешь, говорит она, где ты? И я рассказываю ей — сбивчиво, о только что случившемся. У нее такое лицо изумленное. Разве ты, говорит, не понял? Это же я была.

#58. Перемещения разрозненного

Написал письмо Сурии. Такой бы домик присмотреть, как у него в заповеднике, где мы гостили. На краю деревни, вблизи джунглей, и чтобы можно было ходить туда, не прячась от лесников. Чтобы речка была или озерцо, куда выходят слоны, тигры, олени. Чтобы смешанный лес и абрис гор где-то вдали. Чтобы примерно так, как в Мудумалаи, где у озера стоит брошенная двухъярусная дозорная башня со смотровой площадкой наверху. Там бы, на юге, в краю дравидов. Две-три комнаты, кухня с крюком под потолком, чтоб подвешивать продукты, веранда с небольшим садом, за которым чуть вдали — джунгли, и, если поднести к глазам бинокль, видно, как слон после купанья посыпает себя пылью — бледно-карминовой в лучах заката. И тает линия гор. Обжиться там: топчан, столик для кофе — настоящего, со здешних плантаций, и варить в турочке. И ходить в лес — еще затемно, когда только светает, и потом к закату. А ты будешь ждать, ждать дома, чем-то там заниматься по хозяйству, но и жить у меня в сердце между ударами, пока я в лесу сижу в засаде. Но и вместе будем ходить, да. В те дни, когда тебе не будет страшно. Будет. Но надо так, чтобы при этом светло.

Как странно. Временами я мысленно говорю с одной как с другой. И спохватываюсь. И не могу остановиться. Жизнь двоится, плывет. И не наводится на резкость. При жизни.

Местность лежит, как запавшая клавиша.
Местность ли, женщина…
И память, как пыль, в лицо летит, и огибает.

Да, такой вот wildlife-ashram был бы у нас, лесная тантра. Одна ты, один я, одно солнце, один лес, немножко памяти и по щепоти прочего. Я омывал бы тебя узнаванием, как няня — Одиссея. А ты — плела бы и распускала узоры моих очертаний. Такая вот парампара. Не смейся. И башня для наблюдений и любви. Пока не истаем, как та линия гор в глазном хрусталике.

И еще в доме у нас эта голость должна быть. Чуть приоткрытая. Или даже совсем одетая, но голость. Чуть прищуренная, дразнящая, изматывающая стыдом и счастьем. Чтобы вся неприкаянность, вся эта кромешная несовместимость наша как двух людей, вопреки законам материи, вдруг оборачивалась божьей милостью нестерпимым родством. Видишь, как я целомудрен, как боюсь спугнуть этот отъявленный разгул нашей близости.

Осталось понять, как быть с речью, любовью, памятью, и еще — со всем, что между нами. Верней, что они будут делать — с нами.

Оса с пчелой в траве сцепились. Оса скользнула в сторону, взлетела. А пчела, верней, две половинки от нее, лежит: недвижна нижняя, а верхняя, кренясь крылом, ползет кругами.

Как же это собрать? Как же собрать эту жизнь? Все так разбросано в ней, как тело Озириса. Так оно, видно, и происходит: думаем, что живем, а потом не собрать. Это, наверно, и станет участью на том свете: собирание жизни, вечное.

Оса к пчеле вернулась, к верхней половинке, взяла и держит на весу лицо ее, как пиалу, и пьет…

Тут во дворе живет трехцветный кот-женщина. Бродит по ночным мюнхенским улицам, а утром стучит лапой

в мое окно, медитативно осматривает комнату, разглядывает картины. Ни покормить его, ни приласкать. Любое из благих намерений он еле терпит. Люди, кажется, навсегда выбыли из его восприятия. Люди, дни, времена года. Я зову его Пришвин. Варя Пришвин. И подсаживаю на шкаф, который почти упирается в потолок: только там, в этой темной щели, где пылится рисовальный архив, он может забыться, пережидая день.

Или ключ бренчит, иль река в кармане. Солнце змеится сквозь эту муть или ты, родная?

А вчера происходило странное. Улитка взобралась на стол на веранде и оказалась на краю пепельницы, исполняя над пеплом некий танец. Когда я приблизился к ней, она обернулась, продолжая раскачивать голову в воздухе. Перенес ее на траву, она свернулась там в безжизненную нашлепку… такой климтовский куполок тусклого золота. И все. Казалось бы, ну улитка, их тьмы тут. А весь вечер было муторно на душе, что-то она хотела… а я не понял, сделал что-то не то, не так. Не услышал, не разглядел, вошел в жизнь, в событие «через голову» происходящего, с самонадеянной чуткостью. Которая вроде бы нередко не подводила. Черта с два. Вся жизнь искалечена этой самонадеянной чуткостью.

Непроглядные «я», как в гареме жены перешептываются...

Было у нее четыре тела и одна душа: в одном — ходила, в другом — летела, в третьем — любила, то есть старела, а четвертое не нашла.

Что ж происходит с энергией при распаде цветка, лошади, человека, какие поет она песни, чьим горлом?

Сурия пишет, что сегодня «оформлял» тигрицу-людоеда в Боре, убитую крестьянами. Может, ту самую, которая бродила у нашего дома, выслеживала дикобразов у ручья? Помнишь те снимки обглоданного лесника, которые нам показывал учитель местной школы, по совместительству змеелов? Если эта тигрица была с детенышами, то у них все это запишется в памяти и потом, при случае, «выйдет в люди». Все мы детеныши ранних записей, сколько ни пиши поверх. Ты во мне, я в тебе, домик в джунглях, вся эта полуприкрытая жизнью голость.

Полоснул рассвет, и зарезал ночь.

Как же она называлась — та деревушка с колдунами-душегубами? А за ней река, лес, солнце в дымке. Когда впервые вышли с тобой к той реке и я приблизил зумом плывущее вдали бревно, обомлел: крокодил, но каких-то мифических размеров, таких уж давно не существует в мире. Но вот же. Потом каждый день мы видели их — плывущих, лежащих на другом берегу. А когда показали егерям снимки, они глазам не верили, но не длине изумляясь, а тому, что у них тут, оказывается, и крокодилы есть — прямо под носом, за кордоном. Мы этот кордон огибали, пробираясь в заповедник, чтобы нас не заметили, и обход этот вел через тихую лучезарную топь, она прям сияла: иди, иди… Как палимпсест с погребенными слоями людей, животных, птиц. Мы перебирались через эту топь вместе, но порознь. Я, в отличие от тебя, мешкал перед каждым прыжком через эти зловеще улыбчивые промоины, а ты неслась без заминок. Да, проваливались — то ты, то я, по пояс и выше, но выбирались, молча, каждый в себе. А потом, перейдя, выполаскивали одежду от едкой радужной грязи, ладно и слаженно, словно мы одно тело, одна душа. Лесники с кордона, наверно, глядели на

нас, голых, в бинокль, и пятнистый олень, вдруг выбежав к нам, прянул в чащу. И шли к реке, а к вечеру возвращались в деревню, где жили в хижине Рамдаса, отца которого затоптал бизон, когда Рамдасу было семь. Там, у реки, за топью. Теперь ему под семьдесят, в нем лежит затоптанный отец. И мальчик, глядящий из-за дерева. Лесники зовут Рамдаса духом джунглей и берут с собой в особых случаях. А в соседней хижине, когда проснулись в первое наше утро, один местный колдун зарубил другого, спящего. И сидел над ним, лежащим с топориком во лбу, приговаривая: зачем ты меня встревожил, зачем… И песий вой стоял над деревней, сливаясь с женским плачем. И пока я умывался у бочки с дождевой, ты у калитки, склонившись к земле, вычесывала спутанные волосы, а потом, задумавшись, глядя поверх плетня на темнеющий воздух, собрала их с земли в щепоть и, выйдя за калитку, сожгла под деревом. Под бесприютный вой и плач, доносящийся из деревни — жутковатый, ряженый.

Все, что здесь оставляет след, исподволь потом разворачивает за плечи к себе лицом и ест, подцеловывая.

Шли к реке по несуществующей улочке этой деревни с жителями, похожими на сгоревший лес с сиротливым светом в глазах. Спускались к рукаву реки, где у безлюдного берега покачивалась бог весть с каких небес занесенная сюда эта лодочка-лебедь, садились и крутили педали, переправляясь на ту сторону, как в волшебной сказке, и маленькая облущенная голова лебедя на тонкой высокой шее была чуть впереди нас. Маленькая облущенная голова смерти. И гребень, чешущий воду за кормой. И близящийся берег с лучезарной топью за ним, лесом вдали и кордоном на холме, за которым я лежу на песке, отороченном цветущими зарослями у реки в десятке

шагов от крокодила с приоткрытой пастью и глазом, в котором я осторожно приближаюсь ползком. Глазом, как ты говорила, почти такого же цвета, как у меня. Крокодил не такой уж большой — метра четыре в нем. И восемьдесят миллионов лет. Ты сидишь под деревцем где-то позади, ждешь.

И годы на песке подсыхают, как водоросли.

Когда-то в юности я нашел в библиотеке моего деда странную книжицу — сборник судебно-медицинской экспертизы, там в оглавлении был «Редкий случай разделения человека тупым предметом на две половины», статья представляла собой протокол двух экспертов, выехавших на место автомобильной аварии, тело человека было разорвано ударом бампера на две половины так, что одна от другой оказалась на большом расстоянии, и в этом промежутке между ними ходили два эксперта — доктор наук Солохин и его помощник Тарловский, протоколировали, объяснялись, жили. Находясь между верхней и нижней половинами человека, суммарный рост которого составлял теперь двадцать семь метров, включая блуждающих в нем экспертов. Лежали вдвоем на этом белесом лоскуте песка у реки. Когда-то бывшие единым. И с ним, и этой рекой, и лесом за ним, и тобой, ждущей под деревцем, прикрыв глаза…

Светел бог, потому и в глазах темно так.

Главное, не задаваться вопросом: а зачем? О бабочке, лакающей кровь. О тебе, привставшей на цыпочки и прижавшись ко мне, и этой меленькой дрожи в тебе — от живота к горлу. О себе, невернувшемся.

#59. Чат

— Люба, люба, надо бы поговорить про Женьку, и не знаю, с какого края, столько всего. Перечитывал ее письма. Вот она, тринадцатилетняя, пишет маме моей, захлебываясь от счастья и благодарности, когда узнала, что я ее отец. Папуля, папулечка, — она кричит там, — мой, весь мой, такой мир огромный и такой родной, вот, — пишет, — все наконец на свои места встало, вся жизнь — как нитка в иголочку втянулась. И в конце: Маечка, ты не волнуйся, я позабочусь о нем, вот только немножко окрепну душой и телом.

Или такие трогательно доверчивые строчки в другом письме той же поры, уже мне: Расту я хорошо, у меня начались месячные, недавно я прочла «Детство» Горького и «Миргород» Гоголя, скоро начну «В людях».

Или, и тут лучше я тебе целиком приведу, ей примерно четырнадцать, пишет из Москвы в Мюнхен: Пишу тебе издалека, а так хочется быть близко. Я тут совсем одна, такая одинокая и разбитая. Дома обстановка угнетающая, все словно сговорились, все время ругают, читают нотации — это невыносимо. Я устала, ощущаю себя здесь чужой, где-то в стороне от всех. Мне тебя очень не хватает. Если бы я могла сбежать к тебе, я бы сбежала.

Неделю спустя она дописывает в этом же письме: Я устала бороться, взяла себя в руки. Думаю о нас, о скором счастье, о летушке, о нашей встрече, ты говоришь написать, куда бы мне хотелось, так вот, дурачок, к тебе, только к тебе.

Или вот, чуть позднее — в Мюнхен, живя у меня в Гурзуфе: Здравствуй, мой родной! Я здесь совсем одна,

в полуосвещенной комнате, ночью, рядом твое безмолвное письмо ко мне, я, такая грустная и задумчивая на твоей черно-белой фотографии, смотрящая куда-то в бездну. Я снова предалась воспоминаниям. Порой мне было тяжело, я хотела бежать от тебя, но сейчас, с улыбкой вспоминая те минуты растерянности, понимаю, как дорого мне то время, проведенное с тобой, и как мне дорог ты.

И потом пишет, что ходила втайне от мамы в паспортный стол и в загс, узнавала, как поменять фамилию на мою перед получением паспорта.

Или вот, раньше, наверное, лет десять-двенадцать ей. У нее много раз менялся почерк на протяжении этих лет — то по два-три слова в строке с огромными дырами меж ними, то все слипшееся в одно бесконечное слово, как в этом письме, на две страницы: Солнце мое! Дозвониться к тебе невозможно, вот пишу. Знаешь, все вокруг твердят одно и то же, и все против тебя. Я борюсь, настаиваю на своем. Но постепенно начинаешь задумываться, они говорят, обосновывают, уверяют. Я вспоминаю тебя, наши приключения, мои переживания, и тогда туман рассеивается, ты передал мне все самое лучшее, бесценное. Я чувствую, это мое, родное.

Или где-то в ответ на мои вопросы — раз, два, три, четыре, пять — о смыслах жизни, она выбирает два и пять. И пишет, что человек живет, чтобы познать мир, поставить цель и дойти до нее, а придет час смерти — суметь сказать себе, что жил не впустую, учился мыслить и любить. И там же приписывает, заштриховывая: Ты, наверное, думал, что я умнее, чем есть, и смеешься над моими ответами, но все же я на некоторые ответила, напиши, что ты об этом думаешь.

А потом, несколькими годами позже, открытка с изображением серой стены, из-за угла которой льется свет. И на обороте пишет: Эта стена — мое состояние без тебя, а свернешь за угол, встретимся мы — и жизнь, яркая, настоящая.

Ты знаешь, сколь мало я помню из своей жизни, почти ничего. И что, как это ни банально, смерть наводит свою резкость на прошедшее, и картина эта нередко отличается от той, что жила-была до. Я только сейчас понял, какую большую жизнь я прожил с ней. Начиная с раннего, когда учил ее читать, писать, думать, смотреть, вести дневник. И потом вовлекал ее во все миры, которыми жил, и делал это безудержно, почти без поправок на ее возможности, возраст, силы. И отпускал как равную. И она возвращалась домой, где не очень-то находила отклик. Но мне казалось, что даже и хорошо — двумя мирами расти, с противоречием, но плодотворным. И такой же ошибкой было мое представление о ее круге друзей, при ее-то открытости, образе жизни, Москве. Оказалось, никого. А я обрушивал на нее все чудеса, но и все то, с чем трудно жить, и особенно в одиночку. А потом… ну ты знаешь, какие яркие годы у нее завертелись, если со стороны смотреть. Столько безоглядных авантюр, стран, романов, мужчин — хватило б и на десяток жизней. Со стороны, а на деле была совсем одна. Пока не встретила этого оксфордского мусульманина. И три года жила в небе с ним. Мне казалось, что потихоньку эта история сходит у них на нет. Мы с ней в то время были на расстоянии, близки по-прежнему, но — на расстоянии, и я не нарушал этой дистанции, думая, что установлена она ею. Так бывало уже, и в Москве, когда жили с тобой, тоже была с ней эта дистанция, ты помнишь. А отношения с матерью у нее не всегда ладились.

При том что, конечно, любили друг друга, и потом мать действенно пыталась ее вытащить из этой депрессии, но могла и сказать ей в сердцах: осточертела ты со своей историей, когда уже освободишь нас от нее.

И вот еще что. Однажды в Крыму, когда ей было около четырнадцати, мы вышли ночью на гурзуфский пригорок, чтобы выбрать себе две звездочки на небе, рядом, чтобы всегда, где и когда бы мы ни были врозь, мы могли найти друг друга. И здесь, и после смерти. И было очень важно настроиться перед этим выбором, чтобы чувствовать действительную неслучайность в нем, и чтобы мы совпали, и еще чтобы это было такое созвездие, которое можно было всегда найти в небе. И выбрали, все получилось. И вот теперь я нашел ее письмо, там будет в конце.

Я тебя так понимаю! Все твои сомнения, опасения, какую ответственность ты на себя взял. Но не волнуйся, мы одно целое — семья, я в тебя верю, и этим все сказано. Спасибо вам с Майей за эти теплые добрые слова, сказанные по телефону, и больше ничего не нужно, они дороже всего. Кассиопея и наша с тобой звездочка повсюду следуют за мной, оберегают, словно ты, словно мы, вместе, навсегда. Возможно, через сотни тысяч лет там будем мы на веки вечные. Мечты, они исполнятся, я верю, и ты верь. Наша сила безгранична.

— Бедный ты мой, бедный. Я все эти дни живу с тем, что произошло с Женькой, с тобой — и никак собрать себя не могу, и слов не найду для тебя, и помочь чем — не знаю. Кажется, что после такой близости, какая у вас была — которой я уже не знала, только по письмам, которые ты сейчас приводишь, по твоим рассказам, — уже нельзя было потерять друг друга, что это навсегда. Но дети вырастают, отдаляются, выбирают свой путь, и не

всегда можно уберечь и спасти. Я очень тебя прошу: постарайся не винить себя, надо жить, вспоминать лучшее — и быть благодарным за все, чем вы так щедро друг друга одарили. Нет у меня ни смелости, ни мужества — таких, какие есть у тебя, какие были у Женьки. Я могу только всем сердцем переживать вместе с тобой эту боль.

#60. Оцепленный рай

Оставалось пару дней до отъезда из Харнай. Я знаю куда. Я нашел. Именно то место на Земле, которое так долго искал и уже почти не чаял. Где, надеюсь, сойдутся все мои прошлые, настоящие и будущие мечты, обернувшись жизнью. И надо же, в тот же день отношения с Таей подкосились и рухнули. В который раз, но теперь, похоже, насовсем. Еще утром был так переполнен радостью и предстоящим путешествием вдвоем, а к вечеру — как топор в груди, с ним и ходил. И досада оттуда сочилась вперемеж с защемленным счастьем. Покупал снаряжение — ехать-то в тигриные джунгли, надолго, на месяц, с палаткой. Шел в рыбацкую лавку за веревкой, продаваемой на вес, старался припомнить из своей спелеологической юности узлы, чтобы вязать в джунглях перекладины на лестнице из бамбуковых жердей. Собирал аптечку — чтобы помещалось в горсть, не больше. Чертил палаточный домик из солнцезащитной сетки, вычислял сторону треугольника и его высоту, чтобы не ошибиться с метражом. Шел в посудную лавку за кастрюлей, и потом объяснялся на пальцах с жестянщиком, сидящим у дороги, как приделать к ней проволочную дугу, чтобы вешать на перекладину над костром. И в гавань к ремонтникам баркасов — укрепить рукоять ножа — сказали, что могут, но советуют съездить в Даполи, там на

рынке сидит глухонемой леонардо, он справится лучше. И возвращался. Не разговаривали. Кроме кратких фраз, неживых. Все было пропитано этим змеиным запахом, даже счастье. Вот именно, каждый разрыв наш я переживал как яд в крови: не насмерть, но и противоядия нет. Надо же, именно сейчас. И как она находит эти моменты, будто поджидает их. Нагиня. Из подземного царства Потала. Может, и во мне, Гандхарве, дело? Может, я слишком обостренно реагирую? Похоже, поеду один. Или с Зубаиром? Все же месяц в джунглях, еще и самых отъявленных, где слонов и тигров как нигде. Смотрю дорогу по карте. А она лежит, отвернувшись к стене. Нет, не лежит. Не услышал, как ушла. В деревню, наверно, поужинать. Или у океана сидит в темноте? Что ж это за узор такой, рвется и шьется по живому и мертвому.

Нашел в сети блогера из тех мест, куда собирался. Индус, натуралист, живет в деревне у самой кромки заповедника Нагархол, за излучиной реки Кабини в Карнатаке. Позвонил ему, спросил о возможности нелегальных вылазок в заповедник. Вроде бы все складывалось. Ходил в гавань к Зубаиру, или он приходил ко мне на веранду, договаривались. Да, вдвоем едем. Не знаю, слышала ли Тая наши беседы, но, конечно, понимала, что происходит. Накануне отъезда полночи мы проговорили с ней и, обессилев, уснули, найдя под одеялом ладони друг друга. Едем втроем.

Дорога заняла два дня, вначале поезд в Карнатаку, потом из Мангалора на автобусе по живописным краям через лесные горы и ущелья. К вечеру доехали до развилки дорог, одна из которых вела к заповеднику, оставалось пару десятков километров, последний отель был здесь, на развилке, сняли два номера.

С Зубаиром происходило что-то странное, он и по природе своей был негромок, а тут совсем стих. Спросил его, не случилось ли чего? Вроде как да, но что — не сказал, да и случилось ли — неясно. Может, этот неловкий состав втроем и наши отношения с Таей? В поезде он жевал пан, но это безобидное. А в номере залег на два дня, не выходя. Открывал мне заспанный, просил дать ему немного времени, все хорошо, мол. Мы с Таей тем временем ежедневно отправлялись на перекладных в сторону заповедника на разведку и к вечеру возвращались.

Да, я вообразил невозможное. Еще в детстве. Жизнь как захватывающее робинзонское путешествие. С той же степенью свободы и открытий неведомых земель и миров, как в незапамятные времена. Не в книгах, а в реальности, казалось бы, уже не оставлявшей этому места. И вроде бы не просто вообразил, но и жил так. Волшебные дверцы в эти миры по-прежнему есть, хотя стало их куда меньше. Но тут я чувствовал, что приблизился к той, за которой сбудутся все чаянья.

И вот колесим мы по округе, переправляясь через реки в плетеных плавучих корзинах-кораклах, высматривая крокодилов, по ночным проселочным на мотоциклах, на ранних местных автобусах, и — вот она, дверца, в шаге… и шаг этот никак не сделать. Небывалый лес, река, неисчислимые звери, а в рюкзаках — все для жизни, впереди полтора месяца счастья, трудного, страшного, высшего, моего… И — колючая проволока, заставы, рвы, рай оцеплен, не войти. Нет, не как в притче Кафки о привратнике и путнике. Я не ждал, пока закроются ворота. Я ломился туда со всех сторон. Столкновения мои с охраной заповедника были уже на грани потери свободы, лез на рожон. Но были и другие встречи, когда нам неожиданно подарили

возможность бесплатных сафари в течение двадцати дней. Другое дело, что совершенно не нужных нам.

Этот молодой егерь, недавно назначенный здесь начальником, приехал с семьей из Майсура, где получил высшее образование и немного успел поработать в тамошней округе. Звали его Махеш. Здесь, у лесного кордона, он жил в небольшом доме с современным интерьером. Жена его была на последнем месяце беременности, принесла нам чай со сладостями, пока он рассказывал о черной пантере, а я смотрел его снимки, опубликованные в глянцевом журнале. Они были сделаны недавно в этом лесу, он вышел из джипа и осторожно приблизился к озерцу, из которого она лакала отраженный закат, глядя на него поверх воды желтыми, как этот закат, глазами. Кажется, ему было не очень уютно на этом кордоне. Для местных егерей он был слишком продвинутым, молодым и чужим. На стене висели бадминтонные ракетки, он посетовал, что даже поиграть не с кем, и, допив чай, мы уже резались во дворе. Вернувшись в дом, я решился сказать ему о своих планах напрямую. Рискованно, конечно, и обычно, за исключением случая с Сурией, я так не делаю, но тут мне что-то подсказывало, что можно.

Через час мы уже ехали с ним на служебном джипе, он покажет места, где мы могли бы стать лагерем на месяц. Первые пару наводок в буферной зоне заповедника были не ахти, мы с Таей выходили из джипа, осматривались: озеро, куда по ночам вроде бы выходят звери, а днем — голая местность, даже дров для костра не собрать, и деревня видна вдали. Еще поездили, и наконец Махеш, кажется, понял, что мы на самом деле хотим, и мы оказались у рва и колючей проволоки в несколько рядов. Водитель заглушил мотор. Вон там, показал

глазами Махеш. Мы с Таей пролезли под проволокой и пошли, все быстрее, не веря происходящему, ожидая, что вот-вот он окликнет нас, чтобы вернулись. Но нет, пройдя пару километров вдоль леса и оставляя справа широкий луг с озером вдали, мы скрылись за поворотом и вскоре нашли идеальное место для лагеря. Край могучего леса с непролазными зарослями и деревьями в несколько обхватов, с выходом на бескрайний луг с озером. Вернулись. Сказал Махешу, что место отличное и хорошо бы нам до сумерек успеть обустроить там лагерь. Он кивнул. Невероятно. Это его территория, его ответственность. Запретная зона. Случись что с нами — спросят с него. И не просто спросят — потеря работы, а возможно, и свободы. Надо бы нам, говорю, проволоки метров сорок — защитить лагерь от слонов. Им это, конечно, до лампочки, но все же, в мирном настроении обойдут. Да, говорит Махеш, в лесничестве найдем, я помогу. Какой-то сон, необъяснимый.

Позвонил Зубаиру, чтобы срочно ехал сюда с вещами. Тем временем зашли в лавку, купили еды на несколько первых дней. Встретили знакомого краеведа-инструктора из того гестхауса на манер африканских сафари-лоджей, которые в здешней округе начали строить предприимчивые местные. Четыреста долларов в сутки, небывалая цена для Индии, еще и в стороне от леса, лишь декорации, зато по высшему разряду. Удивительно, но все места раскуплены на месяцы вперед в это гетто для толстосумов-натуралистов. В этом же гестхаусе работал и тот блогер, с которым я разговаривал по телефону перед приездом. Сейчас он оказался в отлучке, а с его помощником мы познакомились накануне у гостиничного бассейна, он накормил нас обедом с пятью официантами за спиной,

и здесь, у лавки, случайно встретились с ним снова. Говорит, что сестра его в Запорожье учится в медицинском институте, а Тая ведь оттуда родом, да? И набирает по скайпу свою сестру. Милая индуска в запорожском общежитии на экране и запорожская Тая, смеющаяся с ней, сидя на скамейке у индийских джунглей. И мы с краеведом, наблюдающие эту сцену.

Дождались Зубаира, пролезли втроем под проволокой и пошли. Солнце садилось. На лугу у реки стоял одинокий слон и кивал, как бы не глядя в нашу сторону, а когда приблизил его зумом камеры — казалось, он улыбался. Тихое, слегка взвинченное счастье, прикрытое спокойной сосредоточенностью на том, чтобы успеть поставить лагерь до темноты. Спиной к слону, но чувствуя его улыбку. Спиной к Тае, но чувствуя ее нервное состояние — и от присутствия этого слона, и от предстоящей ночи, не говоря об этом узоре нас троих. Спиной к Зубаиру, который, кажется, совсем скис, неумело мастеря свой отдельный шалаш.

Лагерь мы ставили под чудесным деревом махуйя, из цветов которого делают вино, ими же любит лакомиться полутораметровая малабарская белка. Пока Тая с Зубаиром разводили костер и готовили ужин, я соорудил царский шатер из зеленой солнцезащитной сетки, подоткнул и сшил подолы, снаружи повесил две лампы на солнечных батареях. И стемнело. Включил лампу, тут же налетела туча термитов, застя и свет, и все кругом. Выключил — стихло, исчезли.

Тая отказалась от ужина, ушла в шатер, легла. То еще настроение. Когда приближаешься к ней, чувствуется этот тоненький высоковольтный гул. Однажды в грозу, застигнутый в поле, я спрятался в трансформаторной

будке и ночевал там. Вот этот же гул. И оголенные провода. А я совсем не электрик. Тая в шатре, мы с Зубаиром сидим у костра, по округе разбросаны черепа и кости обглоданных зверей. Когда расчищали место для лагеря от валежника, отбрасывали эти кости в сторону, Тая поглядывала, поднося дрова к костру, знаю я этот взгляд.

Вот и сбылась твоя жизнь, Серджи, ты там, куда мечтал попасть, и все так, как ты и хотел, невозможно, но вот же. И ни поделиться этой радостью, ни самому ее жить, такая растрава, все расползается в разные стороны. Лебедь, рак и щука. Лебедь в шатре. А Шахерезада-Зубаир сидит рядом и едва слышно бубнит себе под нос что-то дивно несуразное — о том, как случилось ему быть камердинером африканского короля, отправившегося на многодневную охоту с километровым обозом и полутора тысячами слуг. Видно, заговаривает себя и округу и попутно пытается уверить меня в своем лесном опыте, особенно после его недавних попыток развести костер. А на кого ж охотился король, спрашиваю. Он долго молча глядит в огонь и говорит: на зайца.

К середине ночи мы разошлись — Зубаир на четвереньках влез в свой кривобокий домик, а я лег в шатре с Таей, не рядом, на расстоянии. Чувствовал, что не спит. Верней, просыпается и засыпает. Лежал, смотрел сквозь сетку шатра на звезды, а потом тихо подошел пятнистый олень — читал. Стоял и читал неслыханное для него, глядя перед собой — шатер, нас, лежавших там, по слогам читал, вскрикивая на весь лес. А чуть поодаль, когда этот олень накричался и ушел, в наступившей тишине что-то произошло, и с предсмертным хрипом слег кабанчик.

Встали затемно, чтобы успеть на сафари к леничеству, откуда оно начиналось. Развел огонь, сварил кофе

нам, Зубаир спал, договорились, что он останется в лагере. Шли в темноте, взявшись за руки. Уж не знаю, как и что так легко и светло соединило их. Я бы сказал — лес и эта предутренняя тропа. Она бы — другое, наверно.

Возвращались в лагерь счастливые, думая о праздничном обеде, неся покупки… И подоспели — прямо к нашему изгнанию из рая. Еще успели перед тем обойти дворы в той деревеньке у входа в лес и договорились с местными умельцами сделать веревочную лестницу из бамбука, чтобы повесить на дереве в нашем лагере — на случай совсем уж ахового положения. У лаза под колючей проволокой дежурила бригада егерей на мотоциклах. Форма одежды у них похожа на полицейскую, так что издали я и не сообразил, кто это, а потом уже не до того было. Ждали, оказалось, нас. Разговор был взвинченный, сказали, чтобы мы немедленно убирались оттуда. Я, препираясь, отвечал жестко, с позиций имеющего право, требовал у них документы и сказал, что разговаривать буду только с их начальником. Намекнул, что разрешение на стоянку у нас есть, служебное. Но не был уверен, можно ли упоминать Махеша. Они все были в шлемах, так что лица, и особенно главного из них, который уже перешел на крик после того, что я его пару раз осадил, я не разглядел. Смех и грех в том, что это был заместитель Махеша, мы с ним были знакомы, но не узнали в шлеме. А потом, через несколько дней, в офисе лесничества, ожидая отправления на сафари, я рассказывал в лицах об этом эпизоде дежурному егерю, вроде бы расположенному к веселым историям, и еще удивился, что ни улыбки, ни сочувствия это не вызвало. Это и был он, помощник Махеша, второй раз неузнанный. А там, в лесу, он сам набрал номер начальника и передал мне телефон. Махеш тихим, сожалеющим тоном попросил

все же сделать, как они говорят. Уже потом стал понятней расклад на этом кордоне: этот зам Махеша, будучи местным, уже давно подсиживал его, заручившись поддержкой егерей, и ждал момента. В этом свете особенно феерично выглядел мой рассказ о свихнутом горе-егере — ему же.

Вернулись в лагерь, чтобы собрать вещи. Зубаира не было. Лежала записка, что он уезжает домой. Благодарит за все и просит прощения. Собрались, выпили чаю прощального, присели. А день какой чудесный, и лес, и лагерь — жить и жить… Встали, пошли. У Таи рюкзак — чуть меньше ее веса, у меня тоже неподъемный — Зубаир ушел налегке, а вещей на долгую стоянку. Шли, пели песни в голос, она молодец большой, держалась, еще и подбадривала. Не потому, что покидали лес, где, как по ней, вряд ли уцелели бы. Просто видя мое лицо. Долгий путь, в горку. Когда приваливались передохнуть, встать с этим рюкзаком она уже не могла, помогал ей. В деревне неожиданно встретили Зубаира, он был вдали еще и увильнул бы, но заметил, что мы его увидели. Вид у него был мятый и тихий. Повторил нам то, что в записке. Добавив, что на рассвете приходил леопард, рыскал в лагере, пока он отсиживался в своем шалаше. Так ты из-за этого уезжаешь, спросил я его, напугал? Нет, говорит. Мне надо к врачу. А что с тобой, может, я помогу, здесь найдем кого-то? Нет, шепчет, мне надо, и отводит глаза. Тая считала, что это наркотики, что он и в дороге, и в шалаше принимал что-то. Не думаю. Ладно, хорошего ему пути.

Уже к вечеру выйдя на трассу и, как оказалось, опоздав на все возможные колесные, мы заночевали на крыше придорожной продуктовой лавки. Хозяйка и чайханщик, с которыми мы познакомились днями прежде, приготовили ужин, а потом мы волшебно устроились на крыше

их хибары, где в дальнем углу сушились стручки красного перца, над головой в листьях пальмы путалась луна. А на рассвете проснулись от веселых и страшных криков снизу, с дороги — это сбежавшиеся крестьяне швыряли горящими факелами и чем попало в слона, пришедшего лакомиться на деревенских огородах. Прямо под нами стоял слон в огненном салюте.

Доехали до поселка на развилке дорог, поселились в тот же наш номер в пустынном отеле. И каждое утро, еще затемно, добирались на попутках до лесничества, чтобы отправиться на подаренные нам сафари, а после них продолжали разведывать округу в поиске какого-нибудь неприхотливого жилья у заповедника, и после вечернего сафари возвращались в темноте на попутках в наш отель, где за окном так протяжно затягивал свою песнь муэдзин, что казалось, мы уже давно не в этой жизни.

Нет, не так. Вслушиваясь, я всякий раз пытался понять, что же эта мелодия и голос делают с нами. По крайней мере, со мной. Он начинался всегда вдруг, и в следующее мгновенье чувство времени исчезало. Сердце продолжало биться, и какие-то слова произносились — мои, ее, даже секундная стрелка на часах двигалась, но время уже не существовало. Там, в этом голосе. Который брал тебя… нет, вбирал в себя. Я выходил на крышу, слушал этот голос во тьме, и мне казалось, что я отчасти начинаю понимать. В нем не было ни любви, ни ненависти. Ни надежды, ни состраданья. Ни добра, ни зла. Ни тела, ни души. Ни рождения, ни смерти. Ни света, ни тьмы. И это была не пустота. Может быть, путь. Но не имевший измерения времени. И направления. Да, ты оставался собой, по эту сторону, со всем тем, что держало тебя здесь, но то, что доносилось оттуда, было сильнее этого «здесь». И главное — оно было

не где-то там, а внутри этого «здесь», внутри тебя, и голос доносился не извне. И так было и будет всегда, говорил этот голос. И никакого света в конце тоннеля, понял? Да. И тогда он стихал. Я спускался в номер. Слушал? — спрашивала Тая, не открывая глаз. Как на том свете, говорил я и ложился рядом. Она поворачивалась на бок и, уткнувшись в мое плечо, засыпала.

А потом лег туман. И мы долго шли вдоль проволоки под током, ограждавшим заповедник. В промоинах этого тумана вдруг возникали деревья, будто написанные тушью, тонкой кистью с размывом вверху. И накатывал запах коровьих яслей — это где-то рядом за проволокой шли незримые слоны. Туман понемногу рассеивался, и мы увидели вдали внизу маленький хутор в несколько мазанок, прильнувших к заповеднику, а вокруг ни дорог, ни жилья. Я вздохнул: вот бы где поселиться. Почему нет, сказала она. На таких хуторах жилье не сдается, заметил я, это не туристическая зона, да и нечего им сдавать, даже если б хотели. А когда дошли и я присел покурить, она отлучилась и вернулась, пританцовывая: вон в том домике будем жить.

#61. Диканька

Мы назвали это нашей Диканькой. Благословенной индийской Диканькой в десять мазанок буквально в шаге от джунглей, правда, за рвом и проволокой, но здесь она была смята, а ров засыпан всякой дребеденью. Эти десять мазанок, а на деле их было, наверное, втрое больше, стояли впритык друг к другу и образовывали одну улочку с рукавчиками и дворами, где дремали в тени циклопические белые быки, суетились рябые курицы, слонялись

собаки и вечно умывались тощие кошки, а в большой кадушке с водой посреди хутора плескались дети — полуголые и совсем, как та рослая девочка, хохочущая и мотающая головой, осыпая брызгами всех вокруг со своих длинных до бедер волос.

Свой однокомнатный домик сдал нам высокий усатый, внешне похожий на сурового цыгана, а в душе очень застенчивый и по-детски наивный Манжу, вдруг утиравший слезу посреди разговора — то от пригрезившихся кисельных берегов, то от коварства взрослого мира. Сдал нам эту свою комнатенку, а сам перешел в соседнюю мазанку — к жене и детям, где и жил, а эта была на случай приездов родни и своих мечтательных уединений. Большая кровать с периной и необъятными подушками, над которой ковер, но не с мишками в лесу, а с тигром, исполненным местным Пиросмани, здесь же и кухонька с газовым баллоном, и вся утварь. По-английски на хуторе говорил только Манжу, и то едва. Жилье тут никогда не сдавалось, да и приезжих в округе не было, кроме тех, что ехали на сафари и в тот же день возвращались.

На следующий день мы встали затемно, сварили кофе, выпили его в своем дворике со звездами и лежащими у ног белыми быками с крашеными рогами, сели втроем с Манжу на мотоцикл и поехали полями, лесами, через деревушку Маги ко входу в заповедник. И были нам лангуры с лицами цвета сожженного пергамента, пятнистые олени в байковых сорочках, а потом на поляну вышел тот, кто относится к людям с яростно-ледяным презрением — леопард, а потом на верхушке дерева заметили лохматый мешок с золотым клювом — орел-змееяд, внизу стояли большие умбристые олени самбары и сверкающие в первых лучах павлины, а потом — слоны, слоны повсюду,

и меж ними пугливый и одинокий лающий олень, barking deer, который метит свою территорию слезами. И вдруг полыхнуло в кустах, вышел тигр, долгий, как день творенья, со свежим шрамом на ключице.

Выдохнули и отправились восвояси, в Диканьку, и был нам обед с борщом и запеченной в тесте свежей курицей, приготовленный Таей, и вся гоголевская палитра овощей, и краткий сон на такой сладкой летящей кровати, как только в детстве. А на закате прогулка вдоль заповедника с вылазками и засадами, и уже в темноте возвращение, и чье-то протяжное дыхание в зарослях: три слонихи. Смотреть, как они ужинают, чуть кося глазом на тебя, и ты тихо разговариваешь с ними о том, что нежнее сердца, а Тая за деревом, позади. А потом банька, своя, то есть хуторская, семейная, мы третьи в очереди, а в углу баньки заплутавшая курица, уже слепая во тьме, сидит жалуется в полусне, жаровня в глиняной яме в полу, и такая чудесная теснота, что эти двое в мыльной пене — давно уж одно с четырьмя ногами-руками, нежными, путающимися, забывшими о мытье. И чай на завалинке, и снова звезды, и Манжу присаживается рядом, говорит: не уезжайте, живите здесь, я вам дом справлю.

Так и шли наши дни, ездили на сафари, от которых росло раздражение, но и грех было отказаться, потому делали перерывы, посвящая их прогулкам по округе. Однажды зашли так далеко, что казалось, уже не найдем дорогу назад. Там еще маленький храм был у леса, храм Нага, опоясанный черными фигурами кобр. И вокруг ни души. В храме у алтаря стоял человек в деревянных колодках, усеянных гвоздями острием вверх. Просто стоял на гвоздях в тишине пустынного храма.

На обратном пути, за холмом, в нищей деревушке, в продуваемой ветрами школе, куда нас повели хохочущие дети, угостив сладкими тростниковыми палками, которые мы сгрызли с ними по пути, я устроил им нечаянный мастер-класс, а они — мне. Зашел в класс, учитель в это время обедал в каком-то сарайчике, провели урок музыки с горнами и барабанами, потом математики у школьной доски, и географии, склонившись всем классом над пыльным глобусом, и перешли к индуизму. «А кто главнее, — спрашиваю, — Вишну, Брахма или Шива?» — «Брахма!» — «А кто сильнее — Шива или Вишну?» Смеются и подталкивают вперед своего одноклассника по имени Шива. «А кто прекраснее — Лакшми или Сарасвати?» Задумались. Одно дело, говорят, покровительствовать мудрости, другое — счастью...

Однажды выбрели к озеру, пытались подобраться к черным красноголовым ибисам, всякий раз перелетавшим при приближении и истошно кричавшим, словно сорванным в аду голосом. Тая нашла сброшенную кожу кобры, светившуюся нежным серебром на солнце, и сделала браслет на запястье из хвоста, лежавшего поодаль. Дивной красоты и тихого ужаса. Красота, наверно, и окунается одним краем в него. Та, что спасет. И переправились в большой плетеной корзине на ту сторону озера. На этих кораклах с давних времен рыбачат и перевозят людей и скот. Перевозчик сидит у борта и гребет одним веслом. С виду кажется, что поместиться там может пять-шесть человек, не больше. Нас было двенадцать, не считая двух мотоциклов.

Пересекли лес и неожиданно вышли к тому туристическому гетто, где работал наш новый знакомый — инструктор-краевед с запорожской сестрой. Узнав, что нас

выселили из заповедника, пришел в театральное негодование и сказал, что действовать нужно ва-банк. Звонить Нарендре Моди? — спросил я. Нет, для начала — главе полиции края. И, выяснив номер секретаря, передал мне трубку. На удивление, через несколько минут я уже разговаривал с начальником, договорились, что завтра он ждет нас в пять вечера. Я подготовил бумагу и на отдельном листе чертеж местности, где мы хотели бы стать лагерем. Потом еще подумал и отказался от этого визита. Ни один начальник, кем бы он ни был, хоть президентом, не даст такого разрешения. Кроме Махеша, но это необъяснимый случай.

В один из дней мы поехали с Манжу на мотоцикле в джунгли к живущему в глубине леса одному из племен адиваси, сейчас уж не вспомнить имя того племени. Тая осталась в Диканьке — готовить обед и немного разобраться с фотографиями, которые уже переполнили камеру и компьютер. Племя жило в разбросанных по лесу на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга небольших хатах, похожих на украинские курени, с земляным полом и, как ни странно, электрическим светом. Есть государственная программа помощи адиваси, отсюда и установленные там солнечные батареи, и, совсем уж вызвавшие изумление, урны на каждом шагу, которыми они, похоже, совсем не пользовались. В одной из хат — школа, там шел урок для малышей, они сидели на земле и писали в раскрытые на земле тетрадки. Присел с ними, седьмым, не считая молодой учительницы. Когда-то это племя жило охотой, теперь не пойми чем. Готовят на костре, их несколько в поселении. Куры бегают между ха-тами. Лесные попугаи верещат на деревьях. Некто лежал в несколько неестественной позе рядом с колонкой, где

женщины мыли посуду; то ли пьян, то ли просто отдыхал. Я повидал немало разных племен, и особенно в глубинке Андхра-Прадеш и на холмах Ориссы, где выскочившие из леса мужички племени бондо приставили мне нож к горлу, когда я пытался объясниться с их женщинами, одетыми в ниспадавшие с плеч мелкие бусы, сквозь которые виднелось смуглое голое тело, а шеи охвачены металлическими обручами до подбородка. Это племя, в отличие от бондо, воинственно охранявшего свою территорию, выглядело давно уже примирившимся с компромиссной жизнью, хотя все еще удерживались на земле предков, не поддаваясь на сулящую выгоды государственную программу по отселению из заповедника. Тем не менее, Манжу неотступно ходил за мной, оберегая — иностранцев тут еще не видели.

Сафари, прогулки по округе, а всего лучше, когда, оставаясь вблизи хутора, шли вдоль рва до оленьего лаза под проволокой, проникали в заповедник, устраивались на заросшем холме с хорошим обзором и наблюдали. Однажды, перейдя ров, услышали выезжавший из-за поворота джип егерей, патрулировавших периметр заповедника. Прянули назад и скатились в ров, оцарапавшись до крови в колючих зарослях. Но нас все же успели заметить. Джип остановился. Они вышли, стоят на краю рва, вглядываются сквозь ветки, а мы лежим внизу, обнявшись. Что вы там делаете, наконец спрашивает тот, что посмелей. Целуемся, отвечаю со дна. Долгая пауза. А документы? Спросите у Махеша, говорю я, не разнимая объятий. Постояли, посовещались, уехали.

Приближался Новый год, в тот день утром вышли во двор, а у порога — нарисованный детьми узор праздничный для нас — ранголи. И корзинка с фруктами от семьи Манжу. Солнце встает в дымке, а по черному,

вспаханному, чуть сверкающему от росы полю идут слоны, на них сидят погонщики. Вошли на хутор, стоят, выше наших мазанок. Погонщики спешились, поливают слонов из шланга, подведенного к цистерне. Рядом детское белье сушится на веревке, женщины моют посуду, слоны переминаются, кивая, мы сидим на нашем крылечке, смотрим, и так хорошо на душе от этой будничной фантасмагории.

Манжу поехал в районный центр привезти нам козлятины для новогоднего гриля на костре, который мы собрались развести ближе к полуночи у нашего лаза в заповедник. Что и сделали, вернее, я, без Таи, она осталась в нашей светелке. Так, похоже, и встретим Новый год порознь. В этот раз совсем уж несуразный повод. Увидела, как я фотографировал ту длинноволосую девочку, снова затеявшую шумное плесканье с детьми у кадушки. Даже не голая на этот раз, в трусиках. Я вдали стоял, снимал с приближением. И что? И все. Черт его знает, что в ее голове творится. Вот все вроде хорошо, потом вдруг — щелк, и все. Мало мне подозрений на связь с Зубаиром, теперь еще и это. Хотя причина может вовсе и не здесь быть. Как и у меня, когда вдруг резко ей отвечу.

Манжу привез копытца и сухожилья, молодец, именно на шашлык. А костер хорош, постелил одеяльце, обустроил все, тьма, заповедник в шаге, шорохи, слоны, тигры, красота. Даже чуть страшновато ходить туда за дровами, но это я себя подзуживаю, козлятина уже почти готова, час до Нового. Как же она всякий раз умудряется именно в этот момент воткнуть иголку. Нет, идет. Села рядом. И лицо в отблесках такое красивое. Прилегла, положив голову мне на колени, так и смотрели в огонь, молча, осторожно трогая друг друга, как впервые.

Думали сразу после Нового года уехать. Да хоть куда, настолько сильное раздражение уже было от этих сафари с полным автобусом фотоохотников в гламурном камуфляже. И ныла тоска по настоящему лесу, нашему, пешему. То она пропускала сафари, оставаясь дома, то я. За два последних дня я видел трех тигров, она — пять. Это уже превращалось в зоопарк.

Вспомнил, как в том заповеднике с дивным именем Умред-Кархангла я все никак не мог выследить тигрицу Т-9. Мы были на служебном джипе, но не сафари, а с компанией змееловов, молодых ребят, которым нас передоверили другие змееловы — из Нагбида, у них у всех связь друг с другом. А рядом с водителем был старый опытный егерь, отец одного из ребят, теперь он на пенсии, но взялся показать заповедник. И, конечно, тигров — он знает, где и как их найти. И вот день за днем прочесываем лес и возвращаемся ни с чем. Он нервничает, чувствуя неловкость перед нами и перед ребятами. Наступает последний день перед нашим отъездом, до темноты остается около часа. Помню, как я прикрыл глаза и одно за другим выключил в сознании все… вообще все, остались только лес и она, Т-9 — как едва ощутимая блуждающая точка, на которой и сосредоточился всеми силами. И началось. Я просто шел на нее — внутри себя, прикрыв глаза, и говорил водителю на лесных развилках: здесь налево, теперь направо… Я вовсе не склонен к такой эзотерике, но там действительно открылось какое-то, что ли, энергетическое зрение, чем ближе я был к ней, тем интенсивней горела эта точка — вот, совсем рядом, стоп — и она вышла из-за куста, Т-9, ближе некуда.

В один из дней, возвращаясь с сафари, я тормознул на пустынной дороге рикшу и ехал с ветерком полями-лесами,

за рулем парнишка, легкий такой, пританцовывающий на сиденье, вдруг оборачивается и — не говорит, а вспевает всем своим телом: жизнь прекрасна, да, друг?! Еще как, отвечаю, еще как! А живет он в деревушке Маги, где два кола, два двора. А потом, в той же деревушке, идет мне навстречу человек — бос, сед, белая тряпка на бедрах, а на голове вязанка зеленых ветвей, и так улыбнулся мне, что я покачнулся. И подумал: на чем же все держится в мире? На этой улыбке. Нет, еще вот на чем: сегодня два слона стояли под деревом и, подняв хоботы, сплетали их в иероглифы, и улыбались распахнутыми ртами, и сыпалась листва с дерева в косом солнечном луче.

Неподалеку от нашей Диканьки стоит деревушка Малали, там ближайший продуктовый киоск, куда и отправилась Тая — немного пополнить наши запасы, а то как-то совсем мы обнищали, не успевая с этим из-за сафари и прогулок. На окраине этой Малали банановая плантация, где уже пару месяцев ночует тигрица с тремя полуторагодовалыми детенышами, земля там от перегноя теплее по ночам. И, уж поскольку ночует, грешным делом уложила за это время четырех коров. Крестьянам выдали компенсацию. Лесники не раз пытались ее спровадить — не получалось. Тигрица каждую ночь выходила из заповедника где-то рядом с нашим хутором, и мы не раз прислушивались к шорохам за окном и молчанью собак, поскольку, чуя тигра, они смолкают и жмутся к домам. Тая долго не возвращалась, я уже начал немного волноваться, но не из-за этой истории, днем все безопасно — тигрица в джунглях.

Наконец она пришла. Выдохнула. Рассказала. Там столпотворенье. Тигрица с детенышами на плантации. Окружили всей деревней, крестьяне с лопатами, мотыгами,

факелами. Лесники с ружьями подъехали — несколько автобусов из района. Сжимают кольцо, нервы у всех на пределе. И Махеш там. Пытается отогнать крестьян, но те слишком возбуждены. Тигрицу не видно, она где-то в глубине плантации, то с одного краю мелькнет, то с другого. Из толпы летят камни туда. Вдруг она выскочила и рванулась к ближайшему егерю — не нападая, только предупреждая и защищая себя, и назад, к детенышам, скрылась. Началась неразбериха, стрельба отовсюду, вслепую. Ранены двое — пожилой крестьянин и Махеш. Тигрица прорвалась невредимой сквозь оцепление и ушла в заповедник, детеныши метнулись вглубь плантации и залегли.

Сварил кофе, сидим, пьем. Подошел Манжу, он тоже был там, показывает видео в телефоне, которое ему переслали знакомые. Рваная съемка, крики, суета, раненых грузят в машину скорой помощи: крестьянин, видимо, еще в шоке, не чувствуя ни боли, ни близкой смерти, вскакивает с носилок, что-то горячо пытаясь сказать Махешу, тот его укладывает, успокаивая, оба в крови. Крестьянин по дороге скончался, Махеш в больнице, по проселочным едут полицейские автобусы. Семье погибшего выдадут пять лаков, что около восьми тысяч долларов, деревня успокоится, но история еще не закончена: детеныши попрежнему на плантации, тигрица ночью вернется к ним.

По-разному это происходит. В Казиранге крестьяне живут впритык к заповеднику на голой земле без леса и понимают, что животным он не менее нужен, и защищают там носорогов от браконьеров, которые спиливают им рога и продают в Китай. Ценой жизни защищают, на наших с Любой глазах это было. А в другом краю, где был с ней же, крестьяне забили самку леопарда, молодую

мать, и повесили на дереве за то, что таскала их коз. А в пустыне Раджастана житель деревушки, отец пятерых детей, заслонил собой олененка от пули браконьера.

Как терпимы к нам звери. Память у них в рубцах и шрамах. Когда сталкиваемся с ними, еще подспудно надеемся на чистый лист в отношениях, ан нет — там уже до нас побывали, и один только запах наш вызывает ярость. Боль и ярость. А мы не понимаем — как же так, ведь мы же… вроде бы…

Похоже, в последние годы меня сильно отнесло в сторону от людей. В сторону… надеюсь, человека, но какого-то другого.

Крестьянина на следующий день отпевали под барабаны, потом сожгли. Жизнь Махеша вроде бы вне опасности. Всего несколько дней назад играли с ним в бадминтон, говорили о черной пантере, собирались отправиться вместе в тот лес за озером…

Мы еще раз, последний, съездили на сафари. Три тигра, леопард, два десятка слонов, бизонов, не говоря об оленях. В один день. Последним был тигр, глядевший в упор, близко, долго. Камера моя окончательно свихнулась — то затвор отказывал, то фокус плясал, то просто дисплей становился черным с надписью «выключите камеру!». Все верно. Не надо снимать, ты ж видишь, оно не хочет. Ни оно тебя, ни ты его. Давно пора вам убираться из этого волшебного и страшного леса, дарящего сверх меры и сверх меры же отнимающего. От этих дьявольских искушений. Поезжайте в Мудумалаи, в соседний штат Тамилнад, на голубые холмы Нилгири — и живите. Прямо с утра и поезжайте.

#62. Мудумалаи

Ранним утром мы покинули нашу Диканьку и, сменив несколько автобусов, к вечеру оказались в соседнем штате Тамилнад в заповеднике Мудумалаи. Высадив нас, автобус исчез во тьме, мы остались одни на развилке дорог, там к нам и подошел, отделившись от этой тьмы, местный водитель Шаши и отвез на своем джипе в деревушку Масинагуди, ставшую нам на годы вторым домом. Вторым после Харнай. И поселились мы у Рахуля, а потом перебрались к Прабе с его женой Ладой и слугой Пушкиным в их гостевой домик у лесного озера и кромки джунглей. Там, в один из первых дней прогуливаясь у этого озерца, мы увидели семью мишек, почти как на том настенном коврике из детства, и присели под высоким кустом бамбука, не сразу заметив, что сидим рядом с храмом. Величиной с младенца. Четыре каменные фигурки: Гаруда, Шива и две его жены. Тысячелетние, сплоченные в зарослях под этим бамбуковым кустом. По ночам здесь бродят слоны, олени, днем пастухи пасут коз. Вот таким, наверно, и должен быть храм — незаметным, случайным, нигде, под кустом. А потом мимо прошел мальчик с удочкой и застенчиво попросил нас снять обувь. И благодарно сложил на груди ладони.

А днем позже мы отправились с Шаши на его джипе в джунгли. И впервые увидели маленькое чудо, которому тридцать четыре миллиона лет. Мышиный олень. Первородный, от которого все другие ветвились. Величиной с некрупную собаку, ноги как у свинки, во рту маленькие клыки. Одинок, робок, моногамен, за все эти миллионы лет не менялся. Стоял в кустарнике горестно и почти недвижно — похоже, все эти тридцать четыре миллиона лет.

А потом наблюдали за слоном с одним бивнем. Тем самым, которого видели месяцем раньше в Карнатаке, на тех сафари, куда ездили из Диканьки. Вот, оказывается, сколько этот бедолага прошел. Чтобы исподволь поглядывать, как из зарослей выходит слониха со слоненком. Второй свой бивень он потерял в битве с соперником. Шансов теперь у него на любовь и семью почти нет. Возможно, в прошлом у него с этой слонихой были какие-то отношения. Он тихо подошел сзади, намотал ее хвостик на хобот и легонько потянул к себе. С минуту она покачивала головой, обернулась и дала понять, что шутка исчерпана. Ну он и не настаивал: хоть так.

К нам в домик пришел знакомиться местный горезмеелов Мурли, в очередной раз вернувшийся с того света. Рассказывал, что с кобрами работать сравнительно просто. Из положения «стойка» атакует она обычно только вниз под углом. Поэтому удерживать ее внимание рукой, тряпкой или покачиванием колена из стороны в сторону не составляет труда и не опасно, она не способна на длинный выпад, только вниз — к ступням, потому змееловы в крепких ботинках. Мне нравится это их «обычно». Обычно мы тоже… например, спим по ночам. Куда опасней, говорит, гадюка Рассела: молниеносный бросок без предупреждения. Скорость — в двадцать раз короче секунды. А яд — у крайта. Днем крайт не очень активен, а по ночам, вползая в жилища, жалит скрытно, нежно, почти безболезненно, как комар. Люди нередко умирают во сне. В течение нескольких часов яд отключает связи между нейронами, парализуя все, кроме некоторых участков мозга: человек с виду мертв, но сознание теплится. Таких не раз хоронили заживо.

Поехали на деревенском автобусе в Каргуди. Это маленький хутор в заповеднике, где живет племя ирула, водителям запрещено высаживать там приезжих, но нам удалось выйти. Побродили по дворам, фотографировали детвору и старух на завалинках, пили чай в одном из домов, посидели у маленького лесного храма Дурги, спустились к речушке, где рыбачили женщины с этого хутора, и решили немного пройтись по джунглям вверх по течению. Там-то и случилось.

Когда появилось стадо слонов, спускавшееся с холма напротив, Тая занервничала. Я сказал, что пока еще безопасно, что они свернут и пойдут по руслу. Что отсюда хорошие снимки… Но она уже быстро взбиралась по склону, сказав, что подождет меня наверху. Слоны, как я и предполагал, свернули, хотя и подошли довольно близко. Выключил камеру, ищу ее, зову — тишина. Густые дебри, черные овраги, солнце садится. Вышел на дорогу. Пустынно. Добежал до хутора, и там ее нет. Спустился к тем женщинам-рыбачкам, говорю им, используя те немногие слова, которые знал на тамильском: слон, там, женщина, нету, идем, идем! Они побежали со мной вдоль речки, быстрей меня, прыгая с камня на камень. Нету. Снова поднялся по склону, заглядывал в каждый овраг, лез сквозь заросли в ямы. Уже темнело. Что можно было думать? Упала, скатилась в один из оврагов, насмерть? Но вроде я все уже осмотрел. Или не все? Змея? Но у нее было бы около получаса жизни, она бы звала или попыталась бы дойти до меня. Смотря куда укус, смотря куда. Представил себе, что с ветки дерева, в лицо. Черт, черт… Или ткнулась глазом в колючую ветку, сук, такие заросли тут… Или виском… Совсем стемнело, ничего не видно уже. Поднялся на

дорогу, дошел до хутора, спрашиваю людей, не понимают. Присел на автобусной остановке. Тишь, темень, пустынная дорога, через час ее совсем перекроют на ночь. Не доходит. Что ее больше нет на свете, не доходит. Лицо ее перед глазами. Лежит в лесу, на спине… На боку, лицом в землю… Не доходит. Что она сказала? Я подожду тебя наверху. Последние ее слова. Наверху. Именно. На том свете. Подожду тебя.

Фары полоснули по дороге из-за поворота. Кто ж на такой скорости несется по заповеднику? С визгом остановились рядом. Выходит из джипа. Она.

Оказалось, вышла на дорогу, ехал лесной патруль, взяли ее, повезли в нашу деревню разбираться. Про меня ничего не сказала, выпуталась, но уже там, в офисе егерей. Добежала до частной стоянки джипов, оставалось чуть больше часа до перекрытия дорог, спросила, у кого самая быстрая машина, объяснила, как могла, вызвался Вики. Думала ли она дорогой, что со мной могло что-то случиться, что больше не увидит меня? Нет, хитро покачала головой и прижалась. Разве ж она скажет.

А несколько дней спустя оказались в Карнатаке, в небольшой деревне, на задворках которой стоял древний храм Мулатханешвара. Никаких сведений о нем я найти не мог. И только потом в словаре санскрита прочел, что это слово имеет семь значений, и все они указывали на… Но прежде вот что. Когда мы подошли к нему, он стоял с пальцем у губ. Тих и заперт. Странное чувство — будто он взял тебя, приблизил и отпустил, но так, что ты уходил, чуть пошатываясь, не понимая, что произошло. Древний, врытый в землю храм, где, казалось, ничего не изменилось со времен Ригведы. Так вот, на санскрите Mulathana — обитель Бога, его колыбель, исток,

дом. На отшибе, на пустыре. А через пару недель, когда мы снова приехали туда, храм распахнулся и вобрал нас в себя: там шло таинство…

Их было двое в полутьме: один сидел на полу и читал книгу гимнов и мантр, нараспев, лицом к камню, огню, колонне, а потом — алтарю нагов. Другой очень быстро — на той скорости точности и ладности движений, когда кажется, что все происходит как в замедленной съемке — перемещался от огня к алтарю и оттуда к углам храма, фигурам богов, украшая их тканями, цветами, поливая молоком, обнося огнем, оставляя за спиной этот танец-узор своих перемещений, без себя. А сам, уже в другом углу, мыл, пеленал, кормил и умащивал Шиву. Подпевая, воркуя и щебеча руками вокруг него. Как мать родное дитя голубит. И солнечный луч из дверного проема лежал на темном полу, и девочка в платье из этого света кружила по храму. Все причащались огнем и светом, зачерпывая его ладонями и поднося к лицу. И уже доносилась музыка — с той стороны земли: это у входа расположились музыканты. Как пасечники, и звуки пчелами вились в дверном проеме. Я вышел, и начал тихонько вращаться на месте, без земли под ногами, и все кружил под музыку, непонятно кому и куда шепча: о радость, радость, дети мои, не обижайте ее в себе и вокруг, пока ангелы печали сучат из вас нити!

#63. Чат

— Слушай… я давно уже вспомнила, но не говорила тебе. У меня вдруг всплыло перед глазами: мы сидим на Тверской в кафе с Женькой, разговариваем про список судьбы

из библиотеки Акаши, то-се, она вроде твой список читает — и говорит: ребенок разобьется. Это про меня, что ли? Я не хочу разбиваться! Или там было — дети… Мы все рассмеялись тогда, а у меня, как эту картинку в памяти прокрутили, мороз по коже.

— Какая-то авария, неявная, там была, да, но не с детьми, кажется… надо еще раз посмотреть, оба списка — мой и твой — у меня в Мюнхене, вернусь, перечитаю, растревожила ты меня.

— Я все-таки верю, что в Индии с тобой не может быть ничего плохого.

— Почему?

— Ну, не знаю… все равно светлое в итоге — а думала, сильно загрущу, что вот ты в Индию опять, а мы нет… Все хорошо. Будто все еще готовится, все еще будет. Даже не так. Будто все есть у нас.

— И то и другое — правда.

— И хорошо, что один летишь, при всем при том. Сможешь себя услышать.

— Помнишь тех иностранцев в Индии, сидящих на верандах кафе с утра до вечера с заинтересованно отсутствующим взглядом в никуда и сползающей с губ остывшей улыбкой? И мы, бегущие стороной, с этим чувством жизни, рассветной, едва начавшейся. Я порой застаю себя с этим взглядом — в никуда. При всем при том. А как называлось то место в Карнатаке, где чулок из санскрита вяжут?

— Маттур. Ну, там, пишут, вся окрестность — сансаровы кущи. Знаешь, нам, наверное, нужно как-то начать что-то по-другому, раз по-старому уже не получается.

Это правда мне самой не до конца понятно. Но, наверное, в моем случае все-таки какая-то остаточная боль и обида. Которая выстраивает этот барьер помимо моего желания. К прежней присоединилась обида за Лёньку. Две последние встречи ты разговариваешь со мной, потом на несколько минут поворачиваешь к нему голову — и очевидны твое разочарование, досада. Я думаю, у него включился защитный механизм.

— Мы же втроем, даже когда говорю с тобой, и это, мне казалось, тоже важно для него.

— Он ребенок, у него, наверное, как-то по-другому все это происходит. Да, он нежный, ленивый, осторожный, не слишком любопытный. Понимаю, что симпатии это у тебя не вызывает. Но ребенку любому нужна любовь. А он, видимо, не чувствует ее.

— Я старался именно так. Ладно, я изменю это.

— Восхищаюсь твоей самоуверенностью, всегда. Это я без упрека и иронии. Я скучаю по тебе. Последние месяцы разговариваю с тобой во сне, долго, подробно. Как жаль, что нельзя записать. Как-то я совсем обрушилась внутри. Осматриваю, что уцелело. Ты уцелел внутри точно. Теперь надо придумать, как наладить наше общение, чтобы не раниться, а радоваться.

— Мы уже это сделали. Не волнуйся, вот лучше послушай. Сегодня читал обзор новых книг индийских авторов, дохожу до некоего Джумпа Лахири: «В романе „Тезка“ ситуация усложняется: между двумя не слишком расположенными друг к другу культурами, индийской и американской, появляется третья: новорожденного мальчика в семье мигрантов-бенгальцев называют Гоголь, в честь великого русского писателя. Бедняге Гоголю приходится

нести бремя своего имени через все детство — в школе на уроке литературы детям рассказывают, как страшно умирал русский писатель, и мальчик живет с мыслью о том, что его назвали в честь какого-то безумца. Пусть талантливого, пусть даже спасшего жизнь его отца — поскольку книжка Гоголя оказалась на его груди во время крушения поезда, — но мальчик не чувствует к текстам своего тезки никакого расположения. Джумпа объясняет читателю, почему ее герой вырастает таким сложным, несчастливым, перекрученным. Но читатель тоже имеет право спросить себя: а причем здесь имя?»

— И что же?

— Я не про мальчика, я про Гоголя, которого мы возили с собой по Индии как мальчика. Ну и вообще я представил себе эту историю как жизнь, которую мы могли описать куда как чудесно. Темненький индийский мальчик Гоголь в глубинке… Как его дразнят там и как он оттуда вглядывается в русского Гоголя… Это за кадром наших передвижений по Индии с филармоническим тарантасом, в котором Чичиков.

— Господи, ну как прекрасно, а я-то проморгала…

— И с Индией, которая снилась царю Николаю как девочка, как Пушкин. Открыл Адамов мост. Вот. Идешь, чуть не вписываясь в воздух, тебя овевающий, — немного от близорукости и немного от счастья. Как жаль, говоришь, что в Индии не был Гоголь. Присела на корточки, вполоборота к цветочнице, которая, казалось, росла из влажной юбки своего прилавка на голой горчичной обочине. Да, маленький древесный Гоголь с женским лицом, сидя на пыльной обочине, заплетал тебе эти жасминные нити. Как же звали ее? Белое имя, белое сари…

Гоголь? Да, Бимбала Гоголь, как водяная лилия в черной воде. Пигалица, Мертвая Мысль, Таинственный Карла…

— Иногда мне кажется, что мы на совсем разных планетах. И на моей слишком много песку. Я тебе рада, когда тебя вижу, да. Как будто ничего не изменилось. Но это как сон, от которого всегда просыпаешься. Мне кажется, мы оба друг друга выдумали с ног до головы.

— У нас уйма свидетельств и улик.

— Ты разговариваешь с выдуманной мной, а я с выдуманным тобой, и от этого оптическая иллюзия. И у других тоже. У Таи, например. Уйма свидетельств и улик. Не бывает так многажды, не имеет права быть в этом мире. Я не знаю, как быть с нашим общением. Как прежде — не получается.

— А как быть с дыханием?

— Рашид сказал как-то, что у меня ум и сердце в противоположные стороны идут. Умом: я тебе не доверяю больше. А когда вижу — доверяю. Умом — все себе сто тысяч раз объяснила, простила, отпустила. А сердце обижено, как у малого ребенка. Иногда я думаю, что, если бы ты был с кем-то, наше общение бы отладилось. Но потом понимаю, что, если бы ты был с кем-то, тебе бы наше общение и не понадобилось. Тае я больше не отвечаю. И это не из-за ревности или чего там еще. Господи, ты хоть иногда вспоминаешь, что именно мы потеряли? Внутри у меня выжженная земля. Я все еще как-то пытаюсь себя подвязать, но оно как-то плохо подвязывается. Похоже, в этом мы друг другу не помощники.

— Когда мы с тобой разговариваем, в тебе все живет и дышит.

— Это какой-то странный эффект того света, что был раньше. Но это всего лишь отблеск. И знаешь, у тебя ведь гораздо больше источников света, это по фильмам видно твоим, по жизни.

— У меня тьмы не меньше, просто я преображаю ее, из последних. Но последних, надеюсь, хватит при упрямстве до конца.

— Это уже кое-что. Но, может, и я еще выберусь...

— Ну конец моей фразы из самонадеянных, ты ж понимаешь.

— И моя последняя тоже. Жаль только, что я всюду опоздала. Все, с кем бы мне хотелось, ушли… Как-то я промахнулась со временем.

— Все, с кем хотелось, это мы с тобой.

— А вот это и правда самонадеянно. Я тут пишу работу про Византию и вспоминала твой текст о Дионисии. Ты, пожалуйста, не сердись на все, что сгоряча. Я еще буду избытком учености и счастья, но сильно погодя.

— Я понял, ты ученая птица. Ты Симург. А я демиург. Теперь у нас немецкие фамилии.

— Мне сильно одиноко, Взро, несмотря на то что у меня так много родных и близких.

— *«Может быть, тот лес — душа твоя,*
может быть, тот лес — любовь моя,
или, может быть, когда умрем,
мы в тот лес направимся вдвоем».

#64. Племя Тодда

Ждал ее в Мудумалаи, должна была прилететь из Севильи. Задержка на пересадке, не успевает на самолет из Мумбаи в Коимбатур. Взяла новый билет на следующий рейс. Уже летит. Отправил водителя на джипе в аэропорт, путь через перевал, туманы там, под Ути. Сказал, чтоб цветы купил. Слал с дороги мне снимки — такие цветы? Или эти? Полевые, пишу, настоящие. Он разволновался, пошел в поля, нарвал охапку. Она уже на подлете, наверно. Вспомнил, как в прошлом году в Керале, куда приехали на тейям, только успели поселиться в гостиницу и сильно рассорились. Сидела в углу номера, брала на ближайший рейс Испанию, я лежал, глядя в потолок. Она от меня ждала, я — от нее… Улетела. А через месяц как-то развиднелось, летит обратно, я у океана в Харнай, послал водителя встретить ее в Мумбаи, он звонит мне, что самолет прибыл, а ее нет. Потом и она звонит, говорит, что пограничники ее не впускают, виза у нее, оказывается, была одноразовая, уже использованная, передает трубку офицеру, я пытаюсь объясниться с ним, ищу варианты: может, ей перелететь в Непал или Шри-Ланку, взять там новую визу и через пару дней обратно? Нет, говорит, мы обязаны отправить ее обратным рейсом туда, откуда прибыла. Тридцать часов сюда добиралась с неудобными пересадками, выгадывая на билете, и примерно столько же обратно лететь через Дели и Лондон. Так и не встретились. Индия не впустила. Вернулась, пришла в себя, полетела на Бали, жила в стороне от приезжих, брала уроки резьбы по дереву у местного умельца и тихонько плыла, глядя вниз, в сны подводного мира.

Уже на подъезде, а я все бегал по рыночной улочке, торопился праздничное купить, и, черт, волновался, как

мальчишка, которому предстоит впервые в жизни увидеть женщину. А она сидела в джипе в десяти шагах от меня и смотрела, улыбаясь, как я мечусь от лавки к лавке, увешанный пакетами и кульками, не замечая ее. Я в белой рубахе и белых парусиновых штанах, и она в белом. И ветка жасмина белого, добавленная водителем к охапке полевых уже в аэропорту. Ты такой невозможно красивый был, легкий, и глаза светились, я даже окликнуть тебя не могла, так сердце упало… Обнял ее, зарылся лицом в плечо ее, а она в мое, так и стояли посреди улочки — долго-долго.

В заповеднике сменилась администрация, повсюду новые чек-посты, к лесу не подойти. Тропа, которой мы пробирались к протоке, — перекрыта. Дорога на Сингара и, главное, на Мояр, к чудесам, — тоже. Цены на сафари взлетели в пять раз. Сообществу водителей джипов, зарабатывавших частными сафари, запрещено ездить в лес, только по разрешению егерей и лишь по тем двум пустоглядным маршрутам, которые открыты взамен прежних. Теперь они днями стоят в очереди у лесного офиса ради одной поездки, с которой отдают проценты егерям. Денег не хватает даже на еду. Говорю Вики: собери народ, ты ж пользуешься авторитетом в вашем сообществе, двести джипов, сопротивляйтесь, бастуйте, напишите бумагу властям штата, я помогу, вон в Махараштре рыбаки собрались и в Мумбаи поехали бастовать — корабли выгребают всю рыбу вместе с мальками. Пока мало чем помогло, но они продолжают и, может, чего-то добьются. А так — увидят, что молчите, и последнее отнимут. Бесполезно, говорит. Даже земли, выделенные государством местным жителям для строительства гестхаусов, сотни которых были построены и утопали в садах, отобраны, без компенсации, тишь и запустение.

Взял я свои бумаги, поехал в Ути на прием к главному егерю. Бесполезно, как говорит Вики. Мир, дом, будущее, о котором грезил и примеривался, схлопнулось. Здесь. А где найти другое такое место, и есть ли они в Индии — бог весть.

Оставалась еще наша деревушка, гостевой домик у Прабы, куда по ночам на огороды ходят из джунглей слоны и другие звери. А днем нежиться в райском саду, окутывающем дом, с орлами и аистами-епископами над ним и маревом бабочек, и глядеть вдаль на голубые горы и лес, куда уже не сунуться. Оставалось еще пару дорог с живописными долинами, ущельями, водопадами. И несколько храмов в округе с древними ритуалами. И люди этой деревни, ставшие родными за эти годы. Не так уж и мало. Если не думать о том, что отнято.

Так мы и жили эти дни — в тиши, неге и мареве бабочек. Иногда я звонил Вики, он приезжал на джипе, и мы отправлялись немного поколесить по округе и, может быть, искупаться в попутном озерце. В здешних краях жило несколько лесных племен: ирула, курумбас, кота, тодда… Первые два мы знали, особенно ирула, их поселений было немало в окрестностях нашей деревни. А ближайшее — в лесу за хутором Мояр, именно туда мы и ездили на ежегодный праздник Шивы — Шиваратри, проводя всю ночь с этим племенем в танцах у костра. А вот о племени тодда я много слышал, кое-что читал и все собирался добраться к ним, но это, как мне говорили, будет непросто. Их поселения не здесь, а на вершинах холмов в округе Ути, куда надо ехать, подымаясь к облакам и туманам по горному серпантину. Но и там к ним не приблизиться — дороги перекрыты и охраняются полицией и егерями. Хуторов их осталось всего ничего, не то что прежде. Многие

переехали в комфортабельные дома, выделенные государством, и живут другой жизнью, хотя и особняком. В самом Ути есть небольшой этнографический музей, пустынный.

Сто пятьдесят лет назад в этих краях была Елена Блаватская, интересовалась здешними племенами, собрала большой материал из всего, что к тому времени было о них известно. А известно было не много, поскольку прошло лишь несколько десятилетий, как их обнаружили, и открытие это сильно взбудоражило округу и дошло до Королевского географического сообщества. Блаватская написала книгу «Загадочные племена на Голубых горах», я знал о ней, но только здесь наконец открыл почитать.

«Недавно одна большая лондонская газета делала саркастические замечания о том, что русские ученые, а русская публика тем более, имеют весьма смутные понятия об Индии вообще, а о ее народностях в частности». И продолжает, что, мол, на это каждый русский мог бы спросить британца, живущего в Индии, а много ли и что именно вы знаете о народе этой страны? Например, о таинственном племени тоддов? О страх наводящих, ужас внушающих карликах, именуемых мулу-курумбами? о яннади, кхоттах, эрулларах, баддагах — то есть о пяти племенах Нилгири и о десятках других? И переходит к описанию местности — именно той, где несколько дней назад ехала Тая с охапкой полевых цветов из Коимбатура. Той, что вдобавок к другим прелестям, славится своими болотами и дремучими лесами, где, почуяв смерть, слоны, как пишет Блаватская, почему-то всегда уходят из чащи лесной в болото и, погрузившись в тину, приготовляются к нирване.

В прошлом году, когда с Таей искали жилье подальше от деревень, ближе к джунглям, оказались в гостях

у великосветской дамы, перебравшейся сюда из Ченнаи. Отец англичанин, мать здешняя. Оставшись одна к старости, купила землю у подножья гор, построила дом с садом и газонами на британский манер. Штат обслуги, управляющий. Сидели на веранде, пили чай со сластями, присылаемыми ей из столицы, по саду расхаживали олени. Тая пошла к ним, а мне пришлось выслушивать долгие речи с нравоучениями. Предостерегала не приближаться к джунглям. И с местными вести себя осторожно. Особенно с племенами, их много в округе. Слон к ней зачастил, крупный самец. Прошлой зимой, говорит, просунул хобот в окно к управляющему, так он, в испуге прижавшись к стене, секирой отсек ему край хобота. Больше его не видели, говорит. Еще бы. А мы-то думали у нее снять жилье, упаси боже, с трудом откланялись к вечеру.

Первые главы Блаватская пишет, приводя свидетельства очевидцев, а сама тем временем еще находясь в Мадрасе, то есть Ченнаи, в нескольких днях пути от Голубых гор. Эти очевидцы — британские чиновники и военные, сделавшие первую попытку перейти магическую черту, проникнуть за стену горного водопада — в те края, куда смертным из долины хода нет и куда ни один проводник не брался вести даже под страхом пытки. Туда, где жили небесные великаны-кудесники тодды и демонические карлики мула-курумбы.

Немало их полегло на этом пути. Некий Киндерзлей пишет, что, взойдя наконец на холмы, они увидели странные тростниковые дома в форме цилиндров, лежащих на боку, без окон и дверей. И поодаль высокая пирамидальная башня. Подойдя ближе, они заметили «группу великанов», а возле них страшно уродливых карликов. Как вскоре оказалось, это и были тодды и муллу-курумбы.

Годом прежде, накануне дня рождения, я полетел в Индию, в заповедник Мудумалаи. Поговорил с Вики, его старший брат работал с домашними слонами при заповеднике. Договорились, что праздничное утро я начну верхом на слоне и отправлюсь в лес — пусть недалеко, но один, без погонщика. А потом поедем к племени ирула в джунгли. Маленький хутор, где живут в шатрах, и вроде там есть часовенка — кажется, Дурги, где можно было бы заказать особую пуджу на день рождения. По длинной цепочке связались с этим пуджари, которого, оказалось, звали Шивалингам. А часовня, как выяснилось, не Дурги, а Брахмы, что редкость в Индии, творцу мира почти нет храмов. И вразумительных объяснений этому я пока так и не нашел. Возможно, отчасти тут и давнее проклятье со стороны его жены Сарасвати — за инцест с дочерью, когда оба приняли облик нильгау и сошлись. Храм назывался Айян, то есть не просто Брахмы, а его Путь. Потом еще глянул об этом слове — оказалось, и в Коране, и в Библии упомянуто. Означает что-то вроде возгласа Ноя: асса! Путь Брахмы от небытия к миру. Это я уже гадаю. Договорились о пудже для меня в этом храме и о музыкантах, которых не раз видел на всенощной Шиваратри в Мояре и в храме Чикамандир — того самого лесного храма, куда любил приходить местный Робин Гуд, промышлявший со своим отрядом, помимо прочего, и убийством слонов, переправляя их бивни в Китай. Крестьяне его тем не менее любили, а он помогал им и защищал. В ежегодный храмовый день, когда он неизменно приходил сюда, а полиция с армией прочесывали местность, пытаясь его взять, крестьяне образовывали охранное кольцо диаметром в несколько километров. И все же, неподалеку от этого храма, он был

пристрелен, будучи предан, как водится, близким другом. Теперь, по новым правилам, дорога к Чикамандиру перекрыта. Но не из-за того случая, а потому что храм стоит в заповеднике. Именно туда теперь на закате приходит черная пантера, смотрит с пригорка на безлюдный храм. А мы с Вики наутро поехали в Тепикад, я сел на слона, протрубил в горн, подаренный мне Таей в прошлый день рождения, и неторопливо тронулся в джунгли, был легкий туман, стелящийся по земле клочьями. Из тумана вышел медведь и побрел впереди нас. Потом мы заехали с Вики в пекарню, взяли торт с поздравлением, выведенным кремом по-тамильски, взяли кокосы для пуджи и конфеты для детей племени. Вики надел на меня гирлянду бархатцев и жасмина, и в сумерках мы уже ехали по пустынной лесной дороге, я собирал попутные «с днем рожденья» — от трех самбаров, двух пятнистых, семьи кабанчиков, одного гаура, а на окраине Мояр — от стада буйволов. А потом был ритуал в часовенке Айян с причащеньем огнем из рук Шивалингама, поющего мантры. Музыканты грели инструменты у костра, там собралось чуть не все племя, я перебрался к ним. Большие песочного цвета псы сидели вперемеж с черноглазыми полуголыми детьми, сухопарыми стариками со звенящей осанкой, нарядными, похожими на лесные храмы старухами, и сумрачной древесной красоты молчаливыми женщинами и мужчинами. И так вдруг перехватило горло от этого чувства… страшно сказать — родного угла. Вот и жизнь, что ж о ней скажешь? Говорить можно в детстве, до пяти лет. А потом заиграли музыканты, я разрезал торт, и все племя, окружившее меня, хором поздравляло, а девочка, самая кроха, взяла треугольничек торта и положила мне, нагнувшемуся к ней, в рот. Такой обычай. И все, смеясь,

хлопали в ладоши. Я взял два других кусочка, один положил в рот этой крохе, а другой — самой красивой женщине. И начались танцы — в три кольца вокруг священного дерева: первый — музыканты, второй — мужчины и я с ними, третий — женщины и дети. Хороводом, идущим из бог весть каких времен, с этим прокручиванием вокруг своей оси, нагнувшись к земле, танцем джунглей. Ах, что за ночь была! А потом вернулся в деревню, сел у своего домика во тьме, дрова у меня были припасены, думал, зажгу костер, посижу тихонько, глядя в огонь, с мамочкой поговорю мысленно, с отцом, который давно не здесь. Сил не хватило. Дыханье бы перевести. Вдохнул — утром выдохнул. В день Шакти. Той самой, без которой ничто не дышит, ни один боженька, ни один мужичок. Вся округа была осиянна женщинами, полыхала их красными сари и благоухала жасмином.

Бледноликий рослый тодда, пишет Киндерзлей, как привидение древнего римлянина или грека, с гордым профилем, важно драпируясь в белую льняную тогу, глядит на индуса с благосклонным презрением быка, взирающего задумчиво на черную жабу. И дальше, про обряды погребения: «Тодды сжигают своих покойников вместе с любимыми буйволами; муллу-курумбы хоронят их под водой; эруллары привязывают их к верхушке дерев».

Сэлливан, в течение тридцати лет управлявший этим краем, очень проникся к тоддам, защищал их, но это потом, а поначалу снарядил большую экспедицию на их поиски — с армией сипаев, боевыми слонами, собаками, пони и даже, как пишут, сотнями охотничьих гепардов, тогда еще обитавших в Индии. «Везли подарки: тоддам оружие, которого они никогда не употребляют, а курумбам — праздничные тюрбаны, которых те отродясь

не надевали. Все было как следует. Везли палатки и инструменты, врачей и лекарства, быков на убиение и туземных арестантов для удобрения земли там, где приходится рисковать жизнью и терять людей, взрывая скалы». Вели их баддаги — слуги тоддов, одновременно выполнявшие роль посредников между ними и злыми карликами муллу-курумбами, с которыми тодды напрямую не сообщались. Дорога, по которой их вели баддаги, исчезла навеки. На все вопросы баддаги делали вид, что ничего не понимают. Наконец они взошли в те края, где жили тодды.

Очевидец пишет: «Мы чувствовали себя осязательно среди окружающего нас теплого, мягкого, как пух, тумана, что доказывали наши насквозь промокшие платья. На расстоянии полушага люди стали друг у друга пропадать на глазах: до того облако было густо, а затем люди, как и части окружающей нас панорамы, начали быстро прыгать перед нами, то появляясь, то снова исчезая в этой мокрой и словно освещенной бенгальским огнем голубоватой атмосфере».

И мы с Таей в эти дни чувствовали себя осязательно в теплом, мягком, как пух, времени. И друг в друге. А на окраине нашей деревни стояла маленькая лавка с кустарной продукцией племен: дикий мед, ягодные и разные диковинные варенья, травы, сделанные вручную шампуни, мыло и всякая всячина, ну и ремесленные поделки. Лавка была всегда безлюдна, за ней уже начинались джунгли, молодая женщина в одежде племени ирула сидела на крыльце, глядя на Голубые горы, или в медленном танце часами переставляла баночки на полках. Тая задумала новое платье, купила ткань и ходила в деревню к портнихе на примерки, рисуя вместе

с ней выкройки, смеясь, воодушевляясь по ходу и плача над результатом. Распарывали и начинали сначала. К вечеру она возвращалась, прихватив в деревне еды и фруктов, или мы шли в едальню к пиратам. И вечер на нашей веранде в саду: тишь, звезды, шорох пробирающихся зверей. А на столе душистая папайя, и виноград, и красные бананы, и разломленные рубиновые гранаты с местных деревьев, и любовь, любовь — до проступающих к утру голубых гор. А когда не оставалось на это сил, просто засыпали, но и во сне ладони находили друг друга и жили своей детской запретной жизнью. Ранним утром я шел на кухоньку, находившуюся во флигеле, в углу спал Пушкин, я тихо, чтоб его не будить, варил кофе, мы садились с Таей на нашей большой веранде на расстоянии друг от друга, пока очертания мира не проступали для жизни. А потом ехали с Вики куда-нибудь поколесить или шли к озерцу.

Между тем очевидец настаивал, что «тодды положительно похожи на богов, как их представляли древние греки. Из нескольких сот молодцов этого племени я еще не видал ни одного ниже 6 ¼ футов ростом. Они сложены великолепно, и черты лица у них чисто классические… прибавьте верные, блестящие, густые волосы, обрезанные в кружок низко на лбу, над бровями, а за ушами падающие на спину тяжелыми массами кудрей, и вы получите некоторое представление об их красоте. Усы и бороды их, которые они никогда не стригут, такого же цвета. Большие, карие, иногда темно-серые и даже синие глаза смотрят на вас глубоким, нежным, почти женским взглядом… улыбка кроткая и веселая, как бы младенческая в своем выражении. Рот, даже у дряхлых стариков, украшен крепкими, целыми, часто великолепными зубами. Цвет

лица светлее северных канарезцев. Одеваются они все одинаково: род римской белой тоги из полотна, с одним концом, закинутым сперва под правую руку, а затем — назад, за левое плечо. В руках посох с фантастическими на нем вырезками… Когда я узнал его мистическое назначение и веру владельцев в его магическую силу, этот маленький, в два с половиной фута длины бамбук смущал меня не раз… Но я не смею, не имею права, видав неоднократно то, что я видел, отрицать справедливость такого их заявления и веры».

Нет, ты послушай, что говорит европейцу старик из племени тодда: наше солнце — не ваше солнце. И тот гадает, уж не в астрономическом ли смысле? Оба хороши, а? Признаться, я и себе это мог бы сказать — тому, кем был еще не так давно. Я знаю, кивает Тая, застилая постель. Ох уж это ее «я знаю» — на все, о чем бы я ни. Где ж я остановился? «Поскольку тодды первыми поселились на этих холмах, другие племена, пришедшие позже, платили им дань: несколько горстей зерен с каждого обрабатываемого участка от баддаг, несколько штук железных изделий, необходимых для постройки домов и домашнего обихода от хоттов, коренья, ягоды и плоды от курумбов».

Слышишь? Поскольку желанье поселилось первым на наших холмах, другие чувства, пришедшие позже, платили им дань: несколько горстей немоты — от несовместимости, несколько игл в сердце — от обид, и коренья, ягоды и плоды от любви. Я знаю, говорит она, не отрываясь от экрана телефона и все ж улыбнувшись. Но, говорю, тодды не только сами никакого оружия не носят, а даже не сохранили о нем ни малейшего воспоминания. Не держат при себе ни ножа в защиту от диких зверей, ни даже собаки для ночной охраны. У тебя, говорит,

есть нож на поясе. Да, и подарила мне его ты, я помню, я тебе еще денежку символическую дал, но не очень, кажется, помогло. И насчет воспоминаний, похоже, тоже не про нас. Да, говорит, ни малейшего. Переписывается там с подружками в фейсбуке. Может, с той буряткой-знахаркой из Читы. Или с тем мастером-деревянщиком в Бали. Ладно. Вот пишут, что эти племена — последние остатки доисторических рас аборигенов Южной Индии. Но если о других племенах кое-что известно, то о тоддах — почти ничего. Судя по древним могилам да некоторым развалинам храмов и капищ, у тоддов было нечто вроде письма, как продолжает тот же очевидец, «какие-то знаки вроде гвоздеобразных записей у древних персов. Но чем бы тодды ни были в далеком прошлом, теперь они совсем патриархальный народ, вся жизнь коего сосредоточена на его священных буйволах. Из этого многие писавшие о тоддах заключили, что они поклоняются буйволам, как богам, то есть проповедуют зоолатрию. Но это не так. Сколько нам известно, их религия имеет характер гораздо более возвышенный, нежели простое и грубое поклонение животным».

Недавно ездили с Прабой землю смотреть, которую он прикупил в Карнатаке рядом с заповедником, — если понравится, можем войти в долю, он и дом построит для нас. Едет впереди на мотоцикле, а мы за ним на джипе с Вики. Нет, неинтересное место, лысые нерослые холмы, пустошь. Ну вот же, суетится Праба у пересохшей лужи, сюда слоны ходят, вот следы. Да, говорю, полугодовой давности. Вернулись. Тая красуется в новом платьице, справила все-таки. Встанет под рододендроном, перейдет к бугенвиллии, где игуана живет, я их фотографирую, Пушкин вышел из кухни, застенчиво улыбаясь,

большой палец показывает, но так, чтобы она не видела. Фотогенична она, чертовка, это да. Хотя и странно — настоящая красота, она ведь в движении и вряд ли ловится стоп-кадром. Может, и ошибаюсь. Квантовое создание, невозможно одновременно вычислить координату ее и импульс. Чем дольше вместе, тем меньше. Путешествовала с подругами по Камчатке — медведи, костры, вулканы, корабли, морские котики. Накануне мы разошлись — как обычно, насовсем. Она отправилась на Камчатку, я в Киев, куда пригласили на фестиваль. Вдруг звонит, летит ко мне, через Беларусь. Номер у меня был какой-то неожиданно роскошный в загородном коттедже. Ванна в форме замысловатого эллипса, сосны в окне, тишь. И вот лежим мы этой ванне в холмах пены, и больше ничего нет в мире, не создано. Лежим и смотрим в глаза. И чувство такое, что это мгновенье миллионы лет готовилось, чтобы сейчас сбыться. Две головы напротив друг друга, белая пена, тающая, долго-долго, а в промоинах, как с высоты на землю смотреть, проступающее тело — ее, мое. Потом они придут в движение, сблизятся, эти тела, будут менять медленные ландшафты, образовывая их собой, странствовать, умирать на краю и рождаться заново — все теми же неузнанными, все эти годы… А две головы будут по-прежнему неотрывно смотреть друг на друга в нетающей пене, пока тела не обессилят. Я люблю тебя, я хочу с тобой жить, жить, жить, всегда, еле слышно скажет она, когда выбирались на сушу. Все эти годы…

Вот сжатое показание из статистического сочинения о них полковника Торнтона. Первыми на скатах гор за чертой водопада встречаются эруллары. Они живут в настоящих земляных норах и питаются кореньями. Теперь,

с приходом англичан, они стали менее дики. Живут группами от трех до четырех семейств, их насчитывают около тысячи душ. Над ними живут курумбы. Эти разделяются на две ветви: а) просто курумбы, живущие в землянках, которые образуют деревушки и б) муллукурумбы, отвратительного вида и необычайно малого роста люди, которые живут в настоящих гнездах на деревьях и похожи более на обезьян, нежели на человеческие существа. Они говорят на языке, напоминающем щебетание птиц и горловые звуки обезьян, хотя у них изредка и встречаются слова из многих древних диалектов дравидской Индии. Численность тоже не превышает тысячи.

Вдруг вспомнилось Шереметьево: возвращаюсь из Индии, ранее утро, снег, паспортный контроль, пограничник, не глядя на меня, берет мой украинский паспорт, спрашивает: цель визита? Я: а какой у нас сегодня ассортимент? Он медленно поднимает взгляд: стою перед ним, лохматый, в легкой белой рубахе, расстегнутой до живота, с наброшенным поверх одеяльцем лоскутно-веселого окраса. Он: с деловым?

Тодды, называемые также тоддуварами. Эти, пишет полковник Торнтон, разделяются на два большие класса. Первый из них, известен под названием террали; принадлежащие к нему тодды посвящены служению буйволам, приговорены к вечному безбрачию и совершают какие-то непонятные обряды, тщательно скрываемые от посторонних. Второй класс — кутты, простые смертные. В этом небольшом племени мы насчитали семьсот человек, и, судя по их показанию, численность никогда не превышала этой цифры. Тодды не употребляют никакого оружия, кроме короткой тросточки из бамбука, которая

никогда не покидает их правой руки. Старания многих лет узнать что-нибудь об их прошлом, о языке и религии, остались вполне безуспешными. Это самое таинственное племя из всех народов Индии.

За год до этой поездки Тая, узнав, что у меня дочь погибла, прилетела ко мне из Севильи. Я ждал ее, но не для того, чтобы поддержала, мне было не себя — маму нельзя было в эти дни оставлять одну. Грех сказать, но хотел ее приезда лишь для того, чтоб вернуть нас — связь уже месяц как была прервана. Ключ от своей квартиры дала мне Гудрун, давняя знакомая, уехавшая на неделю в Австрию. Тае казалось, что мне нужно выговориться, чтобы стало легче. Спрашивала, рассказывал, от этих сеансов становилось еще тяжелей, но старался, чтобы она этого не почувствовала. Плохо было все, криво, муторно. Не мог я с ней говорить о Женьке, слова пятились. Но и то, на что я надеялся, было бедово: падали — то в судорожную близость, то в глухоту отчуждения. А надо всем этим — от края до края — лицо Женьки, и я не мог поднять к ней глаза. Чудовищно все это, что бы мы ни делали — и в глухоте, и в близости, и в этих мучительных разговорах. Чудовищно и ничтожно рядом с тем, куда не мог поднять взгляд. И вообще — любые движения жизни и ее ужимки рядом со смертью. И хуже всего — я сам себе. Несколько месяцев спустя я неосторожно вспомнил эту встречу и то, о чем тогда она не догадывалась. Отшатнулась от неожиданности, надолго.

После сообщения Сэлливана о райском уголке в Голубых горах британцы из Мадраса начали лихорадочно скупать земли и строить там дома, чтобы спасаться от летней жары. Коимбатур и Ути из глухих деревушек превратились в уездные городки. Племена были вытеснены

или просто ушли, как сквозь землю. Курумбы, правда, когда этот бум немного успокоился, оттуда выглянули и начали селиться на болотах и под сырыми скалами. Если бы не охранная грамота, выданная тоддам как исконным жителям этих земель, неизвестно, что стало бы с ними, а так они только перебрались подальше от людей — на вершины холмов. На одном из них — Додабетском пике — стоит их храм Правды. Уже в скором времени обращенный в развалины, куда они будут совершать паломничество раз в году. С ложью они, как пишет капитан Гаркнесс, совершенно не знакомы, в их языке этого слова нет. Воровство также им неизвестно. Живут они здесь, как говорят, уже сто девяносто седьмое поколение — с тех пор, как царь Востока даровал им Голубые горы. То есть примерно семь тысяч лет. Предки их служили на Ланке праотцам царя-демона Раваны. Не поклоняются никому, кроме буйволов, но только своим. Молоко, но только от своих буйволиц, с ягодами и лесными плодами — единственная пища. Мяса не едят, не сеют, не жнут, любая работа, кроме ухаживания за буйволами, неприемлема. И никогда не проливают крови, чувствуя к ней вроде священного ужаса. Умершего сжигают с любимым буйволом.

Ну что, поехали к тоддам, говорю, авось проберемся, посмотрим, хотя прошло со времен этих записей сто пятьдесят лет и примерно понятно, что сейчас происходит с ними. Позвонил Вики, договорились, хотя и он дорогу не знал, но сказал, что поспрашивает других водителей. Наутро выехали. У развилки на Сингара-роуд леопард метнулся через дорогу и скрылся в зарослях. Будем считать, хороший знак. И настроенье летящее. Как этот браминский коршун над нами — выписывает

в небе какую-то фразу, неотступно следуя за джипом. Голова и шея белые, а тело цвета молочного шоколада, коршун-капучино. Поднялись по серпантину, деревня наша далеко внизу в долине, в дымке. Одни на дороге, никого. И вдруг из-за поворота нам навстречу спускается вереница индусов под храмовыми зонтиками, с трезубцами Шивы и музыкальными инструментами, а впереди — с трубой в виде длинного гнутого рога — комбу, такие в основном у лесных племен, на комбу можно издать лишь три ноты, но каких! Индусы взбежали один за другим по узкой тропке на холм в зарослях. Мы остановились, вышли, тоже поднялись туда, когда те ушли. Там, на укромной полянке с чудесным видом на горы, — маленькое святилище Шивы, огонек затеплен.

Едем дальше. Свернули к водопаду, тому самому, наверно, который делил мир на этот и тот, куда проводники отказывались вести первую экспедицию. Оставили Вики ждать в джипе, а сами пошли к водопаду. Осторожней, крикнул он вдогон, там часто тонут. Но мы уже скрылись в зарослях. Зима сейчас, водопад в четверть силы. Но все равно ревет, полная чаша под ним, изумрудная, скальная, с причудливыми валунами. А нас не видно, идем сквозь циклопические лопухи, как пигмеи. Поднялись на край чаши, к воде не спуститься, отвесная гладкая скала, хотя и не высоко. Разделись. Тая прыгнула ногами вниз, вода ледяная, не может выбраться, и мне не дотянуться до ее руки, еле справились. Осталась позагорать на краю чаши, а я пошел пройтись ниже по руслу. Оглянулся. Не в соляной столп превратившись, как она однажды в запале скажет об оглядке на нашу жизнь, а в цветущий куст, усеянный бабочками павлиний глаз. Лежит на боку, голая, спиной ко мне, на гладкой, залитой солнцем скале,

и эта ее невозможная линия бедра на фоне марева брызг ниспадающего, как в замедленной съемке, водопада, берущего начало где-то у верхней кромки неба, на которую солнце положило свой подбородок. Побродил, полежал в неглубокой прогретой каменной ванне, глядя в небо, вернулся, пошли к джипу.

Вики спит. Как каждый индус — в любом положении и на любой поверхности. Когда-то в этих местах мы уже были, чуть ниже по ущелью, смотрели жилье, чтобы поселиться надолго и совсем в стороне от людей. Там молодой парень из Ченнаи взял в аренду на сто лет часть этого ущелья, куда солнце заглядывает всего на считанные часы, лес баснословный, на дне ручей, ворочающий огромные валуны в сезон дождей, слоны захаживают, медведи. Сидели с ним на веранде гостевого домика, обсуждали, приценивались. Тая, как обычно, постельное белье проверяла на чистоту и годность. А привез нас туда Ганеш, работавший в Масинагуди у Брахмы в крохотном туристическом офисе, куда никто не заглядывал. То есть первая комнатка была маленькой, а дальше, как потом оказалось, дом, как грибница, расходился в необозримое и непроходимое, которое вместе с подземельем и хотел сторговать нам Брахма, создатель мира, платившим своему чудотворному помощнику Ганеше десять тысяч рупий, которых едва хватало ему на нищую жизнь с молодой женой и новорожденным сыном. Ганеш пришел к нам, когда мы еще только приехали в Масинагуди, сидели с ним на кухне, он рисовал нам карту местности, а Тая мыла окна, за которыми проступали Голубые горы. Я все еще храню эту сказочную карту, похожую на те старинные, которые рисовали тысячу лет назад. С лесами, горами, ручьями, тропами, слонами и тиграми, селеньями племен,

птицами и людьми. МеЛёнько, как под лупой, рисовал, рассказывал, а Тая все мыла, мыла, и становилось все светлей. Вики проснулся, тронулись.

Немецкий миссионер Метц пишет: «Между тоддами и курумбами существует какая-то враждебная сила, заставляющая курумбов повиноваться против воли тоддам. Встречаясь с ними, карлик падает на землю в припадке, похожем на эпилепсию, извиваясь, как червь, дрожит от ужаса и выказывает все признаки скорее нравственного, нежели физического, страха…» Этот миссионер тридцать три года жил с тоддами, деля с ними их быт и еду. Хотя ему и не удалось обратить в свою веру ни одного. Гордился, что выучил их язык, но оказалось, что тодды обучили его не своему, а тому, на котором говорят с женщинами и слугами. Тодды, по слову тех же очевидцев, владеют многими языками, но скрывают собственный.

Добрались до Ути. Присели в дхабе перекусить, пока Вики пошел выяснять с местными рикшами, как проехать к селению тодда. Вернулся воодушевленный, вроде узнал.

Городок уже позади, едем перелесками по проселочным, свернули и с них, оказавшись на маленьком хуторе. Да, вот эти бочкообразные строения из тростника с крохотным лазом в них с торца. А над входом — рисунки, вроде наскальных росписей. Но таких только два домика в окружении нескольких обычных каменных одноэтажных. На пригорке под деревом в тени сидят молодые женщины, занимаясь рукоделием — так вот они, эти шали тодда с уникальным орнаментом, который ни с чем не спутать, красной нитью по белому. Тая присела с ними, а я пошел к бочкообразному домику. Он огражден частоколом врытых в землю удлиненных камней, верней, их

сколами. За их черту нельзя. Не только мне, но и любому из племени, кроме священнослужителей. Если это храм, а не дом. Пока неясно. Поднялся выше по заросшему лесом холму, вышел на поляну с капищем: камни тесаные, как те божки аку-аку с острова Пасхи. Поляна, заросли со всех сторон, ни души, орел в небе кружит. Вернулся, подошел к жилому дому, там женщина в глубине двора. Ана, зову по-тамильски, ана! Подходит, пытаюсь объясниться с ней, не понимает, Вики выручил, отвела нас в другой дом, где живет другой тодда, он когда-то был нанят проводником и переводчиком для киношников Би-би-си, приезжавших сюда. Вышел мужчина лет сорока на вид, в блеклой цивильной одежде и солнцезащитных очках, на ногах кроссовки. После переговоров решили попробовать пробраться к главному сакральному храму тодда. Три блокпоста на единственной дороге, ведущей через джунгли к этому месту. Ждали, пока он созванивался. Вроде бы складывалось. Но на последнем кордоне, как он сказал, могут завернуть.

Дочитывал. По мере того как буйволы подходят к воротам, тодды становятся в два ряда по обе стороны ворот, мужчины по одну, женщины по другую, а затем все отвешивают по низкому поклону буйволам, каждому поочередно. Заперев буйволов, мужчины принимаются доить буйволиц, женщину животное к себе и не подпустит, да им и запрещено входить туда. Тодды разделены на семь кланов или родов: в каждом клане насчитывается сотня мужчин и дюжины две женщин. По собственному их уверению, эта численность не меняется, да и не может измениться, существуя уже с первой эпохи их поселения в горах. У них полиандрия: одна жена на всех братьев одной семьи. Мы знаем, сколько нам необходимо

мужчин и сколько матерей, говорят они, и лишнего мы не станем иметь.

На третьем кордоне действительно была заминка, но мы мягко ее утишили, в том числе и деньгами. Ехали мы уже давно по пропащей грунтовой лесной дороге, подымаясь на холм, по джипу хлестали ветки, оставалось пару страничек.

Мы лечим любовью, которая льется из солнца. Дабы распознать дурного от доброго человека среди принесенных больных, их кладут перед буйволом-вожаком: если больного следует лечить, то буйвол станет его обнюхивать, если же тот не годится, то буйвол приходит в ярость, и больного поскорее уносят. На вопрос, что ждет тодда, когда его тело превратится на костре в пепел, один из тералли отвечал: его тело вырастет травой на этих горах и будет кормить буйволов. А любовь к детям и брату превратится в огонь, вознесется на солнце и будет вечно гореть в нем пламенем, грея буйволов и других тоддов. Огонь этого солнца весь состоит из любви. Но разве там горит любовь только одних тоддов? — спросили его. Да, потому что всякий добрый человек, белый или черный, есть тодда.

Приехали. Вот она — высокая пирамидальная чешуйчатая башня на пригорке холма. В нескольких сотнях метров от нее два дома — обычный и бочкообразный. Вики остался в джипе, а мы втроем пошли к этому храму-башне. Присели на траву чуть в стороне. Тая включила камеру, а я с проводником затеял беседу, хотя его английский почти не оставлял надежд. Вот то немногое, что удалось понять. Исконное имя ныне известного курорта Ути — Уттакаманд, так назвали его первые тодда,

поселившиеся здесь в незапамятные. Имя переводится как однорукий человек, сидящий на холме. Руку свою он потерял в поединке с тигром, защищая буйвола. Который и есть их ближний бог, а творец мира — богиня Тайкирши, создавшая в начале буйвола, а потом уже человека. Тодда сейчас около полутора тысяч, многие из них переселились в государственные дома, полузабыв прежнюю жизнь. В начале прошлого века их было семьсот, на грани вымирания. Говорит, что приход британцев — самое трудное время, многих тодда перевешали на деревьях. Считают себя единственным корневым прадравидийским народом. Скотоводы, но вегетарианцы, живут в бочкообразных бамбуковых хижинах с маленьким лазом внутрь — девяносто на девяносто сантиметров. Прежде была полиандрия, сейчас это почти ушло. Женщин вдвое меньше, чем мужчин. Жрец храма — святой Молочник, и только он может входить, вернее, вползать в святилище. Женщины не допускаются ни к святилищу, ни к ритуалам. Реинкарнации в индуистском смысле у них нет. Нет и смерти, просто богиня Тайкирши переводит их на ту сторону жизни, где они продолжают пребывать в том же облике, хотя и призрачном.

Вдали показался человек в долгополой белой одежде и с посохом. Длинные до лопаток волосы, а впереди коротко стриженные. Высокий, с благородной, даже царственной осанкой. Да, все как в тех описаниях у Блаватской. Мы с проводником подошли к нему, поздоровались. Он выслушал проводника, кто мы и почему здесь. Пригласил к себе в дом после того, как закончим наш разговор.

Вернулись, продолжили. Денег в обороте никогда не было, натуральный обмен с соседними племенами: все, что дают буйволы, — на все, что необходимо. Свой

язык — устный и письменный. Когда рождается ребенок, имя выбирается долго — месяцы могут на это уходить, потому что нельзя повторять ни одно из имен живущих. Или и живших прежде — тут я недопонял. А до тех пор ребенка не выводят на свет божий, только с обретением имени открывается дверь и ребенка знакомят с миром — чтобы солнце ему сказало здравствуй, и люди, и буйволы. А когда приходит час умирать-не-умирая, их встречает Тайкирши и, брызгая в лицо особой водой, переводит на ту сторону. Где все ровно так же, как здесь, но при этом другое. А потом возникла некая ситуация, после чего она прекратила кропить водой, а просто переводила на ту сторону. Что именно произошло и насколько их участь изменилась к худшему, я так и не понял с его слов. Похоже, несущественно. Сам этот проводник окончил колледж в Ути, а потом несколько подвис во времени и проморгал время женитьбы, да и дело с выбором непростое: не так много невест в немногочисленном племени, еще и нужно не в пределах своего или ближнего клана искать, чтобы избежать кровосмешения. В двадцать семь лет он оглянулся: в общем-то, выбирать уже не из кого — на весь народ была лишь одна девушка, ну, само собой, самая неземная, она и стала женой.

Выключили камеру, пошли в дом. Нас уже ждали. Сели в сенях с тем могучим стариком и тремя женщинами на скамейке в стороне, занимавшимися рукоделием — похоже, напоказ, чтобы, может, купили у них что-нибудь. Пожилая хозяйка вынесла для всех буйволиное молоко в чашках, хорошее… ну, терпимо. В Индии оно продается в лавках повсюду, в Харнай мы пробовали. Это, конечно, отличалось — как деревенские сливки от магазинных. Выпили и перешли на ту сторону — в призрачное состояние.

Мы лежали под солнцем. Под солнцем, сотканным из любви. На острове Суварнадург, у стен форта короля Шиваджи, виясь и уходя в песок, как двуглавая амфисбена. Мы лежали под солнцем нашей Диканьки, и слоны за колючей проволокой, погружаясь в болота, входили в нирвану, а красноголовые ибисы истошно кричали, вылетая из нашей груди. Под солнцем. На последнем пляже Кастедельфеса, на боку, свалившиеся с неба, я сзади, в ней, а перед нами — люди, корабли, и снова люди, повешенные в джунглях на деревьях. Под солнцем в английском парке, на языке немецкой грамматики, когда смысл проступал лишь с последним словом, звуком. Как дождик моросила Тайкирши. Над городом, в распахнутом футляре, стоящим вертикально: она, войдя в него, присела, кулачки к груди — виолончель, а я — смычок дыханья. В любви, одна на всех на братьев семерых. И оба — под синими очами великана и карлика с гадючьим взглядом. На языке, не ведающем лжи. И на другом — раздвоенном. На солнце, с буйволом, глядящим в ее глаза, в мои… и, отходя, ревущим в ярости.

#65. Тайпусам

Какая ночь тяжелая, говорит она, положив голову мне на грудь. Ты заговаривался во сне. Посмотри, что у нас творится.

Пол шевелился сплошным черным ковром. Нашествие муравьев. Большие, черные, но не агрессивные, мы их называли джайнами, соблюдавшими принцип ахимсы, в отличие от тех, в Харнай, мелких, изводивших нас, особенно по ночам. Эти даже на кровать не смели взойти.

Пришел Праба, занялся с Пушкиным муравьями, сказал, что завтра день бога Муругана, сына Шивы. Назвал хутор, где на высоком холме стоит его храм, там будет всенощная. Хутор находился в глубинке заповедника, несколько часов езды через чайные плантации, точнее дорогу он не знал, и что там будет происходить — тоже, по-разному бывает, сказал.

Я раздумывал. Муруган. Что я помнил? У него много имен: Сканда, Картикея, Субрахманья, Гуха, Куке или просто Мурга. Сын Шивы и Парвати, брат Ганеши. Бог небесного воинства. Возник из прерванного любовного акта Шивы и Парвати. Оброненное семя подобрал бог огня Агни и выходил вместе с богиней воды Гангой. То есть бог войны — плод прерванной любви и суррогатное дитя? Не просто бог войны, а бог-философ, суровый стоик, и обряды, ему посвященные, суровы соответственно. Чем же? Не там ли люди подвешивают себя на крючьях? И протыкают щеки спицей или тришулой, обрекая себя на молчание посвящения. Надо бы спросить у Прабы, будет ли все это там. И в интернете глянуть.

Да, все так. Десятки миллионов последователей, особо почитаем на юге Индии. Радикальная практика самоистязаний называется кавади, то есть ноша, испытание, или, по-нашему, — крест. Взяться его нести может каждый, это индивидуальное решение, не требующее испрашивания у кого-либо. Ну да, наше хлыстовство, например, власяницы, вериги, столпничество. Симеон простоял на столпе сорок лет. Тайпусам, называется, день Муругана. За сорок восемь дней начинается пост, потом особо вовлеченные в этот обряд бреют головы, прокалывают щеки трезубцем Шивы и подвешивают себя на крючьях, то есть их подвешивают. Обычно происходит

это в статичном положении — вертикальном или горизонтальном. Крючья называются вель — от того копья, которое дала Муругану его мать Парвати, чтобы он им сразил демона Сурападму. А перед тем, в возрасте шести дней от роду, укокошил демона Тараки. В честь победы и празднуется этот день в полнолуние месяца таи.

Отец Прабы, оказалось, когда-то был на том хуторе. Насколько я понял со слов Прабы, переводившего мне с тамильского языка отца, хутор этот лежит у подножья сандалового холма. На его вершине в незапамятные времена жил великий Наг, увидев которого в облике королевской кобры, местные жители решили возвести храм Муругана, еще и потому что он, Муруган, неразрывно связан с нагами и змеем Васукой, которым пахтали первородный океан, добывая амриту бессмертия. Внутри храма рядом с главным алтарем Муругана есть второй — домик Нага.

Раздумывал. Через два дня мы улетаем. Дороги в заповеднике на ночь перекрыты, значит, ехать надо сейчас, чтобы успеть. Оттуда выбраться можно будет только завтра. Позвонил Вики, да, он готов отправиться с нами на своем джипе, хотя дорогу тоже не знает. Надо взять одеяло, переночуем в машине, если что. Но ехать ли? А вдруг это впустую и ничего из того, что я представляю себе, там не будет? Спросил у Таи. Она говорит: как скажешь, прислушайся к интуиции, она обычно тебя не обманывает. Вслушиваюсь, и не слышу. Что-то блуждает там, а что — не понять. Хутор на границе трех древних цивилизаций, этническая вертушка. Заповедник, ночь, слоны, черная пантера. Холмы, чайные плантации. Сандаловый холм. Полнолуние месяца таи. Муруган, оброненное семя, дыба, крючья, молчанье… Поехали.

Я сижу впереди рядом с Вики, Тая на заднем, закутавшись в одеяло. Поднимаемся все выше в горы к чайным плантациям. Уже стемнело. Долго плутали, спрашивая дорогу у местных, которые встречались все реже — уже ни деревень, ни огней. У лобового стекла раскачивается крестик. Вики христианин, хотя в душе, похоже, никакого отношения к этому — просто родителей обратили по случаю, ну и он как сын кивнул, не столь важно. Вот такой христианин и два не пойми кто едут к богу войны, суррогатному дитя любви.

И под колесами уже не пойми что, дорога ли. Фары высвечивают какую-то небыль, заросшую движущимися тенями по сторонам. Высоко забрались уже, судя по холоду. За поворотом возникли движущиеся огни. Несколько машин, вернее, передвижных платформ в иллюминации. И люди, идущие впереди, позади и между этими платформами. Часть из них несет на головах светильники, провод ведет к генератору на колесах, который тянут за собой вручную.

Нагнали их, выехав на обочину. Нет, не платформы — грузовичок с длинным открытым кузовом и трактор с таким же. В кузовах сидят люди, над их головами раскачивается тело подвешенного на крючьях. Голое, в набедренной повязке. Подвешено на стреле, установленной над кузовом и направленной по ходу движения. От стрелы расходятся натянутые веревки с подвязанными на их концах крючьями, на которых и висит человек. Четыре крюка на ногах, шесть на спине, оттягивая холмики кожи.

Все это я разглядел уже потом, а пока говорю Вики: мы пойдем с этой процессией, а ты поезжай вперед к храму

и жди нас там — наверное, тут уже недалеко, пару часов ходьбы. Тая сидит, отвернувшись от происходившего на дороге. Я поеду с Вики и подожду тебя там, можно? — говорит она, не поворачивая головы. Да, конечно. Серджи, наклонился ко мне Вики, не надо здесь выходить, эти люди не в себе, ночь, джунгли…

Когда они уехали, я еще немного прошел вместе с процессией, а потом, поравнявшись с грузовичком, запрыгнул на ходу в кузов, чуть пригнувшись под раскачивающимся телом, связанные у щиколоток его ноги скользнули над моей головой.

В кузове сидели и лежали человек десять, одни дремали, другие безучастно смотрели в медленно плывущую мимо тьму леса или о чем-то тихо беседовали между собой. Где-то под их ногами спал мальчик. Над их головами раскачивалось тело, к которому никто из них не поднимал взгляд.

Дорога была разбитой, в ямах, колдобинах, грузовичок резко тормозил, дергался, припадал. По сторонам тела стояли двое и придерживали растущую амплитуду его раскачивания, как на качелях. Человеку было около сорока. Щеки проткнуты трезубцем. Глаза открыты. Смотрел вперед, на дорогу, где тянулась процессия со светильниками на головах, и дальше — на идущих во тьме, выхваченных светом фар. Руки свободно свешены, но временами брал их в замок, и тогда было видно, как его трясет — дрожь, проходя по рукам волнами, встряхивала голову.

Позади нас, почти впритык, ехал трактор, над кузовом которого раскачивался второй подвешенный. По сторонам его тоже стояли двое, утишивая амплитуду. За рулем

сидел лысый человек с длинными подкрученными вверх усами и странной улыбкой, будто совсем не его. И рядом мальчик, прильнувший к лобовому стеклу, глядящий на нас, ехавших впереди.

Я устроился между стариком в косынке и мусульманином средних лет. Спросил у него, почему он здесь, это ведь день Муругана, не Мохаммеда. Он задумался и пожал плечами: Бог-то один.

Ехали мы со скоростью ходьбы. Тронулись они, похоже, еще днем, и до храма оставалось еще часа два-три. По другим дорогам, наверно, тоже двигались к этому храму такие же процессии, возможно, тоже с подвешенными на крючьях людьми. И так по всей Индии. Десятки тысяч? Сотни?

Тело раскачивалось над головой, в полуметре. Я немного снимал поначалу, потом выключил камеру, чувствуя, что постепенно вхожу в это сновидческое состояние сидящих рядом, с виду почти безучастных, дремлющих или глядящих в плывущую тьму. В погромыхивающем на ухабах кузове с подвешенным телом, снизу подсвеченным двумя прожекторами от маленького генератора, гудевшего в углу. На этом грузовичке, плывущем в нигде, в космосе. Так оно и есть. Вот эти люди, случайные, как в зале ожидания, и поезд не придет никогда. Потому что они уже в нем. Дхармы движутся ста восьмью способами, но на деле есть лишь один, этот, где все они сходятся. И слоны будут выходить из тьмы на дорогу и исчезать, и иллюзорное солнце будет вставать над чайными плантациями, а этот кузовок, покачиваясь, плыть, оставляя за собой призрачный след пространства и времени.

Что же подвигло его на это испытание? Может, личная драма за всем этим стоит у него, травма, грех, мольба о помощи? Сколько вложено, столько, может быть, и откликнется. Но там, в кузове, эти слова казались бессмысленными. Был только плывший в нигде грузовичок с голым, подсвеченным снизу телом, и сидевшие под ним люди, недвижно глядящие во тьму. И путь этот — до конца жизни, а может, и далеко за нее.

Кто-то заметил о несущем крест на Голгофу в картине Брейгеля, что он там настолько затерян среди людей, что его нужно долго искать взглядом. Тут другое, да, но этот подвешенный тоже не в поле зрения, хотя вот же он, над головой. Бывает, главное — не в поле зрения, хоть и перед глазами.

Идущие впереди со светильниками на головах, пританцовывали, то и дело кто-нибудь валился в кювет. Пьяны ли, обкурены, или просто оступались. Мальчишка напротив меня уж час как стоял у борта спиной ко мне, просто смотрел во тьму. В профиль — тонкое лицо с большим глазом, и рот чуть приоткрыт, как на полуслове.

Выехали за поворот, холм впереди в огнях, толпа, гомон, бой барабанов. По объездной поднялись на вершину к храму, сделали несколько кругов, остановились у входа. Снимают с крючьев. Верней, ослабили веревки и положили его на днище, теперь вынимают крючья. Быстро, по одному. И прижимают это место тряпкой, промакивая. Две-три секунды, и переходят к следующему крюку. Нет крови, почти.

Трое нас осталось в кузове — он, я и один из тех, кто вынимал крючья. Накрыл простынкой. Водит через нее

рукой по телу, слегка массируя, потянул за стопы, одну, другую, все, помог подняться. Он стоит, нетвердо, чуть покачиваясь. Шаг, еще, спрыгивает с кузова, его подхватывают, опускают на землю. Толпа рассеивается. Стоит один, никому до него нет дела. Еще минута, и его нет. Не могу найти взглядом. Как не было.

Спустился с холма, нашел джип Вики. Тая на заднем сиденье, не спит, просто сидит, закрыв глаза. Ну как ты, спрашивает. Все хорошо, потом расскажу, пусть уляжется.

Поднялись к храму, она уже ходила туда, только вернулась. Храм полон, служба к концу движется, два брамина в алтаре совершают абишекам — ритуал омовения мурти бога — молоком, куркумой, медом, водой, повторяют несколько раз, осыпая цветочными лепестками. Слева в глубине храма — другой алтарь, домик Нага. Рядом сидит девочка с крашенной голубой краской кожей, над ней мудрят двое, приторачивая ей еще пару рук, над головой у нее капюшон кобры. Кали. Она выйдет на подворье к паломникам благословлять огнем. Вот из этого распылителя с баллоном, проверяют. Эти трое — ярмарочные, не храмовые.

Отошли подальше, присели на землю в тиши, где-то далеко внизу долина во тьме, над ней звезды. Долго сидели там, глядя.

Вернулись в уже почти пустынный храм, несколько прихожан устраивались на полу на ночлег. Сходил за одеялом. Легли за алтарем в углу с неярким светом. Рядом утроилась семья индусов с детьми. Большое у нас одеяло — и постелили, и укрылись с головой. Лежим, обнявшись, она быстро уснула и уже во сне убрала руку, прижав кулачки к груди.

Глаза закрываю — и раскачивается, сцепив в замок дрожащие руки. И Муруган, этот дравидский Озирис, раскачивается вместе с ним, в нем. Или не так? Никогда это не понять. Из христианства, ислама, иудаизма — не понять. И из безбожия. Древний грек понял бы, а нам поздновато. Просто смирись. Что-то чувствуешь, глядя туда, — уже хорошо.

Раскачивается в глазах. Сцепив ладони. А потом спрыгнет с кузова на нетвердые ноги, затеряется в толпе и вернется домой — к жене, детям, к лавке, где продает мобильные телефоны. И Муруган будет с ним, в нем. Или?

Здесь, на юге, культ Муругана, воина света. И культ Амман, матери земли. И ритуалы близкие. Тот же трансовый танец, проколотые щеки, язык. И сходясь с божеством, так же трудно выходят. Просветление в шаге от утраты сознания.

Помолчать бы после этих десяти тысяч лет, или сколько их там. Поунять бы слова, мысли. Кто ты есть, говорят, судят по женщине, которая рядом. Двоемирие, чужесть с родством на разрыв. Так ли? Нет ответа, ни на один вопрос о жизни, — нет. Вопросы следуют грамматике языка. А жизнь какое отношение имеет к этому? Ничтожное.

Кулачки подрагивают во сне. У груди. Моей, ее. На сандаловом холме. Где возник Наг. Как мимолетное виденье. Королевской кобры, которая вьет на земле гнезда по-птичьи. И, взметнув голову к лицу человека, стоит недвижно и смотрит ему в глаза.

Она искала сандал, хотела что-то начать резать — то ли кукол, то ли крохотную мебель для их домиков. В Майсур ездила, смотрела народные промыслы. А одно деревце мы

все же нашли на краю джунглей, долго гладила, нюхала. Но нельзя, в Красной книге.

Парвати перед первой ночью с Шивой в задумчивости мастерила куколку, а увидев, что получилось, радостно вдохнула в нее жизнь и предалась вечерним омовениям, готовясь к предстоящему. Шива, идя к ней, увидел ребенка, спросил: кто ты? Сын Парвати, ответил тот. Как же так, распаляясь в гневе, сказал Шива, она же была девственна, и в сердцах уничтожил его. Как потом прольет семя в огонь, мимо Парвати, и родится Муруган, выношенный мачехой. И затем, родив наконец с женой Ганеша, вернется после долгой отлучки и, приняв выросшего сына за ее любовника, отсечет ему голову. Все это после вселенской пляски отчаянья с прижатым к груди обугленным телом Сати, шагнувшей в огонь.

Даже атман, как говорят Упанишады, не ведает о природе счастья. Даже бог не знает, кто и как создал этот мир, да и был ли он создан. И Брахма сжигает Вселенную, как рукопись, чтобы начать сначала. Но им ли писанную? И демон лежит, запеченный во льду, поверженный. Не потому, что небеса отвергли его. В нем она, эта отверженность самого себя. Когда необъятные силы и никому не нужен. На излете внутренних дней творенья. Вмять себя в горный хребет, в ледяную материю. В материю. А дух бесприютен. И невыносим. Нет победителей в этой схватке. До смерти. Которой тоже нет. Все тут в проигрыше.

Открыла глаза: не спишь?

Агни, бог огня, хотел сойтись с женами семи мудрецов, а Сваха, вожделевшая к нему, принимала облик каждой из жен, кроме седьмой, которая оказалась слишком благочестивой для этих манипуляций, и Агни шесть раз оставлял

свое семя в Свахе, и, всякий раз, обернувшись птицей, она относила его на священную гору и сливала в волшебный сосуд. Так, говорят, возник шестиголовый Сканда, Муруган.

Однажды поехали с ней в Португалию, хотел хоть немного в сторону от Севильи с этой зеркальной ловушкой ее нового дома. Ноябрь, кажется, да, конец ноября, теплынь, чистое небо. Где-то под Фаро, почти безлюдье и залитые солнцем песчаные обрывы над океаном. Спустились в одну из бухт, она разделась догола и пошла в бирюзовый стылый накат волн. Так долго шла эти несколько шагов, верней, бежала, с разбегу, так долго, если по мгновеньям, а именно они и остались в памяти, каждое, со спины, и когда обернулась.

Еще часок, и можно ехать, Вики спит в джипе, где-то к шести утра доберемся до чек-поста. Нашла мою ладонь под одеялом, отпустила.

Какой опыт? С кем поделишься, даже с собой не. До какого-то возраста еще обольщаешься. Какое-то приращение происходит. Какое? Как в любой космогонии — перемещается пыль. Образуя иллюзии. И положить некуда.

Тело не лжет. Сцепил ладони, колотит его, трясет. У предела сил. На волшебных велях. Которые мать дала ребенку. Чтоб подвешивать. И быть подвешенным. Это наше тело раскачивается. Наше с Таей. Одно на двоих. Подсвеченное снизу. С этой дрожью — ладонь в ладони. Спрыгнет с кузова и растворится. И опять раскачивается… В двоемирии. В чужести и родстве на разрыв.

Скажи тихонечко, там, внутри себя, мысленно, ты давно этого не говорил. Я люблю тебя. Нет, иначе, попробуй. Я тебя... Как странно. Что оказались именно здесь перед отъездом. Вот чем заканчивается. Моей дорогой

на грузовичке с подвешенным телом. Ее ожиданием на сандаловом холме Нага. Этой ночью под одеялом у алтаря Муругана. Рожденным из пролитого семени. Скажи тихонечко…

Вернулись, собрались, поехали в аэропорт. На пересадке в Стамбуле, как обычно, разлетелись в разные стороны, по домам. На подлете к Мюнхену самолет около часа не мог зайти на посадку, все кружил в грозовом фронте. А потом вдруг яркая вспышка в окне — молния. Молодой немец, сидевший рядом, уткнулся в колени, обхватив голову. Самолет тряхнуло, но выровнялся.

А она в этот час войдет в свой домик в Севилье, наберет ванну, ляжет, прикроет глаза и тихо выдохнет: здравствуй…

Часть 2

#66. Приближение

Просторная тростниковая хижина, продуваемая ветром, стоит на краю поляны, в низине — ручей и древнее святилище: двухметровый овальный камень — лингам Шивы, опоясанный рудракшей, перед ним его вахана — Нанди и несколько высоких трезубцев. За лингамом — яма с негасимым костром. А если немного отойти по едва заметной тропе в глубину леса, там старый термитник, перед которым металлические фигурки Нагов и затепленные огоньки.

Это издавна намоленное место несколько лет назад обжили три отшельника. Главного зовут гуруджи, ему под шестьдесят, слегка полноват, благообразен, в оранжевом облаченье, очках и белой круглой бороде. Импульсивный, деятельный, видимо, в прошлом городской, не расстается с мобильным. Потом становится понятней, что на нем лежит связь с внешним миром, а по-настоящему главные здесь — двое других, молчаливых, занимающихся хозяйством, поддерживающих огонь — и кухонный, и ритуальный. Между собой зовут они друг друга «кака́» — дружище, человек божий. Они младше

гуруджи, но древнее, особенно второй — древесного кроя, в сером дыме волос и бороды. Первый проще и тверже, но эта отчетливость вся на виду, а у второго за каждым жестом, взглядом — многослойные ландшафты, переходящие в теплую полутьму. Оба не говорят по-английски, гуруджи же — всего несколько слов.

Кроме этих троих в хижине живет зеленый лесной попугай и тощий дымчатый кот. За хижиной стоит мотоцикл — один на троих. Попугай прихрамывает, левая лапа у него собрана в трехперстье и как бы оплавлена. В остальном держится молодцом, чередуя виноград со жгучим перцем. А кот пробавляется охотой на что попадется вплоть до ящериц. Свет и подзарядка мобильных — от аккумулятора, которого хватает на пару вечерних часов, остальное время — костер в хижине.

Исполнили пуджу у святилища, прошлись по лесу к алтарю Нагов, я присел перед затепленными огнями, второй кака́ вынул раковину и извлек благой протяжный гул, глядя чуть в сторону от меня, где наши взгляды и встречались, как будет потом у костра.

Вернулись в хижину, я переоделся в лунги, пообедали рисом с подливками из лесных плодов. Почувствовав спиной какое-то движение у кромки леса, я обернулся: огневой ручей струился на поляну — вереница женщин в ярко-красных и вишневых сари с желтыми узорами. Эти женщины племени гонди шли к святилищу издалека — спустились, говорят, с гор еще затемно. Сели на землю с нами, гуруджи взял таблу и запел. Мата Бора, затягивал гуруджи, раскачиваясь и улыбаясь, глядя на меня, сидящего уже с чьим-то ребенком на руках среди женщин, подхватывающих его голос поначалу немного

смущенно, но все более разгораясь взамен огня в хижине, который пригибался и стихал. Невозможной красоты лица — такой, что все прежде виденное мной как красота уже не знало как с собой быть. Входи, родной, говорил этот свет, эта музыка, голос, лес, — входи, это твой дом, ты долго шел сюда, почти целую жизнь. И хлопали в такт ладонями вместе со мной. Мата бора…

Острое, тревожно светлое предчувствие. Что-то должно произойти со мной здесь и уже началось. Вещи мои в гостинице в двадцати километрах отсюда, договорились, что возьму их и наутро вернусь — надолго.

Привез меня в этот лес Рамиз, чье имя означает, как он сказал мне, подмигнув: хороший знак, благая весть. Познакомились мы в маленькой сумрачной едальне, куда он заглянул за полог, отделявший ее от яркого дня и шума улицы. Вышли, сели на его желтый гоночный мотоцикл, на котором было написано просто: байк. Чуть не слетев от рывка с места, я едва успел прижаться к его спине, и улетели.

Поселок, откуда мы тронулись, назывался Нагри. Вероятно, от Нагов, живущих в подземном царстве Потала — полубогов в человеческом облике, но со змеиным хвостом вместо ног. Или, по другой версии, со змеиным телом и несколькими головами. Именно так, если о поселке в целом. Находится он в глубинке Чаттисгарха, куда я давно хотел добраться, но все не складывалось. Штат мало посещаем — один из самых неспокойных: маоисты, нескончаемая партизанская война. Половина населения — лесные племена. Джунгли, горы, водопады и племена. Несколько больших заповедников с огромным списком фауны, но я бы не удивился, если б они

оказались пусты, как это было неподалеку, например, в Телагане, где важный егерь наконец сказал мне, понизив голос: что вы, зверей уже полвека у нас нет, это только на вывеске былое изобилие.

Я ехал на юг штата — в царство Бастар, где и живет большинство племен, но по пути — вереницей случайных, как это водится в Индии, неслучайностей — все более отклонялся, пока не оказался в этом Нагри, где приезжих не видели, думаю, вообще никогда, настолько поселок этот находился в стороне от всего, что только можно вообразить. Единственный постоялый двор на окраине Нагри обметывал и облапывал серый песчаный вихрь. Там я и поселился, комната без замка на двери и покосившиеся ставни на зарешеченном окне, в которое по ночам выла свора собак со столбовыми громкоговорителями вместо голов. Вещи вместе с деньгами и документами я тем не менее оставлял в номере и укатывал в предместья в поисках храмов, племен и их лесных рынков.

Выехав с Рамизом на окраину Нагри, мы зашли на чай к его учителю — известному в этих краях суфию. Большой ухоженный дом в саду с бассейном. Со стороны переулка почти невидимый. В разговоре об окрестностях, дикой природе и племенах были упомянуты некие отшельники, живущие у святилища Шивы, учитель рассказал Рамизу, как к ним добраться лесной дорогой.

Уже на подъезде я ощутил эту светло тревожную волну, но принял ее за чувство леса, по которому успел истосковаться, тем паче, что уже и лангуры появились, и олени, и ибисы. Сюда, обернулся Рамиз у озера, медведи ходят на закате. Пригибаясь от веток, выехали на поляну и заглушили мотор у хижины. Через несколько

часов, которые показались днями, я сказал, что завтра вернусь к ним с вещами.

Едем с Рамизом. Леса, поля, хуторки. Казалось, что и без мотоцикла я уже мог бы так лететь. Свернули с дороги в перелесок, там пестрит рынок племени муриа. У каждого племени раз в неделю свой рынок и несколько мест в округе, где они устанавливают свои шатры и торгуют разной всячиной — от еды до одежд и украшений. Чуть в стороне петушиные бои с закладами, передвижные кузницы и сальпи, сальпи повсюду — местное пиво мутно белого цвета, которое добывают на манер нашего березового сока из особых пальм. Выпили с Рамизом по стаканчику, вкус айрана со здешними масала. Пока я еще не очень отличал по внешности, где племя муриа, где гонди, где гхадва, дорла, а уж абхудж мариа от мариа бизоний рог — и подавно. Но скоро это придет. По одежде, украшениям, манере носить обувь и менее заметным деталям. Особая лесная стать, достоинство, открытый взгляд, мягкая сила и удивительная красота. И одежда, по которой сразу их отличаешь, хотя сказать, чем же, пока не получалось. То же сари, ну может быть, чаще сочетание красного и зеленого. С узором на ускользающей грани цыганского толка и тонкого вкуса. Глаза мои переводят взгляд с одного на другое, но я чувствую, что при этом, как птица, отвлекают от гнезда, которое там — в хижине. Стараюсь не думать о ней. Завтра. Завтра что-то должно произойти. Если это не ложная волна. Но она ходит во мне — то ближе, то дальше, трогает вслепую мое прошлое, будущее, как человек в призрачном жилье полузабытые предметы.

Тем временем мы с Рамизом переносимся по джунглевым дорогам на хутор, где живет племя комар и плетет

солнечные корзины из тростника, вот так и само солнце бы плело себя, продевая лучи по ободку, заговариваясь в руках этого старика, сидящего на рыжей земле двора без двора, рядом с намеком на дом. Подошел песочный пес, понюхал солнце, руку, меня, лег в тени. А мы переходим на край хутора к одиноко стоящему дому, под стеной которого сидит мальчик у кузнечного огня с велосипедным колесом и приводным ремнем для поддува. Из воздуха возникает отец, я спрашиваю глазами — можно ли заглянуть в дом? Двери нет, сумрак, земляной пол, комната три на три, ни шкафа, ни полок, ни вещей, коврик в углу вместо кровати на всю семью, чуть не наступил на куклу, лежавшую на земле раскинув руки. В другой комнатке — кухня, очаг посреди мерцает. Вышел, девочка лет пяти у колонки с водой собрала вымытую железную посуду, несет эту пирамиду, прижав ее верх подбородком, на дороге ее поджидает мать — зеленое, как бывают глаза, с солнечным узором сари, черные волосы до поясницы, и такая легкость во всем теле и лад, хотя она и стоит почти недвижно, ждет с улыбкой. Кажется, что господь в одиночку не смог бы ее создать, только втроем — с лесом и солнцем. Рамиз подходит, видя, куда я смотрю, рассказывает об этой женщине: недавно леопард кинулся на ее дочь, мать успела схватить его за хвост и отшвырнуть. Ну невозможно же! Но здесь это слово надо забыть.

Переехали в другой лес, в деревню племени гонди, на краю ее сияло пустынное лесничество, перестроенное для туристов, которых тут никогда не было. Даже сторожа нет. Чистые светлые номера, застеленные кровати, сад, лангуры на деревьях, один из них прилег на ветке, положив кисти рук под щеку, смотрит поверх моей головы

на заходящее солнце. И маленький неглубокий бассейн с рыбками-чистильщиками. Сели с Рамизом, спустив ноги в воду, педикюрные волшебники кинулись к ступням, засуетились. Вот ведь, только вчера еще был бог знает где, по другую сторону Нагри, в какой-то деревушке, имя которой не вспомню, куда привез меня на мотоцикле учитель санскрита, но, как оказалось, не говорящий на этом языке, договорились с ним, что покажет мне округу, жизнь лесных племен, но он боялся туда соваться и даже в лес сворачивать, под каждым предлогом увиливал, так мы доехали до хутора, где его школа находится, вошли, а там дети в коридоре сгрудились вокруг перевернутого ведра, завхоз приподнял его, а под ним гадюка Рассела, детеныш еще, но яда в нем уже будь здоров. Дети в шаге, нагнувшись над ведром. Да, говорят, часто приползают. Потом во дворе выстроились, пели, танец исполнили, а я речь произнес из простых слов, поскольку по-английски даже учитель едва понимал. А потом он собрание учителей затеял, только бы не ехать со мной к племенам, а я шатался по деревушке и вышел на окраину, где женщины стирали белье в пруду, и одна из них вошла по грудь в воду, а сари — ультрамарин с вишней — медленно продвигала рукой по воде чуть впереди себя, змеящийся шелковый путь, путь и она с ладонью воды у губ, нашептывающая в нее перед тем, как пригубить, но так медленно, что слышно, как растут деревья. Я сидел у часовни на берегу и все смотрел, как она выходит из воды, выкручивает это переливчатое небо с моросью, а за ней, на ступенях у воды сидит крестьянин и трет босые ступни о шероховатый камень, скрупулезно, внимательно, долго, и я подумал тогда: вот и мне пора бы прах дорог с ног отереть, а то все идут, идут, уже не помня, кого

несут. И вот дня не прошло, а я сижу, опустив ноги в этот бассейн, и волшебные рыбки разматывают пути-дороги с моих ног. А то, хочешь, говорит Рамиз, оставайся здесь, столоваться будешь в домах у племени, я договорюсь, будешь в лес ходить, можно встретить медведя, их немало здесь. Так бы и было, если б не хижина.

Возвращались уже по ночному лесу, все дороги между деревнями тут пустеют с наступлением сумерек, не рискуют даже местные — неспокойный край. Я еще пошучиваю, но вскоре увижу, насколько это всерьез.

Лежал в гостинице под ночной вой собак за ставнями, перебирал в памяти пути-дороги, которые привели меня сюда. Две тысячи километров и десять дней с того времени, когда задумался, куда же ехать? Две тысячи и еще столько же перед тем, но тогда я знал и перемещался с группой по плану — Харнай, Панхаликаджи, тейям в Керале, заповедник Мудумалаи, ласточкино гнездо Рамануджи в Мелукоте и наконец «ватикан джайнизма» в Шраванабелаголе, откуда группа уехала домой, а я остался — выдохнуть и придумать путешествие, куда отправиться на месяц, после которого, в конце марта, собирался вернуться в Бор и доснять фильм про нильгау.

Да, Шраванабелагола, там и наживился этот путь. Дни и ночи можно говорить об этой деревушке и даже не начать. А ты попробуй одной фразой сказать, авось что и проступит, ночь долгая, все равно не уснуть.

Месту этому около трех тысяч лет: два скальных холма, на вершинах которых несколько десятков древних джайнских храмов, а между холмами — сама деревушка с безлюдным священным прудом, похожим на око без зрачка; на одном холме в пятом веке до нашей эры сидит

дед Ашоки — великий царь Чандрагупта Маурья, создавший империю Индии, пишет письмо Александру Македонскому, потом принимает джайнизм, отказывается от царства и всего земного, удаляется в пещеру и вслед за своим учителем Бхадрабаху, последним настоящим риши, с уходом которого истинное знание людское, убывая, покатилось с горочки, выдыхает жизнь; все небо над этой деревней соткано из неисчислимых за тысячелетия выдохнутых жизней джайнов; а на другом холме, куда, в отличие от этого, более древнего, устремляются ежедневно толпы приезжих, стоит возведенная в те времена, когда крестилась Русь, восемнадцатиметровая статуя одного из первых джайнских святых Бахубали, говорят, самая большая в мире из монолитных, этого исполина раз в двенадцать лет празднуют миллионы паломников, украшая цветами, умащивая волшбой и мантрами, поливая тоннами молока, шафрана и бог знает чего, а возведена она была по инициативе придворного министра, посвятившего этот титанический труд своей матушке, которую горячо любил, а когда-то он, живой Бахубали, сын царя, стоял годами в лесу в аскезе и такой глубокой медитации, что птицы вили гнезда в его волосах, сейчас он тоже в лесах, но строительных, и трое рабочих перемещаются по его лицу, как три муравья, но так ты и за месяц не расскажешь, просто опиши, например, пару часов любого из тех своих дней; ну вот, выхожу я из своего домика, где прямо под дверью устроилась на полу дюжина уборщиц с бидончиками и плошками еды, вереща и поедая весь этот список, иду с неразлучной моей турочкой и привезенным с горных плантаций юга чудесным кофе к чайханщику, который завидев меня, уже снимает с огня кастрюлю с чаем, протягивает ложку,

сахар, я варю, все это без слов, на виду попивающих чаёк утренних индийцев, древних и не очень, с завязанными под подбородком полотенцами и чапаевскими усами, по-английски никто, да и не надо, на пальцах и так понятно, но и их не надо — есть голова и ее покачивание на сто восемь ладов, и вот я иду сквозь и мимо тех, кто приехал взобраться по раскаленным от солнца каменным ступеням на вершины этих холмов и поклониться джайнским святым, всем двадцати четырем тиртханкара — просветленным наставникам, строителям Переправы из мира сансары в освобожденный вневременной, от первого — Адинатха до последнего — Джины Махавиры, жившем в шестом веке до нашей эры, примерно во времена Гомера, когда возникает в Индии мощное брожение духа, поиск путей, практик, необходимость уточнить очертания мироздания и человека в нем, его дхармы, и вот в одно время приходят равновеликие и равноправные друг другу учителя: Будда с его учениками, Гошала у адживиков, Джина Махавира у джайнов, авторитетные брахманы со своей паствой и другие, в диспутах между ними происходит становление того, что назовется буддизмом, джайнизмом, брахманизмом, а на зиму они перебираются на север в предгорья Гималаев и, обустраиваясь в пещерах, продолжают свои диспуты, сейчас в Индии у джайнизма около миллиона последователей, это немного меньше одного процента индуистов, а могло быть и иначе, и джайнизм мог стать куда более многочисленным движением, если бы не его радикальный отказ от большинства земных благ и привычного обихода, вплоть до отказа носить одежду, если бы не строгая духовная практика, если бы не такая же радикальная ахимса, положенная во главу угла: непричинение вреда

ни одному из живых существ, включая и так называемую неодушевленную природу, где у каждой субстанции есть душа — джива, и нет ни Бога, ни богов, и в этом отношении джайнизм близок к буддизму; нет бога, а есть саморегулирующаяся Вселенная, что отчасти сродни и научной картине мира, а еще если бы не драматичные перипетии на пути становления джайнизма в столкновениях между его лидерами, и вот иду я по улочке, кивая местным, с которыми знаком уж не первый год, иду вглубь деревушки, куда приезжие не заглядывают, потому как не знают, что там стоит невзрачный с виду храм, но именно туда ежедневно приходят джайны, которых ни на холмах, ни в деревне не встретить, а живут они в небольшом общежитии — матхе, на задворках этого храма, и, поскольку образ жизни у джайнов не оседлый, всегда в пути от храма храму, то останавливаются они тут всего на несколько дней, сменяя друг друга, и дважды на дню между медитациями и чтением ходят на пуджу в этот храм, идут по деревне совершенно голые, с павлиньей метелочкой в руке, в другой — четки, смахнут незримое с пола в храме, прежде чем присесть и ненароком не причинить вред мошке или муравью, и погружаются в ритуал, не очень-то замечая настенную живопись неслыханной красоты, написанную безвестным гением около пятисот лет назад — тысячи миниатюр на стенах, объединенных в умопомрачительный космос истории джайнов, живописи этой осталось недолго жить, однажды в этом храме ко мне подошел рослый старец в багряном облаченье, с белой бородой и мягко жгучими глазами, и начал что-то тихо рассказывать об этих изображениях, и вдруг, вглядевшись в меня, сказал: впрочем, что это я, вы все это знаете не хуже моего, и оказался

он папой этого ватикана джайнизма, а из-за его спины выглянул лучащийся старичок, оказавшийся индологом с мировым именем, а за его спиной — молодой их помощник из Лондона, после недолгого разговора они попросили, чтобы я написал что-то вроде экспертной записки, которую подадут правительству и надеются, что с моей помощью это сокровище будет спасено, признаться, я бы и сам засучил рукава на пару месяцев — когда-то в молодости я ведь работал реставратором в храмах Украины, но здесь другой случай, и вот однажды я вхожу в этот храм ранним утром, никого нет, а из глубины сумрака смотрит на меня та, с улыбки которой началось мироздание, непроявленное стало явным, мир начал отсчет жизни — Кушманда, имя первой ипостаси Шакти, уголки губ ее дрогнули и вселенная — несуществующая — пришла в движение, именно с улыбки женщины, а с чего еще он мог начаться, есть в этом какая-то высшая правда, ей, Кушмандини дэви, и посвящен этот особый притвор в храме, где стоит убранное цветами ее мурти, и у ног ее — тигр, и огонь перед ней затеплен, и сижу я перед Кушмандой и думаю полушепотом, не скажу, о чем, а потом бесшумно со спины подходит Киран, пуджари этого храма, и я прошу его исполнить ту дивную песнь о Кушманде, которую впервые услышал от него днем раньше, и вот он уже настраивается, готовит пуджу, зажигает огонь и начинает необычайной нежности мантрическую песнь, поддерживая ее колокольчиком, а потом протягивает мне тарелку с огнем, кокосом, куркумой и цветами, я зачерпываю воздух над пламенем и умываю им лицо, но уже пора мне обогнуть этот храм — на задворках его расположен матх, невзрачная общага, где на время останавливаются джайны — и «одетые в воздух» дигамбары, ходящие голыми,

и светошвары, среди которых чаще женщины, одетые в белые одежды, но в начале они были смешаны, только потом пришло разделение, а иду я туда, поскольку договорился с одним из джайнов поговорить, записать разговор с ним у него в комнате, задача не из легких, поскольку джайны к себе не очень-то подпускают, видео бесед с ними на русском, кажется, вообще нет, могли бы и днем накануне встретиться, но он был погружен в глубокую медитацию до следующего утра, и вот сидим мы — он голый на голой жесткой кровати, весь его скарб за полвека странствий умещается в небольшую сумку, стоящую в углу такой же голой комнаты, перед ним портативный пюпитр для книг, я сижу на полу, поскольку нельзя прикасаться ни им к людям, ни людям к ним, на пюпитре у него не книга, а планшет, он водит пальцем по экрану, задумываясь после каждого моего вопроса, и не понять, то ли он действительно параллельно что-то читает там, или пользуется этой медитативной паузой перед ответом, ему примерно под семьдесят, джайнов у него в семье не водилось, отец был профессором физики в университете, решение стать джайном он принял еще в юности под влиянием двух книг, одна из которых Смерть Ивана Ильича, в разговоре он все время называет себя «мы», и когда я переспросил, почему, он сказал, что еще не достиг того личностного «я», которое обеспечено божьим, сливаясь с ним в атман-брахман, и вот сидим разговариваем — о джайнизме, о началах и концах мира, об ахимсе, о смерти комара на ладони, и я спрашиваю его, возможно ли причинить вред другому, если этого другого нет, а все мы — единое, связанное парампарой, он соглашается, но указывает на множество сторон у каждой из обсуждаемых территорий, а кроме того, ахимса

ведь не означает жертвенного беззащитного потакания всему, что может проявить агрессию, комара можно прихлопнуть, но можно ведь и просто смахнуть, и дальше — о великих учителях говорим, о вопросах, на которые нет и не будет ответа, о смерти Толстого в Астапово, о личном опыте, который вроде единственная реальная основа в пути и мышлении себя человеком, но как, спрашиваю я, с этим быть, если по уставу джайнов они не могут заниматься никакой деятельностью кроме духовной, а значит, лишены личного, единственно реального опыта на большей части поля жизни, а в конце разговора я спросил, какое положение он занимает в джайнской иерархии, он ответил, что он никто, в самом низу, в отличие от, например, того молодого джайна из соседней комнаты, чем очень меня удивил, поскольку у того джайна в соседней комнате я был днем раньше — совершенно несопоставимые уровни, тот был в самом начале пути, и уже уходя от этого старца, я спросил его имя — Океан Медитации, чуть потупясь сказал он, я получил это имя от своего гуру, и улыбнулся, и только потом, переписываясь с лондонским джайном, я отправил ему нашу фотографию с Океаном Медитации, в ответ была крайняя степень изумления, он не мог поверить, что я беседовал с самим Шри Дхьянсагарджи Махараджем, прислал вереницу ссылок, где ему внимают тысячи джайнов и склоняются к его стопам, и вот я выхожу от него во двор, куда глядят окна школы и куда уже высыпали дети — обеденный перерыв, едят из железных тарелок, пританцовывая и смеясь, моют их, поливая из шланга — и тарелки, и друг друга, садятся в тени матха, раскладывают тетради на земле и пишут, пишут, а мимо них идут в храм обнаженные джайны с метелками под мышкой, и никого это

не смущает, а чуть поодаль стоят мусульманки, зачехленные от темени до ступней, и воет сирена об отключении электричества в деревне, и вой этот смешивается с игрой музыкантов у храма, и я иду по улочке и встречаю приятеля — официанта той харчевни, где порой обедаю, и он говорит: поехали пожрем по-человечески — мясца, а то здесь можно и свихнуться с этим вегетарианством, и мы несемся с ним на мотоцикле за деревню, похож он на цыганского коновала лет пятидесяти, с залысиной, а на деле ему двадцать семь, зовут его Джон, он католик и сирота — ни отца, ни матери, ушедших рано, ни братьев, ни сестер, ни семьи, он умело играет в мажора, понукая себя к счастью, а на душе — кошки, дом-то есть у тебя родительский, спрашиваю, да, говорит, но я там не могу жить — пусто, потому стелю матрас в столовке, там и живу, а за этой столовкой, по пути к тому храму с невероятной живописью, стоит другой, в сумрачном алтаре которого сидят все двадцать четыре строителя Переправы, а фасады по всему периметру украшены цветными рельефными картинами в духе веселого космоса из истории и мифов джайнизма, и никого вокруг, только согбенная старушка с запрокинутым к этим картинам лицом, переходит от одной к другой и шепчет: ой бо, ой бо, и ангельски пукает после каждого вздоха, а по другую сторону деревни, под нависшим скальным холмом — еще один большой храм с типичными для эпохи Хойсала бутылочными колоннами из черного гранита, некоторые считают, что в те времена не могло быть инструментов для такой ювелирной резьбы, что никак это происки иных цивилизаций, но оставим это на поле воображения, а под карнизом скалы — янтарная вереница ульев диких пчел, и на крыльце храма

сидит мата — матушка из секты светошваров, вся в белом от капюшона до пят, в позе пьеты, а над ней на портике — скульптурные фигуры Якши и Якшини, бога нет, а эти ангелы-хранители, они же демоны-вредители по обстоятельствам, есть у каждой души — он и она, Якши и Якшини, вот такие, видать, и посодействовали мне в первый мой приезд быть удостоенным приглашения посмотреть трапезу джайнов и даже разрешения снять небольшой фильм, что редкость, поскольку посторонних к этому не допускают, кормят их раз в день около полудня, в остальное время — только вода, накануне у меня была долгая аудиенция у них в комнате, после чего и позволили, я присел на пол в дверном проеме трапезной, включил камеру, пустынный зал, похожий на разделочный цех или брошенный больничный покой, у стены — длинный железный раздаточный стол, на котором стоят бидоны, ведра и плошки, а в центре зала два колеблющихся сияния нежного красно-бело-желтого огня, это кормящие джайнов, особо приближенные — мужчины и женщины в длиннополых сияющих одеждах, они стоят, окружив голого джайна со всех сторон и поочередно протягивают ему в руке еду, он выбирает глазами, и подставляет ладони, передают, не касаясь друг друга, два джайна, две группы кормящих, среди них красивая молодая женщина, приехавшая на пару дней из Мумбаи, я с ней познакомился накануне, ее аудиенция была перед моей, она отходит к окну, смотрит в даль, движения медленные и плавные, как и взгляд в эту даль, куда поднимает голову, кажется, долго-долго, возвращается к джайну, взяв со стола тертую морковь в маленькой плошке, несет в ладонях, оранжевое в белом женственном тумане, большие и такие же затуманенные глаза с чуть

потупленным взглядом, протягивает ему, обмениваются едва заметной улыбкой, он худощавый, лет тридцати, смуглый, с высоким лбом и недлинными вьющимися волосами, второй постарше, с брюшком и более раскован, балагурит с кормящими, трапеза длится около часа, потом каждый из них садится на маленькую деревянную скамейку и, наклоняясь над ведром, долго полощет рот, сливая воду через сито, которое держит в руках, внимательно следя вместе с кормящими, чтобы никто из незримых живых существ там случаем не оказался, вообще все это немного смахивает на кормление муравьиной матки или обихаживание господина ПЖ в фильме Киндза-дза; да, с той мата из светошваров тоже была у меня встреча, около пятнадцати сестер из этой же секты сидели на полу в небольшой комнате, и она, мата, вела с ними разговор, я приоткрыл дверь, ища того странного джайна, похожего на сильно натянутую к небу ниточку, худее людей я не видел, и тише тоже, но в тишине его была та же натянутость, он читал книгу на санскрите, а я стоял перед ним в его комнате, где кроме антикварного походного чайничка для воды, четок, метелки, сита и книг, ничего не было, стоял и снимал его на камеру, попросив, чтобы он почитал вслух, он и начал, но потом все тише, тише, и совсем ушел в себя, только переворачивались страницы старинной книги, завитушки букв, его длинные тонкие пальцы, дыхание живота, скрещенные под ним ноги и, подымаясь снова вверх — едва шевелящиеся бескровные губы; приоткрыл дверь и мата поманила меня рукой, присел среди сестер, разговариваем, а где-то всего в получасе езды высится другой скальный холм посреди равнины — Мелукоте, вот так они, джайны и вайшнавы, тысячи лет под одной небесной

простынкой, и никакого Шивы и Ко во все здешние края света, такой индуизм, то есть и такой тоже, а потом я возвращаюсь в деревню и пью чай у той девушки, которая всякий раз незримо волнуется, готовя его, и наливает в стаканчик поначалу один детский глоток, протягивая мне на пробу, как дорогое французское вино, а потом уж, после одобрения, наливает весь, тишь в деревне, часы сиесты, только собаки лежат на обочинах, дремлют, а я пью чаёк и думаю, что это за сон такой, который не досмотрел, проснувшись: иду я в неведомом краю положить в условном месте шесть тысяч — наверно, рупий — для Гомера, так мы с ним, видимо, договорились, откуда Гомер во сне взялся, почему шесть, и что за место условное, которое так хорошо знали оба — бог весть, допил чаёк, иду в свой дом на окраине, но по пути решил еще заглянуть в полицейский участок, чтобы обняться с богом Кришной и богатырем Бхимой, это годом раньше около полуночи я вышел на крыльцо — необычайные звуки неслись над спящей деревней — то рыданье, то пенье, то гневные окрики, то гомерический смех, заплетающиеся друг в друга, я пошел на звук, оказалось, что на втором этаже полицейского участка шла репетиция Махабхараты: сержант Кришна, представился мне один, выходя из роли; фельдфебель Бхима, сверкая очами, протянул руку другой с дубиной на плече, оба в полицейской форме, Махабхарата, понимаете, драма, говорит третий, наяривая на клавишах, похожих на индийские проселочные дороги, ну это как ваш Король Лир... этого, как его... Копперфилда, и снова входят в образ, хотя что это я — никто из него и не выходил, они и воспринимают происходящее оттуда, из эпоса, этажом ниже в участке с утра до вечера идут допросы, рушатся

судьбы, раздаются крики, стенанья, текут слезы, заполняются бумаги, а на втором этаже их сослуживцы в этой же полицейской форме проживают события Махабхараты как происходящее с ними сейчас и здесь — те же крики и слезы, те же рушащиеся судьбы, достаточно посмотреть на этого Бхиму, что с ним сейчас происходит: машет полицейской дубиной, кричит, поет, взлетает, падает, утирает глаза, молит небо, а мастер-учитель, наяривающий на клавишах, обрывает музыку, говоря ему: нет, не так, вырви свое сердце, смотри на Кришну, давай, Бхима, давай сначала, и он дает, и глаза у него наливаются огнем и смертью, и он с хрустом ломает об колено человека, настоящего человека, и никого в голом актовом зале ночного полицейского участка, кроме Кришны, Арджуны и мастера, сидящих у стен и глядящих на этого трехтысячелетнего Бхиму, от которого сейчас зависит весь дальнейший ход истории мира, никого, кроме них и меня, пришедшего босиком во тьме на эти крики, раздававшиеся вперемеж с воем собак над всей спящей джайнской деревней с верблюжьими холмами, Чандрагуптой Маурья, письмами Македонскому, каменным колоссом Бахубали, голыми джайнами с павлиньими метелками, храмами, прудом, рынком, католиком Джоном и луны, а на рассвете мы уже сидим с ними в чайной по соседству и, продолжая разговор, я спрашиваю: а что же женщины, будут ли они в сюжете, и они говорят, что да, но приедут из столицы уже на само представление, они профессиональные актрисы, и, конечно, хорошо бы нам с ними хоть разок порепетировать, но не получится, так что все будет как впервые, как и было в те времена, по-живому, и дарят мне на прощанье мятую брошюрку с дайджестом Бхагавадгиты и расписываются на память: Кришна,

Бхима, Арджуна, и над деревней восходит солнце, и вот год спустя я захожу в полицию обняться с ними, а нет их, как сказала похожая на борца сумо трехсоткилограммовая женщина-шар, начальник участка, полицейскую форму для которой, видимо, шили большой артелью, а могли бы задрапировать и корабль, уж год как нет их, говорит, после представления Махабхараты, на которое обычно съезжаются с детьми и скарбом на неделю несколько тысяч зрителей из ближайших деревень, перевели их в другой участок, в другой эпос, и вот возвращаюсь я в свою комнату и думаю: куда же, куда, и смотрю карту, и взгляд мой все чаще соскальзывает в сторону того, что все эти пятнадцать лет моих путешествий Индия держала в заведенной за спину руке, будто приберегая до этого дня, и беру билет на самолет в те края, где ревут водопады, зеленеют леса и все еще живут в горах дикие племена, не очень жалующие наш мир, помнят царство Бастар и короля, убитого полицией на крыльце своего дворца, поют песни, ткут чудеса, чтят богиню Дантешвари, которая в каждом дереве, языке огня и клочке земли, уклоняются от пуль, снующих между армией и маоистами, собирают мед, готовят вино из цветов махуйя, закусывают муравьями и занимаются древним волшебством ремесел, как, например, изделия по металлу, которые делает особая каста по почти утраченной методике, которой несколько тысяч лет со времен Мохенджо-Даро — в Чаттисгарх.

Память уходит, недолгие узоры на воде остаются. А были на земле, и куда отчетливей. А скоро и воду покинут, перейдут в воздух, неразличимые. И исчезнут эти призрачные конвойные по сторонам — прошлое и будущее, и останется голое настоящее, недостижимое.

Да, наверно, было несколько поворотных точек, знаков, неслучайных случайностей, пропусти я любой из этих указателей, и все пошло бы по другому пути. Первый — там, в Шраванабелаголе, с решением лететь в Чаттисгарх.

Вылетел из Бангалора, приземлился в Райпуре, поселился в гостинице, название которой прочел лишь наутро: Гуру. Думал не задерживаться в городе, о котором повсюду пишется, что смотреть там нечего, а ехать прямо на юг штата — к водопадам и племенам, в царство Бастар. Но неожиданно узнал о древнем монастыре святого Молочника на окраине города. И провел там весь день. Какой чудесный теплый жилой космос, давно мне так хорошо не было. С первого шага, когда вошел в ворота и местный садху в ответ на приветствие поманил рукой разделить с ним трапезу — горячие чапати, которые он пек там на костерке. А потом, среди множества храмов на этом маленьком подворье за крепостными стенами, часовня Ханумана, вся обвешанная красными тряпичными мешочками с кокосом внутри и нашептанными в них упованиями прихожан. Как будто вся в алых сердечках с незримой запиской внутри. А напротив, в пустынном храме Баладжи, у алтаря сидят на полу два мальчика, они же пуджари, и играют в шахматы, те самые, которые еще на заре времен были созданы индусами. У входа стоит наряженный в прозрачное светящееся сари Гоголь. До оторопи Гоголь, хотя и оказался Гарудой. Волшебной птицей. Птицей тройкой. А стены в волшебных росписях, и белый единорог-нильгау среди них. И крашеная фигура юной матери Кришны, от которой не мог отвести глаз, не понимая, почему, и только дни спустя — дошло: на маму мою похожа, те же губы, улыбка, разрез глаз. А на подворье тихая размеренная жизнь — что-то готовят

на костре, едят, сидя под навесами и на ступенях, пилят дрова, носят воду из пятисотлетнего колодца. В одной из пристроек — ватага мальчишек, вроде послушников, или монастырская школа здесь. Стена с ячейками, как в вокзальной камере хранения, там их вещи, а в углу под одеяльцем двое лежат. Кришна и Радха? Смеются, сдергивают с них одеяло. А над крепостной стеной — жилая галерея, бельишко сушится, женщины воркуют, в комнатах полумрак, спускаюсь по лестнице, а навстречу мне монах, повторивший раз десять мое имя, чтобы запомнить, и называет свое — длинное, как список кораблей, и говорит о себе «мы», как тот Океан Медитации в Шраванабелаголе. А где, спрашиваю, настоятель монастыря, можно ли его увидеть? Да, отвечает, но он сейчас спит, и ведет меня к нему. Зачем же, говорю, не стоит его тревожить, у меня есть время. У него тоже, улыбается монах. Подходим, вот здесь он, и откланивается. У входа в склеп надпись: здесь лежит в самадхи такой-то. Триста лет, ни жив, ни мертв. То есть, скорее, жив, чем мертв. Может встать в любой момент, попить чаёк. Вышел сквозь арку в дворик за крепостной стеной — там хлев, коровы лежат вокруг другой часовеньки. Вернулся, присел с садху-привратником, он уже книгу старинную читает полулежа на ступенях и напевает себе под нос, так и сидели с ним, привалившись спина к спине, пока солнце садилось. Вот не окажись я у святого Молочника, не пошел бы на следующий день на автостанцию, чтобы поехать в Сирпур. Может, и пошел бы, но не именно в тот день и час, и тогда бы все сложилось иначе и не было бы этой хижины впереди.

Около сотни автобусов, еле продвигавшихся к устью автостанции, образуя заторы, треть автобусов — без

водителей, в других они то появляются, то исчезают. Надписи на хинди, диспетчеров нет, спросить не у кого, наконец вроде выяснил, сел. Двое нас — я и водитель. Но и он, проехав несколько метров, спрыгнул и исчез. Сзади уже сигналят, за руль сел другой, и все повторяется. В Сирпур я еду, куда вообще ни один автобус не ходит, мне надо сойти после примерно двух часов езды на некоем перекрестке с труднопроизносимым именем и оттуда уже пытаться добраться в пятый век, в — судя по снимкам, найденным в сети — не укладывающуюся в голове грибницу храмов, которых в той маленькой деревушке больше, чем жилых домов, коров и деревьев вместе взятых. Мало того, в этом храмовом баньяне переплетены индуистские, буддийские и джайнские святыни и времена. Десятый водитель сменился, но, кажется, уже выехали на дорогу и автобус начал понемногу наполняться. Полыхнуло и обожгло нежно огневым светом. Вошла высокая худенькая женщина в алом сари. Села в соседнем ряду, чуть впереди, обернулась, почувствовав мой взгляд. Невозможной красоты и того мягкого достоинства, которому, кажется, слегка неловко за такой свет, от нее идущий. Улыбнулась. Зовут ее, оказалось, Анапурна. Надо же, один из самых опасных восьмитысячников в Гималаях. Богиня еды, тростиночка. Учительница в Райпуре. У такой бы и я учился. Вышел на развилке, пустынная дорога на Сирпур, никаких попуток, долго пытался уговорить местных хуторян отвезти меня на мотоцикле, под конец, уже подначивая, предложил им самим назвать любую сумму. Не поддались. И слава богу, это был третий знак. Потому что вдруг с неба свалились два сикха на мотоцикле, увешанном баулами и саквояжами, и мы понеслись по пустынной дороге втроем. А по пути, поскольку

по-английски они не говорили, позвонили своему знакомому и передали мне трубку, он-то потом и названивал мне днем и ночью. А сикхи довезли до Сирпура и исчезли.

Думал в тот же день вернуться, но, увидев эту небывалую храмовую карусель веков, понял, что придется заночевать. А негде. Но нашел — за ведомственными воротами, где сторонних не селят. Еще и без документов, да и деньжат с собой взял всего ничего, остались в номере, который оплачен до завтрашнего утра, а к этому времени я точно не вернусь. Невероятная деревушка, когдатошняя столица царства. Полторы улочки и около полусотни храмов, нет, скоро сбился со счету — выходя из одного, попадаешь в другой, а есть и такие, где два входа: с одной стороны вошел — храм Кришны, с другой — Джаганнат. Или смешанный храм богов и религий, заплетенный во времени в единый. Но самое сильное впечатление было от руин буддийского монастыря, где на удивление почти идеально сохранился многофигурный портал входа, за которым бескрайние руины. Портал любовной близости и головокружительной нежности. Он и она, в человеческий рост, переходящие из одного остановленного мгновенья в другое, и все они о том, что «он смысл слова, а она звучанье». Слившиеся в поцелуе. Или она, обмякающая в его объятьях. Или глядящие в лицо друг другу так, что кажется — это ты в камне, а они живые. Она прильнула спиной к нему, руки ее раскинуты: правой обняла его за шею, а левая отведена вниз и в сторону, нет сил удерживать ее на весу — в такой предельной открытости и отданности друг другу. И ступней слегка наступает ему на ногу — знак любовного уважения и смирения. Седьмой век. Тихий буддийский удар под дых из глубин немыслимой красоты. А потом шел с этим перехваченным

дыханьем на окраину — в пятый век. По пути оказался еще один храм, рядом с ним развешены ритуальные мешочки, такие же как в монастыре Молочника, но не красные, а черные. Как колония обугленных летучих мышей. Узелки на память, за упокой. И ни души вокруг, озерцо за храмом, водоплавающее чистилище. А уже на подходе к пятому веку — пустынный запущенный сад, и в нем разбросаны двухметровые шахматные фигуры, лежащие на боку, на спине, лицом в землю, заросшие, оплетенные лианами. В бог весть кем и когда прерванной партии между природой, руинами и нами.

Остался еще на одну ночь. Снилось странное, даже не скажешь «снилось» — словно открытыми глазами смотрел. Тая. А за ее спиной еще одна, чуть в отдалении, то проступает, то исчезает, молча, еле заметно покачивая головой, чтобы я не верил этой, ближней. В которой нет ничего от Таи. И вместе с тем, это она и есть, эта, а не та, что за ней, которую так нестерпимо чувствую, знаю, но покачивает головой и медленно тает. Остается ближняя. Если вглядеться в ее черты — губы, глаза, кисть руки, весь абрис, вообще все — ее, Таи, но взятое вместе, наводясь на резкость, до оторопи не она. И какая-то безысходность в этом, до подташнивающей слабости. От правды. Она тоже молчит, но я все слышу. Ничего не было, говорит, ты меня так и не разглядел. И я смотрю на нее и не понимаю, что происходит с чертами ее лица, ее очертаниями и всем, что за ними — будто застывшими и в то же время каждый миг меняющимися. Чтобы достичь того, где меня нет и не будет, и удержаться там, чтобы выжить. Я слышу ее беззвучный смех, выдохнувший нашу жизнь. И та, что за ней, медленно меркнет, покачивая головой.

Возвращался из Сирпура той же пустынной дорогой. Уже выйдя далеко за деревню, увидел одиноко стоящую распивочную — просто лоток под деревом на обочине, где предлагают чекушку какой-то желтоватой жидкости и крутое очищенное яйцо. Подобрал меня водитель полугрузовичка, как раз отправивший в рот второе яйцо после второй чекушки. Ехали и пели песни, поскольку английского он не знал. Все норовил покормить меня по дороге, а когда уже простились в городе на бурном перекрестке, он, увидев, что я жду момент, чтобы перебежать на ту сторону, вышел из машины, догнал меня, взял за руку и трогательно перевел, остановив жестами движение. Кажется, впервые за все годы моих индийских странствий переводили меня, а не я.

В холле отеля меня уже ждал знакомый тех двух сикхов, названивавший мне со вчерашнего дня. Белая шаль, высокий лоб, ясные глаза и длинная борода. Был бы похож на апостола Павла кисти Дюрера, если бы не девичьи ладони и детский голос. И во всем какая-то трогательная пародийность. Включая просветленную смешливость. С работой на повышение, но с обратным эффектом. Называет себя ачарьяджи. То есть высшим гуру, не только познавшим истину, но и ведущим к ней собственным примером. Ни больше, ни меньше. Так звали Рамануджи, Шанкара, или в джайнизме великого Бхадрабаху, наставника царя Маурьи. Он оказался последователем святого Кабира, поэта-мистика шестнадцатого века, учившего нераздельности всех религий, где нет ни Аллаха, ни Шивы, ни Иеговы, а есть единый Дух, в котором все они одно. Как нет ни социальных, ни духовных различий между мужчиной и женщиной. И не должно быть никаких каст: король равен нищему, брамин — рыбаку,

зеленщик — врачу. Впоследствии его учение отчасти легло в основу индийской конституции. Последователей Кабира в современной Индии миллионы. Ачарьяджи предложил мне поехать с ним на его хутор, откуда он родом и где у него ашрам Кабира, и на следующий день мы отправились, тем более что это по пути на юг к царству Бастар.

Ехали перекладными. Хутор оказался в такой глуши, что вряд ли там когда-либо видели приезжих. Ашрам выглядел на манер украинской хаты с подсобным хозяйством сада и огорода в мареве больших черно-бирюзовых бабочек, которые никогда не садились на землю дольше, чем на мгновенье. В заросшей части сада высилась пирамидальная стела, на гранях которой золотой вязью были приведены максимы из Кабира. В пристройке за хатой располагался спальный зал человек на десять, непонятно откуда бравшихся, в хате их было всего двое — ачарьяджи и его ученик, хотя и ровесник, брахмачарья, благостно возлежавший на потертом диване весь день, выходя на подворье ополоснуться, сидя на корточках и поливая себя черпаком из бочки. Похоже, они чудесно устроились с их высокой миссией, хуторяне их уважали, кормили, для этого был составлен график домов, где почитали за честь их облагодетельствовать. В остальном же их деятельность сводилась к никакой, кроме создания своего образа в глазах хуторян и служения Кабиру, которое, похоже, не отягощало их ничем особым. Двое, но на ночь их почему-то сходилось куда больше, со двора вносились козлы и фанерные щиты, из них строились спальные места, стелились матрасы, а к веревкам, образующим целый лабиринт под потолком, подвешивались москитные сетки над каждой кроватью. Там я и спал среди этих несчетных, а наутро мы снова оставались

втроем. За калиткой у дороги неизменно сидела хуторянка в цветастом сари и продавала арбузы. По дороге сновали тракторы с прицепами, полными людей. Автобусы дороговаты, поскольку штат гордый и отказался от государственной автобусной сети, перейдя на частную. Так и колесят по всей округе с детьми и песнями в разудало веселых кузовах тракторов.

Рядом с ашрамом за дорогой — местная школа, куда первым делом и повел меня этот милый апостол с девичьими ладонями. Большое подворье, в разных его углах шли занятия с дошкольниками, сидящими на циновках. На дальней поляне к нашему приходу высадили старшеклассников, а за их спинами — учителей на стульях, там же и директор, завещавший, как сказали торжественным шепотом, свое тело и мозг научным изысканиям. Дети были смущенно напряжены, но постепенно мы разговорились. На подворье строились первоклассники, среди них я увидел маленькую небесную Мотю, от которой перехватило горло. Маленькую, но на голову выше сверстников. В тридцатиградусную жару одетую, как луковица, а поверх кацавейка, из которой давно выросла. В руке кошелка с термосом и тормозком еды, снаряженным родителями. Видно было, что ее обижают, надсмехаются, но она крепенько держится, прощая им, поскольку жизнь впереди долгая и вся она уже написана на ее лице — с четырьмя детьми, но очень поздними, как и бедовым замужеством и мокрым от соленой влаги, но твердым самшитовым деревцем во тьме сердца. А на крыльце школы расположилась подготовительная группа, на стене висела азбука в картинках, и маленькая Шакти в плиссированном облаке сильно на вырост, съехавшем чулке и большом голубом банте над ухом

стояла, запрокинув голову к этой азбуке и водила длинной доморощенной удочкой по буквам, неуверенно, но старательно называя каждую и оборачиваясь к классу, нестройным хором повторявшему за ней. Так, наверно, в начале времен первый риши выуживал звуки из мироздания, а маленькие боги — Шива, Вишну и компания — повторяли за ним. Потом мы пошли по классам, где на стенах по периметру под потолком были такие максимы, например, в вольном переводе с памяти: Богатство потерять — чепуха, значит, ничего не потерять, здоровье потерять — ну кое-что утрачивается, а вот характер, внутренний мир, его потеря — это настоящая трагедия. А на противоположной стене — портрет мамы Индии, и рядом — мальчика Ганди. А над школьной доской: Тело — храм души. И в каждом классе, когда я входил, дети вскакивали, говоря хором: good afternoon, и пели какую-то чудесную здравницу, и потешно валились на свои места, играя в веселых разбойников и смущенных царевен. Учителя вовлекались во все наши разговоры и игры, смеясь и дурачась вместе с нами. Но преподаватели приходят и уходят, а вселенная детей остается. А в одном из классов, где предметом была окружающая среда, я спросил: а что это, где ее окружающие границы? Солнце, Сурия — среда? А эта девочка за первой партой, она для вас кто? А сердце, твое сердце для тебя — окружающая среда? Да, сказал, вдруг посерьезнев, мальчишка с моими глазами. А на другом уроке с детьми постарше, где проходили социологию, полненькая девочка, сидящая отдельно, вдруг проговорилась, что иногда мечтает быть Апсарой. Прекрасной нимфой, переспросил я, сотканной из воды и тумана, танцующей с солнечными лучами? И соблазнять отшельников в волшебных

лесах? Нет, стыдливо покачала она головой под взглядами обернувшихся к ней ребят, но было видно, что многое не договаривает, поначалу поддавшись моим шутливым вопросам.

Потом мы пошли на обед в дом к друзьям ачарьяджи, по пути я прикупил сандалики-чапалы моему новому другу, босоногому мальчишке из соседнего двора, где по утрам варил себе кофе. У тебя, говорит ему ачарьяджи, теперь чапалы от русского писателя, и мальчишка подбрасывает их высоко над собой и ловит, прижимая к сердцу, и хохочет.

А мы после обеда переходим в другой дом, как оказалось, тоже ашрам Кабира, первый на этом хуторе, но, в отличие от ашрама ачарьяджи, менее предприимчивый. На крыльце нас встречают два монаха, бритых налысо, в белых одеяниях и обутых в деревянные колодки с гвоздями острием вверх. В плетеном кресле сидит суровая старуха, глядя в сторону, но не сводя с нас глаз. Съели по нагиборе, новое для меня блюдо — сладкая вязкая кашка. Эти двое готовы по моей просьбе исполнить песни Кабира. Поют, сидя на железной сетке кровати, подобрав под себя ноги и прикрыв глаза, ачарьяджи потом переводит слова. Пьем чай, разговариваем. По одному из преданий, Кабир, незадолго до своего ухода попросил два покрывала и удалился в пещеру. К тому времени у него были уже миллионы последователей — и среди индусов, и среди мусульман. А рядом буддизм, с которым в мироощущении Кабира немало перекрестных отсветов. И сиккизм, возникший примерно в эту же пору. Множились разногласия — кому Кабир после смерти будет принадлежать, поскольку его путь не совпадал ни с одним из этих верований, но объединял многое в них. Как

его хоронить, по какому обряду? Но когда пришли к его пещере, Кабира там уже не было, лежали только два покрывала. Одно покрывало взяли индусы и сожгли по индуистскому погребальному обряду, другое мусульмане и похоронили в земле.

Утром в наш сад, где я сидел на пеньке и пил кофе, вбежали три школьницы и, склонившись к моим босым ногам, касались их пальцами. Я стоял с чашкой, не зная, что говорить от смущения, так и глядели друг на друга, еще долго не расходясь, чуть потупясь и улыбаясь. Хутор небесных детей, поэт-мистик Кабир, идущий меж ними под двумя покрывалами, Мотя с кошелкой, ачарьяджи с ломтиком арбуза в девичьих пальцах, чапалы, взмывшие в небо, тело как храм души, танцующая апсара из пятого класса в волшебном лесу воображенья, ветерок пятнадцатого века, гуляющий по огородам, мужчины и женщины, короли и нищие, брамины и зеленщики, Шива и Аллах, Будда и Христос — как единое, и нет ничего, кроме дхармы и песен, и чернобирюзовых бабочек, пишущих в воздухе конституцию Индии, помнящую Кабира.

Как же назывался тот хутор? Ачарьяджи сказал, что от них на юг к царству Бастар лучше ехать через Нагри, туда ходит автобус, правда, раз в неделю — окольной джунглевой дорогой, если его перед тем не перехватят маоисты-партизаны или загулявшая свадьба. Завтра как раз его день. А в Нагри есть у него знакомый, тоже кабировец, учитель санскрита, он меня встретит на автостанции. Такая эстафета случайных неслучайностей от Шравабелаголы до накрытой ведром гадюки Рассела в школьном коридоре и учителя санскрита, от которого сбежал и оказался с Рамизом в лесной хижине с этим

вдруг охватившим меня тревожно светлым предчувствием, с ним и вернулся в поселок.

Наутро собрал вещи в номере, пошел завтракать за полог к знакомому мусульманину, там ко мне подсел молодой преподаватель колледжа и уговаривал выступить у них. Это особый колледж со столичной командой учителей, платный, но большую часть покрывают спонсоры. Я сказал, что с радостью, но уезжаю через пару часов. Но пару-то есть, спросил он, и, позвонив директору, сказал мне: мы готовы прямо сейчас, поехали?

В зале собралось человек триста или больше, разных возрастов. Младшие классы сидели на полу, старшие — стояли вдоль стен. Директор в спешке слегка напутал, назвав меня режиссером фильмов National Geographic. Когда он закончил, я пересел со стула на пол, они притихли. В дальней части зала сидели мальчишки, впереди — девочки, я выбрал одну в третьем ряду, чтобы рассказывать ей, внимательно смотревшей на меня и в то же время чуть отстраненной — и от подружек, и от происходящего. Как, впрочем, и я. Что же я мог сказать им, каким опытом поделиться, когда их опыт на тысячелетья глубже моего, несмотря на их возраст. И все же потихоньку начал, что-то рассказывал о своих путешествиях, о людях, о джунглях, о моем чувстве Индии. И об открытости как, наверно, единственной стратегии, которой как-то держался. Вернее, не я, а она, открытость, держалась чего-то большего — может быть, чувства жизни, а я уж как мог, доверялся им. Даже когда казалось, ни пути, ни чувств. Потому что сама жизнь — голая, открытая. И как открытая рана — тоже. Говорил и думал, насколько я тут не договариваю? Как та девочка, видевшая себя апсарой. И незаметно перешел к разговору о знании. Что

это, говорю, зачем оно? И что за ним, за чертой его накопления? Молчание? Но, наверно, особого рода — того, что проступает по ту сторону речи, знаний, опыта. Мудрость? Может ли она помочь нам с ответом, в чем же смысл нашей жизни? Вряд ли. Что ж остается? Вопрос. Но если пытаться ставить его предельно чутко и глубоко, если вкладывать в него всего себя, то может возникнуть некая ответная вибрация мира, еле слышно, шепотом говорящая тебе: я с тобой, я с тобой… Но кто это говорит, чей это голос?

После этой встречи, когда все уже расходились, а я еще отвечал на вопросы окруживших меня детей, та девочка, которой все это говорил, дождавшись своей очереди, спросила: а когда вы в первый раз услышали этот шепот? В первый, задумался я, уже так сразу и не вспомню, а в последний — вчера, рядом с вашим поселком, в лесу.

Купил на рынке корзину фруктов и овощей, взял рикшу и отправился к хижине. Ехал и думал. Вернее, не думал, но что-то бедово речевое во мне теребило, просилось наружу и не знало, как. Хотя казалось, что уже никакого смысла в том, чтобы пытаться прояснить происходящее с помощью слов, нет. То самое тревожно светлое чувство, охватившее меня в хижине, которую вчера покинул, и теперь становившееся все острей с приближением к ней. И речь понимает, что она здесь не на своем поле, но смириться не может, и теребит, теребит, и угла не найдет.

#67. Хижина

Мерцающий жар, в котором тихо сипят осыпающиеся миры. По сторонам этого костра мы и спим на земле со

вторым отшельником, поочередно просыпаясь и продвигая тлеющее бревно. Не знаю, как, но каждый из нас, чувствуя время этой очередности, просыпается и, перекуривая, поглядывает на другого, но не прямо, и спящий видит это сквозь сон. А утром, в светающей синеве, мы сидим у костра, я пью приготовленный в турочке на огне кофе, а он кормит чечевичным супом с ложки попугая, разговаривая с ним, дуя на ложку, остужая, когда тот покачивает головой, жалуясь взволнованным лепетом, что горячо. Солнце уже поднялось и скользит между жердями крыши, перемещая полосы света на земляном полу. Вот так и разговор у нас происходит, как эти перемещения света. Даже когда затрагиваем то, к чему и в родном языке подступиться трудно. Казалось бы, два-три взгляда, звука, жеста, а обернешься: целая жизнь прошла.

Пошел прогуляться по лесу, гуруджи сказал, чтобы был осторожней — медведи, леопарды и, как он добавил вослед, разные духи.

Лес тут чудесен — с большими полянами и прогалами, с чередованием дебрей и воздушного редколесья, заштрихованного солнцем. Странное дерево: на высоте полутора метров от земли в нем торчит камень, проткнувший его насквозь. Так и растет с камнем в сердце. Прилег под этим деревом, солнце еще высоко и вся поляна видна отсюда, если что. Прикрыл глаза. Чувствует ли оно этот защемленный камень? Давно с ним срослось, запеклось по краю, ни щели между живым и мертвым. Сквозной раной, но не отпустит, не расстанется. Что мы знаем об их отношениях? Трава, рядом растущая, знает, они сообщаются, а мы нет. С нами мало кто разговаривает. Честнее сказать — никто.

На обратном пути к хижине увидел в зарослях быка с крашеными рогами и оборванным колокольчиком на шее. Постояли, глядя друг на друга. Деревня бог знает где. Ну что, садху, говорю, все верно, родил детей, пробовал создать семью, дом, пришло время пути, последнего странствия? Мотнул головой в сторону, побрел вглубь. След медведя на тропе, вчерашний. А уже на подходе к хижине — лангуры, мама с ребенком, на самой верхней ветке высокого дерева, просто в небе. Приблизил зумом: она смотрит вдаль, в пустоту, а малютка сосет ее грудь. Но почему на этой крайней ветке в небе, почти не чуя под собой земли?

Под навесом хижины уже сумрачно, и я не сразу заметил в дальнем углу мальчика лет двенадцати, он сидел на земле, вытянув вперед ноги и держал перед собой руки с соединенными ладонями. Над ним стоял обнаженный по пояс второй кака́ с ножом и быстро перемещал его от темени мальчика вдоль тела к ногам. Когда я подошел ближе, увидел, что он обрезает веревочные путы, натянутые от шеи к ладоням и оттуда — к большим пальцам ног. Быстро, в тишине, без слов. Перед тем он взял бумажный сверток и проделывал с ним то же самое, перемещая его вдоль тела мальчика в той же последовательности. Теперь развернул сверток и ополовинивает ножом на земле дикие плоды — лайм и что-то еще лесное. Последний плод оранжевого цвета он режет прямо на темени мальчика, но особым образом — как бы танцуя острием ножа по сторонам плода. Это я наблюдал еще издали, не очень понимая, что происходит. Теперь он наливает воду из кувшина в ладонь и кропит ему темя. Видно, снимал порчу. Мальчик встал и исчез. Кака́ собрал следы и вынес в лес.

Поздний вечер, сидим у костра, пьем чай, из тьмы со стороны леса выходят четверо, присели к огню. Один с таблой, другой с фисгармонией и молодой отец с дочкой. Почти без слов, поздоровались, кивнули, присели. Кака́ налил им чай. Лица в отсветах, ночь, тишь. Даже неясно, знают ли они друг друга. Вроде бы да, но и нет. Видно только троих из них, отец сидит в глубине, куда отсветы не доходят. Дочери лет восемь-девять. Но и семь тысяч. Невозможно отвести взгляд от нее. Но и смотреть прямо — невозможно.

Уже давно звучит музыка, они поют. Но это не музыка. Не голос, так петь не могут. Люди не могут. Тело гуруджи гнется и извивается, то чуть не ложась лицом в землю, то восходя и замирая, и это похоже на брачный змеиный танец с самим собой, у последнего предела любви, самоотдачи, но и в дуновенье от гибели — одно лишь неверное движение, нота. Он ведет. Оранжевый. А рядом с ним — белый, с фисгармонией. Пальцы переметываются по клавишам, а сам он сидит недвижен и вступает вторым голосом, но именно его — первый, и такой чистоты и покоя, когда все, что гнется на земле, живет и умирает, уже далеко внизу и позади. Дальше, по кругу — желтый, с таблой. Кисти рук лежат на двух барабанах, стелясь, вколачивая, теребя, дергая и замирая. Голова отвернута в сторону, чуть ни назад. Поет без звука, без голоса. Вернее, звук по ту сторону слышимого, но он и создает ту акустику, которая переводит происходящее в какое-то нечеловеческое измерение, и во времени тоже. Лицо его так истончилось, что кажется, этот зыбкий узор черт вот-вот изорвется и исчезнет. Благость и боль на разрыв… Нет, нестерпимая близость бога и утраты его вместе с тобой, но за миг до этого — нестерпимая близость, и именно

это мгновенье у края длится и длится: голосом без голоса, лицом без лица. Рядом с ним — девочка, хлопает в такт ладонями, но не подряд, а вдруг забывая о них, отпуская, и они остаются в воздухе, надолго, отдельно, за миг до хлопка, хотя ты их не видишь, потому что во всю эту тьму от края до края — ее глаза. Так близко — вплотную. Во всю твою жизнь. И не только твою. В глазах ее — солнце в ночи, и все женщины, все их судьбы, и боль, и свет, и ужас, и любовь, и жалость — на всех путях, будущих, предстоящих, и тем самым, уже пройденных. Она не сводит взгляда с меня, которого нет, нет в этом месте, я и сам себя вижу где-то далеко под собой, у того костра, над которым плыву, и этому не будет уже конца. Тот, кто сидит напротив нее, переводит взгляд влево, на второго кака́, по-прежнему обнаженного по пояс, он рядом с девочкой, куда-то отходил, потом вернулся с чимтой — двумя длинными, похожими на полутораметровый пинцет стальными полосами, на которые нанизаны металлические тарелочки, при сжатии этих полос издается особый звякающий звук. На шее ожерелье из рудракши, голова опущена, он не поет и не подхватывает пение других, но голос его слышнее поющих. Он вдруг прорывается вопреки не только его воле, но и вообще природе. Так, наверно, в глухонемом человеке звук, как в заколоченном доме, тычась в его углы, пытаясь выбраться, наконец прорывается, но не весь, а краткими низкими волнами, подсекаясь в молчании, и снова прорываясь — с той кажущейся сдержанностью и мужеством, которые уже исходят не от него и размыкают его рот в узкую щель, которую ему не удается сомкнуть. И последний, замыкая круг у костра — первый кака́, в наброшенном на плечи пурпурном шелковом шарфе, в руках у него манджиры,

две маленькие металлические тарелочки на веревке. Он молча ударяет одной о другую, глядя в огонь.

Древние народные песни — о Шиве, Брахме, Шакти, и просто о жизни, насколько я мог догадываться. В какой-то момент я обнаружил себя пытавшимся что-то записать на камеру, но было слишком темно в неровных отсветах жара с изредка вспыхивавшими языками огня. Два больших встык бревна лежали в костре, между ними и переливался жар с красного на желтый с голубыми сполохами, и осыпался вниз. Ближе к утру, после очередной песни они вдруг надолго смолкли, и тот, кто играл на фисгармонии, сказал, верней, дал понять, что сейчас они исполнят то, что снимать на камеру не надо. Я выключил. Потом, но когда было это «потом», я уже не могу сказать, в глазах у меня еще продолжали стоять глаза этой девочки — настолько, что казались моими глазами, ими я и смотрел в тлеющий жар, там проступало лицо, от которого все во мне замерло и прекратило быть...

Я лежал на земле у догорающего костра, по другую сторону спал кака́, кроме нас в хижине никого не было, сквозь худые ребрышки тростника сочился первый утренний свет. Музыканты ушли так же незаметно, как и возникли — из ниоткуда в никуда. Гуруджи сидел внизу у святилища, вскинув руки перед шивалингамом и застыв в этой позе. Первый кака́ завел мотоцикл и отправился в поселок за провизией на неделю. Я сварил кофе, постирал и развесил вещи, присел на поляне с попугаем на руках: я в белой лунги и с желтым шарфом на плече, он в зеленой шали, крепко сжимая одной своей невредимой лапой мой палец, на котором устроился и что-то бубнил мне на своем небесном, как и я ему на земном, перемежая разговор ломтиками папайи.

Вдруг из леса донесся истошный крик. И стих. И снова. Еще далеко. Но приближается. То мужской, то женский, то на детский похож. Вглядываюсь, но не вижу. И снова — уже как протяжный стон, захлебнувшийся кашлем, мокрой трухой. Обернулся к хижине, гуруджи вышел, вслушивается, махнул мне рукой — мол, все нормально, и вернулся под навес. А крик то смолкает, то взрезает округу, оглашенный, до кости пробирает, и все ближе. От такого, наверно, листья мрут и мхи возгораются. Что же это, кто?

Вот он, выходит из лесу: голова запрокинута, впереди рука с посохом, и орет в небо, голова ходуном ходит. Оранжевая юбка и тюрбан, черная жилетка, под ней что-то желтое. Седая раздвоенная борода, как у сказочных колдунов или звездочетов. Гуруджи склонился к его стопам, затем оба кака́, а он стоит, запрокинув лицо к небу, и всего трясет. Дали стул, сел, рука на посохе, глаза белые, как закатившиеся. Я напротив него сижу в двух шагах. Страшный риши, тихо мне говорит гуруджи, пока кака́ хлопочут на кухне с подношениями. Блаженный старец, его все в этих краях знают, очень уважаемый, но глухой и не разговаривает, шепчет мне гуруджи, показывая пальцами на свои уши и рот, а тот вроде уже успокаивается, но головы к нам не поворачивает, только все еще сипит какими-то огрызками слов. Все, затих, будетлянин, лишь глаза вращаются, весь не здесь, но все слышит, все замечает. Гуруджи ему, похоже, что-то обо мне начинает говорить. Кавита, писатель, Россия, пурана… Наверно, рассказывает ему, что я пураны слагаю, сказания. Вишну-пурану, говорю, да, я переводил. Ты? Вишну-пурану? — изумляется гуруджи. Да, говорю, и немножко ригведу. Придя в себя от потрясения, гуруджи передает это риши,

но тот уже заметил в глубине хижины фисгармонию, лежащую на циновке, перебрался туда, начал играть, извлекая одну ноту, мучительную для слуха, и все тянет за хвост этот звук и тянет, а сам отрешен и глаза прикрыты.

Сели обедать втроем. Риши напротив меня, гуруджи сбоку. До сих пор риши не произнес ни слова. Вдруг он замирает, вперив в меня вернувшиеся на лицо глаза с таким взглядом, что кажется, дольше уже мне не вытерпеть, и, направив в меня палец, хрипит: махатма! Сижу с горстью риса, недонесенной до рта. Риши, не опуская пальца, запрокидывает голову: Сурия! И показывает ладонями восходящий свет. Гуруджи, не доев, встает и выходит из хижины. И риши выходит — в другую сторону. Шутки шутками, думаю, но как быть? Тоже вышел, в третью. Ну, как-то потихоньку вернулось все на свои места: гуруджи уже по мобильному с кем-то говорит на краю поляны, а риши с первым кака́ курят чилим.

Пошел прогуляться по лесу, на обратном пути немного заблудился, потому как дорогу не запоминал, разговаривал с собой и далеко меня завело — и в лесу, и в мыслях. Уже темнело, шел без тропы, наугад, но и не переживал, я дома, такое ясное чувство дома, и жизни, которая вся с тобой. Даже когда спиной к тебе и по хозяйству хлопочет — как тот второй кака́.

Вернулся уже в темноте, в хижине никого, костер тлеет, гуруджи уехал, вернется через день-другой, риши ушел, остались мы втроем, но куда-то эти двое подевались, присел у огня. Что-то уморился я, не от ходьбы, от событий и чувств, укатали сивку чудеса. Смотрю в огонь, и вдруг тихо запел: Сита-Рам, Сита-Рам… Это утром так напевал второй кака́, подметая хижину. Сита-Рам ка-ги-ге, пою.

И вдруг откуда-то из тьмы некто его голосом вторит мне, подхватывая: Сита-Рам, Сита-Рам… Так и перекликаемся, голос блуждает, перемещаясь во тьме. На два голоса с жизнью. Свет блеснул, приближается, поет, а лица за фонарем не видно, жизнь ставит горшок на огонь, лишь ладони ее видны в отблесках, греет чай, Сита-Рам, Сита-Рам, та-ги-биди-раги-ге… А потом она ляжет по ту сторону костра на циновке, как и я по эту сторону, и уснем, но чувствуя друг друга, просыпаясь, поддерживая огонь. Жизнь моя, иль ты приснилась мне, та-ги-биди-раги-ге. Кормит с ложечки попугая, и он раскачивается перед ложкой с чечевицей, как пернатый метроном.

Вышел на поляну. Темень. Редкие деревья стоят с высокими до неба стволами, и там далеко вверху распушиваются кроной, которая вся мерцает голубыми летающими светляками, над которыми — другие огни, недвижные, звездные. Как женщины стоят на одной ноге в этих легких коротких сорочках. Поддевочка неба. А в зарослях, наверно, бродит медведь, складывая губы колечком. Гуруджи просил не отходить ночью от хижины. Следов действительно много. Черная мадонна сидела контражуром на верхней ветке. Вчера? И рогатый садху, бросивший семью и ушедший лесными лестницами просветлений. И дерево-сизиф с камнем в сердце. И два мотылька, замершие в дрожи соитья. А мы думаем, что нас лишь двое в близости, а не весь мир вместе с нами приходит в движение, где мы лишь отголосок тех мотыльков. И хриплые души обугленных католиков в красных кардинальских чепчиках, пролетевшие по небу, крича голосами ибисов. И стреноженный мальчик с диким лаймом на темени. И деревья в нижних юбочках неба. И вдруг — эти четверо с волшебными торбами, и ночь, над которой навсегда останется незримая

охранная завеса. И наутро я найду себя свернувшимся на земле, как пес, у догорающего костра. А тот, кто был мной и видел, и слышал все это — будет плыть высоко-далеко надо мной, над лесом, над и сквозь, когда, казалось, уже нет ни меня, ни времени, ни смерти.

Вот если был бы тот свет, и я оказался там у этого же костра на бесконечную ночь, на веки вечные, без надежды увидеть родных и близких, в чужом краю, в лесу, с этими людьми, ни слова не говорящими ни на одном из известных мне языков, в этой музыке... я бы счел это необычайной милостью к моей судьбе. Так ведь я уже и живу веки вечные здесь в этой хижине. И странно, но даже не знаю их имен. Как и они моего. Это и не приходит в голову. То есть где — внутри себя? Внутри себя тебе твое имя не нужно. Эта разметка важна, когда вступаешь в отношения с чем-то внешним. А тут — ничего внешнего, даже «я» нет, вернее, может, и есть, но формы его не отчетливы, да и в конце концов не существенны, есть эта хижина, музыка, их лица, голос, огонь, это и есть ты. И, кажется, мне удалось это снять на камеру — недолго, всего несколько минут, но удалось. Не то зримое, что было перед глазами, а в согласии с дыханьем того, что на самом деле происходило. И лицо этой девочки в отблесках костра.

Ночь Брахмы — 4,5 миллиарда лет.
И еще одна — когда он вошел в свою дочь.
Полураспад инцеста.
Возраст Земли.

Эти слова сложились наутро, когда бродил по лесу, и подумал, что можно бы взять к ним десять-пятнадцать

секунд той съемки с крупным планом ее лица, но опубликуй это, и люди будут держать молчаливую дистанцию. Инцест, в каком бы смысле он ни был помянут. Не объясняться же перед этими па публичного этикета. Что, мол, четыре с половиной миллиарда лет — единица измерения жизни мироздания в индуизме, равная дню Брахмы, творца мира. После чего мир разрушается и создается вновь. И таких дней немало. Это общеизвестно. В прошлом веке по периоду полураспада урана был вычислен возраст Земли — около этой же цифры. У начала времен лежит инцест, биологически, иначе вряд ли могло произойти. Индуизм интуитивно это почувствовал и наделил творца мира инцестуальной связью со своей дочерью, для этого они оба приняли облик нильгау. Метафорически, творец мира вступает в связь с самим собой.

Ветер поднялся, погромыхивает вдали, будет гроза, наверно. Кака́ спит по ту сторону костра, а я лежу на своей циновке с прикрытыми глазами. Еще недавно в трудную ломкую минуту думал, нет путей просветления, все самообман, у каждого своя тропа, которую, как ему кажется, он выбирает, ну отчасти так оно и происходит, а потом, чем дальше идешь, тем более обживаешься на этой тропе — обиходом дел, слов, мыслей, опыта — и своего, и тех, кто шел перед тобой, и обиход этот обустраивает тебя, твой образ мыслей и взгляда на мир. Один рис сеет, другой левитирует в духовных практиках, третий книгу пишет, а на деле никто никуда не движется, тот же лес, с той же радостью и смертью, и никаких ключей, истин, мудрости, человек рассеивается, как утренний туман, кто его помнит? Но спрос людской на эти ключи неизбывен, и протаптываются тропки внимания, намоленные — к старцам, философам, разного рода учителям.

И никто никому помочь не может, они и сами себе не в помощь, эти учителя, и часто куда неустроенней у них внутри и бедовее, чем у того же сеятеля риса. Похоже, на этих путях духовных практик, да и, прости господи, творческих, связь с живой тканью мира сужается, слабнет. Кажется, что наоборот, но нет. В молодости еще искренне обольщаешься, а потом уже поздно — у каждого уже свой дом на тропе, каким бы он ни был, хоть диогеновой бочкой, и ты уже заложник этих троп внимания, этого обмена жизненным теплом, даже когда оно кончается гераклитовым навозом. Да и как признаться себе, а тем более вслух, на исходе пути, когда столько сил и надежд ему отдано, и, казалось бы, что-то достигнуто, что все это пшик и никаких ключей не обретено, но позвякиваешь уж тем, что есть, этой мнимой связкой, как и многие, кто на виду. И не только нет ответов ни на один жизненно важный вопрос, но и сами вопросы понемногу уходят, теряя смысл и веру в себя. Но тогда должно что-то в этом высвобождающемся проеме проступить, хоть забрезжить. Жизнь, ее лицо, не заслоненное тобой? Но и этого не происходит, поздно. Уже не те глаза, которыми можно видеть это. И мысли, и слова не те, а других, не одомашненных — не будет. И все-таки что-то может еще случится. Чудом, но может. Наверно, это не имеет отношения к счастью или горю, просветлению или дну отчаянья, вообще ни к чему из этого ряда. И наверно, это очень краткий опыт, который потом нельзя разделить не только с людьми, но и с собой. Медленное, осторожное, но астрономически стремительное сближение с жизнью — не в человеческом смысле, а во всем ее необъятном космосе, и настолько, что твоего «я» уже нет, совсем нет, и вместе с тем ты впервые становишься собой, но в том

измерении, где уже нет зазора между тобой и чем бы то ни было, в том числе, смертью, ее светом. Так я думал еще недавно и вспоминал строчки:

Едино всё и так пребудет:
и облако, и сын, и лес.
Христос повесился в Иуде,
Иуда во Христе воскрес.
В Иерусалиме ли, в Тамани,
распалась связь иль стая птиц,
белеет парус ли в тумане,
иль просто мальчик и отец.
И тайной теплою окутан,
как Магдалиной, тает след,
и свет исходит не оттуда,
откуда свет…

Не оттуда. Кака́ проснулся, поправил костер, закурил биди. Я его вижу, даже не приоткрывая глаз, и он знает, что я не сплю, но не подает виду. Ветер сильный поднялся, молнии сверкают над лесом, грива его, наверно, ходит волнами, крышу нашу ветошную потряхивает, того и гляди снесет. В Махараштре на вершине горы стоит крохотный хуторок в несколько хат и продувной домик школы в одну голую комнату, сквозь которую плывут облака и дети, их в ней меньше десяти. На антресолях свалены пыльные никчемные компьютеры. И ни души во все горизонты, один автобус, проезжающий раз в неделю. Эти малыши низшей касты ежедневно читают написанное над входом в школу: вселенское братство, благородство, пробуждение и преображение. И ниже: сохраняйте жизнь рожденным девочкам. Закашлялся,

отбросил окурок, лег. Высверк молнии передернул хижину и нас в ней, небесный дядя снимает с приближенной вспышкой, так и останемся на его снимке. А дождя все нет. Bee-eater, пчелояд или попросту щурка, перепорхнул под крышей, прячется от непогоды. Казалось бы, обиходен как наш воробей, а пути его миграции неисповедимы. Недавно обнаружили, что эта птица обладает способностью смотреть на ситуацию с чужой точки зрения. О себе бы я так не сказал. В своих двадцатилетних странствиях Марко Поло был взят на службу одним из потомков Чингисхана с тем, чтобы объезжал глухие провинции и по возвращении рассказывал императору, что видел. И лучшего остранения для взгляда на реальность император себе не желал. Хорошая метафора. Примерно то, что и делаю в этих блужданиях, сам себе голос и ухо. А потом, уже на родине, он рассказывал сокамернику всю свою одиссею, меряя шагами тюремное жилье. Голос и ухо.

Отсверкало и пролилось. Краткая гроза была, но звериная. Последние капли отряхивает. Хорошо, хоть крышу не унесло и костер цел. Ну и ночь. А он спит, настоящий кака́, он и внутри молнии вздремнет.

Наутро молча попили чаёк, накормили попугая, вышли на солнце. Постирались, развесились. Мои трусы висят рядом с его набедренной повязкой, пора уже и мне такой обзавестись, а не этот позор джунглей носить. То-та, говорит проходя первый кака́. То-то, вот именно. И гуруджи вернулся. Сели завтракать. А потом отправился в лес побродить. Прилег, не доходя озера, в сухом каменистом русле ручья, пятна света в густой, нависшей над руслом листве. Установил камеру напротив себя на камне. Ну лети, лети уже, эфемер. Не хочешь. Это я мотыльку

говорю, присевшему на плечо. Сегодня я уезжаю, пора, иначе не доеду до царства Бастар, к племенам, ремеслам и водопадам, а через две недели мне надо уже быть в заповеднике Бор. Ну поговори, поговори, бог весть, когда такое случится. Не возможность поговорить, а эта хижина, этот день и ты, каким уже никогда не будешь. Как бы не хотелось это произносить: никогда. А мотылек все сидит, подрагивает крыльями, не улетает с плеча. Включил камеру. Хотя, может, лучше бы и помолчать.

Вот говорят «держать удар», имея в виду тяжкие события, драматичные, если не трагические, а держать удар счастья, держать удар переизбытка чудесного — это ведь не меньший вызов. Здесь я с этим столкнулся. И в такой степени, что чуть было не сорвался на непотребное, чуть не взмолился: господи, останови, сил нет. Но сдержался. Потому как нельзя, не приведи боже, сбудется. Уж который день по веренице миров несбыточной книги несет меня жизнь, и чья-то незримая ладонь переворачивает страницы. Лес, хижина, святилище Шивы, три отшельника, а попросту — три вжившихся в это место и преданных ему индуса. О если бы все так просто с этим лесом и хижиной. Где разговор без слов, как нитяной узор, передаваемый с пальцев на пальцы. А что нужно для понимания людьми, живущими на одном праязыке, в одном доме? Ну бывает на поверхности какая-то рябь, но где ее нет? Где действительно на одном языке говорят, ее куда больше. Три отшельника и костер. И циновка, на которой сплю у огня. Я бы тут и остался. И никаких вопросов у них — приехал, положил вещи, и все, живи, ты свой. Свой, да не свой. Ведь, черт возьми, тут не обманешь, что ты не чужестранец, это сразу тебя выдает: как ты взял чашку, как сел, встал, обернулся, откликнулся,

как ты спишь, ешь. Не притвориться, не сыграть в своего. Либо вы единое, либо нет. Я и с собой настолько не был одним, единым, до этой хижины. Словом, мыслью, поступком. Сколько их, этих чужих во мне? И вот сидим мы у костра в ночи как одно, но и четверо. И выходят из лесу еще трое и, подсаживаясь к костру, вынимают из своих волшебных торб инструменты. Два музыканта и отец с дочкой лет восьми, но лицу ее, кажется, тысячелетья, а в глазах — солнце в ночи. И вот мы сидим у огня, они поют, и где-то к исходу второго часа я чувствую, как нестерпимо уже — от этой музыки, голоса, от глаз этой девочки, от проступающих в углях костра очертаний лица… божьего. И тогда я едва не взмолился: останови, смилуйся. Хотя уж я-то, кажется, ветеран этих чудес — этих, других, разных, и вроде мог бы держать удар. Нет, ноги подкашиваются, сил нет — ни душевных, ни телесных, ни метафизических. Такое чувство родства с ними, семьи, дома, мира, как никогда прежде. Где? В тридевятом царстве языка, культуры, всего на свете. Такое свечение исходит — от всего. Потому мир и светел, что открыт, и богом храним потому, что не береженого бережет. И ты в нем храним, а если с тобой и случится что, то ведь заодно с ним, его открытостью, а это уже другая история.

Утром проснулся — каждый занят своим делом, музыкантов уже нет, гуруджи вдали сидит у шивалингама, воздев руки горе в утренней пудже, кака́ метет землю вокруг хижины, чаёк греется на огне. Взял свою турочку, сварил кофе. На полувзгляде все, никаких разговоров, а если что-то нужно сказать — на любом языке говори, все понятно: вот чай, вот небо, вот жизнь, вот путь. *Там* понятно, где все написано и где все начинается, откуда растет. А когда это пространство между верхом и низом

наполнено живой акустикой, то ты разговариваешь поверх слов, дыханием. А дыхание на любом языке одно.

Подошел гуруджи, присел, прихлебывает чаёк, спрашивает на хинди, первый его утренний вопрос: а где бог, где твой бог? С такой интонацией, как бы между делом: где твой бог? Я говорю: здесь. И показываю на угли разгорающиеся. И в тебе, и во мне, повсюду. А как ты живешь, спрашивает, чем зарабатываешь? Жестом спрашивает, потирая тремя пальцами один о другой. Я отвечаю: книги пишу. Он говорит: минуточку, и возвращается с Бхагавадгитой. Такие? Почти, улыбаюсь я. Он — жестом: а пайса? То есть деньги откуда? Я говорю: лила, игра мира, деньги — лила, не из настоящего ряда. Пьем чаёк. А что из настоящего? — Свобода, говорю. Да, свобода, кивает он, свобода и вот это все — обводит рукой округу.

Вечером после ужина сидим у костра с музыкантами, молчим, потрескивает огонь. Но какое ж это молчание? Оно, как лес, живое, дышит. Гуруджи оборачивается ко мне: а поговори с нами. Куч-куч, немножко поговори с нами на русском. И вот я рассказываю им о том, что происходит вокруг и на душе у меня, об этом чувстве дома здесь с ними, об Индии, России. На русском. Куч-куч. А они сидят притихшие, слушают, и такая невозможная чуткость во все края, что кажется, каждая травинка слышна — от дней творенья до той черты, за которой всего этого не станет. И вместе с тем, такое родное внеязыковое пространство, где русский, хинди, санскрит — один лес, в котором мы сидим.

А потом они снова запели, попросив выключить камеру, тогда и проступило в углях это лицо. Конечно, если долго смотреть в угли — всякое можно увидеть,

но когда ты вдруг попадаешь в самое средостенье чуда жизни, все что ткется, все эти узоры, они приобретают… Да что, собственно, они приобретают? Они приобретают тебя, настоящего. Слава богу, что длится это недолго, иначе держать удар этой открытой жизни, ее свечения, не в наших силах.

Обнялись на прощанье, прижались друг к другу. Не уезжай, говорят, оставайся… навсегда.

#68. Король

На дорогу от хижины до царства Бастар ушло два дня. Между ними заночевал в городке Канкер. Не успел поселиться в номер маленького и едва ли не единственного там отеля с видом на озеро, как вбежал и окружил меня наряд полицейских, а следом за ними и армейское подразделение. Выясняли, фотографировали — и документы, и меня, не знали, как со мной быть — похоже, я первый иностранец у них. Ну и потому еще, что штат такой — маоисты, леса, перестрелки, племена. А может, к тому же и коронавирус, на который я совсем еще не обращал внимания, не читая новостей, а то, что встречалось на пути, принимал за обычные индийские курьезы. А где, спрашивают, вы были в Индии. Это уже под конец расспросов. У нас какой месяц сейчас? Март, отвечают, растерянно переглядываясь. Ну, говорю, к августу управимся, перечислить? Напряглись, выдохнули, расслабились, перешли к селфи со мной.

Прошелся по городку. Как из сказочного мешка вытряхнули — руины, арки, огрызки домов, ювелирные лавки, подворотни, неопознанные дворцы, вытряхнули мимоходом веков и ушли. И, откуда ни возьмись, проступили люди вперемеж с пузырями земли. Петляю по

переулкам. Мусульманский, похоже, городок, но и индусов немало. Часовенька Шивы. Сива, Сива, кивает старушка, звук «ш» они часто не выговаривают. Сивка-бурка, именно что. И нильгау — вещая сивка, темно-серый, меняющий оттенки. От Брахмы до его дочери. А из молока вспахтанного океана вышел волшебный конь Уччайхшравас, наделенный даром воскрешать мертвых. Ходил, видать, к Федорову, не застал. Руины, руины, так я иду, ем картофельник на ходу и разговариваю с собой в веселом расположении. Люблю руины я, вот стану ею вскорости и наконец полюблю себя — и ближнего и дальнего. Что никак в сердце не укладывалось: как самого себя — ну что же это?

Утром открыл ставни, а там прямо у окна на ветке сидит золотая иволга, пробует свой вокальный диапазон: фиу-лиу-ли — вроде звука флейты. Подождал пока перейдет к «мяуканью испуганной кошки», как пишут об этом звуке, который она порой издает, но не перешла, вспорхнула. Вдали за ней Шива сидит посреди озера, приблизил зумом: Нанди к нему пришвартован, как буксир к лайнеру. Надо бы крем «алоэ-вера» прикупить, а то кожа у меня уже, как Гоби, от этих странствий. И алоэ-надежду с любовью. Сел в спальный автобус и поехал в Царство.

По одну сторону в автобусе за бархатными занавесками находятся односпальные места в два яруса, по другую — большие двуспальные, но индийцы при желании могут расположиться там и вдесятером. В глубине автобуса несколько рядов самолетных кресел. Когда-то в Махараштре на таком ехал, там и видео экран в каждой спальне, и кондиционер. Здесь попроще. Лег на верхнюю односпальную, пока людей еще не много: чудеса, лежишь, глядишь в окно, леденец за щекой, ландшафты плывут,

переваливаем через горы, спускаемся по серпантину, зеленые холмы, хутора, туземные племена. Тысячелетнего царства уже нет, но племена остались, вглядываюсь в их лица, пока еще мельком, из окна, но уже видна их какая-то особая сдержанная красота и сила. Как у огня, деревьев, сумрака, остывающей магмы.

Приехали. Джагдалпур, бывшая столица царства, а теперь земельного округа Бастар, небольшой городок на сто с лишним тысяч населения. Первое впечатление — большей свободы в обиходе, женщины держатся несколько независимей, чем видишь в других краях Индии, городские одеты по-европейски, многие в джинсах и на мотороллерах, все это вперемеж с переливчатыми сари адиваси разных племен, которых особенно много на главном Санджай-рынке.

Взял рикшу, объехал чуть ли ни все отели — нигде не селят, говорят, нет мест, при том что они почти пусты. Похоже, действительно неспокойный край, опасаются брать иностранцев, хотя вслух этого не произносят. В нескольких отелях поселиться можно, даже зазывают, но мне такие не по душе, и не потому что дорого. Наконец нашел — маленький захудалый, зато в центре. Около двадцати номеров на трех этажах и выход на чудесную разруху крыши с лабиринтом стираного белья и видом на город. Кроме меня, кажется, никого. Номер крохотный, затхлый, без окна, но тут, оказалось, все комнаты без окон. Форточка на уровне пупа, открыл: глухая стена и колодец вниз в непроглядное. Туалет с душем, но не убирались тут, похоже, несколько лет, желтые заляпанные стены, заросший умывальник, к унитазу не подойти. Начал драить, отмыл года два, оставил на следующий заход. Кровать сносная,

потолочный вентилятор, тумбочка, стул, заменили постельное на новое, жить можно.

Рядом с отелем площадь, то есть чок, развязка дорог, посреди нее три высоченные грации стоят спиной к спине, в металле исполнены, стоят в серьгах, цветах и украшеньях. Так и называется — площадь племен. За ней — госпиталь. Недели на две, наверно, останусь с этими грациями, а потом на север — в заповедник Бор, доснять фильм о нильгау.

Вышел пройтись по городку, нравится мне тут, отлично поел в местной столовке у мусульман в дружеской толкотне, где было, наверно, две трети индусов. Старик-разносчик с крашенной хной бородой поверх белого халата и ведром плова в руке то и дело норовил подсыпать мне добавки, подходя из-за спины.

Бродил по рынку, снимая и комментируя на ходу, кажется, неплохой сюжет получился, живой, пестрый, в разговорах с продавцами, смехом и множеством жанровых эпизодов.

Иду дальше, просто глазея по сторонам, минут через двадцать городок кончился, полупустынная площадь, пару чайханщиков, несколько дхаб, крепостная стена, за ней храм Дантешвари — главной богини края лесных людей, за ним — ухоженный парк, в нем ни души, только кто-то вдали поливает растения, в глубине парка проступает дворец, за ним, похоже, конец мира.

Дворец приземистый, в два этажа, но большой, барочный, голубое и белое. Фасады в строительных работах, несколько припаркованных машин. У ворот шлагбаум, из будки окликает охранник с автоматом, на лице повязан платок. Думаю, дальше нельзя, но нет, пропускает, только

просит отметиться в гостевой книге. Пишу: Мюнхен, а улицу почему-то Горького, ах да, отец когда-то жил в Киеве на этой улице. Подхожу к крыльцу, сквозь дверной проем в глубине холла светится необычное лицо человека с длинными черными волосами и сильным болевым взглядом: погрудный портрет, окаймленный иллюминацией и свежими цветами, перед ним три царских кресла, красный бархат с позолотой, на них тоже цветы. Полутьма и тишь. На стенах — дагеротипы начала прошлого века — видимо, портреты королевской семьи, но я ничего толком не успел почитать ни о городке, ни об этом дворце. Перехожу от портрета к портрету. Чувство, что они не только живые и смотрят, но и передают меня взглядом от одного к другому, скашивая глаза. И вдруг чувствую — кто-то дышит мне в спину. Оборачиваюсь: я и не услышал, как он подошел — невысокий человек ученого вида, и тихо начинает беседу. Мы оба босы, стоим в этой полутьме, как два призрака. Спрашивает, кто я, откуда, и затем: так вы, значит, намерены встретиться с королем? Он как раз здесь, сейчас я ему доложу. И исчезает.

Какой король? Какая встреча? Что значит «намерен»? Царство Бастар, племена, король, боже мой… А со стен не сводят глаз с меня члены царской семьи, ждут, прислушиваются. Да, говорит он, вернувшись, аудиенция у вас через пятнадцать минут, хотите чаю?

И вот за мной приходят и препровождают в приемную залу. Стены в картинах, темная резная мебель, золото, вишневый бархат, статуэтки, кубки, изысканные изделия по металлу, сказочные фигуры в рост человека, видно, исполненные той кастой из здешних племен, о которой так много слышал, но времена в зале смешаны, рядом современное, стильное, большой низкий стол

с роскошными белыми креслами, на одном из них сидит молодой, лет тридцати человек светского вида, в маренговой курте и светлых шароварах, на ногах — черные туфли без задника. Коротко стрижен, трехдневная щетина. Над ним сбоку склонился уже знакомый мне ученый секретарь, что-то записывает за ним в блокнот, откланивается, мы остаемся вдвоем.

Встает, жмем руки друг другу, знакомимся. Очень приветлив, беглый английский, сразу становится как-то по-домашнему легко, с полуслова. Спросил его, можно ли записать наш разговор на видео? Устанавливаю камеру напротив нас на столе, оборачиваюсь к нему: видно ли ему себя на дисплее камеры? Да, говорит, можно чуть влево повернуть, если вы будете сидеть рядом — вот на этом диване. Сажусь, оба вглядываемся в дисплей, наклоняемся влево, вправо, пригибаемся, выпрямляемся, я то и дело возвращаюсь к камере, поправляю, снова сажусь, переглядываемся. Одновременно вижу все это как бы со стороны: дворец, зала, король аборигенов и русский писатель, исполняющие какой-то брачный журавлиный танец, начало встречи.

Сидим, беседуем, пьем чай, а до меня все еще никак не доходит, что передо мной самый что ни на есть король. Поначалу от неожиданности так и спросил его: то есть вы в полном смысле являетесь королем? Да, улыбнулся он, в полном, но в некотором смысле — по нынешним законам республики — без королевства. И как же вас величать, как обращаются к вам во дворце? Махараджи? Да, сказал он, можно и так.

Потом я понял, чей портрет в иллюминации стоял у входа. Это был его отец, великий король Бхарат Чандра Бхани Део. Бхарат — Индия, Чандра — луна, по ее

календарю движется духовная жизнь, а Део — дэва, бог, король. Он был убит в возрасте сорока восьми лет в девяносто шестом году, когда нынешнему королю Камалу Чандра Бхани Део, было двенадцать. Убит полицией при содействии армии, ворвавшейся во дворец. Убит, поскольку отстаивал права своего народа, то есть лесных племен. История темная, и я собирался вернуться к ней в нашу следующую встречу.

В начале коснулись биографии царства. Исток его не очень отчетлив, ближе к нам по времени проглядывает династия царей Чалукья, еще ближе — великое королевство Какатийя, откуда в эти края около тысячи лет назад прибыл брат какатийского короля и надел на шею здешнему королю васту, то есть шарфик, символизировавший помазание, а васта преобразовалось в Бастар. В те времена королевство занимало территорию, примерно соотносимую с Англией, теперь чуть меньше, населяют его так называемые племена, адиваси, то есть исконные коренные жители, в разной мере не очень интегрированные в социальную жизнь страны сообщества со своей мифологией, обрядами, языком или диалектом. Находятся они вне системы варн и никак не соотносятся с кастой неприкасаемых. В Индии около ста миллионов адиваси, принадлежащих к тысяче различных племен. В каких-то штатах они достигают девяноста процентов населения, как в Нагаленде, например, или большей половины, как здесь, на юге Чаттисгарха, недавно отделившегося от штата Мадхья-Прадеш. Живя в одном лесу, в паре десятков километров друг от друга, племена говорят на своем языке или диалекте, не всегда понятном другому племени. Спросил короля, какими языками он владеет. Может говорить на шести языках племен и на нескольких

индийских, как хинди или телугу, а еще есть отдельный язык королевской семьи, на котором всю эту тысячу лет говорили во дворце между собой. И продемонстрировал по моей просьбе. Близок ли этот язык к какому-либо из местных? Нет, говорит, ближе к санскриту, но самостоятельный. С кем же, подумал я, он говорит на нем? Может быть, со своей младшей сестрой, живущей в этом же дворце? Наследников пока у них нет, сестра не замужем, он тоже не женат. Сколько же королевских семей сейчас в Индии? Около четырехсот, говорит.

Дальше становилось все интересней. Мы знаем немало историй с королевствами, но так чтобы на протяжении веков каждый восходящий на трон король ровнял с землей несколько своих дворцов и дарил землю лесным племенам, такого я не припомню. А они это делали. Каждый. И этот, сидящий напротив меня. Сейчас у него осталось два дворца, в этом — около трехсот комнат, он и сестра занимают всего несколько из них, остальные пустуют. Во флигеле второго дворца у него находится большая коллекция ретро автомобилей. Когда-то в юности, говорит, выезжал на роллс-ройсе, теперь на обычной ездит. Но есть и два слона. И частный парк самолетов. Летает по миру, видится с королями, президентами, с Тэтчер, например, а недавно у себя Нарендру Моди принимал. Родился в Гуджарате, учился в колледже в Джайпуре, потом в университете в Бангалоре, потом еще в двух университетах в Англии. Сейчас он один из самых молодых в партии BJP, той, где и премьер-министр. Вдруг коснулись охоты, во дворце у него много трофеев. Но она ведь, говорю, давно запрещена в Индии? Да, это в юности было, в Африке, а перед тем в Южной Америке охотился на ягуара, но тогда совсем мальчишкой был,

слуга-шудра заряжал ему тяжелый пистоль. А в детстве у него жили два тигренка во дворце, но теперь это все позади. Рассказал ему пару историй о моих похождениях в джунглях. Хорошо нам, похоже. Он увлекается в разговоре, одна рука гуляет в воздухе, пританцовывая, другая смирная, ногу на ногу забросил и покачивает в такт, а я на диванчике, развернут к нему вполоборота, голова на скрещенных руках, лежащих на высоком боковом валике, то есть полулежу лицом к нему.

Разговор все длится, а камера давно уже отключилась, там лимит тридцать минут, о котором я и забыл, как и он о назначенных у него встречах, так мы еще проговорили около часа, жаль, что не записалось, разве вспомнишь потом — это Индия, память подчиняется ей, растворяясь в потоке. Разве что, какие-то повороты, пятна. Вослед разговору о временах Ашоки и о войнах, в которых участвовало королевство, заговорили о богине Дантешвари, но прежде о войнах: никто не мог покорить это королевство, правда, не очень-то и пробовали: эти гордые и независимые люди не имели никакого интереса ни к чему, что лежало за границей их леса. Да и брать у них было особо нечего. В общем-то, во многом так оно и осталось, маоисты партизанят в лесах, пытаясь склонить их на свою сторону, и индийская армия с ее лесными гарнизонами, пытаясь противостоять маоистам, старается расположить к себе племена, а они — ни там, ни там, живут своей жизнью, сколько ее осталось — бог весть. Занимаются ремеслами — изделиями по дереву, глине или по металлу — так называемый bell-metal, отливая фантастические фигуры по почти утраченной методике, первые такие изделия находили еще в долине Инда — в Мохенджо-Даро. А Дантешвари главная богиня

всех племен здешних. Не имеет ли она какое-то отношение к Дурге, спрашиваю. Да, говорит, но изначально — к Шакти, а впрямую — к Сати. Слушаю его и подспудно прокручиваю: той что сожгла себя, а Шива метался по небу, прижав ее к своей груди, и боги не знали, как унять это светопреставление, и тогда Вишну влет расчленил ее тело в объятьях Шивы, и оно пало на землю, и поднялись сады Бхарата, того края, который мы зовем Индией, взошедшей на этой драме любви, а в тех местах, где пали части тела Сати, стоят храмы, и в особые дни в году туда тянутся миллионы паломников. Так, например, в Ассаме в городке Гувахати, куда легла матка Сати, стоит храм посвященный ее йони, а здесь в земле Бастар, рядом с городком Дантевада, лег зуб Сати, зуб, упавший с неба и доставшийся племенам. Они его празднуют, говорит король, каждый сентябрь, это большой храмовый праздник дуршера. Из джунглей текут реки племен в эти дни. Но вообще, кроме этой богини Дантешвари, у каждого племени свои боги, да и в каждом племени у каждой семьи — свои. Богов не меньше, чем деревьев в лесу. Да и не важно это здесь: возьми горшок или ветку или зачерпни воду из ручья ладонью: он, твой бог, там, в ладони. Потом заговорили о кастах и варнах. И хотя племена находятся в стороне от этого, но условно ближе все же к низшему слою, что королевской семье в отношении себя было, видимо, как-то не к лицу, и потому ведут они свою родословную от династии кшатриев царства Какатийя.

Уже провожая меня, он пообещал посодействовать с поездками по округе, особенно в труднодоступные места, где живут племена, охраняющие свои границы от пришлых. А к каким-то племенам и вместе съездим. Но это через неделю, поскольку он будет в отъезде

с завтрашнего дня, а нынешним вечером пригласил в пригородную деревушку на ярмарку, куда съедется много разных племен, где и он появится к полуночи на особый ритуал его чествования.

Простились до ночи, иду по парку и не очень понимаю, что ж это было? Оглядываюсь на дворец — не примерещилось ли. Присел в ближайшей дхабе, взял алу паратху с дохи — картофельные блины с простоквашей. Не столько проголодался, сколько хотелось выдохнуть и убедиться в реальности — той же еды хотя бы, если не всего вокруг. Ем и перебираю в памяти: вот спрашиваю его о королевском архиве. Да, говорит, архив здесь, во дворце, многовековый, почти никто его не видел. А можно? Да. Сижу, представляю себе, как мы с ним бродим по анфиладам и галереям дворца в неторопливых беседах, смотрим архивы, коллекции, едем с ним в джунгли… И вдруг наплывом — лицо его сестры, которой не видел, улыбается мне, смущенно опуская глаза, и исчезает в небе, где появляется российский военный вертолет, купленный им недавно, и другим наплывом — солдаты, стрельба, лежащий на крыльце дворца король последнего царства, и мальчик, прильнувший к окну и ловящий его гаснущий взгляд.

Вернулся в отель, договорился с дежурным, что меня отвезут вечером на ярмарку — его родственник на мотоцикле едет туда. В восемь. Сказала Мариа-бизоний-рог. Восемь, девять, десять. Нет его. Деревушка, где проходит ярмарка, называется Марва, или что-то в этом роде. Около двадцати километров от города, но то ли дороги непрямые-непростые, то ли еще что, но отец уклоняется от помощи мне с рикшей. Уже близко к полуночи, движение стихает, успею ли добраться? Иду сам договариваться,

прошу его, чтобы хоть на бумажке написал имя деревни, рикши тут по-английски не говорят. Догоняет меня на перекрестке, долгие переговоры, наконец сажает, записывает номера и мобильный рикши. Как-то он не на шутку взволнован, успокаиваю его, подбадриваю, надо же, какие нежные они случаются, прям отеческая забота. Ну все, поехали. В рюкзачке у меня камера, пару яблок и апельсин. Городок позади, огни исчезли, свернули на проселочную. С ветерком.

#69. Пустырь

Ярмарка была где-то в стороне от деревни, несколько тысяч человек, погруженных во тьму, сияло лишь колесо обозрения. Тусклые пятна света, разбросанные по округе — кустарные лавки, еда, аттракционы и прочее, где горели светильники, костры или свечи. За световым краем начинался холмистый перелесок, куда люди текли во тьме по тропам, вдоль которых тоже шла какая-то торговля. Тех живописных племен, которые ожидал увидеть, на ярмарке не было. Похоже, люди лишь из окрестных деревень и немного приезжих из Джагдалпура. Сделал несколько неплохих снимков в том перелеске, особенно со странным человеком, одиноко стоявшим за деревом во тьме, в руке он держал светильник, то включая его, то выключая, на плече сидел орел с золотыми глазами. Это и еще несколько лиц и жанровых сцен, но в целом делать там было нечего, довольно тягостная атмосфера, тщившаяся в освещенных местах выдать себя за праздничную. Немало пьяных, хотя и умеренно. Приезд короля я в своих блужданьях, видимо, упустил, а может, его и не было.

Шел второй час ночи, ярмарка стихла, на выезде стояло несколько машин, но переполненных, уехали. В темноте у шлагбаума топтался дежурный, вроде из помощников полицейских. Спросил его, не поможет ли с попутной, но он ничего не понял — ни по-английски, ни на пальцах. В низине, неподалеку от шлагбаума виднелось несколько мотоциклов. На дороге появился парень, видно, из городских, слегка обкурен, скользковато плейбойного вида. Перекинулись несколькими словами. Не вопрос, говорит, поехали. Спустились в низину, белый скоростной байк, пока садились, спрашивает: может, девочка нужна? Всего тысяча рупий. Или гашиш? Нет, говорю, только до города подбрось. Как-то долго возится, не лучший вариант, думаю, но и другого нет, да и один он, вроде не проблема. Окликает кого-то во тьме, машет рукой. Там никого не было, но выходит крепенький такой увалень крестьянского типа, постарше этого, договариваются на местном, увалень быстро садится третьим позади меня и прижимает к себе. Э нет, так не пойдет, пытаюсь сойти. Но скользкий рвет с места, выскочили на дорогу, оставив позади шлагбаум, понеслись. Стоп, говорю, прихватив и слегка расшатывая скользкого, don't worry, оборачивается он, все будет хорошо, и наращивает скорость. На съезде с дороги резко сворачивает на пустырь, я продолжаю раскачивать, схватив его за плечи, и наконец заваливаю мотоцикл.

Сижу на земле, за спиной увалень, обхвативший меня руками и прижавший к себе, передо мной полулежит скользкий и методично лупит в лицо ногой. Не помню, как долго это длилось. И боли не помню. Но был в сознании. Наверно, около полусотни ударов подошвой и каблуком в лицо. В какой-то момент я прихватил его ногами и отвалил в сторону, он выровнялся и продолжил.

Может, я бы и справился с ними, решись биться до последнего, но что-то подсказывало этого не делать. Да и вряд ли, особенно с тем, кто за спиной, а от скользкого при этом можно было ожидать чего угодно. Но тогда я об этом не думал, просто сдерживал себя, и насколько мог — их, словами.

Не помню, как их не стало. Ни их, ни рюкзачка с камерой. Я не помню вообще ничего до восхода солнца, хотя сознание не терял. Может быть, временами? Но и этого не помню. Хотя ведь встал и как-то дошел до деревни, как-то узнал, где полиция, как-то добрался туда. Может, меня подвезли? Не помню.

Большая полицейская часть, находившаяся где-то… Где-то. Вокруг нее ничего не было. Может быть, и не в округе деревни, а в другом месте. Похоже, главная полицейская часть района. Или области. Смутные пятна, не в фокусе. С кем-то там объясняюсь, но они не говорят по-английски. Вижу себя в дворике, вышедшим покурить. Спокойно, сдержанно, почти буднично, но как во сне. Ни боли, ни каких-то особых эмоций. И лица своего, как во сне, не вижу.

Свозили в городской госпиталь, тот самый, что рядом с грациями и моим отелем. Шутил по дороге, что-то рассказывал, но деталей не помню. Никакого шока или чего-то в этом роде, все очень рационально, адекватно, и — несколько в стороне от себя, как бы на автопилоте, но под присмотром.

В сравнении с теми, кого вносили и выносили из госпиталя, я, наверно, выглядел еще ничего, хотя и хлопотали надо мной довольно долго. Что-то там промывали, заклеивали, лица своего я по-прежнему еще не видел.

На рассвете вернулись в полицейскую часть. К этому времени появился вызванный по этому случаю начальник части. Первый, кто там говорил по-английски. С этого момента я помню больше. Составили с ним протокол. И как-то сблизились в разговоре, хотя и сохраняя дистанцию, но не шире незримой шахматной доски между нами, где с обеих сторон перебирали варианты. Умный, теплый человек, но без сантиментов, за теплом — холод профессионала. Поехали искать место, где все это произошло. Не думал, что найду, но даже очки мои в траве нашлись, странно, я вроде не вынимал их тогда, зачем?

Привезли меня в город уже к вечеру, вначале еще раз в госпиталь — сделать рентген. Нос не сломан, с головой тоже вроде нормально. Ключ от моего номера был в рюкзачке, запасного в отеле не нашлось, взломали дверь. Ушли.

Посмотрел в зеркало. Малоузнаваем. Включил вентилятор, чтобы хоть немного разогнать затхлый воздух, лег не раздеваясь.

Проснулся поздним утром, голова тяжелая, но может, еще и от этой затхлой духоты. Попробовал помыться, осмотрел тело: несколько ссадин, не бог весть, ощупал голову под волосами — там больше, с рубцами, в госпитале, видно, не заметили. На лицо лучше не смотреть, да и заклеена половина. Левому глазу досталось не меньше, чем носу и губам. Но цел. Что удивительно. Не должно было быть ни глаза, ни зубов, да и вообще меня. Так что случай не просто счастливый, а счастливейший, будем считать. А что ты думал — если тебя никогда в жизни не избивали, то так и должно быть? Самонадеянность. А в джунглях сколько раз могло случиться? И куда похуже. И с людьми, даже здесь, в Индии, сколько было

ситуаций на грани, и проносило. В том-то и дело, что в Индии, это все равно как внутри меня, во мне. Вот-вот, эта самонадеянность. Ты лучше послушай, что жизнь тебе шепчет, вынув целехоньким из-под колес, даже не покалеченным. Жизнь и эти два бедолаги твои, ангелы-хранители, вот уж кому работенка досталась. Хотя все-то ты знал с первой секунды — нельзя было садиться на тот мотоцикл, все понимал, и сел. Цыкнув на этот внутренний голос. Самонадеянность и цыкнула: ничего не случится, это твоя земля, а случится — справишься. И когда второй сел за спину, еще можно было вырваться, соскочить, неподалеку стоял тот охранник у шлагбаума. Нет, удержал себя, цыкнул. Вот и цыкни теперь тому, кто в зеркале — губы не сложишь. Одним словом — счастье, без малейшей иронии. А если совсем всерьез — редкий случай, непростой, и дар, конечно, удивительный. О котором еще будешь думать, но не сейчас. Надо попробовать помыться. И постирать вещи.

Вывесил постиранное на крыше, взял турочку, сходил на соседнюю улицу к чайханщику, сварил, сел на камень, пью, госпиталь напротив. Чайханщик кивком головы спросил, что случилось, кивком и ответил, весь разговор, глубже слов и подробностей. Вернулся, в дверь стучат — посыльный от короля, просит меня завтра прийти во дворец к десяти утра, могу ли? Да.

Снова стук. Полицейские пришли, пятеро. Одного из них я помню по вчерашнему дню — помощник начальника. Привели художника — попробовать нарисовать словесный портрет тех двоих. Сидим на кровати втроем, пробуем. Трое других прилегли на кровать за нашей спиной, стульев нет. Блокнот, карандаш, резинка. Но помню смутно, скорее образ, чем черты. Иногда беру у него карандаш, что-то

поправляю. Перед тем показали несколько фотографий. Нет среди них. В моделях мотоциклов я мало смыслю, но еще раз описал, как мог, они кивали, кажется, сообразили, какой. Один из тех троих за спиной уже похрапывает. Мы уже чуть не весь блокнот изрисовали — вереницы лиц, ну вроде бы последние примерно в образе, но не в чертах. Сцена чудесна, если со стороны взглянуть: мы, увлеченно рисующие, объясняясь на пальцах, я с заклеенным лицом, трое полицейских в форме, лежащих на моей кровати, один похрапывает, два ружья, прислоненных к стене в углу. Царство Бастар. Откланялись.

Мобильный мой был в том рюкзачке. Перед тем как записать свой номер при составлении протокола, попросил начальника дать слово чести, что у двух моих друзей из Махараштры, на имя которых были оформлены мои сим-карты, не будет неприятностей. Объяснив, что в прежние годы оформлял на свое имя, но теперь для иностранцев это усложнилось и я иногда прибегаю к помощи друзей. Он поспешил мимоходом согласиться, но я его настойчиво вернул к разговору. Он даже встал из-за стола и начал расхаживать по кабинету. Вы знаете, кто я, в какой должности, и вообще? Со мной, говорит, еще никто так не разговаривал. Сел, молчим. Ладно, слово чести. И было видно, что отвечает за слова. Мистер Парма.

Взял запасной мобильной, пошел в город попытать счастья с симкой. На улицах ко мне подходят, спрашивают — оказалось, мой случай уже в газетах. По пути присел в знакомой столовке, поел — терпимо, если медленно. Советуюсь с аптекарями, не поддаваясь пока, надо выбрать наверняка. Один старик, вызвавший доверие, направил в подворотню к особому, как он сказал, доктору. Такой мне и нужен, я в королевстве, уйма планов

с джунглями и племенами, а времени мало. Объяснил доктору, выдал мне взамен той мази, которую мне дали в госпитале, другую, а эту выбросил в ведро. Два-три дня, сказал, и ни следа. Посмотрим.

Рюкзачок новый купил. Вдруг подумал: а отнят-то тот самый, в котором лежали Будда и Хануман, украденные из их дома в Панхаликаджи. Вот тебе и привет прилетел кармический от тех пещер.

Машина притормозила рядом, разговорились, журналисты частного интернет-ресурса, готовы меня повозить по округе — в любое время с завтрашнего дня. Двое их, за рулем директор, говорит по-английски, второй постарше, за шестьдесят, репортер, не говорит, но вызывает симпатию, у него мотоцикл. Договорились. И симку сделали.

Да, лучше бы с репортером на мотоцикле, но неизвестно, как голова себя поведет при тряске на лесных дорогах, даже идти пока приходится смягчая шаг. Все-таки сотрясение, наверно, было, хотя не тошнит и в остальном вроде терпимо. Позвонил Парме, полиция увезла хозяина отеля, держат в участке уже несколько часов, вроде бы у него нет лицензии, чтобы селить иностранцев. Допытываются, как отправил меня ночью одного на эту ярмарку. Похоже, удалось уладить, выпустили.

Купил фрукты, воду, больше ничего не хочется, да и не очень можется. Вернулся в номер. Хорошо, что ни документы, ни деньги с собой не ношу, оставляя в отелях. Еще бы окно, дышать совсем нечем. Отклеил пластыри, намазал волшебством. Трудно поверить, только несколько дней назад был в хижине у отшельников. А перед тем в школе говорил об открытости и о жизни как об открытой ране, о смятой траве, а если случится совсем худо, то

в этой голости ты един с миром, а это уже другая история. Другая? Сейчас есть повод ответить. И о том, что отчаянье и счастье находятся в куда более близком родстве, чем кажется. И о чувстве родины, дома, и шире — любви и жизни, которое носит нас в зубах, как мать детеныша, не зная куда положить. Как ты там говорил в хижине — держать удар? В средостенье жизни, ее чуда? Ну-ка, ну-ка, включи компьютер. Тогда ты кое-что записал в автобусе, пока ехал сюда, лежа на верхней полке. И хотел было стереть, перечитав. В который раз убедившись, что речь в те края не ходит. А если идет, возвращается совсем не с тем, зачем шла. Но не стер. Теперь, после вчерашнего, все это читается иначе, да?

Происходит необычайное. Больше ничего сказать не могу. Но что-то бедово речевое во мне теребит и просит, хотя никакого смысла в том, чтобы пытаться прояснить происходящее с помощью слов нет. И речь это знает. Она в помощь, когда чувствует себя на своем поле, и особенно, когда касается человеческих недомоганий, даже самых высоких. А здесь — совсем не ее поле, и уж тем более не о недомоганиях речь. Что же делать? Это отчасти из тех трудностей, с которыми сталкивались мистики или просветленные, пытаясь выразить эти состояния, но все тут же превращалось в позолоченный туманец, в дурную бесконечность высокопарных экивоков. И все же, понимая нелепость этих попыток, я скажу, но лишь об эмоциональном фоне этого состояния, о большем я не могу судить. Хотя жил, казалось, именно в эту сторону и как-то исподволь верил, что где-то есть это незримое солнце, эта точка схода всего и вся, которая держит пути и смыслы всего живого. Не здесь, не в этой жизни, но отсветы оттуда нам случается ловить — краткие,

смутные, не прямые. В настоящей любви, на вершинах творчества, в каких-то особых излучинах странствия и, может быть, в смерти. И вот, не знаю, как это произошло, но я оказался внутри этой точки, этого незримого солнца. Здесь, в этом лесу. Никаких событий, никакого внешнего воздействия. Если описать, что меня окружает, это не особо отличалось бы от виденного мной прежде тысячи раз. И вместе с тем это не с чем сравнить. Нет меня, нет эго. Но одновременно и есть. Бескрайнее небо — внутри, и оно же вовне. Индуизм говорит о слиянии атмана с брахманом. Это известно и другим религиям и практикам. Но вроде бы я всегда достаточно иронично держался в стороне от этих путей. Нет, не просветление. Но такая чуткость во всем, с такой открытостью, когда беззащитней и слабее уже невозможно быть. И тем самым неуязвимей. Это вовсе не означает отсутствие зла, тяжести, отчаянья и всего, чем полон мир, но ты уже там, где видишь лицо жизни, еще за покровом, но видишь, и лицо ее светло, и ты храним. И еще: адресность — каждого мгновенья между вами. В этих сообщениях — от каждой ветки, языка огня, взгляда человека — нет уже различий добра и зла, боли и радости. Есть, но все это дышит уже другой музыкой. При том что ничего вроде бы не происходит. И вместе с тем выдержать это нет сил. Несколько раз в жизни я, наверно, испытывал что-то неявно сравнимое с этим, дальнее эхо. Но больше нес это в себе как некую утопию, как мысль и чувство о том невозможном единстве с миром, которое вот же, здесь, и нет ему места и не будет при жизни, но именно эта утопия во многом и вела меня. И чем дальше, тем ясней понимал, что смысл ее не в том, чтобы сбыться. А если уж сбыться, чего быть не может, то, конечно, не

так, чтобы даже не заметить, как окажусь в этом… чем? состоянии? измерении? Я бы остался здесь, в этой хижине навсегда. Оставив всю свою прежнюю жизнь по ту сторону. С людьми, близкими, женщинами, городами, языком, вообще всем. Но это уже не имеет значения.

Вот этим глазом и надо читать, заплывшим, красным, тогда все особо становится на свои места. И почему-то вспомнил ту тигрицу Т-16, часами стоявшую недвижно, как в трансе, над растерзанным ею лесорубом. То есть догадываюсь, почему.

Наутро я был во дворце. Тот же ученый секретарь проводил меня, просил подождать, король сейчас выйдет. Та же приемная зала со стенами, выкрашенными в цвет красноватой глины и светильниками в тон им, создающими ощущение теплого первобытного света. Тот же диванчик, на котором сижу. И король напротив меня на том же кресле, та же нога на ногу. Чай на столе, печенье. Все, как позавчера. Даже хотел потрогать свое лицо — может, снится? Он очень сожалел, что все так вышло и что не предложил поехать вместе. Да, он был там, но коротко и церемонию отменил. Поговорили за чаем, спросил, удобно ли мне в отеле, и что, если хочу, мог бы перебраться к нему во дворец. Должен был вчера уехать на две недели, но отложил из-за встречи со мной. К концу разговора позвонил в колокольчик, вошел секретарь с коробкой. Я помню вашу камеру, сказал король, здесь таких нет, но я заказал в Райпуре, утром курьер доставил. Не такая, как ваша, но, думаю, не хуже. Никон, с восьмидесятикратным зумом, как раз для ваших джунглей. Было видно, что он испытывает некоторую неловкость с этим подарком. Да и я тоже. Не держите зла, сказал, провожая до крыльца, храни вас бог. Дантешвари? — улыбнулся я. Да, говорит, она здесь.

Шел, и пытался вспомнить, о чем же я догадывался, что я имел в виду? Т-16 и лесоруб, хижина и пустырь. Какая связь? Она была. И ускользнула, растаяла.

#70. Царство Бастар

Прошла неделя. Удивительно, но лицо мое от этой волшебной мази почти восстановилось, оставались еще ссадины на носу и у глаза. Полиция тайно приставила ко мне ненавязчивую охрану, держалась на расстоянии, но я их приметил — двое, менялись через день. Хотя в городе я был лишь утром и вечером, остальное время мы колесили на мотоцикле по джунглевой глубинке с репортером Пракашем. Его двух десятков английских слов нам хватало. О моих интересах он знал по нашей первой поездке на машине с его начальником: лесные рынки племен, ремесла и особенно та каста мастеров по металлу, которая творит чудеса по древней методике, хотелось снять сюжет с полным циклом работы: от диких пчел и воска до готовых фигур. Пути к этим лесным племенам непросты, еще и затяжная партизанская война между маоистами и армейскими гарнизонами, перекрытые на ночь дороги, да и днем пустынные. Но Пракаш не робел, разве что пару раз, когда возвращались уже в темноте. Или когда его срочно вызвали по работе, а мы были на далеком лесном хуторе племени мурья, и я сказал, что подожду его здесь, а он пусть к вечеру заберет меня. Колебался, но поехал.

Хороший был день, набродился я по тому хутору, сжился с ним. Мазанки, лабиринты проходов между ними с попугаями, сидящими в клетках и без над входом в дома без дверей. Сидор Петрович, спросил я, проходя мимо одного

из них, почему без хвоста, где потерял? Пьеро, раздался тихий голос за спиной. Я обернулся: в темном дверном проеме стояла полуголая девочка. Пэррот, повторила она, смиренно глядя вдаль, как вздыхают: «быть дождю».

Некоторые дома были собраны из каких-то древних плит, осколков руин. А рядом — маленький, стоящий отдельно домик с весело расписанным фасадом. Слоны в обнимку с жирафами. Заглянул в окошко: одна комната, ни души. Оказалось, школа. А где дети, спросил у выглянувшей из кустов учительницы. Холидей, коронавайрес, сказала она, и неуверенно рассмеялась. На карантине. Я по-прежнему воспринимал все это не всерьез, не читая новостей, а уже близился к концу март.

К закату я сидел на крыльце единственного на хуторе ларька, ждал Пракаша. Рядом пристроилась девочка лет пяти с двумя желтыми подсохшими речушками под носом и грызла печенье, которым поделился с ней. В ларьке, кроме печенья, были еще леденцы и висели гирлянды одноразовых пакетиков шампуня. И все. Вода — в колонке у дороги, где стирали, мылись и набирали для питья. Под деревом сидел мальчишка и строгал рогатку. В углу ларька лежал привязанный бойцовский петух, прилично потрепанный. Мимо нас продефилировала черная свинья, немолодая мама, спросил ее, чем она детей кормит на такой жаре — небось, молоко простоквашей уже обернулось? Даже головы не повернула.

На следующий день мы направились с Пракашем в лесные холмы к большому водопаду Читракот на реке Чандравати. Безлюдье и ощущение векового запустенья, хотя водопад известный и вроде бы очень посещаемый. Брошенная река, брошенная округа, бог весть когда и кем.

Оранжевый флажок у пустынной пещерки незримого духа. С обреченным ревом ниспадающая вода, образуя внизу семицветную царицу, брошенную. Далеко внизу, а я стою у края этой циклопической чаши. Приблизил зумом, Никон-то у меня королевский. Нет, не брошенную царицу: лодочник там спеленат в крошево брызг, пытается выгрести, причалить к камням. А за спиной у меня стоит вросшая в землю черная субмарина — продолговатый храм с надвершием в виде шивалингама. Перед ней — водопад низвергается в долину. Какое странное место. С одним человеком внизу, спеленатым вместе с лодкой в рваное серебро, и одним наверху — продавцом тростникового сока ни для кого.

По пути сюда мы все же нашли на одном из лесных хуторов мастера по bell-metal, той самой четырехтысячелетней волшбе. Он сидел на пороге своего продувного дома, над дверью которого висели страшновато-веселые маски оберегов, и молчаливо лепил из желтоватого воска фигурку какого-то звероподобного божка. Сидел на детском стульчике в белой рваной майке, в которой дырок было больше, чем ткани. А сам, как земля, помнящая влагу, но уже смутно. Я присел напротив него и долго наблюдал за руками, лицом этого в общем-то моего ровесника, хотя все пять тысяч лет было тому, что между нами, его пальцам, глазам, губам.

Всего две лавки, где можно увидеть и купить их изделия — одна в Джагдалпуре, другая в столице — в Райпуре. В первой я был, и вышел через несколько часов, пошатываясь. Нигде и никогда я такого не видел. Такой ошеломляющей фантазии, исполненной столь изощренно. Это как книгу вымышленных существ Борхеса помножить на древнеиндийский космос и преобразить

в руках ироничного лешего джунглей. Это о том, что свалено вдоль стен этой лавки. А отдельно стоящие многофигурные миры вообще никаким описаниям не поддаются. Так бы могли чудить в самозабвении невзрослые боги. И все это, что могло бы украсить любые музеи мира, продавалось за копейки. Я был в лавке единственным посетителем.

Истрепанный парусок свежестиранной майки, тысячелетние глаза и пальцы, и яма для обжига во дворе. Вот так и я сел бы на детском стульчике, в такой же майке, и лепил из воска эти волшебные рукописи, когда-нибудь, когда завершу свое странствие.

Bell-metal, а правильнее — Дхокра, по имени племени, с давних времен занимавшемся этим литьем металла, восходящем к временам Харрапы и Мохенджо-Даро, где найден один из первых артефактов — танцующая девушка. Есть две основные методики литья: с использованием воска для создания формы перед отливкой и с использованием глины. Дхокра работает с воском. Это древнейший процесс в тринадцать этапов, где все работы выполняются вручную. Металл — смесь меди и олова. Есть нитяной или веревочный способ создания формы, когда воск раскатывают на веревочные отрезки и из них плетут, вяжут фантастическую фигуру или жанровую сцену, которая может быть и в рост человека. Изысканно ажурная шерсть быков и сказочных животных. Или многофигурная переправа на лодках через реку. Или ритуальные танцы мужчин и женщин, исполненные затерянным во времени лесным Модильяни. В готовом виде это фигуры цвета бронзы и серебра с вкраплениями алого и голубого, если нужны по замыслу. Дхокра, а касту этих ремесленников местные называют грва. Хотел

было купить у него резной рожок — тори, но где бы гудел, в джунглях? Он поднес к губам, дунул на прощанье.

Долго колесили лесными дорогами, пока не въехали в марсианский пейзаж. Красная земля, одиноко стоящие, такие же красные, как земля, деревья на большой, залитой солнцем поляне. Каждое дерево как бы зависло на взлете, держась на нитях оголенных корней.

Еще немного проехали, слева маленький хутор, справа — две женщины под деревом, в кроне которого мужичок гуцульским топориком рубит ветки. А женщины заворачивают их внизу в шали и покрывала. Ветки яростно кишат большими рыжими муравьями, теми самыми, которых здесь тушат с тертыми помидорами и добавляют в овощные подливки. Несут ветки на хутор, муравьи впиваются по пути, женщины стряхивают их с себя, помирая со смеху.

Перед домом пустой бревенчатый загон, смахивающий на сказочную крепость. Для кого? Для свиней, оказалось. Свиной замок. Видимо, тут не черные, а розовые, домашние, что редкость. Под крышей дома подвешены гнезда, в них сидят курицы, прям подвесные сады. Во дворе под навесом чудесным доисторическим макаром толкут халди — коренья куркумы: тесаное бревно с подпоркой посередине в виде детских качелей. На одном краю — две девочки прижимают его ногой и отпускают, по другую — наконечник, прилаженный к бревну, в виде клюва, дробит корешки в каменной лунке в земле. Их успевает подкладывать сидящая на корточках женщина, и отдергивает руку, когда наконечник опускается. Девочки в платьях принцесс, словно не куркуму толкут во дворе, а на свадьбе танцуют. Правая нога на бревне, левая рука над головой, держась за подвязанный к притолоке

шарфик. В саду на расстеленном покрывале сушатся нежные бутоны, прости господи, махуйи, из которых будут делать крепкое вино. К пальмам у озера невдалеке приторочены горшки, куда стекает сок, похожий на айран, добавят специи и будет местное пиво сальпи. День начинается с сальпи и заканчивается махуйей, а между тем можно и пообедать — рисом с деликатной подливкой из красных муравьев, которые тут с не меньшим аппетитом едят людей, чем люди их. В озере мальчишки затягивают бредень. Вернулись к мотоциклу, собрали плоды тамаринда под деревом — илли называется, кисленький, с косточкой, которую можно долго посасывать дорогой.

Заехали на еще один хутор, там древний храм — Нариенпал, вайшнавский, одиннадцатого века, но выглядит аскетично, как шиваистский. Ограда на замке. Объявленье висит: закрыт в связи с коронавирусом. Ну да, видать, иммунитет слабенький, тысячелетний, антител мало. Но Пракаш нашел ключника, открыли.

Едем дальше, бог весть, куда забрались, на рассвете тронулись, а уже середина дня. Ни хуторов, ни признака людского, нехоженый лес, старая грунтовка в ямах и камнях, голова моя жалуется на каждой колдобине, привстаю, как на стременах, если успеваю заметить перед колесом. На обочине вдруг двое показались: давно сидят, коротают вечность, подливают сальпи друг другу из глиняных горшочков, прихлебывают за неторопливой беседой о мужской дхарме и женской, головы полотенцами обвязаны, а вокруг ни души — дивный бесчеловечный мир.

За пару лет до моего рождения в эти места приехал шведский режиссер-документалист со своей женой. Пробрались с проводниками к племени муриа и находились там в течение года, готовя фильм — вроде

документальный, но написав игровой сценарий. В центре — мальчик, лучезарный, открытый, с отсветом Маугли. По сюжету в одном из эпизодов леопард убивает домашнего буйвола. Стрелок племени во тьме, думая, что целится в этого леопарда, из лука убивает тигра. В финале и леопард мертв — ценой смерти старшего друга мальчика. Для съемок этих эпизодов жена режиссера отстрелила десять тигров и шесть леопардов. В том числе, кормящую самку, чтобы взять для съемок тигренка. Фильм получил Оскара. Мальчика они увезли с собой в Швецию, племя противилось, но они настояли. Жили в их дворцовой усадьбе на берегу озера, предъявляли мальчика на презентациях фильма. Полгода спустя он вернулся в Индию, Джавахарлал Неру сказал ему в Мумбаи, что когда тот окончит школу, он ему поможет в жизни. Со школой в племени не сложилось, и с жизнью тоже. Он все больше уходил в параллельную реальность, молча. Племя сторонилось его, да и он все более отчуждался. Отец вскоре поднялся на вершину горы и бросился с обрыва. Мальчик ушел в многолетний запой. Это в другом, индийском фильме — по ту сторону съемок, там он сидит у дома, сорок лет спустя, ясный, сильный, горький, глядящий мимо камеры — в зыбкую даль, и говорит, что лучше бы он рухнул с того дерева перед финалом фильма и убился. В том же в фильме и престарелая чета шведов, вспоминающая, перебирая фотографии, как все это было увлекательно и чудесно. Мальчик ушел из жизни в тот год, когда я уезжал из Крыма, Геша провожал меня до Тропки…

А потом егеря в ответ на отказ племени переселяться из леса, освободив заповедник, будут вливать опрокинутым наземь женщинам керосин между ног. Не здесь, в другом краю. Хотя, где он тут, этот другой край?

Дорога становится все мрачней, зловещей, лес ее почти совсем съел, солнце вязнет в листве, в низинах путь разворочен сезоном дождей, о котором даже камни уже не помнят. Едем мы в какую-то военную спецчасть, расположенную в глубине джунглей, где у Пракаша служит кто-то из его родни, говорит, что там будут племена. Ничего не понятно. Военный гарнизон, откуда бы в нем племена? Но из двадцати его английских слов большего не выжать. Доверимся. Лесных гарнизонов в этом краю, похоже, немало. Подъехали. Ряды колючей проволоки, смотровые вышки, ворота.

Сидим в офицерской беседке на пригорке посреди гарнизона. Начальник части, штабные офицеры, врач и Пракаш, человек десять. Чай, разговор. Все очень дружелюбно. К воротам то и дело подъезжают тракторы с прицепами, полными людей. Это племена — ближние и дальние. Многие просто спускаются с гор, стекаются к гарнизону цветными ручьями по лесу. Иные из племен, как оказалось, уже несколько дней в дороге. Именно сегодня тот день, о котором около года шли непростые переговоры. Гарнизон приготовил для лесных жителей особую программу: бесплатное медицинское обследование, помощь лекарствами, праздничный обед, кинозал и подарки.

На территории части уже собрались около нескольких сотен адиваси. Помимо племени гонди, которых тут большинство, еще абхудж мариа, мариа бизоний рог, халба, дурва, муриа, бхатра, дорла... Да, похоже, те самые муриа, откуда был мальчик. Их рассаживают под большим навесом на скамьях, сходящих амфитеатром к плацу, где уже развернуты шатры медиков и рядом с ними контейнеры с подарками. Племена всё прибывают и садятся уже

просто на землю. Много детей, и совсем крох на руках матерей. Посасывают открытые смуглые груди. Девочка, давно миновавшая грудной возраст, прихватила губами сосок матери и смотрит вверх мимо ее лица в небеса. Что она видит? Единственное тающее там облачко? Бога племени дурва?

Как все же странно, я все думал-гадал, как бы пробраться к этим лесным племенам, куда ни дорог, ни возможности, а тут они сами все сошлись в единственный день и час на краю света, куда чудом попал. И где — военном гарнизоне специального назначения.

Врач дарит мне две пластинки особых армейских таблеток от малярии с чертежом на них схемы приема. Солдаты быстро перемещаются по гарнизону с коробками, ведрами, пакетами. Прерываем разговор об этой камуфляжной войне с сидящим рядом со мной молодым командиром разведки. На самом интересном месте. Кто б мог подумать, что они будут так откровенны, и начальник поддерживал эту открытость, или это мои вопросы так их разбередили?

Перешли в домик начальника, где в маленькой гостиной накрыли обед для офицерского состава и нас. Тарелки со сменой, вилки, ножи, сервизная супница, на стенах — подробные военные карты. Вернул их к разговору. Удивительно, даже о еде забывают, вскакивают, водят указкой по картам, рассказывают то, что сторонним не говорят. Сурово. До страшного. Но честно. Хотя и глядя лишь с их стороны.

Вошел адъютант: все готово к началу. Спустились на плац к импровизированному президиуму — стол, микрофон и несколько стульев. Часть лесного народа отвели на

обед в казарму, подготовленную для этого приема, другая часть смотрит кино в клубе, третья — на медицинском обследовании, четвертая получает подарки, все это регулируется выстроенными вдоль маршрута солдатами — рослыми, дружными, улыбчивыми.

Многие все еще ожидают своей очереди под навесом амфитеатра. Мы с начальником сидим за столом президиума, он рисует на листке бумаги схему недавней ликвидации одной лесной группировки маоистов, за которую получил медаль. Дело, говорит, было ночью, в плотных джунглях. Здесь стоял часовой, и вот здесь, всего шестеро, мы сняли их, вот с этой стороны зашли, тут овраг, здесь ручей, около тридцати их было, нас чуть меньше, тут все началось, они — сюда, теряем пятерых, но отыгрываем пространство… Я слушал, и поверх его рисующей руки смотрел в горько светлые лица лесных людей, садящихся перед нами на землю и снующих меж ними солдат в камуфляже, понукающих их встать там, сесть тут. Смотрел поверх его руки, отыгрывающей пространство смерти, в лица женщин, растущих из красной пыльной земли, лица с той неявной тонкостью черт и изгибов, какая свойственна выпростанным к солнцу и умытых дождем древесным корням. Смотрел поверх руки — в спокойное, очень взрослое лицо девочки, которую уже, казалось, никакая боль не способна сломить, живущей, наверно, где-то в джунглевой хижине, без света, на земляном полу, с колечком в носу, сережкой в ухе и бездонным миром в глазах, темным как вода и колеблемым как огонь. Смотрел бы и смотрел поверх руки, рисующей часовых, на линию сомкнутых, чуть растресканных губ этой девочки, сохранившей то чувство жизни, которое, похоже, всем нам уже давно заказано.

В столовой они сидели в несколько рядов на полу: женщины отдельно от мужчин, а солдаты разносили в ведрах еду и подкладывали добавку. Рис, чатни, пури. Ели дружно и быстро, и конечно, рукой. Из репродуктора гремела расхожая индийская музыка. Одна из женщин особо выделялась среди других. Той красоты и достоинства, рядом с которыми дивы боливуда выглядели бы комиксом. Но, конечно, она себя так не видела, даже напротив — похоже, ничем не примечательной среди женщин, сидевших рядом. Властные красные губы, но при этом теплой смиренной нежности. И эта странность еще сильнее притягивала к ним взгляд. Большие глаза лесной зелени. До Средневековья считалось, что свет исходит из глаз, создавая изображение как бы ощупью. Свет исходил от нее целиком, а в обратную сторону — ощупью. Высокая шея, чувственные ноздри, открытый лоб с забранными назад пышными волосами, защелкнутыми на затылке брошью полумесяца. Утренней, девственной чистоты кожа, светлее, чем у соплеменниц. Изысканные линии и формы, тонкие лодыжки и запястья в браслетах, воздушно размашистое тело, но с женственной сдержанностью. Изысканные, кроме ступней, породнившихся с лесными тропами. Белая шаль, под которой переливы бирюзы и серебра. Ее ребенка, пока она ела, тискали солдаты, передавая друг другу и фотографируясь. Хотел подойти к ней, попробовать поговорить, искал переводчика. Не все из пришедших сюда племен понимают друг друга — разные языки, диалекты. Оказалось, она из племени гонди, или как они сами говорят: гонд. Пока нашел переводчика, она уже переместилась под навес и сидела в самой гуще своего племени, баюкая ребенка. Переводчик был ее родственником. Я спросил, живет ли

она в лесу, в хижине. Джи, улыбнулась она, не дожидаясь перевода. Без света, без мобильного телефона? Джи. Сколько у нее детей? Двое, ответил переводчик, второй сейчас на руках ее мужа — там, у столовой. Счастлива ли она своей жизнью? Смотрит на переводчика, ждет, он переспрашивает меня, не понимая вопрос. Ну в ладу ли она с жизнью, приносит ли она радость? Переглядываются. Джи, говорит она, так мило по-детски подрагивая носом, покрытым щекотными капельками пота от жары, а руки заняты проснувшимся ребенком.

Спустился к столовой, увидел ее мужа — худенький, в клетчатой рубашке, подросток на вид, ей до плеча. Сидит в очереди на измерение давления, ребенок лежит у него на коленях, держит его за палец. Макушка у мужа выстрижена и заклеена пластырем. Сахасрара чакра заклеена. Там, где слияние Шивы и Шакти — бобо.

Три полуголые старушки-подружки бойким шагом пересекают плац, тощенькие груди висят под шалью, перетягивающей тело по диагонали, на плече — лесные топорики на длинном древке. Становятся в очередь за подарками. Кастрюли, одеяла, разная хозяйская утварь в подарочных наборах. Мужичок, получивший электрическую соковыжималку, разглядывает ее, отойдя. Женщины, сидящие под деревом, смеются. Детям раздают фломастеры, тетради, спортивную одежду, какие-то игры. Никто не тянется за подарками, спокойно ждут и прижимают к груди. В клубе показывают надрывный боевик со слезой, сидят тесно во тьме на полу, кормят детей грудью, не отрывая взгляд от экрана.

Не стал я досматривать эту подарочную кадриль под армейскую дирижерскую палочку. Незаметно отошли мы

с Пракашем, сели на мотоцикл и понеслись пустынной лесной дорогой дальше.

Ехал, подскакивая на отдающих в голову колдобинах, а перед глазами плыли лица женщин, детей, вперемеж с мелькающими стволами деревьев, и не хотелось думать о подоплеке такого рода чудесных мероприятий, об армии и маоистах, стремящихся перетянуть племена на свою сторону всеми возможными способами: маоисты — из-под полы светлого будущего, а государство — из мешка настоящего. Нет, не хотелось об этом думать.

Въехали на еще один хутор. Солнце уже садилось. Пракаш куда-то исчез на мотоцикле, а я вышел на окраину, откуда доносилась музыка.

Девочки водили хоровод вокруг дерева. Другие в стороне плели венки. Два быка бодались рядом с маленьким насупленным храмом, перед которым выстроились деревянные тесаные божки. Посреди поляны стоят большие горшки и кувшины, накрытые листвяными крышками. Над ними колдует, приплясывая и сам себе смеясь беззубым ртом, неземной мужичок. А саблезубые хлопцы вневременного возраста сидят на корточках на краю поляны, ждут. Ландо, говорит он, приподнимая крышку одного из кувшинов и приблизив ко мне лицо милейшей кикиморы, ландо! В кувшине белая мутная жидкость, похожая на местное пиво сальпи, но, видно, сильно покрепче. О, говорю, ты, дружище, серьезно подготовился. Ландо, смеется он, подныривая снизу к моему лицу, счастлив, как ни один из смертных. Снимает крышку с другого кувшина. Подбадриваю его, цокаю языком, закатываю глаза, он млеет, разинув рот, пытаясь обнять, изнемогая в небезответности чувств. И плавно водит руками

по сторонам, чтоб не упасть, а ноги тощие и кривенькие, как два бумеранга, и подоткнутое к бедрам лунги. И что-то лопочет, лопочет, прорастая снизу, пританцовывая у кувшина. Пило-мама, приговаривает этот гомерический занзивер, ландо! Хорошо, говорю, излагаешь, и папо пило, и нам останется. Ландо, крякает он, и садится на землю, запрокинув голову и смеясь. Один зуб все же белеет во рту — как парус одинокий.

Возвращались уже по ночным джунглям. Пракаш, оказалось, отлучался на другой край хутора договориться переночевать, нам уже, говорит, даже постелили. Но я сказал ему: едем домой, не робей, прорвемся. Непростая была дорога, к исходу ночи въехали в город.

Тем временем вышло еще несколько очерков в газетах о происшедшем, стало известно и об участии короля в этой истории, и о его подарке. Дело становилось слишком публичным. Похоже, уже была поднята вся полиция края. Со мной созванивались, вечером ждали у отеля, если не успевали перехватить ранним утром, когда уезжал с Пракашем за город. Показывали новые фотографии, но пока среди них тех двоих не было. В первые дни пробовали звонить на мой прежний номер, и один раз там сдуру ответили, полиция успела засечь местоположение, но, примчавшись, уже их не обнаружила. Я попросил снять наблюдение за мной, хотя особо это и не докучало, в город я возвращался лишь к ночи.

Индия ввела день жесткого карантина: никому и ни под каким предлогом не выходить из дому — по всей стране. Никому из почти полутора миллиардов. Купил с вечера фруктов и неожиданно большую бутылку колы, дорогущее печенье «Милан» с какой-то сказочной начинкой и баночку неземных леденцов «С днем рожденья»,

устроим-ка детский день. Отель пуст, даже у стойки никого, но у меня есть ключ от подсобки с газовым баллоном и плитой, и турочка с кофе. И выход на крышу, откуда вид на совершенно вымерший город. Даже коровы и собаки куда-то исчезли. Вполне себе такой детский конец света. Взрослеющий. Развесил постиранное на веревках, натянутых на крыше, там и кофе пил, расхаживая, разговаривая с собой, спускался в номер, читал подаренную профессором в Шраванабелаголе книгу о джайнах, выбирая из баночки разноцветные нестерпимые чудеса. Вот это, в желтой обертке, личи, вкус такой… лежит с опущенными ручками, когда под языком и чуть прижимаешь, покорная, тающая, тургеневская, с эфемерной кислинкой. И страницы переворачиваются с джайнами — где-то там, до нашей эры. Тишь, невозможная для Индии. И полицейские в дверь не стучат.

Парма в том разговоре, когда слегка вскипел от моего нажима, говорит: я даже жену свою чуть не засудил за дорожное нарушение. Мистер Дхарма.

День-призрак. А потом они начнут размножаться. Как люди. Которых будет становится все меньше. А дней все больше. Со всей отнятой ими у людей свободой.

А эта, в зеленой обертке, что-то сокровенное знает. Истает, но не отдаст. Вообще, о леденцах, как о боге, ничего определенного сказать нельзя, да, исихаст леденцов?

Как странно. То, к чему шел всю жизнь и не чаял найти, да и не очень понимая, что же искал, вдруг случается в хижине. Не с женщиной, не в творчестве, не в той природе, с которой все эти годы пытался сблизиться. И не в каком-то экстраординарном событии, переворачивающем жизнь. На ровном месте, что называется.

Просто хижина, случайные люди, голос, музыка, костерок… И вдруг эта недостижимая цельность, это на глазах сросшееся тело жизни, бога, потерянного рая, или как это ни назови, а с рассветом — та же недостижимость. Но где — уже позади, в сбывшемся? С тобой, в тебе ли? Ничто ни на чем не держится и ничем не становится, переходит одно в другое, не успевая стать. И ничего впереди, кроме смерти. Но и ее нет, просто переход без твоего сознания, уже отслужившего, но еще какое-то призрачное время, рассоединяясь с тобой, мерцающего в текучем узоре всего живого.

Оставалась примерно неделя до того дня, который наметил себе для начала движения в сторону Махараштры, в заповедник Бор, где собирался провести полмесяца, живя у Сачина при его рыбном хозяйстве, ходя в лес и заканчивая фильм о нильгау. А в апреле — самолет в Мюнхен. Можно, конечно, остаться на эту неделю здесь и еще поездить по округе — не столько с Пракашем, сколько с новым знакомым — сотрудником маленького безлюдного этнографического музея, который отыскал на самой окраине и разговорился там с немолодым, но бойким сикхом, посвятившим жизнь изучению племен. Правда, бумажную жизнь, на что и сетовал, а вот поскитаться по лесам, поизучать вживую не очень складывалось. Загорелся поездить на пару со мной, мотоцикл у него есть и небольшой отпуск мог бы взять. Но к концу разговора я почувствовал, что это в нем, скорее, минутный порыв взыграл, а на деле на каждом шагу семь раз отмерять будет, прежде чем не отрезать, книжный человек, хотя и милый, и знающий. Но в этой округе уж лучше с Пракашем, хоть без языка и особой отваги, но слаженно и на лету. Другой вариант — покинуть город.

Нашел я на карте неподалеку от Джагдалпура бывшую столицу царства — Барсур, сейчас это тихая деревушка. Там три древних храма и почти никто туда не едет. Из тех немногих, кто сюда добирается. Да и дорога туда — чем дальше, тем глуше. А за Барсуром — заповедник Индравати, о котором вообще никаких вразумительных сведений. Так и двигаться в сторону Бора — лесами, хуторами, проселочными, дней за десять, может, и управлюсь. Наутро собрал вещи и пошел на автостанцию.

Трудно и чудесно с этим жить, чувствуя, что не проникнуть за тот покров ни умом, ни сердцем, и что вера или озарение тут не помощники. Куда девается наше сознание после смерти? Неужели тут нет никаких переходов и не действуют законы сохранения энергии? Может, и слава богу.

В Барсур, по расписанию, которого не было, а диспетчеры менялись чаще, чем я успевал спросить, вроде бы намечался один рейс, который все время переносился. Прождал полдня, наконец автобус подъехал. Водитель встал в дверях с бутылкой дезинфекции и не пропускал в салон никого без того, чтобы не полить им на руки. Передо мной садились пожилые женщины, видно, одного из племен, может, койя, с большими мешками и торбами и препирались с водителем, не понимая, зачем это все. Я тоже по-прежнему смотрел на это как на курьез, правда, уже становившийся несколько навязчивым. Конец марта, о том, что происходит с коронавирусом в Индии и в мире, я все еще не имел представления, в интернет не заглядывал, думая, что пока нет жизненно важного повода, а все эти наблюдаемые эпизоды вполне еще вписывались в привычную фантасмагорию индийских будней.

Автобус был спальный, людей не много, лег на верхнюю полку, за окном потянулись пригороды, а потом, когда съехали с основной дороги, мягкие закатные пейзажи зеленых холмов и хуторов. Остановились возле маленького храма, рядом с которым росло деревце, все обвязанное цветными тряпичными лоскутками, сотни флажков-узелков на память и веру. Вспомнилось Ферапонтово. Стоял в пустынном храме, расписанном Дионисием, как внутри вот такого деревца, летящего ввысь, не сходя с места, возносящегося… Лучик она ее звала. Мать Женьки. Хочет, чтобы лучик был на надгробье. Спрашивает, что я думаю про это и как изобразить. Лучик. На черном камне. В черном зеркале. Там, у Кассиопеи. Ты не волнуйся, писала, я его досмотрю. Оттуда.

Приехали уже в темноте, конечная, автобус развернулся и исчез. Маленькая деревня, похоже, тут и гостиницы нет. Сел под деревом переобуться, а из тьмы вдруг обступают меня возбужденные мужички, но и приблизиться опасаются. Полиция, кричат, паспорт, коронавирус, иностранец… Остальное на хинди, не разобрать. Ну бузят и ладно, не обращаю внимания, переобулся, укладываю рюкзак, а они все распаляются. Чего шуметь, говорю, я сам полиция, а гостиница у вас есть тут? Притихли. Один вытянул руку в сторону тьмы: там. Подхватил рюкзак и пошел.

Деревня тут же кончилась, иду по пустынной дороге, вдали огонек: дом, во дворе сидит дед с мальчишкой лет пяти и, увидев мое приближение, прикрывает ему рукой глаза — такое я, значит, привидение.

Покружил во тьме, но нашел: оказалось, правительственный коттедж на два номера в глубине огороженной территории. Замок на двери, свет погашен. И снова откуда

ни возьмись обступают, теперь уж, видать, подняли всю деревню, всех важных собрали — полицейские, аптекари, хозяева лавок. И все по новой. Нашелся все же один, говорящий по-английски, объяснились. И куда вся агрессия, все угрозы делись — в мановенье все с головы на ноги встало, словно в другую игру теперь играем от всей души — в дружбу насмерть. Поселили, денег брать не хотят, какое-то неслыханное постельное белье из темноты несут, и вот уже на мотоцикле с полицейским едем в чудесную столовку, которую так запросто не найдешь, там он и откланялся, обняв на прощанье. Индия, что тут скажешь.

Номер баснословный, стильная аскетичная мебель, идеальная чистота, огромная ванная, у входа новые тапочки, горячая вода, кондиционер, веранда, сад. Все это — двести рупий, меньше трех долларов, таких цен уже лет пятнадцать как нет. Но и приезжих не было тут, похоже, столько же. Держат, наверно, на случай — авось, когда-никогда министр какой из кустов выйдет, заночевать захочет. Семья смотрителей за этим коттеджем живет в стороне в милой развалюшке с подворьем, куда хожу кофе варить. А маленькая принцесса в воздушном платье, в котором тонула, всякий раз наступая на его подол, принесла мне в первый вечер трехметровое махровое полотенце ослепительной белизны. Пая ее зовут. Пай-пай, пирожок души моей, говорю ей перед сном, стоит, не уходит, пока мама не утащит за руку.

Весь день смотрел храмы за деревней, закрыты, а мне все невдомек, что из-за эпидемии, перелазил через ограду, благо никого вокруг. Рядом с одним из храмов сидела женщина на корточках возле колонки и мылась, вынимая из мокрых одежд на себе разные части тела — одну грудь, другую, четвертую, так же и рук-ног было не сосчитать.

Проходивший мимо буйвол остановился и, пожевывая губами, смотрел на нее неотрывно, в отличие от меня, снимавшего на камеру руины и плиты, испещренные древними надписями. Снимал и что-то по наитью комментировал, иногда оглядываясь на эту будничную хуторскую Дургу под колонкой.

Утром проснулся, ловя промельк сна, где шептал, уткнувшись в охапку цветов: просыпайся взволнованно влажной и засыпай на несуществующих языках…

Позвонил Парма, спросил, где я, меня все ищут. Они наконец поймали тех двоих. И рюкзачок мой с камерой найден. Меня будет ждать машина в условном месте на полдороге к городу, могу ли я туда добраться, чтобы не терять время?

Добрался в переполненном местном автобусе, находя себя о пяти головах на плечах и трех карапузах на коленях, вспоминая ту женщину у колонки. Условное место было на автостанции, где мне должны были позвонить. Зашел перекусить в столовку, перед входом — пост дезинфекции. Позвонили, едем.

Полсотни километров спустя посреди дороги передали меня в другую машину, высланную Пармой навстречу. В городе заехали вначале в департамент полиции, там подписал бумаги, потом в суд, там тоже подписывал, к вечеру в отель, где занял тот же номер, мне привезли мой рюкзачок с камерой и телефоном. Тех двоих я так и не видел, в подтверждении не было нужды, и слава богу. Какой срок им дадут, я не стал выяснять. Полицейские сфотографировались со мной в обнимку, сказали, что наше сотрудничество было идеальным, и если бы у них было больше таких, как я… Тут они замялись, улыбаясь.

Две камеры, два мобильных, вещи собраны, но отправляться по прежнему маршруту уже не имело смысла. Возвращенный рюкзачок выбросил, кармический гештальт завершен, надеюсь. Спросил у Пармы, не поможет ли он с машиной в Махараштру — хорошо бы, прямо в заповедник Бор, потому как пассажирские перевозки между штатами, да и внутри уже приостановлены из-за эпидемии. Помощник Пармы привел меня в кондитерскую неподалеку от моего отеля. За прилавком стоял Ганеш, подрабатывавший заодно и в полиции, познакомились, он и повезет на служебной машине. Цена оказалась приличной — под триста долларов, но и вариантов не оставалось. Восемьсот километров закрытых дорог. В ночь выезжаем.

Вернулся в номер. Проверил почту, давно не заходил, не было интернета. Письмо от Любы. Короткое. Пишет, чтобы отпустил ее, совсем, что нет сил, а по-другому ни она, ни я не знаем как, а и знали бы — не получится. Что с сыном я могу быть на связи, но напрямую, без нее.

Месяца не прошло, как была записка от Таи. Еще там, в Шраванабелаголе. До перелета сюда, до Кабира, до хижины, до короля, пустыря… Неужели меньше месяца? Тоже краткая, еще короче. В одну строку. Я от тебя ушла.

#71. Карантин

Белый джип «скорпио», на лобовом стекле: «полиция». Ганешу где-то под сорок, поклоняется Брахме, впервые такое встречаю, расспрашивал, но так и не удалось выяснить, почему. Брахме считанные храмы, главный — в Пушкаре, совершает туда паломничества. Вот так, работает в булочной царства Бастар, подрабатывает в полиции,

молится непочитаемому людьми создателю мира, а зовут Ганеш, чудотворец с головой слоника, покровитель путешественников. Значит, доедем.

Вспомнил о другом Ганеше, работавшем помощником Брахмы в Мудумалаи, который рисовал для меня волшебную карту местности.

Заговорили о Брахме, о его жене Сарасвати и этой странной истории с проклятьем, приведшим к его стороннему положению в мире богов и людей, но вскоре совсем запутались. Три жены у него, говорит Ганеш. Гаятри, Савитри и Сарасвати. И все они — одна. Гаятри — ребенок, восьмилетняя девочка. Оборачивается ко мне: не буквально, конечно. Она живет в сердце каждого человека. Гаятри — утро, Савитри — свет Сурии, божий день, а Сарасвати — речь, сумерки. Гаятри — красная, Савитри — светлая, Сарасвати — темная. Разве она не чисто белая? Да, говорит, но в другом смысле. Мантрой Гаятри был создан мир. Открывает бардачок, ищет диск. Вот эта мантра. Тринадцать слов, говорю, я посчитал, верно? Начинается с Ом, заканчивается на Прачодайят, это что значит? Проявись, говорит, стань существующим. Но гаятри это и стихотворный размер, им Ригведа написана. Выходит, говорю, что Сарасвати, которая божественная речь и Веды, и искусство, она же Гаятри, ребенок, бутон зари и ритм мира, она же Савитри, солнечное сиянье, она же Лакшми и Дурга, и Кали, и все они — Шакти, через которую не только рождается мир, но и боги — Шива, Вишну, Брахма — становятся теми, кто они есть? Да, улыбается Ганеш, а откуда ты знаешь? Давно, говорю, живу, не первую кальпу. Кивает, смеется. И продолжает: когда однажды эти три бога собрались вместе, свет воссиял над ними и снизошел, разделившись на трех женщин, чтобы

каждому было по жене. А Брахме — единственная трехглазая из богинь — Сарасвати. И лебедь у них — Хамса. Хамса? Да, это лебедь, хам — Ты, са — я, божественная связь. Ах вот оно что, и вдох-выдох — хамса? Да, и вахана Брахмы — лебедь. И сама Сарасвати, богиня речи и жизни, сидит на лебеде, говорит Ганеш, булочник и полицейский с головой джагдалпурского чудотворца и лебедиными крыльями, охватившими руль.

Так что же это за история с проклятьем Брахмы, спрашиваю, отправляя в рот леденец, а другой протягивая ему. Историй там несколько, отвечает Хамса, мило причмокивая леденцом. По одной версии, Брахму позвал великий риши вести важный ритуал, а Брахма заслушался игрой Сарасвати на вине и опоздал на жертвоприношение. Риши его за это проклял, сказав, что и к нему будут так пренебрежительно относиться. А по другой — Брахма и Вишну на спор с Шивой, кто из них главный, мерили его бесконечный лингам. Вишну копал вглубь земли, а Брахма, обернувшись лебедем, устремился ввысь, и там, за пределами видимости, обнаружил цветок, любимый Шивой, забыл, как называется, и договорился с ним, с цветком, что он подтвердит, что это и есть конец лингама. Обман раскрылся, и Шива проклял Брахму. А третья история про Гаятри. Брахма с Сарасвати собирались на огненное жертвоприношение, а Сарасвати в тот день была занята, все откладывала, тогда Брахма, потеряв терпенье, решил взять первую встречную и, выдав ее за свою жену, все же провести этот ритуал вовремя. Ею оказалась юная молочница Гаятри. Сарасвати, придя с опозданием и увидев это, прокляла мужа. Но это же, говорю, другая Гаятри, не та, что сама была Сарасвати, вернее, одной из… Да, задумался Ганеш, наверно, не та.

А что это за история про Шатарупу, дочь Брахмы, за кровосмесительную связь с которой Сарасвати и прокляла его, а Шатарупа родила Ману, первого человека? Нет, говорит Ганеш, этого я не помню.

Ну ладно, славно поговорили, тем временем уже стемнело, перебрался я на заднее сиденье, вынул свое детское одеяльце и прилег вздремнуть. Как все же это удивительно, думать и думать: Творец создает мир в молчании, и женой его становится Речь.

Стоим. Впереди длиннющая пробка. Въезд в Махараштру, где эпидемия взвинтилась как ни в одном штате, закрыт. Полицейские стучат палками в окна машин, чтобы уматывали обратно. Постепенно все легковые и фуры, вытянувшиеся перед нами на несколько километров, развернулись и уехали. Медленно приблизились к блокпосту, это еще сторона Чаттисгарха, Ганеш вышел на переговоры. Сказали, могут пропустить, но через сто метров полиция Махараштры, там нет вариантов. Рискнем?

Подъехали, дорога перекрыта стальным забором с узким просветом посередине. По сторонам сидят полицейские с автоматами. Стоим, никто не подходит, разговаривают между собой, не обращая на нас внимания. Выхожу из машины босиком, с наброшенным на плечи детским одеяльцем, раздвигаю забор, не глядя на них, возвращаюсь в машину, тихо говорю Ганешу: давай, родной, по газам! Обернулся на удаляющийся блокпост: сидят, как сидели. Наверно, сейчас очухаются и догонят. Нет, пустынная дорога — и позади, и впереди.

К утру были в заповеднике, простились у дамбы. Базарчик пуст и заброшен, видать, давно уже. Озеро лежит

в серебре, хмуро, занавеси света над ним. Рыбаков нет, лодки на берегу. Ни души. Обогнул шлагбаум с табличкой «запретная зона». Ну здравствуй, лес, вот я и дома. Прошел вдоль озера к рыбному хозяйству. Обнялись с Сачином, присели за чаем с видом на зелень и серебро, обсудили планы.

За эти сутки, пока я ехал, положение в Индии резко изменилось: срок домашней отсидки по всей стране увеличен до двадцати одного дня, за неповиновение — два года тюрьмы. Весь публичный транспорт по стране остановлен, непубличный тоже. Магазины с самым необходимым для жизни — считанные и только в утреннее время. Выходить из дому запрещено. Все это входило в силу в день моего приезда.

Надо бы описать это место, не говорил ли я о нем раньше? Два белых домика на лесном пригорке над озером, в двадцати шагах от него. В полукилометре от дамбы, которая позади и не видна отсюда, а озеро с рукавами и затоками тянется вдаль до горизонта. Берег по обе стороны играет ландшафтами: холмы, луга, обрывы, лес, то забредающий в воду, то держащийся в стороне. Ширина озера примерно с километр, но местами больше, и тот берег почти неразличим. Хотя теперь, с камерой короля, можно будет разглядеть и линию рта у нильгау, вышедшего на водопой. За этими двумя домиками начинается заповедник, то есть начинается он еще раньше — у шлагбаума, домики — последний признак людей на этой тропе вглубь. Известной мне наизусть, родной. В часе ходьбы — первый луг, а в двух — совершенно волшебный, обнаруженный в этом году — с несколькими стадами нильгау и другими обитателями джунглей, тот самый, где меня окружила стая красных волков.

В одном домике живет Сачин: голая комната — кровать, стол, стул. И туалет. Во втором — склад с мешками рыбного корма. По одну сторону от мешков, уложенных до высокого потолка, небольшое пространство, где на ночь обустраивается петух с двумя наседками. Всего у Сачина несколько десятков кур и четыре петуха, они ночуют в клети, стоящей перед домом над озером. А для этих троих — временный вип на складе. По другую сторону этой горы мешков — тоже небольшое свободное пространство, там я и решил обустроиться. Сачин предложил поставить кровать у него в комнате, но в амбаре мне будет свободней. Правда, без окон, но электричество есть и кровать — тростниковая, плетеная, легкая, как раз поместится между стеной и мешками.

В сотне метров от берега само рыбное хозяйство, где разводят пангасиуса, и еще один вид, забыл имя. Система рыбных вольеров, полуутопленных в воду. У берега пришвартован понтон с натянутым тросом, ведущим к этому плавучему рыбнику. Ежедневно приходят трое помощников из деревни, грузят на понтон пару мешков корма и переправляются к плещущей там рыбе. Днем привозят из деревни обед в тормозках, а по вечерам Сачин садится на мотоцикл и едет ужинать на хутор, где ему готовит крепенькая домохозяйка с лицом застенчивого душегуба. Могу и я делить с ними обед и ужин, но удобней готовить себе на костре над озером, уже обустроил место. У Сачина в комнате электроплитка, но сейчас Навратри, пост у него, и невегетарианским негоже его смущать.

Переоделся, повесил нож на ремень, взял камеру и пошел в лес. Такая легкость в теле и шаге — земли не касаюсь, откуда ж это берется? В мгновенье становясь

мальчишкой — буквально, физически, все внутри светится, летит, поет, и вся жизнь впереди.

Шел лесом вдоль озера, последний день марта, наступает пик жары и засухи, все звери к этому времени, как говорил Сурия, устремятся к озеру, Сачин на днях слышал рев тигра — всю ночь, с дальнего берега. Шел и вспоминал, как уезжал отсюда два месяца назад, как вышел из засады в последний день перед отъездом, снимая стадо нильгау на дальнем лугу в лучах заката, и они замерли, повернув ко мне головы, не убегая, напротив — сойдясь всем стадом, как на семейных портретах, и пятнистые олени вышли из чащи и тоже встали по бокам, и одинокий самбар выглянул, и так близко они были, как невозможно представить, еще часом ранее реагируя на каждый шорох, а теперь стояли передо мной, открыто к ним вышедшему, и я даже не заметил, как уже давно говорю им, громко, не сдерживаясь: девочки мои, мальчики, мои родные, мои чудесные, я вернусь к вам, я обещаю, мои хорошие, ну до свиданья, до свиданья же, храни вас боженька леса, я вернусь… А они все смотрели, смотрели прямо в лицо и не уходили. Даже слезы тогда навернулись, в кои-то веки.

Лес тих, середина дня, звери в чаще, тем более что прошли дожди, влаги хватает. Прилег на лугу, смотрел на птиц — цапель, ибисов, вот и олешки начали выходить, даже нильгау появился вдали, но пора уже возвращаться, надо еще успеть съездить в деревню закупить продуктов.

Сачин спал, послеобеденные часы. Дошел до хутора у въезда в заповедник, там несколько хат, одинокий ларек, и иногда рикши дежурят. Не хотят ехать, уговорил одного за тройную цену. Деревня в семи километрах. Купил все, что надо, даже сигареты на наделю, хотя больше одной пачки не продают, зашли подворотнями, взяли

из-под полы. Все есть на несколько дней вперед: картошка, лук, яйца, помидоры, огурцы, чай, сахар, печенье, даже мазь от комаров, которые уже появились. Все, кроме кофе, которого осталось на три дня. И теплого одеяла, если буду спать у озера, а об этом уже подумываю. У Сачина нету, мог бы взять в домике Сурии, но он не отвечает на мои звонки. А рыбы вдоволь, можно на углях готовить.

Вернулись на хутор. Какой-то доброхот-штрейкбрехер машет на меня руками, чтобы сидел в тук-туке, не выходил, звонит по мобильному. Народ собирается. Хотел улизнуть, но поздно: несутся с сиреной, две машины. Полиция, врачи и еще, не пойми кто, все в штатском. Очень взвинчены, держат дистанцию. Резче других — усач с тесаным древесным лицом, остальные участливо рядом. Орет на парнишку, признавшегося, сколько взял с меня, выписывает ему неподъемный штраф, тот умоляет, чуть не плача. Меня ведут в ветеринарный домик, меряют температуру, расспрашивают, постоянно звонят куда-то. Едем к Сачину всей кавалькадой. Усач распекает Сачина, тот совсем сжался, голос дрожит, я не успеваю понять, что происходит, тюрьма, говорит он, идет за вещами, пытаюсь спокойно объясниться с усачом, он кипит, но вроде стихает, уезжают, мы остаемся.

Сачин сидит рядом с курятником, обхватив голову. Он должен был сообщить в полицию о прибытии к нему иностранца, зарегистрировать, хотя в любом случае в этой запретной зоне нельзя селить. Гость в доме — Бог, вспомнился заголовок в газете, где король дарит мне камеру. Вернулась машина с врачами. Мы заключены в карантин на две недели, от дома не отходить дальше двадцати шагов, они сейчас поставят клеймо нам на запястье. Ну

этого не будет, говорю, по крайней мере до тех пор, пока я жив. Объяснились, уехали.

Листовку с меткой о карантине, приклеенную ими на домик, я сорвал и развел ею огонь. Приготовил рыбу на костре и картошку в углях, отличный ужин, с помидорцами и чили перцем. Сижу у озера, глядя в зыбкую серебрящуюся тьму под луной, лес дышит за спиной — шорохи, звуки, лангуры, похоже. И кабанчики. Тот Немирович, небось, со Станиславским. Сачин заперся у себя. Ничего, как-то справимся. На рассвете пойду в джунгли.

Спать в ангаре было душновато, но терпимо. Ворочался, писал письмо Любе. Мысленно. Писал и стирал. Как и она, наверно, ткет и распускает, ткет и распускает. Где-то во сне. В другой жизни.

На рассвете Сачин выпустил из амбара петуха с избранницами, я приготовил глоток кофе на огне, взял рюкзачок на плечо и ушел в лес.

Добрался до первого луга, присел под деревом. Идти на дальний или не рисковать, пока не улягутся эти страсти? Прислушался к чуйке. Молчит. На лугу уже появились нильгау и пятнистые олени. И вдруг рядом возникла семья мангустов: мама с выводком, детки играют, перепрыгивая через ее голову, а она заваливается на спину, якобы отбиваясь. Почти у ног моих. Сижу, затаив дыханье. Замерла, увидела, так и стоит на задних, изумленно, дрогнула, метнулась в кусты.

Господи, как хорошо здесь, жить бы и жить. Самолет мой отменен, как и все международные рейсы. Прислали сообщение, и ни слова ни о возврате, ни о переносе, ни о каком-либо будущем. Просто, мол, забудьте о небе, извините. Ну и ладно. Рупии мои, правда, почти истаяли, но

есть на карточке и наличные в евро, со временем, наверно, и это можно наладить. А пока позвонил Вики, он уже перебросил Сачину из моих рупий, оставленных у него на будущий год. До лета, похоже, затянется эта пандемия, не меньше. Две камеры у меня, еда и лучшее на всем белом свете место для жизни. Еще бы кровать переставить на пригорок над озером у самой кромки леса и с видом на первозданную гладь, меняющую окрас семь раз на дню. Так себе думаю, перебираю, выглядывая из-за ствола: что-то олени встревожились, уходят с луга, уже бегут.

Ах, черт! Мотоцикл, двое на нем, лесники, въехали на луг, идут в мою сторону, еще метров двести до них. Залег. Этого мне еще не хватало. Челночно идут, прочесывая, как будто знают, что ищут. Некуда мне отсюда перебежать, открытая местность.

Подошли к дереву, увидели. Лежу, перевернувшись на спину, прислонившись головой к стволу, якобы просто дремлю на природе. Привет, говорю. Не отвечают, держатся на расстоянии. Тот, что с ружьем, сел на землю, не сводит глаз, другой звонит по мобильному, потом показывает меня на экране тому, с кем говорит. Хорошая сцена, долго длится. Вот вышел бы тигр, сел бы я на него, как Дурга, шестирукий, и исчез в чаще, а их обратил бы… но не сразу, а повысив в звании. Но нет, видать, рано еще мне. Ладно, говорю, идем.

Весь путь по развалу камней вдоль озера они шли за мной, держась на расстоянии, время от времени, наверно, показывая меня на экране тому, кто. Но я уже не оглядывался.

Оказалось, едва я ушел в лес, приехала полиция, чтобы отвезти в ближайший городок — Бхадру, в участок,

где нас уже ждут. Сачин, испугавшись, сдал меня, сказав, куда я обычно хожу и что, вероятней всего, я сейчас на первом луге, те подняли лесников, выслали этих следопытов на поиски. Сачин собрал вещи на всякий случай, заводит мотоцикл, пытаюсь его подбодрить, не слышит, едем.

Уж не знаю, кстати ли: Бхадра — богиня охоты, одна из спутниц Шивы. Годом прежде я собирался в Бхадру, но не эту, а в заповедник в Карнатаке. Но Бхадра так же и дочь Солнца, сестра Шани, то есть Сатурна. Жена царя-уродца Куберы. И сама страшна, от пят до волос наполнена ядом. А имя означает благоприятная, милостивая.

Двое конвойных вводят в комнату. За столом майор. Нелегко, похоже, придется. Круглые позолоченные очки, за которыми холодные глаза со змеиным взглядом. Локти опираются на стол, ладони на уровне лица со сведенными палец к пальцу. В кольцах и перстнях. Вкрадчивый иезуит, который за маникюром будет наблюдать, как ты стонешь на дыбе. У стены сидят несколько человек, среди них двое знакомых — врач и еще один, видно, из местной полиции.

Майор молчит, сверля взглядом тебя, но как бы сквозь пустое место. Наконец тихо произносит, кивнув на Сачина: в камеру. Его подхватывают, он пытается что-то сказать, говорят на маратхи, я могу только догадываться — о жене, о детях в Нагпуре… Майор отвечает, небрежно, медленно, холодно. Сачин умоляет, плачет, его уводят.

Разговариваем с майором, все на грани, еле сдерживаю себя, он сидит в своей недвижной змеиной стойке, выжидает, провоцирует. Мысленно перебираю варианты. Их почти нет. Он знает, что прежде я жил у Сурии и о наших

с ним отношениях, Сурия старше его по званию, но это другое ведомство, да и, похоже, он умышленно устранился, не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Вчера схитрил: позвонил ему с мобильного Сачина, он взял трубку и тут же огорошил своим всегдашним счастьем взахлеб — и жизни, и слышать меня. Сказал ему про одеяльце. Не вопрос, говорит, но дом закрыт, соседи с ключами уехали из-за коронавируса. А так — мол, все чудесно, мы на связи. И уже не отвечал, когда звонил ему со своего. Послал ему сообщение, что едем в полицию в Бхадру. Прочел, и ни гугу. Сурия, солнышко. Что ж мы имеем? Заповедник, глушь, Махараштра, почти военное положение. В стране сейчас сотни тысяч иностранцев в беде, вышвыривают из отелей, лупят палками, и это в туристических местах, где они сплочены. Твое положенье, при том что ты в наихудшем штате по пандемии, один, в глуши и без языка, — относительно превосходное.

Так значит, говорит майор, вы отказываетесь от двухнедельного карантина? В таком случае у нас нет выбора: тюрьма. И поигрывает пальцами. А вообще, беря мой паспорт и листая его не глядя, что вы тут делаете и как оказались в Чаттисгархе?

Для начала, говорю и нащупываю в рюкзачке телефон, вы сейчас отпустите Сачина и извинитесь перед ним. Он поступил, как единственно достойно индийца, дав приют гостю, об этом выйдут завтрашние газеты Махараштры. Во-вторых, никакой принудительной изоляции с клеймом на запястье не будет. Свобода дороже страха ее потерять. Не только это я ему успел сказать, а и многое другое, притормаживая и смягчая, но дав понять, что втемную и без последствий это со мной не пройдет. Набираю номер полковника Пармы, в двух

словах говоря ему о происходящем. Он с лету все понял, передаю трубку майору. Тот начал властно и грубовато, но на глазах тон и лицо менялись. Уж не знаю, что Парма ему говорил, но к концу разговора он лишь повторял тихо: да, сэр, есть, сэр. Наступила тишина. Доктор вынул из портфеля штамп, которым ставят клеймо. Майор едва заметно покачал головой. Ладно, сказал он, протягивая паспорт, возвращайтесь оба, но от рыбного хозяйства не отходить, дальше — решим.

Вернулись. Сачину все же поставили штамп на запястье. И двум его помощникам в деревне, они перестали приходить и Сачин сам возил корм рыбам. Интернет у домика не ловился, нужно было идти к дамбе, там я и садился на перевернутую лодку на берегу, ведя переписку со знакомым издателем в Даполи, выпускавшим несколько газет по всему штату. Составили с ним текст таким образом, чтобы местная администрация и полиция выглядела в этой истории заодно с Сачином как гостеприимные индийцы. Двумя днями спустя в одной из главных газет штата вышел большой очерк о нас. Потихоньку работники Сачина вернулись. И тот паренек, с которого содрали штраф, появился с друзьями на озере, затягивая сети. Дал ему немного денег. Они мне — рыбу, и к вечеру привезли еще из деревни еду, которую заказал. Мыло, например, вместо лимонов, и арбуз вместо лапши. Жизнь налаживалась, Сачин начал приходить в себя. Я отлучался в лес, зная почти наверняка, что его обязали докладывать обо мне. Мы не трогали эту тему. Думаю, он понимал, что мне без леса невозможно — даже под угрозой тюрьмы, а он уж пусть сам решает.

Вроде бы нас оставили в покое. Я растянул на веревках между деревьями зеленую солнцезащитную сетку, перенес

под нее кровать. Чудесный вид на озеро внизу, а в изголовье — джунгли. На рассвете варил на костре остатки кофе, разделив буквально на глотки по дням. Собирал тормозок — пару картошек, испеченных с вечера, пару помидоров, лук, печенье, воду, брал камеру и шел в лес. Но недалеко пока, до первого луга, поглядывая в сторону дальнего, но придерживая себя, надо бы еще пару дней не рисковать, и к полудню возвращался. Плавал в озере, ходил через перелесок к дамбе, ловя интернет. А закатные часы вновь проводил в джунглях.

Друзья мои в фб взволновались, пишут, советуют, дают ссылки, где зарегистрироваться на вывоз спецрейсами соотечественников, попавших в бедовое положение. Разве у меня бедовое? Лежу на кровати прямо в тигрином заповеднике, лучшем на свете, ни души вокруг, кроме Сачина, который у себя в домике и совсем не вокруг, еды у меня на неделю и во всем разнообразии, и рыбы несметно, и костер, и озеро перед глазами. И лангуры на ветках, и попугаи, и Немирович со Станиславским шуршат в кустах, и две камеры у меня, и люди оставили в покое, и засыпаешь под звездами в самом волшебном и любимом лесу, разве не так? Так. Да, еще и куры, если рыба надоест. Правда, у Сачина они в пять раз дороже магазинных, потому как дворяне. Посыльный от начальника лесничества приезжал, праздник у них, петуха купил, зарезал. Одного из четырех мушкетеров, но не того, который в амбаре ночует с двумя будущими наседками. Петух у них к столу особо в цене, не курица. А рыбу я на вешалке томлю. Железные такие плечики нашел в амбаре, кладешь их на два камня по сторонам жара, а сверху рыбу, и томишь.

Все же зарегистрировался. Но где, кто я? Гражданство украинское, писатель русский, а живу в Германии.

Отметился во всех трех списках. Начали мне писать и звонить. Видно, еще и друзья-журналисты волну подняли — в прессе, в посольствах. Украинское консульство в Мумбаи каждый день звонит, прям мама с папой, решают мой вопрос в МИДе, другое дело, что ни самолета, ни осла с тележкой, одни надежды. Российское в Мумбаи тоже с теплотой и надеждой. Немцы готовят эвакуационный рейс, просят ответить кратко: готов ли я в ближайшие дни вылететь. Написал: да. И такая щемящая нота запричитала в сердце. Куда, зачем? Отсюда?

Каждую ночь я засыпал под ясными звездами, и просыпался ровно за несколько минут перед грозой — небо кромсалось молниями, ветер стенал, не зная, куда себя деть, озеро, казалось, вертелось на ребре. Брал кровать и в полусне переносил в ангар. А наутро — божий день, как и не было ничего. Шел в лес, завтракал на лугу, немного снимал — оленей, нильгау, но они уже знали меня, помнили. Словно играешь в шахматы с тем, кто все твои ходы изучил, как и ты его. Возвращался и, раздевшись на берегу догола, заплывал до середины озера, вел взглядом по кромке леса, цедил недостижимое. Сачин как-то увидел с пригорка, попросил голым не плавать. Почему, спрашиваю, никого ж тут до горизонта нет. Но я же, говорит, есть.

Проснулся среди ночи, сон ускользал, как та красная ткань в руках у него, которую он взметал над собой, стелил понизу и уводил за спину. Как матадор мулету. Но это был не матадор. Он стоял посреди озера, вот этого, рядом. Испанец, учитель танцев. И вертел вокруг себя эту красную ткань. Но это была не ткань, а Тая. То ткань, то Тая. Стоял, пританцовывая, прямо на воде, и вертел ее. Так быстро, что не уследить. Взметал, стелил, уводил за

спину. В каракулевой шапке с ушками и косичкой, как у матадора, но не он. Ветеринар, цирюльник? По водам, яко посуху. И смех — ее, тоненький, полевой, но не оттуда, а с другой стороны, где-то позади меня… Ни его, ни озера, лишь эта красная ткань, ускользающая, только краешек от нее, защемленный между берегом и водой, когда проснулся.

В один из дней, к перевернутой лодке на берегу, где сидел ловя интернет, подъехала машина. Остановилась на расстоянии, из нее высыпало человек десять в масках. Врачи и их деревенские помощники-волонтеры. Ближе не подходят. Тот, который клеймо хотел ставить, кричит оттуда: здравствуйте, сэр, как вы себя чувствуете? Отлично, говорю. Спасибо, сэр, спасибо, кивают, перекрикивая друг друга, садятся в машину и исчезают.

Конечно, все лучше и не придумать. Если бы только ходить в лес, как это было раньше, а не выжидать, оглядываясь на всю эту кутерьму. А то получается счастье какое-то пыточное: вот он, лес, вот ты, и все у тебя есть, а не войти. По-настоящему, по родному и безоглядно — не войти. Завтра надо уже рискнуть, пора. На дальний луг. Только подумал, и звякнуло письмо. Немецкое консульство. Завтра в пять вечера сбор в отеле Тадж в Мумбаи, вылет на следующий день. К вечеру они пришлют подробности и официальную бумагу от консульства, способную, как они надеются, помочь в передвижении при перекрытых дорогах.

Сказал Сачину, он очень воодушевлен, уже нашел машину в деревне и двух водителей, готовых ехать. Переговаривается с полицией, какой-то изощренный план обсуждают. А я ушел в лес.

Лег на первом лугу под деревцем. Обвел взглядом округу, пригляделся: кто же это там, как я, лежит вдали под таким же деревцем? Приблизил королевским зумом: нильгау, самец! Лежит и, обернувшись через плечо, смотрит на меня. Ох, божечки, не надрывай мне сердце. Вот так, значит, все заканчивается. Луг, и по сторонам его — вы двое, под деревцами, глядящие друг на друга — ты и он. Конец фильма.

Ночью не мог уснуть, смотрел на звезды, думал. Может, остаться, не ехать? Ты здесь, и ты знаешь это чувство, когда мир со всех сторон прильнул, как дети к окнам. Ты — как дети к окнам. Дитя и демон. Прислушайся к себе. Остаться? Такого ведь уже не будет, никогда, если уедешь. Все налаживается, уже почти. Даже деревня потихоньку подтягивается в твою сторону, люди, уже не шарахаются, наоборот, помогают. Вот-вот уже сможешь ходить на дальний луг. День за днем, месяцы… Вряд ли. Даже если округа поутихнет и Сачин оклемается, и пандемия пойдет на спад, даже если о тебе забудут — рано или поздно егерский патруль тебя заметит в лесу, и все кончится, останется домик на рыбном хозяйстве, и ты в этой ловушке, в лучшем случае. Да и пандемия может затянуться. А рейс, возможно, последний. И все же. И все же. Ты ведь жить не можешь, дышать, как оказалось, без этого леса, без этих твоих нильгау, седьмой десяток мальчишке, а он не может, даже стыдно и страшно сказать: и от людей отказался бы ради этого, не навсегда, наверно, но в какие-то минуты — да, потому что здесь начинаешь так быть, как нигде больше — ни с людьми, ни с книгами, ни во сне. Уезжать?

Утром приехала машина врачей. Развернули небольшой госпиталь под деревом. Меряли температуру,

давление, что-то еще. После каждого теста вскрикивали, ликуя: спасибо, сэр! И поздравляли с результатом меня, но еще больше — друг друга, передавая по рукам эту уже рваную бумагу с записью измерений, которую я должен был взять с собой в дорогу. Уехали, просветленные, чуть ни в слезах.

Собрался. Обнялись с Сачином. Опустил взгляд через его плечо на землю: большой коричневый скорпион медленно вытанцовывал позади него. Не надо, сказал, Сачин, я потом уберу.

Озеро скользило вслед за светом, задергиваясь как занавеска, пока не стемнело, оставив тонкую горящую щель. Это и останется в памяти. Озеро, медленный танец скорпиона и нильгау вдали под деревцем, обернувшийся ко мне. В никогда.

#72. Возвращение

Выехали в десять утра. Впереди — два молодых водителя в масках, я на заднем. Накануне вечером пришли бумаги из немецкого консульства. Остановились на хуторе у въезда в заповедник, чтобы распечатать у доктора в ветеринарном домике. Чуть ни весь хутор сошелся провожать, а некоторые с объятьями, даже тот штрейкбрехер, вызвавший полицию по моему возвращению с рынка, извинялся за горячность, смущенно протянул завернутые теплые чапати в дорогу.

Из бумаг у нас письмо от немецкого консула, такое же письмо от украинского, с указанием содействия МИДа Индии, что было правдой, они связывались насчет меня. И бумага медицинского освидетельствования с печатью,

которую эти айболиты, выронив, весело искали в траве у озера.

Заехали в полицию в Бхадре, там должны были выдать главную подробную бумагу с номерами машины, именами водителей, пассажира и маршрутом следования. Ту самую, о которой шли переговоры со вчерашнего дня. Бумага эта оказалась не просто главной, а единственной, на которую обращали внимание на блокпостах, а их предстояло около пятидесяти на протяжении всей тысячи километров до Мумбаи. На консульские документы вообще не смотрели, пролистывая.

Дорога была совершенно пустынной, такой Индии я еще не видел — как после тихого незаметного конца света. Безжизненные просторы, оцепеневшие дома, брошенные в кюветах грузовики, ни людей, ни дуновенья жизни. Лишь спустя несколько часов увидел одиноко бредущую по дороге корову. Под высоким и безразличным солнцем.

Рупий у меня оставалось лишь на половину оплаты этого переезда. Договорились с Сачином, что дважды в пути заправлю бак по карточке, если получится. И там же на бензозаправках попробовать провести через карточку обналичивание. В этом я мало понимал, карточкой в Индии почти не пользовался, предпочитая запас наличных и обмен валюты, да и завел ее относительно недавно. Водители по-английски не говорили, Сачин им объяснил насчет денег и сказал, чтобы звонили ему с бензозаправок, он поможет. На первой не прошло, заправщики отказались, на второй, а их было всего две на весь путь, мне нужно было расписаться на маленьком экране кассового аппарата в руке заправщика, его

окликнули, он резко обернулся, вместо подписи у меня получился длинный прочерк. Тем не менее все сработало, отсчитали пачку денег. Что там у меня на счету, я уже и не пытался гадать.

Гнали на пределе возможного, но уже было ясно, что к указанным пяти вечера в Мумбаи не успеем. Какие-то из блокпостов мы проходили почти без потерь, на других задерживались надолго. Каждая такая проверка могла быть последней, пару раз нас уже заворачивали, несмотря на все наши бумаги. Весь день я пытался связаться с консульством и организаторами вылета. Телефоны не отвечали. Контактных номеров они в бумагах не оставили. Еще утром я написал по обратному адресу, что, вероятно, несколько опоздаю, поскольку нахожусь в тысяче километров, в глуши, и дорога пока непредсказуема. Хотя они это знали со времени моей регистрации. Ответа не было. Наконец поймав интернет на подъезде к какому-то городку, я нашел телефон отеля, трубку снял директор. Выслушал, был очень благожелателен, да, говорит, все отъезжающие уже в холле, сейчас он попробует найти кого-нибудь из руководителей. Разговор с ними длился около получаса, после первых слов я так опешил, что не сразу нашелся. Все опоздавшие на предварительную встречу в отеле допущены к полету не будут. Сколько же опоздавших, спросил я. Вы один. Но вот же я, можете поставить галочку или что вам там нужно, через несколько часов я буду в отеле, все мои документы у вас есть, я в списке пассажиров, вылет ведь только завтра днем. Понимаем, говорят, но ничем не можем помочь. Но вы ведь даже не предупредили, что это время встречи в отеле — обязательное условие вылета, а не просто начало переклички и заселения в отель сумевших добраться. Будь такое написано или сказано,

я бы даже не трогался в этот бессмысленный путь. Документы вы прислали только вчера вечером, быстрее, чем это получается у меня, добраться в Мумбаи сейчас просто физически невозможно, и вы это знаете. Да, говорит уже женский голос другого руководителя, понимаем, но вы уже вычеркнуты из списка. Третий голос сказал, что последний срок для меня — десять вечера.

В десять, при въезде в Мумбаи, мы около часа простояли на блокпосте, одном из самых суровых, автоматчики грелись на обочине у костра, безучастные к нашей машине, поставленной на площадку. На улицах двадцатимиллионного города ни души, лишь редкие патрульные машины, движущиеся со скоростью пешехода. В первом часу ночи мы подъехали к отелю. Водители, посовещавшись, протянули мне часть денег, заплаченных им. Тебе сейчас нужней, все нормально, мы друзья, объяснили они жестами. И отправились в обратный путь.

Холл был пуст. Портье предложил номер. Самый бюджетный — сто долларов в сутки. Спросил его, могу ли дождаться утра в холле. Присел в роскошное топкое кресло у журнального столика. Невероятный отель, настоящий Тадж отмахали. Из-за спины бесшумно протянулась рука с подносом: поужинайте с дороги, это за наш счет. Спустился директор, приятный седобородый старик профессорского вида. Поговорили немного, деликатно коснувшись происходящего с этим вылетом, он все понимает. Неожиданно сошлись на страсти к джунглям, он побывал чуть ни во всех заповедниках, правда, в рамках позволенного, на сафари. Если вам что-нибудь понадобится — обратитесь к портье, я буду рядом. Надеюсь, все у вас утром сладится.

Утренние переговоры с организаторами ни к чему не привели. Последний разговор был в отдельной комнате, где собрались они все четверо во главе с представителем консульства, не снимавшим с рук черных кожаных перчаток. Сказал им напоследок на их бессменное «ничем не можем помочь», что даже когда человек по ту сторону жизни и уже бездыханен, ему все же пытаются помочь, надеясь на хоть призрачный шанс. Они же, в несравнимой с этим ситуации, и пальцем не шевельнули. При том что самолет, судя по количеству приехавших, полетит на треть пустым. Очень сожалеем, повторили они, поглядывая на часы.

В холле уже все сидели с вещами в ожидании трансфера. Я прошелся по рядам, предлагая обменять на евро оставшиеся них рупии, у кого есть. Не особо удивляясь, что многие старались сделать это по сказочному для себя курсу. Я не возражал, какой называли, так и менял. Бог весть, сколько и где придется тут жить. Это, как сказал работник консульства, последний эвакуационный рейс.

Холл опустел, уехали с экскортом полиции впереди и позади автобуса. Тишь. Дальше крыльца выходить нельзя — по периметру стоят автоматчики в масках. Подошел портье, пришло распоряжение, что в отель они больше никого селить не могут и в холле мне находиться тоже не желательно более часа-двух. Спросил о других отелях. Вряд ли, ответил он, все закрылись.

Позвонил в украинское консульство. Очень бы рады помочь, но ничем и никак сейчас, сами не могут выйти за ограду. Тот же ответ из российского. Полистал телефонную книгу. Мистер Ларк, начальник полиции в Даполи, рядом с Харнай. Узнал меня по голосу, обескуражил

готовностью немедленно помочь, прислать дорожную бумагу, чтобы приехал, будет рад. Как-то неожиданно и странно, может, он навеселе? Звоню в Харнай — папе, в мой дом, семью. Трубку берет сын. Рассказываю, что начальник полиции дал добро и поможет добраться. Прости, говорит, мы не можем тебя принять. И плачет. Рушикеш, добрый красивый парень, атлет, рыдает в трубку. И вся семья — с отцом, мамой, девочками, все рядом, по громкой связи говорим. Не могут — деревня, говорят, забросает их камнями. Ушам не верю, какой-то сон. Из-за меня? Наша деревня? Да, и плачет. Пришлось утешать, говорить, что я понимаю, что ничего страшного, что у меня есть тут в Мумбаи жилье. Еще вечером звонил Шреасу, учителю, сыну брамина, он в Харнай сейчас. Да, у него есть близкие друзья в Мумбаи, сейчас свяжется с ними, перезвонит. И тишина. Набрал Сачина. Принял ли бы он меня, если вернусь, хотя шансы ничтожны. Молчит. Скажи прямо, мы же друзья, ты боишься? Молчит.

Спокоен. Вроде бы. При том что ясно вижу положенье дел. Меряю шагами пустынный холл с дальними его рукавами и какими-то марсианскими мигающими инсталляциями. Откуда же это спокойствие? От ума, наверно, которому здесь просто уже не с чем работать. Совсем не с чем. Нет вариантов. Два часа истекают через пятнадцать минут. Взять рюкзак, выйти на улицу и сдаться полиции, там хоть койку дадут и еду. Ну до этого ты еще не дошел. Что же тогда?

Подходит портье. Сэр, мы связались с хозяином, он разрешил в виде исключения поселить вас. Вы будете один на весь отель. Ну и мы здесь, нам тоже запрещено выходить за ограду. Кухня работает под заказ, телефон в номере.

Мертвые коридоры, тишина. Сел на кровать, отражаясь сразу в нескольких зеркалах. А еще вчера вы все, говорю им, были в джунглях, лучших на свете, и кровать ваша стояла на пригорке над озером, и нильгау, лежавший под деревцем, смотрел на вас через плечо. Или это ты, оставшийся там, ты, нильгау, лежал под деревцем и смотрел через плечо на этого прощального человека? Ты и сейчас там, бредешь лесными тропами, замирая, оборачиваясь и глядя в эту светлую даль, за которой нет ничего, кроме призрачной улыбки жизни. С Индией, женщиной, дорогой… Не думай, мальчик, ни о чем не думай, мой отчаянно тихий нильгау, закрой глаза, отпусти, отпусти...

И в этот момент что-то звякнуло в телефоне. Письмо. От немецкого консульства. Добавлен еще один рейс, последний, вылет через два дня.

Пустынный аэропорт. Зачехленные в голубой полиэтилен стюардессы. Родная, неузнаваемая, отлетающая земля.

Содержание

Часть 1
5

Часть 2
471

Сергей Соловьев

Улыбка Шакти

Роман

Дизайнер *Н. Агапова*

Редактор *Д. Ларионов*

Корректоры *Е. Полукеева, С. Крючкова*

Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар, 13, стр. 1
Тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlobooks.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 18,5. Тираж 1000. Зак. №
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
„Ульяновский Дом печати“»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14